

BARRETT

WALKER

Annotation

Восьмой том Собрания сочинений В.П. Катаева составляют публицистические и литературно-критические статьи писателя. Многие произведения этого тома заново просмотрены и отредактированы автором.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

- [Валентин Петрович Катаев](#)
 - [Почти дневник. Статьи, очерки](#)
 - [Записки о гражданской войне*](#)
 - [Политотдельский дневник*](#)
 - [По западной Белоруссии*](#)
 - [В дни Отечественной войны](#)
 - [Их было двое*](#)
 - [Поклянемся никогда не забывать этого!*](#)
 - [«Торопиться приносить скоро»*](#)
 - [Гвардии капитан Туганов*](#)
 - [Концерт перед боем*](#)
 - [Партизан*](#)
 - [Лейтенант*](#)
 - [Фотографическая карточка*](#)
 - [Во ржи*](#)
 - [В наступлении*](#)
 - [Отец Василий*](#)
 - [Труба зовет*](#)
 - [В Молдавии*](#)
 - [Кузнец*](#)
 - [Семья Игнатовых*](#)
 - [Одесские катакомбы*](#)
 - [Публицистика разных лет*](#)
 - [Пороги](#)
 - [Ритмы строящегося социализма](#)
 - [Экспресс](#)
 - [В зеркале Мавзолея](#)

- [Пролетарский полководец](#)
- [Заметка](#)
- [Первый чекист](#)
- [Незабываемый день](#)
- [Страна нашей души](#)
- [Непобедимое братство](#)
- [Великие слагаемые](#)
- [С думами о будущем](#)
- [Молодость мира](#)
- [Жигули. Февраль](#)
- [Москва моя!](#)
- [Преступный заговор против прогрессивных сил Германии](#)
- [Счастье нашей молодежи](#)
- [Парк заложен](#)
- [Голос человека](#)
- [Литературные портреты, заметки, воспоминания](#)
 - [Короленко*](#)
 - [Неповторимые, героические дни*](#)
 - [О простоте формы*](#)
 - [Альбер Марке*](#)
 - [Топор в похлебке*](#)
 - [Ровесники кино*](#)
 - [Николай Павлович Хмелев*](#)
 - [Николай Островский*](#)
 - [Памяти друга*](#)
 - [Заметки о Всеволоде Иванове*](#)
 - [«Ревизор» в Малом*](#)
 - [Слово надо любить*](#)
 - [Леонид Сойфертис*](#)
 - [Автор и актеры*](#)
 - [Новогодний гост*](#)
 - [Былина на экране*](#)
 - [Заметки о Маяковском*](#)
 - [1\) Маяковский в «Огоньке»](#)
 - [2\) Воображаемый разговор с Маяковским](#)
 - [Сила правды*](#)

- [Куприн*](#)
- [Творческое самочувствие*](#)
- [О Горьком*](#)
- [Шесть хороших и разных*](#)
- [О себе*](#)
- [О новаторстве*](#)
- [Слово о Гоголе*](#)
- [Чехов*](#)
- [Несколько слов о Пикассо*](#)
- [Мысли о творчестве*](#)
- [Чарльз Диккенс*](#)
- [Станиславский*](#)
- [Прощание с миром*](#)
- [Вознесенский*](#)
- [Магнитка*](#)
- [Уэллс*](#)
- [Как я писал книгу «Маленькая железная дверь в стене»*](#)
- [Мой Бодлер*](#)
- [Голсуорси*](#)
- [Поездка в Визлей*](#)
- [Эдуард Тиссе](#)
- [Комментарии](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)

o [15](#)

Валентин Петрович Катаев
Собрание сочинений в девяти томах
Том 8. Почти дневник. Воспоминания

Почти дневник. Статьи, очерки

Записки о гражданской войне*

I

Осаждаемый с трех сторон красными, город был обречен.

С четвертой стороны лежало море.

Серые утюги французских броненосцев обильно кадили над заливом черным угольным дымом. Синие молнии радио слетали с их прочных изящных рей.

Десантные войска четырех империалистических держав поддерживали добровольческий отряд генерала Гришина-Алмазова, отражавшего наступление красных в южном направлении и защищавшего город.

По улицам маршировали живописные патрули британской морской пехоты, возбуждая восторг мешанок своими кирпичными лицами и синими беретами.

Матросы громко ржали, непринужденно переговаривались между собою в строю и кидали лошадиными голенастыми ногами футбольный мяч, эту национальную принадлежность каждой английской военной части.

Через чугунные мосты проходили экзотические обозы греков.

Ослы и мулы, навьюченные бурдюками, мешками, бочками, какими-то лоханками и оружием, забавно выставляли напоказ любопытным мальчишкам свои плюшевые мохнатые уши и цокали копытцами по асфальту моста.

Унылые греческие солдаты с оливковыми и кофейными лицами путались возле них в своих слишком длинных зеленых английских шинелях, с трудом перенося тяжесть старомодных французских винтовок системы «гра», висящих на широких ремнях на плече. Эти архаические ружья стреляли огромными пятилинейными пулями, очень толстыми, медными и дорогими. Каждая такая пуля весила не менее четверти фунта. Так, по крайней мере, казалось.

Легкомысленные двуколки зуавов, похожие на дачные мальпосты, решетчатые и качающиеся, удивляли зевак своими огромными

колесами, вышиною в гигантский рост шагавших рядом чернолицых солдат. Здесь были сенегальские стрелки, вращавшие белками глаз, напоминавшими сваренные вкрутую и облупленные яйца. Здесь покачивались алые фесочки тюркосов, здесь страшно поблескивали рубчатые ножи, примкнутые к длинным стволам колониальных карабинов.

Козьи кофты французских капитанов и расшитые золотом каскеты английских морских лейтенантов торчали за столиками переполненных кафе и отражались в зеркалах казино и театральных вестибюлей.

Благодаря присутствию многих военных и штатских иностранцев, полковников и спекулянтов, международных авантюристов и дорогих кокоток, русских князей и графов, крупнейших фабрикантов и содержателей притонов город имел вид европейского.

Весна была холодной, но солнечной.

Мартовский случайный снег держался недолго. Налетал морской ветер, затем туман. Они пожирали снег, уносили его белыми тугими облаками в море, и на расчищенном, великолепно отполированном голубом небе опять блистало холодное, ледяное солнце.

Улицы были полны цветов.

На углу двух центральных проспектов, возле кафе с громкой швейцарской фамилией, стояли зеленые сундуки цветочниц, заваленные кудлатыми пачками хризантем, мотыльками парниковых, огуречных фиалок и идилическими звездами подснежников.

Рядом с этими цветочными сундуками помещались столы валютных торговцев с грудями разнообразных кредиток, купонов, чеков и аккредитивов, которые успешно конкурировали с прелестной, но, увы, бесполезной красотой холодных и нежных цветов.

Два потока праздных и хорошо одетых людей протекали мимо друг друга и мимо этих цветов и денег. Над толпой носились запахи трубочного табаку, английских духов, дорогой пудры и, конечно, сигар.

Скрипели башмаки и перчатки, постукивали трости, бренчали шпоры русских поручиков, этих удалых молодых людей, нацепивших все свои заслуженные и незаслуженные знаки отличия. Офицеры подчеркнуто козыряли друг другу, уступали дорогу дамам, говорили

«виноват», «простите», опять звенели шпорами и с громким бряцанием волочили зеркальные кавалерийские сабли по граниту и бетону тротуаров.

Это был самый беззастенчивый, самый развратный, трусливый и ложновоинственный тыл.

II

На подступах к городу, на пяти позициях, самая дальняя из которых была не более чем за шестьдесят верст, а самая близкая – за двадцать, обманутые и одураченные легендарными обещаниями и цинично лживыми телеграммами, мерзли на батареях вольноопределяющиеся, юнкера и кадеты. Они верили в помощь англичан и французов. Им еще не надоело воевать. Они еще жаждали наград, крестов и славы. Они еще не сомневались, что большевики будут раздавлены.

Город был обречен.

Уже ничто не могло помочь.

Этого могли не замечать только слепые или пьяные.

Однако этого не замечал никто. Или, вернее, этому никто не верил.

А между тем на окраинах и в рабочих предместьях люди жили своей особой, трудовой и опасной жизнью революционного подполья.

Напрасно контрразведка развешивала агитаторов на фонарях и железнодорожных мостах.

Напрасно юнкера оцепляли целые кварталы и громили десятки нищих квартир, отыскивая крамольные типографии и большевистские явки.

Каждый завод, каждый цех, каждый дом и каждая квартира были штабами, типографиями и явками большевиков.

Каждую ночь по стенам и заборам неведомо кем расклеивались серые листки, грубо отпечатанные вручную. Наутро возле прокламаций собирались возбужденные толпы рабочих.

Что могли поделывать юнкерские патрули? Юнкеров были десятки и сотни, а рабочих тысячи.

Каждую ночь в пустынных улицах шли люди, перетаскивая с одного места на другое оружие и патроны. Не только револьверы и ружья – здесь были в громадном количестве пулеметы и даже морские скорострелки.

В ночной темноте раздавались тревожные одиночные выстрелы, иногда залпы, иногда короткие очереди «кольта». Шальные пули тонко пели на излете, и звенело разбитое стекло слепящего фонаря.

Французские артиллеристы, расквартированные на окраинах города, не могли не подвергнуться влиянию русских революционных рабочих. Незнание русского языка не могло быть препятствием. На стенах казарм, на полосатых будках часовых, наконец, на щитах скорострелок расклеивались прокламации, написанные по-французски.

Французским солдатам начинало надоедать пребывание в этой стране, где происходила война русских с русскими.

Они слишком много знали о социализме, чтобы верить басням своих офицеров о бандитском восстании «разбойников-большевиков».

Французские солдаты волновались и требовали скорейшей отправки на родину.

Им надоела военная жизнь, им хотелось вернуться к очагам и семьям. Они достаточно бились на Марне и под Верденом для того, чтобы позволить себе роскошь не дежурить у своих батарей и парков в этой варварской и загадочной стране, в соседстве с врагом, который был неуловим и вездесущ.

Дисциплина французских частей падала.

Солдаты не желали больше подчиняться офицерам. Они без разрешения уходили из частей и шлялись группами в предместьях, вступая в мимические объяснения с рабочими. Ночью они пели прованские песенки, потрясали серыми, пузатыми, похожими на рубчатые дыни фляжками и пили коньяк. Они вступали в драки с русскими офицерами и всячески демонстрировали свое презрение к стране, куда их насильно привезли.

Французское командование находилось в состоянии крайнего возбуждения и растерянности. Начальник штаба каждые два часа посылал адъютанта на радио.

Французский генерал Франше д'Эспере проносился по улицам в своем отличном автомобиле и появлялся в ложах. Этот молодежавый седоватый воин, окруженный отборной свитой, думал, что он является единственным хозяином положения. Его переговоры по радио со своим правительством окружались строжайшей тайной, и никто, кроме него, не читал пакетов, которые время от времени привозили ему на линейном миноносце. Наружно он был вполне спокоен.

Русская и французская контрразведки вели параллельную работу, вследствие чего выходили постоянные конфликты и недоразумения. Французы часто считали действия русских ненужными и вредными, в то время как русские полагали французов неопытными сыщиками, которые своим вмешательством портят работу.

Работы у контрразведок было много. Работа была важная и ответственная. Она была направлена против мощной и неуловимой большевистской организации, отлично связанной с Москвой и успешно разлагавшей иностранные отряды.

Трения между двумя командованиями – добровольческим и французским – продолжались все время.

Между тем по городу распространялись самые невероятные слухи.

Говорили о какой-то измене, говорили о близкой падении города, говорили об одной очень известной кинематографической артистке, имевшей близкое отношение к генералу Франше д'Эспере и игравшей выдающуюся роль в предполагавшейся сдаче города красным.

Незадолго до падения города эта кинематографическая артистка умерла от болезни, называвшейся «испанкой» и сильно распространенной в то время среди населения. Однако молва приписала ее смерть русской контрразведке. Говорили, что актриса была подкуплена большевиками и должна была заставить своего любовника, французского генерала, сдать город. На ее похороны собрались несметные толпы народа. Вход в собор, где в раскрытом гробу был выставлен ее труп, охранялся усиленным караулом. К гробу имели доступ избранные, среди которых видели и французского

генерала. Он положил к ее ногам пышный букет с печальными лентами, на которых блистала французская цитата.

Нелепые слухи продолжались.

Однажды по городу прошел дивизион танков. Их видели на главной улице. Они были похожи на громадных гусениц. Они гремели суставчатыми цепями по мостовой. Витрины магазинов и фонари стрекотали, звенели и содрогались от их железной поступи. Их было восемь. Из каждого выплядывали короткий ствол митральезы и несколько пулеметов. Говорили, что их отправляют на фронт для отражения красных, силы которых с каждым днем увеличивались.

Это дало повод осваговским газетам поднять тон и удалым поручикам сделаться более воинственными.

Однако отдаленная канонада приближалась. Раньше она была слышна только в очень ясные и тихие ночи, теперь же, в самом разгаре дня, за шумом города, за звонками трамваев и ревом автомобильных сирен вдруг слышались явственные, словно подземные, очереди взрывов.

Тогда, казалось, на минуту стихал городской шум, прохожие останавливались, и лица делались бледнее, тверже и напряженнее.

Почти ежедневно на центральной площади, возле собора, генерал Гришин-Алмазов принимал парады уходящих на фронт частей. Он говорил:

– Господа офицеры и солдаты! Вам предстоит сражаться с бандами жестокого и коварного врага. С нами бог! Без страха и колебания, железной стеной встретьте неприятельские пули. Бейтесь до победы. Отступления – нет. Помните, что нас поддерживают наши верные союзники – французы и англичане. Дни большевиков сочтены. Еще один молодецкий нажим – и победа за нами. Дадим же торжественную клятву победить или умереть. С богом. Пленных приказываю не брать.

Оркестр играл Преображенский марш. Сабли описывали зеркальные дуги салютов. Колеса батарей скрипели, дышла подымались и опускались, толпа дам, девиц и стариков махала платочками.

Колонна за колонной добровольческие части покидали город, уходя туда, откуда все настойчивее и тверже доносились пушечные удары.

Мне удалось побывать на подступах к городу.

IV

Я видел извилистую, еще недостаточно оттаявшую, черную, твердую дорогу, идущую вдоль морского берега. По ней, по этой дороге, тянулись в город с позиций телеги с ранеными. Раненых было немного. Гораздо больше было больных и мнимоконтуженных. Близость большого, веселого и пышного города, набитого спиртом, женщинами и другими удовольствиями, являлась непреодолимым соблазном для недостаточно мужественных. Ежедневно десятки влюбленных прапорщиков и пришедших в уныние от походных лишений вольноопределяющихся симулировали контузии и болезни для того, чтобы быть эвакуированными в соблазнительный тыл. Легкораненые считали, как и всегда, впрочем, свое ранение счастьем и предвкушали внимание дам, награды и безопасность.

В деревнях и на хуторах были размещены многочисленные штабы. Оседланные лошади били копытами мерзлую землю и грызли заборы.

Вестовые казаки, очень хорошо и воинственно одетые, с русыми чубами, взбитыми над смуглыми лбами, лихо раздували самовары и чистили на порогах хромовые генеральские сапоги.

Телефонисты с «удочками» и катушками проводили линии.

Ординарцы тряслись на мохнатых сибирских лошадаках, одной рукой придерживая кожаную сумку, а другой подстегивая лошадь нагайкой.

Вдоль дороги валялись консервные жестянки и бутылки из-под удельного вина.

Дорога становилась чем далее, тем пустыннее. Через тридцать верст я достиг передовых позиций. Здесь берег образовывал бухту, в которой стоял французский миноносец.

Песчаная пересыпь бухты запирала небольшой синий лиман, переходивший в отдалении в красные солончаки. Там начиналась область, занятая красными. Их не было видно с господствующего над местностью правого берега лимана. Мне сказали, что они занимают деревни и постоянной боевой линии у них нет. На низком левом

берегу была расположена деревня. В ней жили приморские крестьяне и рыбаки. Теперь там разместились части добровольческого отряда, пушки которого с небольшим числом прислуги и пехотного прикрытия были установлены на командной высоте.

Я въехал в деревню.

Деревня ничем не отличалась от тысячи других деревень которые мне приходилось проезжать в любую из кампаний.

На пустырях и дворах стояли кухни. По улицам ходили кадеты. Возле кухни ковали лошадь.

Размещенные по избам офицеры и солдаты сидели на лавках и играли в карты. Трехцветные шевроны на рукавах защитных гимнастеров передвигались при сдаче карт и при хлопанье картой по столу. Фуражки висели на гвоздях возле икон. Американские винчестеры были свалены кучей в сених. О них никто не заботился. Они были заржавлены и забиты землей. Зато бесполезным шашкам уделялось много внимания и забот. Престарелый капитан, кряхтя и ругаясь, чистил клинок своей златоустовской шашки, с усилиями втыкая его в глиняный пол избы. Старик хозяин только качал на это головой.

Бравый вольноопределяющийся рассказал мне интересную историю о сегодняшнем ночном деле. Об этом деле говорил весь отряд.

В два часа ночи разъезд добровольческой кавалерии, в котором почему-то был и артиллерийский разведчик – бравый вольноопределяющийся, заехал в деревню, которая до сего дня считалась лояльной. Едва только отряд въехал на главную улицу, по нему была открыта пальба. Оказалось, что за последние сутки деревня перешла на сторону красных и сейчас в ней был расположен эскадрон красных партизан. Несколько партизанских всадников выскочили из темноты и атаковали добровольцев. Произошла стычка, в результате которой один добровольческий улан был тяжело ранен в голову и привезен из экспедиции мертвым. Бравый вольноопределяющийся рассказывал, как он рубил, и как его клинок с размаху ударил во что-то мягкое, и как оно (это мягкое) тяжело рухнуло под копыта его лошади. Он говорил, что его тоже хорошо огрели по голове, к счастью, не осталось следов, но что голова ахово трещит и не худо было бы эвакуироваться для поправки здоровья.

Таким образом, я выяснил, что самое типичное во всей кампании – это полное отсутствие сведений о неприятеле, о его численности и местопребывании. Местные жители были настроены весьма большевистски, и то одна, то другая деревня переходила на сторону красных, служа их частям надежным прикрытием.

В этот день стрельбы не было. Красные не проявляли инициативы. Их совершенно не было заметно.

Французская миноноска сигнализировала, что в случае дела она может открыть огонь из шести скорострельных пушек, что должно увеличить силу отряда на полторы батареи.

Затем из города прилетел военный самолет. Он спустился на Пересыпи. Два летчика в кожаных куртках, пулевидных шлемах и самых модных синих бриджах вылезли из аппарата и отправились в штаб отряда передать командиру бумаги. Они выпили чаю и, рассказав несколько городских анекдотов и передав слухи, улетели обратно с донесением о том, что в районе отряда все спокойно.

V

На следующий день совершенно неожиданно в двенадцать часов стало известно, что город в течение двух суток будет сдан красным.

Еще без четверти двенадцать беспечная толпа фланировала мимо цветочниц и валютных лотков, а в двенадцать по городу покатались мальчишки-газетчики, размахивая крыльями экстренных телеграмм. Все было очень точно и определено: город отдается без боя. Французское правительство отзывает свои войска во Францию. Без иностранной поддержки добровольцы не смогут удержать город.

В пять минут первого город изменился. Город был переломлен, как спичка. Совершенно обалделые генералы почти бежали в штабы, где уже заколачивали ящики.

Паника была неопиcуемая.

Приказ французского командования до такой степени не соответствовал тону предыдущих приказов и газет, что взволнованное население готово было объяснить случившееся самыми невероятными способами. Об измене говорилось открыто.

Однако время было так ограничено, что никто не мог себе позволить размышлять о причинах внезапной эвакуации более пяти минут.

Иностранные миссии осаждались буржуазией, желавшей покинуть город. Заграничные паспорта выдавались почти всем желающим без особых формальностей. В порту начиналось столпотворение. Тоннаж имевшихся налицо судов был недостаточен для перевозки всех желающих. Многие, отчаявшись получить место на пароходе, отправлялись на извозчиках или пешком к румынской границе, отстоящей от города за сорок верст. В городе почти исчезли лошади. Они были реквизированы. Группы тыловых офицеров выпрягали лошадей из фургонов и пролеток и уводили их в казармы. Части, стоявшие на позициях, должны были пройти через город и, захватив обозы и штабы, отступить к румынской границе.

Однако согласие Румынии принять бегущих еще не было получено, и это чрезвычайно волновало тыловые части добровольцев.

К вечеру первого дня по всему фронту загрели пушки. Красные наступали, суживая кольцо своего обхвата, и, съезживаясь, это кольцо все больше и больше напоминало петлю. Город задыхался.

Я видел громадный двор артиллерийских казарм, где были сосредоточены многие штабы добровольческих частей и несколько французских легких дивизионов. Здесь жгли списки личного состава, здесь громили цейхгаузы, набитые снаряжением и амуницией. Офицеры и солдаты вытаскивали из сараев громадные кипы белья, сапоги, палатки, валенки. Они связывали награбленное в громадные тюки и волокли в город, решив остаться и дезертировать из добровольческой армии.

Посредине двора стоял погребальный катафалк, из которого были выпряжены лошади. Два еврейских мортуса в белых балахонах, с галунами и в черных цилиндрах плакали, расхаживая вокруг катафалка. Лошадей в черных шорах и траурных султанах наскоро запрягали в набитые битком повозки. Евреи хватались за рыжие свои бороды и умоляли какого-то полковника без погон и кокарды пощадить их лошадей. Но полковник иступленно кричал:

– Просите ваших «товарищей»! Дотанцевались до того, что «пролетел» сел на голову? И радуйтесь.

Этот взволнованный воин несколько раз еще повторил загадочное слово «пролетел», разумея под ним слово «пролетарий». Ему казалось, что в виде «пролетел» оно имеет некий необычайно язвительный и горький смысл. Он был прав. Это слово, произнесенное растерянным полковником, расхаживающим без погон и кокарды вокруг распряженного еврейского катафалка посередине хаотического двора казармы, и точно представлялось язвительным и горьким.

В военных и гражданских учреждениях спешно приготавливались ведомости и выдавалось жалование за шесть месяцев вперед.

Из государственного банка вывозились грузовики денег. Магазины были открыты. Получив неожиданно крупные суммы денег, люди осаждали лавки, запасаясь хлебом и продуктами на долгое время. Наиболее молодые покупали вино. Ночь, вспыхивавшая по краям от непрекращавшейся канонады, была полна пьяным ветром и пьяными песнями совершенно растерявшихся людей. Судороги города ознаменовались небывалым буйством, разгулом и пьянством.

Прожектора военных кораблей пыльными меловыми радиусами двигались по черному небу. Ревели пароходные сирены. Мчались грузовики. Гремели батареи. В ночной темноте происходило нечто неизбежное и грозное.

Измена. Предательство. Глупость командования. Слабость тыла. Вот причины падения города.

Так представляли себе положение дел почти все находившиеся в состоянии эвакуационной горячки и паники. Но это было неверно.

В действительности же дело происходило так.

Красные войска, состоявшие преимущественно из партизан и повстанцев, теснили добровольческие регулярные отряды в течение многих месяцев вплоть до города.

На подступах к городу красные остановились. Не узнав сил противника, не выяснив своих собственных сил и не закрепившись на занятой территории, двигаться дальше становилось безрассудно опасным. Они остановились.

В это время в городе, в подполье, велась бешеная работа по разложению французов и по учету сил добровольцев. Работа оказалась успешной. Не прошло и нескольких месяцев, как взаимоотношение сил стало ясным. Защищавших город было во много раз больше наступавших на него. Но среди защищавших не было ни

уверенности в себе, ни единого военного плана. Во французских частях под влиянием большевистской агитации дисциплина несколько упала, так что при первом же серьезном деле французские штыки и пушки легко могли обратиться против собственных штабов. Греческие части имели маловоенственный вид и вряд ли могли представить серьезную опасность. Англичан было незначительное количество, и они несли лишь береговую территориальную службу. Добровольцы были развращены близостью тыла.

VI

Положение наступающих красных партизан, опиравшихся на благожелательное настроение крестьянства, на боевую опытность, наконец, на исключительное личное мужество бойцов, сражавшихся по доброй воле за свое общее дело, было во много раз выигрышнее положения осажденных. Подобное положение решило судьбу города.

Красные только ждали некоторых подкреплений.

Наконец подкрепление настолько приблизилось, что красное командование предъявило французам ультиматум. Ультиматум французы не приняли, но отдали приказ об эвакуации.

Красные подождали два дня и в начале третьего, не дожидаясь окончания эвакуации, с трех сторон атаковали город. Добровольческие батареи в течение нескольких часов расстреляли все свои патроны и были вынуждены отступить. Французское военное судно, обещавшее поддержку на левом фланге, без предупреждения ушло в море. Дивизион танков, выдвинутый в лоб красным, завяз в грязи, и все до одного танки были захвачены повстанцами в первые часы боя. Повстанческая конница показала чудеса быстроты и натиска. Кавалерия добровольцев, довольно хорошо работавшая в небольших ночных набегах, не смогла выдержать лавы противника и показала тыл. Греческий полк, вступивший в дело на правом фланге, в двадцати верстах от города, был потрясен обстрелом красных. Греки поспешно отступили, теряя мешки гороха, которым они кормили своих ослов, и бурдюки вина, предназначенного для солдат. Быстрому отступлению греков очень препятствовали слишком длинные английские шинели и тяжелые французские винтовки. Многие бросали их по дороге.

Греческие солдаты, не привыкшие к боям, были совершенно измучены натиском красных партизан.

Отступая через город и проходя по улицам, эти оливковые добряки с рыжими унылыми усами застенчиво произносили слово, брошенное им в предместьях каким-то веселым рабочим. Он закричал им:

– Что, братцы, вата?

На жаргоне того времени слово «вата» обозначало конец, неудачу.

– Вата, – говорили греки непонятное им слово, отступая через город.

На окраинах начиналось восстание. Там бил пулемет.

На следующий день власть в городе перешла к большевикам.

Красная кавалерия, на спине отступающих добровольцев, ворвалась в предместья и браталась с вооруженными до зубов рабочими.

Революционный комитет, столь долгое время находившийся в подполье, занял лучшее в городе помещение и выпустил первый явный официальный и законный приказ.

Еще в открытом море дымили уходящие суда, еще кучки офицеров и штатских двигались по Аккерманскому тракту к румынской границе, еще оставшиеся спарывали с шинелей погоны и бросали в печки кокарды, а уже лихие всадники партизанского отряда, чубатые парни с красными бантами, на отличных лошадях разъезжали по улицам взятого города. Наст битого стекла хрустел под копытами лошадей. Закрученные, как лассо, петли сорванных трамвайных проводов лежали поперек мостовых.

Мальчишки бегали с красными флажками и пели «Интернационал». На аршинных столбах, поверх гигантских букв театров, кабаре и бегов, наклеивались суровые, спартанские приказы новой власти.

Так город начал новую жизнь.

VII

Начался трудный организационный период.

Нужно было все устроить, пересмотреть, сделать заново, провести в жизнь.

Нужно было вырвать гнилые корни старого быта и утвердить новый быт, быт рабочий, простой, суровый и твердый.

Всем оставшимся новая для города власть большевиков предоставляла право собираться и обсуждать коллективное устройство своей жизни.

Рабочим нечего было обсуждать. Они очень хорошо знали, как надо строить свой быт. Интеллигенция, захваченная событиями врасплох, еще не успела об этом подумать. Нужно было в самое короткое время усвоить чуждую им советскую конституцию и организовать согласно с ее требованиями.

Происходила полная путаница в понятиях и терминах. Никто определенно не знал еще разницы между государственными, профессиональными и партийными учреждениями. Каждый человек с портфелем представлялся существом высшего порядка, всезнающим и всемогущим. Сокращенные названия учреждений приводили растерявшихся интеллигентов в ужас.

В помещении бывшего Литературно-художественного кружка, сокращенно называвшегося «Литературной», ежедневно происходили бурные собрания писателей, журналистов и актеров, столь же беспорядочных, сколь и многочисленных.

Престарелые ученые, писатели с именами, не успевшие бежать издатели, актеры и местные молодые поэты заседали по многу часов кряду, пытаясь не столько договориться до дела, сколько хоть немного понять друг друга.

Свобода на этих собраниях была полная. Наиболее консервативная часть ставила вопрос о самом факте признания Советской власти. Для них вопрос «признавать или не признавать» был вопросом первостепенной важности. Они даже не подозревали, что власть совершенно не нуждается в их признании и разрешает им собираться исключительно для того, чтобы они могли лучше познакомиться с порядком вещей в Республике.

Наиболее левая часть собрания, молодые поэты и художники преимущественно, левые не только в области искусства, но и в области политики, требовали не только полного признания власти, но также и активного перехода на советскую платформу. Они призывали

к сотрудничеству с рабочими и желали объединения на этой почве. Средняя, наиболее осторожная часть упорно стояла на почве чисто профессионального объединения, старательно избегая вопроса о самом признании или непризнании существующей власти.

Я видел одно из этих собраний.

В большом, очень изящно отделанном зале, где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам, разрисованным по самой последней моде, теперь стояли стулья и грубые скамьи. На скамьях и стульях сидели взволнованные, выбитые из колеи люди. В проходах толпились опоздавшие.

Я видел знаменитого академика по разряду изящной словесности, сидевшего в углу и опиравшегося подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезавшая из цветной манишки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные, глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее непримирим.

Я видел другого академика (ныне покойного), почтенного филолога, очень растерянно и по-стариковски согнувшись сидевшего во втором ряду рядом со своей женой, сухой и бойкой старушкой. Он никак не мог понять, зачем так много народа, что они хотят и почему кричат.

За столом президиума сидел рыжебородый издатель, ассириец с длинными глазами навывкате, и очень мохнатый, похожий на геральдического медведя, поэт-декадент с крупным всероссийским именем.

Говорил преимущественно поэт. Он был лидер золотой середины. Очень приятным, грубоватым и убедительным эстрадным голосом он призывал собрание под знамена профессионального союза, пропуская мимо ушей вопросы о признании и непризнании. Он говорил о том, что мастерство печатника, что закон типографской буквы и закон поэтического звука – есть один и тот же закон. При этом он очень удачно цитировал Анри де Ренье, и себя, и еще кого-то из новых.

Несколько раз академик по разряду изящной словесности вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол. Неоднократно левые демонстративно удалялись из зала и были призываемы обратно во имя общего объединения.

Жена академика-филолога держала своего неуклюжего мужа за рукав и требовала, чтобы он что-то сказал собранию. Несколько раз старик подымался, вытаскивал из кармана мятый носовой платок, улыбался и садился на место, так как общий шум не давал ему говорить.

Так соглашение достигнуто и не было.

Поэт-декадент, столь подходивший для должности комиссара искусств, принужден был отказаться от общественной деятельности и заняться переводами поэм Анри де Ренье.

VIII

Между тем новая жизнь города складывалась по-своему, своим чередом. Новые государственные формы определяли формы нового быта.

Появились новые вывески с сокращенными названиями. Новые учреждения набирали штаты машинисток и секретарей. Взамен закрытых магазинов открылись продовольственные лавки и распределители. Была введена карточная система, и с утра обыватели стояли в хвостах за продуктами.

Город украшался.

На всех углах и перекрестках укреплялись громадные плакаты. Они были написаны левыми мастерами и изображали матросов, красноармейцев и рабочих. Это были первые, еще робкие, вылазки футуристов. Их плакатные матросы были великолепны. Они были написаны в грубоватой декоративной манере Матисса. Некоторая кривизна рисунка и яркость красок вполне отвечали духу времени, и примитивные детали вполне совпадали с упрощением деталей самого быта.

Поэты писали для этих плакатов четверостишия, которые читали все, начиная от попавшего в переделку фабриканта, кончая кухаркой, идущей записываться в профессиональный союз.

Повсюду открывались рабочие клубы и театры. Повсюду устраивались концерты-митинги. Известные артисты, демонстрируя свою солидарность с пролетариатом, ездили на предприятия, где с

большим успехом пели оперные арии и читали Шекспировы монологи.

Однако военная гроза далеко не прошла. Город был очищен от белых, но еще во многих других местах страны враг был силен и опасен. Прошедшие румынскую границу добровольческие части на пароходах и транспортах перевозились в Новороссийск, в этот главный порт генерала Деникина, далеко еще не отказавшегося от идеи раздавить коммунистов.

Дон и Кубань были местами, где Деникин накапливал силы, собираясь обрушиться на красных. На этот раз наступление должно было быть серьезным. Английское командование снабжало части генерала снаряжением и обмундированием.

Недостатка в продовольствии не было.

Французское золото позволяло исправно выплачивать жалованье наемникам. Громадное количество пушек и бронепоездов, самолетов и танков, патронов и медикаментов было сосредоточено в руках добровольческого командования.

В разгаре весны началось вторичное наступление белых.

Генерал наступал настойчиво и энергично.

Город встревожился. Стенные газеты, в изобилии расклеивающиеся на заборах, были полны сообщениями с театра военных действий. На этот раз линией фронта была территория области Войска Донского и Кубанская область. Оттуда, имея своим центром и базой город Ростов, наступали части добровольческой армии.

Вся площадь Донецкого бассейна оказалась плацдармом жесточайших боев между регулярными, хорошо снабженными и обученными, отрядами генерала Деникина и вольными, недисциплинированными группами красных партизан.

По сообщениям газет, партизанские группы состояли из матросов Балтийского и Черноморского флотов, из кавалеристов и казаков разных частей старой армии, из волонтеров, ставших добровольно под красные знамена, и многочисленных повстанцев. В числе красных, разумеется, было немало и регулярных частей, сведенных в дивизии и армии, но их количество было все-таки далеко не достаточно для того, чтобы вести настоящую и планомерную кампанию. У красных почти не было регулярной артиллерии, а те батареи, которые входили в

состав дивизий, находились в плачевном состоянии из-за отсутствия самых необходимых материалов: керосина для чистки пушек, пакли, тряпок, измерительных приборов, «цейсов» и буссолей. Не было почти и командного состава. Старые офицеры избегали службы у красных, а унтер-офицеры хоть и были мужественными, преданными бойцами, однако не всегда могли должным образом управлять боевыми единицами.

IX

Итак, Деникин наступал. Красные партизаны, делая героические усилия и совершая чудеса храбрости, отбивались от наступающего врага, а в тылу лихорадочно комплектовались регулярные части Красной Армии.

С каждым днем город приобретал все более и более военный вид.

На каждой улице была расквартирована какая-нибудь часть. Ежедневно по городу проезжали батареи. На плацах и площадях производилось обучение призванных в армию. Во дворе воинского начальника стояли толпы поступавших на учет.

Повозки, нагруженные защитными рубахами, поясами и сапогами, выезжали из ворот цейхгаузов. Бывшие офицеры регистрировались у коменданта. Они заполняли карточки, расписывались и получали назначения в части. Штабы береговых батарей, размещенных в аристократических приморских кварталах, были переполнены призванными офицерами и фейерверкерами старой армии.

Многочисленные плакаты призывали к скорейшей организации регулярной Красной Армии. Самым распространенным среди них был плакат, изображавший красноармейца, уставившего на зрителя большой настойчивый указательный палец. Он говорил: «Ты еще не записался в Красную Армию?»

Служить пошли все.

Пошли служить в канцелярии полков престарелые чиновники, записались на батареи гимназисты и студенты, барышни заполняли многочисленные анкеты и садились за ремингтоны в бригадные канцелярии. Это были в большинстве случаев плохие служаки,

рассчитывающие на обильный красноармейский паек и на бумажку, предохранявшую от реквизиций и уплотнений. Таких было много, но еще больше там было молодых рабочих, мастеровых и матросов бездействующего торгового флота. Это были надежные, преданные граждане, желавшие как можно скорее покончить с генералом и начать новое строительство.

Время отправки на фронт первых эшелонов новых частей приближалось. Все чаще и чаще на улицах появлялись реквизируемые экипажи, подъезжавшие к военному комиссариату. Из экипажей торопливо выскакивали командиры частей и их политические комиссары. Они возвращались, набитые бумагами, деньгами и инструкциями, садились в экипаж и торопились в свои части.

Части были расположены вдоль моря, на дачах. Там, среди кустов цветущего жасмина, в купах свежей акации, в жужжании пчел, в мелькании бабочек и в свисте птиц, на клумбах и лужайках стояли походные кухни, пушки, велосипеды и повозки. Там кашевары наполняли громадными черпаками котелки красноармейцев, стоящих в очереди за обедом. Там убивали быков и рубили топорами дымящиеся туши. Там пищали и крякали уточками желтые деревянные ящики полевых телефонов Эриксона.

Возле пушек спешно производилось учение.

Иногда в огородах собирались митинги красноармейцев, выносивших мужественные резолюции и желавших как можно скорее отправиться на фронт. Профессиональные организации вручали частям знамена с короткими железными лозунгами.

Еще не было единой воинской формы, еще только входил в обиход частей дисциплинарный и гарнизонный устав, еще многие командиры и красноармейцы не ночевали в частях и приходили на службу в вольном платье, подпоясанные шашками, с винтовками на плече.

X

Наступление Деникина продолжалось.
Нужно было торопиться.

С фронта требовали подкреплений. Первыми были готовы легкий артиллерийский дивизион и два полка пехоты. Они были сведены в дивизию и подлежали отправке в первую очередь.

Я решил отправиться на фронт с первым эшелоном.

Еще за два дня до отправки в местах расположения уходящих на фронт частей было необычайное волнение. Красноармейцы, успевшие привыкнуть к тыловой гарнизонной службе, старательно готовились к походу. Они снаряжали свои походные сумки, чинили седла, проверяли телефоны и чистили пушки. В коммунистических ячейках происходили длительные совещания, после которых присутствующие пели «Интернационал».

Студенты и гимназисты, попавшие в число отправляемых, не ожидавшие и не хотевшие попасть под пули, под всякими предложениями старались остаться в тылу. Многие из них сказались больными, многие дезертировали.

Красных офицеров в то время еще не было, и высшие командные должности занимали в большинстве случаев офицеры, преимущественно из числа дезертировавших из добровольческой армии. У них тоже не было ни малейшего желания идти в бой. Политическим комиссарам приходилось бдительно наблюдать за ними, и бывали случаи, когда командиров доставляли в части под конвоем. Для Красной Армии это было очень вредно, но другого положения вещей покуда не могло быть.

Партизанский отряд, взявший город, почивал на заслуженных лаврах. Он нес гарнизонную службу и отдыхал от боев, пользуясь всеми благами тыла. Начальником этого отряда был некто Григорьев, по словам одних – полковник царской армии, по словам других – авантюрист и плут, отличавшийся, впрочем, изрядной храбростью и пользовавшийся безграничным авторитетом у подчиненных ему партизан.

Отряд Григорьева являлся как бы некоторой автономной и привилегированной единицей среди прочих частей гарнизона. Партизаны Григорьева, находившиеся постоянно в победоносных боях, захватили большую военную добычу. Будучи отлично одеты, имея много денег, провианту и спирту, они возбуждали зависть прочих красноармейцев. Никакой дисциплины григорьевцы не признавали. Вернее сказать, они не признавали никакой дисциплины

внешней, в то время как дисциплина внутренняя у них была. Эта внутренняя дисциплина, основанная на доверии к своему начальнику, на боевом прошлом части и национальном единстве бойцов, была очень высока. Все красноармейцы отряда Григорьева были украинцами. В свое время примкнув к Красной Армии и наступая на добровольцев, Григорьев, несомненно, преследовал некие свои сугубо личные цели. Он мстил генералу Деникину за то, что тот не признавал независимости Украины и бился под лозунгом: «Единая, неделимая Россия». Атаман Григорьев втайне был враждебен также и политике большевиков, которые призывали к единой, всемирной коммуне. Будучи хитрым и дальновзорким человеком, Григорьев почувствовал, что своих целей ему гораздо легче добиться путем союза с Советами. Он нисколько не считал себя связанным с ними и только временно подчинялся главному штабу Красной Армии. Все время он лелеял план захватить на Украине власть в свои руки и установить собственный порядок вещей. Большевики, обманутые ложными уверениями в преданности, слишком доверились атаману Григорьеву, что повело за собой целый ряд так называемых григорьевских восстаний.

День нашего выступления был назначен.

С утра артиллерия начала грузиться в эшелоны, поданные к рампе товарного вокзала. Лошади, грубо ступая подковами по сходам, со страхом шархались в вагоны. Солдаты вкатывали на площадки пушки и зарядные ящики, кашевары подкладывали под колеса кухонь деревянные клинышки и размещали продукты на полках теплушки-кухни. Красноармейцы, отпущенные на несколько часов в город к семьям, собирались на рампу, суровые и молчаливые. Многие жены с детьми пришли попрощаться с ними на вокзал. Часовые расхаживали возле вагонов и ящиков с патронами. Телефонисты проводили провод вдоль всего эшелона. В командирский вагон вносили пишущую машинку, крышка которой гремела жестяным, театральным громом.

Наконец батареи были погружены. Теперь наступила очередь пехоты. Ее не было.

Вдруг с вокзальной площади послышались залпы и шум. Я побежал посмотреть, что случилось, и скоро очутился у главного подъезда, на ступеньках гранитной лестницы. Отсюда была видна вся

вокзальная площадь. Посередине этой площади зеленел круглый европейский сквер, обнесенный чугунной узорной решеткой. Обычно в сквере гуляли толпы красноармейцев и девушек, соривших подсолнухами. Тут фокусники-китайцы показывали зевакам свое искусство, тут бабы торговали бубликами, тут мальчишки продавали десятками дешевые самодельные папиросы из сушеной травы.

Теперь здесь творилось нечто непонятное, но крайне тревожное. Возле большого серого красивого здания бывших судебных установлений, выходявшего лепным фасадом к саду, стоял граненый броневик.

Два плоских и раскосых китайца лежали на стальной крыше машины, держа ружья на изготовку. Широкоплечий матрос Черноморского флота, выставивший из тельника атлетическую, сплошь вытатуированную грудь, смотрел в толпу, расставив ноги колоколами и потрясая маузером. Две жилы в виде ижицы были натужены на его прямом, очень смуглом лбу. Толпа, косо подавшаяся подальше от броневика, угрюмо молчала. Вокзал был оцеплен матросами. Я пригляделся к толпе. Она почти сплошь состояла из солдат. Это были партизаны атамана Григорьева. Что произошло возле вокзала, нельзя было понять, но мне сказали, что два полка, назначенные к отправке, внезапно восстали, требуя, чтобы их оставили в тылу. Передавали, что эти полки, стоявшие рядом с отрядом Григорьева, распропагандированные украинскими «самостийными» шовинистами, примкнули к атаману и неожиданно как для самого Григорьева, так и для красного командования выступили против власти. Они преждевременно открыли карты Григорьева и, не получив от него поддержки, принуждены были сложить оружие. Говорили, что часть их отправилась к вокзалу, желая обратить на свою сторону артиллеристов и воспрепятствовать батареям выехать на фронт. Возле вокзала произошло столкновение с броневиком, после чего последние вспышки мятежа были затушены.

Однако взбунтовавшиеся части необходимо было совершенно переформировать, и батареям пришлось выступить в поход вне своей пехоты. Этим же вечером наши эшелоны вышли в северо-восточном направлении по Новой Бахмачской дороге.

Эшелон гнали всю ночь.

Фонари мелькавших полустанков стреляли в щели вагонов, пугая лошадей. Никто не имел права задерживать поезд на станции свыше пяти минут. Последние полученные в городе сведения с фронта были крайне тревожны. Необходимо было торопиться.

Наутро я увидел, что поезд идет уже очень далеко от города. Вокруг была зеленая, весенняя степь. Реки блестели в туманных впадинах местности. Скот, оставленный пастись на ночь в поле, бродил, опустив головы, в мокрой и темной траве. Ветер дул в широко раздвинутые двери товарного вагона, принося сложную и очаровательную смесь полевых запахов. Телеграфные столбы проплывали мимо нас с удивительной быстротой, и ряды проволоки волнообразно подымались и опускались, подбрасываемые стуком колес по стыкам.

В десять часов утра мы достигли большой узловой станции; в котловине скрывался город, именем которого она называлась. Эшелон остановился. Здесь должна была произойти проверка личного состава. Красноармейцы выпрыгивали из вагонов и строились против состава, по линии противоположного полотна. Их лица носили на себе еще туманные следы утра, но глаза блестели на солнце, и новый путевой ветер возбуждал в них новые мысли, так не похожие на мысли, занимавшие их в тылу. Сила города, тяготевшая над ними, была разрушена.

Общая перекличка обнаружила многих дезертиров. Их списки были немедленно сданы на телеграф и отправлены по адресу военного комиссариата и чрезвычайной комиссии. На путях станции стояли также и другие эшелоны, отправлявшиеся туда же, куда и мы. Солдаты умывались, сливая друг другу воду из котелков и кружек. Очень яркая и радужная вода брызгала вокруг разноцветными каплями и, падая в густую, уже теплую пыль, сворачивалась крупными ртутными шариками.

Совершив проверку и осмотр части, командир приказал продолжать дорогу. Эшелон тронулся, провожаемый многочисленным провинциальным населением, пришедшим из города посмотреть на войска, уходящие в бой.

За день мы проехали две или три губернии. На крупных станциях везде было одно и то же. Торговки предлагали булки и яйца, мальчишки бегали, протягивая махорку, похожую на конский навоз, и дешевые папиросы. Мужики в похожих на верблюжьи свитках, подпоясанные красными кушаками, опирались на высокие палки и щурились на солнце. Матросы с бронепоездов и кавалеристы многих эскадронов, ярко и живописно одетые, рассказывали нашим красноармейцам о своих военных подвигах и о положении дел в стране.

Положение в стране было самое запутанное. Разнообразное и многочисленное население желало самых разнообразных режимов, начиная от реставрации старого и кончая введением полного анархизма. Каждый уезд и, пожалуй, каждая волость желали по-своему устроить свою жизнь, совершенно не считаясь с желаниями других уездов и волостей. Значительная часть мечтала о директории, некоторая часть требовала гетмана, очень многие были сторонниками анархиста и демагога Махно, отряды которого были повсюду. Молодежь преимущественно сочувствовала власти Советов, но недостаток агитаторов и литературы не позволял это сочувственное отношение превратить в реальную силу. Молодой Советской власти были свойственны все ошибки и недостатки молодой власти.

Дальнейшее продвижение было сопряжено с некоторой опасностью. Несмотря на то что, подобно атаману Григорьеву, Махно формально примыкал к красным и вместе с ними отражал наступление Деникина, банды махновцев на местах действовали враждебно Советской власти. Неоднократно они разбирали железнодорожные пути, нападали на поезда и отнимали у проезжавших оружие, вещи и деньги. Нередко банды махновцев достигали нескольких тысяч человек, и тогда их нападения представляли опасность даже для значительного воинского эшелона. Проезжая по наиболее опасным местам, мы становились под защиту двух бронепоездов, специально конвоирующих проходящие здесь поезда.

По дороге нам передавали о дерзких нападениях на станции, о крушении эшелонов и о многих других подвигах банд, но с нами в пути не случилось ничего худого, и на следующий день мы благополучно прибыли в город Александровск – крупнейший тыловой

город фронта. Здесь наши батареи подлежали окончательному укомплектованию людьми, лошадьми и снаряжением.

Батареи пробыли в городе Александровске три дня.

Эти дни были днями напряженнейшей организационной работы.

Командиры и военные комиссары почти не ложились спать. Нужно было получать новые пушки, телефонное и обозное имущество, лошадей, обмундирование, людей и деньги.

Ежедневно на батареи приезжало высшее артиллерийское начальство. Инспектор артиллерии фронта, черноусый украинец из бывших подпрапорщиков, производил тщательное инспектирование батарей. Он экзаменовал командиров, заглядывал в каналы стволов трехдюймовок, заглядывал лошадям в зубы и предъявлял красноармейцам претензии. Это был опытный артиллерийский хозяин, не более, однако, чем в батарейном масштабе. Проявляя необыкновенное внимание к мелочам, он, однако, в силу неопытности, в крупной работе армейского масштаба упускал очень много весьма важных недостатков частей. У большинства батарейных, а зачастую и дивизионных командиров не было хороших биноклей и рогатых труб «цейса». Отсутствовали дальномеры и буссоли, а также и топографические карты предполагавшейся местности боя.

С утра до вечера командиры частей разъезжали в привезенных с собой экипажах по знойному, пыльному речному городу – из штаба в казначейство, из казначейства на вокзал, с вокзала на заводы и склады за получением необходимых мелочей для полного оборудования батарей.

Город представлял собой мужественный лагерь, сосредоточивший все роды оружия, все типы бойцов, все цвета одежд. То и дело по улицам мчались на рысях эскадроны, перестраивались, блестя штыками, полки, развевались красные знамена.

По многим типичным признакам опытный человек сразу мог определить близость фронта. Но линия наступления белых и отступления красных так быстро, неожиданно менялась, что ввиду плохой связи даже штабы не были точно осведомлены о месте сражений.

Вокруг города появлялись банды.

Здесь их было еще больше, чем в местах, по которым мы проезжали.

Город находился на левом берегу Днепра, в нескольких верстах ниже знаменитых Днепровских порогов. На правом, возвышенном, берегу орудовала большая, хорошо известная командованию и населению, банда атамана Чайковского. Чайковский был явный враг Советской власти и сторонник директории. В его распоряжении находилось несколько пушек и значительное количество кавалерии.

Заняв командные высоты на правом берегу Днепра, атаман Чайковский постоянно угрожал городу обстрелом и сильно мешал судоходству по Днепру. Почти каждый пароход, выходящий из Александровска вниз, за десять верст от города подвергался обстрелу бандитских батарей. Борьба с Чайковским было так же трудно, как и с другими украинскими бандами, обыкновенно опиравшимися на благожелательное отношение населения. Кроме того, у красных каждая регулярная часть была необходима для усиления линии фронта против генерала Деникина, где положение с каждым днем становилось все более угрожающим.

Вскоре в город прибыл штаб революционного военного совета армии, действовавшей в этом районе. Эта армия была Четырнадцатой, впоследствии так прославившейся во многих делах.

XII

Я видел Ворошилова, командира армии, который на вокзале провожал красноармейцев. Он показался мне худым и высоким. На нем были простая кожаная фуражка и ладная кожаная куртка.

Он говорил коротко и просто. Говорил скупно, но по существу. Его слова были направлены не в сторону отвлеченных рассуждений по поводу текущего момента, но в сторону реальных требований этого момента.

Тысячная толпа уходящих на линию огня, среди которой были и наши артиллеристы, с большим вниманием и серьезностью слушала речь военачальника.

После его выступления задавали такие же простые, как и его речь, прямые солдатские вопросы, и он не торопясь, деловито отвечал на них. Во время митинга лицо у него выражало крайне сосредоточенную озабоченность.

В полночь нашу батарею погрузили в эшелон. На этот раз батарея была придана южному полку, перебрасываемому из Крыма на восточный участок фронта.

Люди этого полка были закалены в недавних боях, хорошо обмундированы и спаяны той особенной спайкой, которой отличаются солдаты, привыкшие переносить друг с другом все тяжести и опасности войны.

Командир полка, бывший прапорщик, низенький коренастый татарин, похожий на студента, человек необыкновенной силы, носивший пенсне на черном шнурке, заложенном за ухо, всю ночь, не смыкая глаз, сидел со своим помощником, наклонясь над ломберным столом, где были разложены многочисленные топографические карты.

Тяжелые медные подсвечники прыгали по ним, как лягушки, и свет двух свечей танцевал на стенах и лицах.

На Крымском фронте полк потерпел ряд жестоких разгромов. Его состав менялся трижды. Полк занял несколько городов и был известен своей храбростью. Неоднократно раненный, но всегда остававшийся в строю, командир полка был любимцем красноармейцев. Дисциплина в его части была поразительна. Теперь, переброшенный на новый фронт и попавший в новую войсковую среду, командир полка был озабочен многими важными вопросами. Он спешно по карте изучал местность, где придется биться его солдатам. Он взвешивал тысячи неожиданностей, могущих произойти в условиях этой местности. Он рассчитывал количество фуража, провианта и патронов своей части. Теперь у него прибавилась еще одна важная забота – забота о батарее, которую ему дали, и о чужом молодом полке, шедшем под его верховным командованием.

Эшелон шел с еще большей спешностью, чем при нашем выступлении. Дождь и ветер резали по крышам вагонов. Станции головокружительно валились в хвост поезда всеми своими огнями. То и дело во тьме и шуме движения громадного расшатанного состава звучали выстрелы часовых – это значило, что произошло какое-нибудь несчастье и надо остановить состав. Однако состав не останавливался. Перед рассветом с одной из площадок упала корова. Она была привязана за рога к кольцу платформы. Часовой выстрелил. Но командир не разрешил остановить поезд. Корову проволочило версту, после чего она была убита колесами.

Эшелон наш двигался на выручку группе Красной Армии, отбивающейся от добровольцев в юго-восточном направлении. О месте происходящих боев точных сведений не имелось. По словам одних, линия фронта была далеко на юго-востоке, в середине Донецкого бассейна; по предположениям других, фронт в настоящее время находился не далее шестидесяти верст восточнее станции Лозовой, к которой приближался наш состав. Некоторые утверждали, что победа перешла к красным и в настоящее время Деникин отходит к Ростову-на-Дону. Во всяком случае, к немедленным боевым действиям никто из начальников и солдат не был готов.

Часов в одиннадцать утра, в обед, эшелон пришел на станцию Лозовую.

Предполагали, что он остановится не более чем на пять минут и будет отправлен дальше. Однако нас задержали. Никто не знал причины задержки. Солдаты вышли из вагонов и разгуливали по путям. Здесь, как и на прочих станциях, бабы продавали пироги, мальчишки – махорку и девочки – великолепное топленое молоко, покрытое коричневой пленкой, в холодных до поту глиняных кувшинах.

Кроме наших солдат, на станции не было других военных. Командир ходил на телеграф, где долго оставался на прямом проводе, лично выстукивая вопросы и получая ответы, оттиснутые на выползавшей из медного аппарата длинной бумажной стружке. Долгий опыт гражданской войны научил этого человека телеграфному коду и умению обращаться с прямым проводом без помощи телеграфиста.

Выйдя из отделения телеграфа, командир не отдал никаких распоряжений, но, приземистый, злой, в громадной бурке, широкими шагами стал расхаживать по платформе, энергично ухватившись за топографическую клеенчатую, кожаную и целлулоидную клетчатую сумку.

По другую сторону вокзала, у рампы, уже стоял разноцветный новенький состав Реввоенсовета армии.

Несколько штабных в синих галифе вошли в сине-желтый вагон-микст, у дверей которого стояли часовые с ружьями-пулеметами Луиса. Два черноморских матроса с грохотом прокатили по рампе пулемет Максима. В одном месте у зеленого вагона стояли ребром два

желтых ящика с пулеметными лентами. Под вагонами росла пыльная провинциальная трава. Легкий украинский зной стоял над станцией. Лениво кричал петух. Впереди, у водокачки, слабо попыхивал пар.

Там стоял бронепоезд: два угольных, наскоро заблиндированных вагона, посередине паровоз и впереди контрольная площадка, заваленная шпалами, рельсами и стыками.

В угольных вагонах были установлены трехдюймовки со снятыми чехлами.

Несколько черноморских матросов с серьгами в левом ухе сидели у пушек, свесив брюки клеш за борт вагона.

Затем реввоенсоветовский поезд ушел.

Стало пустее и тише. Пел петух.

Командир полка шагал по рампе, изредка заходя в прохладный громадный и совершенно пустой зал первого класса, где его шаги звучали плевками по плитам.

Затем произошло общее движение.

Я видел верхушку водокачки, откуда два черноморца смотрели в бинокль вдаль. Бронепоезд подвинули назад. Сзади подошел еще один эшелон.

– Передки на батарею! – закричал кто-то.

Но и батареи, и передки, и лошади были еще на площадках и в вагонах. Эта команда была бессмысленна. Составы подали еще вперед, и отцепленные паровозы, попыхивая паром, прошли мимо состава назад.

– Разгружайся!

Солдаты, уверенные, что далее придется идти пешим порядком еще верст восемьдесят, вышли из вагонов и откинули бока площадок, чтобы разгрузить артиллерию. Некоторые стали сбрасывать на землю тюки прессованного сена.

Командир полка пробежал к своему эшелону. Одной рукой он держался за карту, другой – за черный шнурок пенсне, заложенный за ухо.

Вслед за тем внезапно всякий шум совершенно смолк, и в наступившей тишине явственно слышались короткие и редкие железные попыхивания пара, бьющего в поршень. Однако в этих редких железных вспышках было нечто угрожающее. Они делались резче. Одна из них громыхнула совсем громко – в лоб.

Тогда все пришло в движение.

Люди тащили сходни к вагонам, чтобы разгрузить лошадей. Лошади прыгали и ломали ноги. Стрелки, обдергивая летние новенькие защитные рубахи, растерянно строились в две шеренги, пересчитываясь и двигая винтовки. Телефонисты тащили куда-то вправо катушки и аппараты. Кто-то страшно ругался. Составы стали опять двигать – сначала назад, а затем вперед.

Впереди, в поле, лежала цепь. Откуда она взялась, было неизвестно. Отстреливаясь, она отступала по вспаханной земле. Несколько всадников с пиками маячили на флангах, прикрывая, видимо, отступление.

Спереди вырвались две гранаты и, низко просвистав над головой, легли где-то в отдалении, за станцией. Там лопнуло два выстрела.

Люди бросались под вагоны.

Черноморцы сбегали с водокачки вниз. Бронепоезд отходил назад. Следующие две гранаты упали ближе, но наступавших не было за суматохой видно.

Паровозы отчаянно засвистали.

Следующая граната проломила крышу вокзала, и из крыши повалил дым и полетели щепки.

Кто-то скороговоркой сказал:

– Добровольческие броневики прорвались в тыл.

Ружейная трескотня приближалась. Шальная пуля щелкнула в рельс и пропела рикошетом.

Началась паника.

Через десять минут станция была почти очищена. Наполовину разгруженные составы уходили по трем направлениям: на Екатеринослав, на Полтаву и на Харьков.

Массы одиночек шли вразброд по вспаханному полю куда глаза глядят. Конные патрули тщетно останавливали бегущих. Эскадроны гнали табуны неоседланных лошадей. Военком какой-то совершенно незнакомой части ехал на бегунках, окруженный всадниками. Издали станция казалась разбитым ульем. Из нее валил дым. Над ней рвались шрапнели. Составы катились, поблескивая стеклами на опустившемся солнце.

Невидимый неприятель, бывший из морских скорострелок по отступающим, приводил в состояние полного замешательства и

расстройства.

Отступив верст за пятнадцать, эшелоны остановились.

Здесь было решено подтянуться и окопаться. Но распоряжений никаких еще никто из командиров не получил. Начальники производили учет сил. Путаница была невероятная. Часть артиллерии была увезена на Екатеринослав, часть – на Харьков. Трех четвертей людей не хватало. Вечер застиг эшелоны стоящими на полустанке в нерешительности.

Командир полка, проходя вдоль эшелона, сказал адъютанту:

– Это все партизанщина. Кустарная война. Мы должны бить гадов по всем правилам.

Две гранаты резнули воздух и разорвались. Одна попала под колеса паровоза, другая раскидала в клочья прессованное сено.

Обезумевшие люди бросились бежать.

По густой желтой полосе зари, как в агонии, скакали всадники, падали стрелки, мелькали руки и ноги. Вся эта бегущая в одном направлении неорганизованная, страшная черная масса, сливающаяся с наступающей ночью, была незабываема.

XIII

Долой партизанщину! Таков был лозунг, под которым летом 1919 года на Украине организовывали Красную Армию. Почти непрерывно армия была в деле. Разнородные, подчас автономные, отряды самых разнообразных родов оружия бились с наступавшими белыми на юго-востоке Украины. Эти партизанские отряды, группы и почти корпуса, не имевшие между собой связи, не имевшие общего командования, подчинявшиеся своему командиру и не признававшие других распоряжений, действовали на свой риск и страх, отражая планомерное наступление Деникина, предпринятое по всем правилам французской и английской стратегии.

При таком положении дел боевых успехов быть не могло. И даже сила одной общей идеи, вдохновлявшей все эти разнородные партизанские единицы, была бессильной остановить наступление белых.

То и дело в тылу вспыхивали восстания, беспорядки и неурядицы. В большинстве случаев они были основаны на пустячных недоразумениях и могли произойти только в условиях отсутствия связи, агитации и единства командования.

Я видел на станции Синельниково партизанскую часть из нескольких эскадронов одного из царских кавалерийских полков. Всадники этого отряда полностью сохраняли свою старую форму (погон и кокард, конечно, не было). Георгиевские кресты, медали и прочие знаки отличия носились солдатами с полным достоинством, и с таким же достоинством, по-видимому, сохранялись все прежние традиции полка. При всем этом полк был революционен и готов был драться за Советы со всей своей доблестью.

Отряд, задержанный по каким-то причинам на несколько дней, расквартировался на станции. Солдаты отряда держались особняком от солдат других проходящих, расквартированных здесь частей. Было такое впечатление, что солдаты этого партизанского отряда считают себя главным оплотом Советов и другим воинским частям не доверяют.

В местном железнодорожном театре ежевечерне шли спектакли. Перед спектаклями устраивались митинги. Солдаты, наполнявшие театр, выходили на эстраду и говорили. Каждый говорил на своем языке и о своем. И сколько было частей, столько было мнений и интересов. Каждая часть оценивала события по-своему. Но никто не понимал друг друга.

Атмосфера была натянутая и взвинченная.

Кавалеристы партизанского отряда заполняли обычно более половины театра. Их ораторы наиболее часто говорили. Я слышал одного из них. Это был коренастый немолодой рыжий улан, по-видимому младший унтер-офицер. У него на груди висел какой-то очень странный медный священнический крест на владимирской черно-красной ленте. Выпятив грудь в коричневом мундире колесом и теребя ус, он стал говорить. Насколько можно было понять, он требовал немедленного наступления и уничтожения внешнего и внутреннего врага. Под врагами внешними он подразумевал белых офицеров, под врагами внутренними – «жидов, чеку и комиссаров». При этом он кричал: «Да здравствуют Советы!»

Керосиновые лампы с трудом пробивались сквозь тяжелый махорочный воздух. Шелуха семечек на пол-аршина покрывала пол. Из дырок полопавшегося занавеса в зрительный зал смотрели блестящие глаза актеров. Из оркестра торчали грифы контрабасов и флейты.

Батарейцы имени Ленина, проездом через станцию зашедшие в театр, были взволнованы словами, произносившимися с эстрады. Один из батарейцев крикнул оратору:

– Эй, ты, чего кресты царские на груди развесил!

Военком схватился за наган.

Внезапно все вскочили с мест. Рыжий улан, побагровевший, потный и злой, подскочил к батарейцу и взял его за ворот. Солдаты заревели. Лампы мгновенно были разбиты.

– Махновцы! – закричал кто-то во тьме и давке.

– Буду стрелять!

И вдруг:

– Берегись, кидаю бомбу!

Озверевшие люди ринулись к дверям, опрокидывая скамьи и теряя фуражки. В ту пору каждый партизан носил за поясом ручные гранаты.

Я видел, как люди выскочили на темную, грязную улицу. В совершенно черном небе несколькими разноцветными звездами блистал вокзал. Туда бежали батарейцы, спасаясь от партизан. Они размахивали ручными бомбами. Хлопнул револьверный выстрел. И еще долго партизаны ходили с фонарями по всем эшелонам, отыскивая батарейцев. Они отдирали тяжелые двери теплушек и освещали спящих. К утру все успокоилось. Но военком артиллерийской части в волнении просидел на телеграфе до утра.

Таково было это время военной партизанщины на Украине.

Политотдельский дневник*

Семнадцатого июня выехали. 18-го приехали. Я был болен. Нас встретил Костин. Он отвез нас на машине, сделавшей на своем веку сто шестьдесят тысяч километров, – то есть четыре раза вокруг света по экватору! – в Зацепы, на МТС.

Был вечер.

Мы пошли в дом и поднялись по деревянной лестнице во второй этаж. Костин занимает две комнаты, не хуже приличных московских, из которых одну предложил нам – столовую. Есть электричество. МТС дает свет даже железнодорожной станции.

Где-то все время постукивает двигатель.

В столовой, где нам постелили, – стол, над ним лампочка под маленьким цветным матерчатым абажуром, два окна, на них шторы; платяной шкаф, письменный столик, превращенный в туалетный, – с зеркальцем, флаконом, мылом, зубными щетками и книгами; несколько стульев; в уголке табуретка, превращенная в детский столик, – с тетрадками, книжками и т. д. У Костина гостит восьмилетняя дочь Леночка. Она спала здесь на диванчике. Теперь ее перевели к Зое Васильевне, жене начальника политотдела. Зоя Васильевна, молодая, милая, услужливая женщина, возится с Леночкой, заменяет ей маму.

Нас кормили, поили чаем, укладывали спать.

Сильный ветер, погода сомнительная, довольно холодно. Хорошо, что взял пальто. Температура около тридцати девяти, знобит. Звезды. Как старых знакомых узнаю Большую Медведицу, Кассиопею и множество других, коих не знаю имен, но хорошо помню форму. Очень белый и яркий Млечный Путь.

Всюду на столбах лампочки.

Свет в нескольких корпусах, но что там – неизвестно. И не хочется спрашивать, – скорей спать!

Близость станции. Сигналы. Семафоры. Звонки. В комнате несколько больших букетов полевых цветов.

Ложимся. Вокруг белые, чистые, чужие стены и чужие запахи нового места. Белая печь. За печью на вешалке пальто и две

соломенные деревенские шляпы, которые называют «брили».

Елисеев тушит свет.

Я лежу. Меня мучат жар и бессонница. Вдруг слышу – во тьме Елисеев ест редиску. Ест, вкусно хрустя. Съел одну, начал другую. Потом еще. И еще. Что такое? Я не знал за ним такого аппетита.

– Елисеев!

– А?

– Что это вы грызете? Редиску, что ли?

– Нет. Наоборот, я думал, это вы.

– Нет, не я.

– Тогда, наверное, это мышь нашла что-нибудь на столе.

Он зажигает свет. Шарит по столу.

Он обходит всю комнату, ищет мышиную нору, ищет долго. Наконец находит возле печки спичечную коробочку и в ней большого жука. Все ясно. Это Леночка спрятала.

– Выбросить?

Жалко Леночку.

Однако жук мешает спать.

Елисеев осторожно выходит в коридор и там осторожно кладет коробочку на стол. Все стихает. Темнота. Меня продолжает мучить жар. Потом я начинаю потеть. Потеею так, что обе простыни хоть выжми. Никогда в жизни так не потел. А вокруг тридцать пять тысяч га колхозных полей, подготовка к уборочной, комбайны, тракторы, бригады, колхозы, полеводы, инструкции, противоречия; все это еще мне не совсем понятно, еще не разобрался, что к чему.

Так до утра.

Двадцать второго Костину нужно было съездить в колхоз «Красный партизан» – отвезти лозунги и материалы к предстоящей политбеседе. Пригласил нас. Часов в двенадцать мы отправились на бричке – Костин, Елисеев, Зоя Васильевна и я. Это километров десять – двенадцать.

По дороге смотрели хлеба. Очень хороши. Земля вокруг тщательно возделана.

Из «Красного партизана» поехали в поле, к бригаде стариков косарей. Их Зоя Васильевна как-то обещала сиять и теперь решила исполнить обещание.

По дороге осматривали хлеба. Особенно меня поразил кусок возле церкви со снятыми крестами – громаднейшая, густейшая, ровнейшая и чистейшая пшеница. Чтобы войти в нее, надо сильно напрягать руки, разбирая ее свежую крепкую чашу. Куда хватает глаз – отличнейшие хлеба. Неожиданно для традиционного русского пейзажа – абсолютное отсутствие межей. Сплошные зеленя.

Дороги прокладывают с помощью трактора.

Мы нашли косарей на склоне балки. Три старика в шляпах и широких рубахах широко и легко косили луг. Густое белое молоко сока сворачивалось большими каплями на срезанных стеблях молочая.

Зоя Васильевна засуетилась, живописно расставила стариков, утвердила свой треножник и велела им косить. Они, очень довольные, пошли цепью вниз, размахивая косами. Трава ложилась легкими рядами.

Тут Зоя Васильевна спохватилась – она забыла в тарантасе кассету. Она с криком побежала за ней.

А старики продолжали мерно и неуклонно идти.

Когда Зоя Васильевна прибежала с кассетой к аппарату, старики уже прошли мимо. Она обежала их и стала снова наводить, но, куда наводила, старики опять прошли мимо, лихо кидая косами. Они ничего не видели и не слышали. Она была в отчаянии. А они, три старика с громадными бородами, сбитыми ветром в одну сторону, шагали вниз по кособогу, неуклонно, равнодушно, торжественно. За ними страшно чернела надвигающаяся туча, бежала рожь, сверкала молния, катился гром.

– Подождите! – кричала она, чуть не плача, эта милая неудачница-энтузиастка в своем сером прозхалатике, с большими растрепанными волосами, и бежала за ними, спотыкаясь, прижимая к груди обеими голыми руками треножник, аппарат, черный платок и кассеты, падающие в скошенную траву.

Старики не слышали. Они размеренно и неудержимо шагали вниз, упоенные славой и предвкушая увидеть свои фотографии в газете.

Между тем гроза приближалась. В черной туче висели светло-белые полосы. Оттуда дышало льдом. С тревогой говорили, что будет град.

Старые косари работали быстрее, чем молодой фотограф.

Гроза не состоялась, Елисеев поймал в покосе ящерицу и спрятал себе в кепи. Ящерица всю дорогу бегала вокруг по голове.

В «Красном партизане» нам дали графин молока и кусок желтого кукурузного хлеба, более красивого, чем вкусного. Мы поели, заплатили за это колхозу три рубля и получили квитанцию.

Я всю дорогу сидел на козлах и радовался, как ребенок. Вспоминал детство – какое счастье сидеть на козлах и погонять!

Приехали около семи и весело пообедали.

Все еще болен. Утром встал рано. За двумя большими, очень широкими окнами туман. Плохой день. Здесь все время погода дождливая. Это удручает.

С жуком в коробке смешное положение.

Костин за чаем рассказывает:

– Ночью просыпаюсь от шума. Как будто бы в коридоре под моей дверью кто-то грызет кость... как вурдалак. Ну, невозможно заснуть. Я выхожу. Обшарил весь коридор. Вижу коробочку. Открываю – жук, будь трижды проклят. Взял эту коробочку, разозлился – и ко всем чертям в окошко!

Мы ахнули:

– Это же Леночкин жук!

Костин смеется:

– Ничего. Переживет.

К чаю является Леночка на своих длиннющих ногах. Она озабоченно идет к печке, пожимает худенькими плечами, ходит по комнате, заглядывает в углы.

Все смеются.

Одним словом, ходили во двор, искали под окном в бурьяне, пока не нашли знаменитую коробочку с жуком. Жук сейчас водворен в банку и закрыт крышечкой.

Немножко гулял возле дома. Ветер, пасмурно, холодно. Скучно. Внизу бухгалтерия и контора агронома. Щелкают счеты, сидят «клерки», согнувшись над бумагами.

Рядом с нами, во втором этаже, специальная комната для заседаний.

Политотдел при Зацепской МТС существует всего каких-нибудь четыре-пять месяцев. Срок, в общем, небольшой – от подготовки к весеннему севу до начала уборочной. Но как много сделано за этот небольшой срок!

Сейчас политотдел при Зацепской МТС является подлинным, крепким, авторитетным партийным центром двадцати двух колхозов и коммун, входящих в сферу деятельности МТС.

Политотдельцы оказались народом выдержанным, настойчивым, целеустремленным.

Они работают под лозунгом: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять!»

И они не на словах, а на деле берут эти крепости одну за другой.

Колхозница пришла в политотдел, чтобы ее научили устроить в своем колхозе ясли. Конную молотилку заменяют паровой, а паровую – комбайном.

Революцией насыщены наши дни.

Громаднейшие, неисчерпаемые запасы человеческой инициативы и энергии освобождаются всюду.

Нужно этой инициативе и энергии дать политически верное направление, нужно их наиболее рационально переработать.

И политотдел направляет, перерабатывает.

Ежедневно через зеленый двор проходят сотни самых разнообразных людей – от семнадцатилетних черноглазых хлопцев и до семидесятилетних дремучих дедов.

И каждый выходит не таким, каким он вошел. Выходит обогащенным, заряженным волей к труду и победе.

Глубоко неверно представлять себе машинно-тракторную станцию только как некое хозяйственное предприятие, предназначенное для того, чтобы за известное вознаграждение посылать свои машины на колхозные поля.

МТС представляет собой сложный политический и культурно-хозяйственный комбинат.

За последние восемь дней помимо своей очередной работы политотдел МТС проделал следующее.

Проведен слет колхозниц-ударниц. На этом слете подробнейшим образом прорабатывались практические вопросы прополки, предстоящей уборки и поставки хлеба государству.

Был слет косарей ближайших колхозов. Восемьдесят человек, главным образом старики, демонстрировали свою подготовку к покосу. На лугу собрались на митинг. Тут же провели конкурс на лучшего косаря. Артели выставили косцов. Косили на первенство артелей. Учитывали не только лучшую косьбу, но и лучшую подготовку инструмента – мантачки, бабки, молотка, ведра и др. Старики передавали молодым косарям свой производственный опыт.

В течение пяти дней происходил семинар секретарей комсомольских ячеек. Проводил занятия весь политотдел. Проработали партийные решения, вопросы уборочной кампании и поставки хлеба государству.

Сто пятьдесят человек переменников собрались, с тем чтобы организовать охрану урожая. Был подробнейшим образом разработан план охраны дорог, посевов, домов. Установили места, где будут построены сторожевые вышки. Сто пятьдесят человек переменников поклялись быть надежной охраной колхозного урожая от кулаков, воров и вредителей.

Пятьдесят селькоров разрабатывали план обслуживания бригад полевыми газетами. Делились опытом. Тут же, на месте, был написан, составлен и склеен пробный, опытный номер газеты «Пером селькора».

В течение полутора месяцев изо дня в день идут регулярные занятия комбайнеров и штурвальных. Их семьдесят человек – пятьдесят три комбайнера и семнадцать штурвальных. Их прислали сюда колхозы, самых талантливых, самых крепких.

Девятнадцать человек прошли курсы машинистов молотилок. Были пятидневные курсы весовщиков, учетчиков, полеводов, силосовальщиков, кладовщиков.

Целый день через зеленый двор проходят все новые и новые десятки и сотни людей. Все помещения МТС с утра до вечера заняты слетами, заседаниями, конференциями, семинарами, комиссиями.

В широкое окно виден зеленый луг двора. Розовые стены строящейся конторы. Свежие штабеля леса. Известка. Камень. Со свистом дышит пила. В ремонтной мастерской крутятся шкивы, летают трансмиссии. Бабы кончают обмазывать коровник. В столовую тянутся гуськом парни и девчата. Это какая-то очередная конференция. Столовая – главный конференц-зал.

Сегодня закончен ремонт.

Стоят машины, готовые к работе.

Зерно возшло далеко не обычной густоты и чистоты. Сквозь хлеба трудно продираться.

А во втором этаже, в небольшой комнате – кабинете начальника политотдела, заседание политотдела с участием агрономов и полеводов. Разрабатывается план уборочной и поставки хлеба государству.

Район принял на себя обязательство доставить хлеб на пункт за двадцать дней. Все дело теперь в том, когда можно будет начинать косовицу. В этом весь гвоздь.

Товарищ Розанов напряженно ждет, что скажет по этому поводу агроном.

– Что ж, Тарас Михайлович, – говорит агроном, дымя длинной трубкой, – что касается начала косовицы, то я думаю – между десятым и пятнадцатым.

Товарищ Розанов вертит шей. Ему мешает ворот ладно выглаженной длинной полотняной рубахи. Он весь розовеет. Сквозь коротко стриженные светлые волосы видно, как розовеет кожа его темени. Он нервно посмеивается, решительно встает и упирается кулаками в стол.

– Вот что, дорогой Евдоким Яковлевич... Это дело неподходящее. Десятое, пятнадцатое... ни то, ни другое.

Он делает короткую паузу – и вдруг как ножом:

– Пятое! Понятно? Пятое... Вот... пятое-е!

Агроном опускает глаза, и очень легкая улыбка скользит по его тонким, плотно сжатым губам. Он пожимает плечами:

– Ну, пусть пятое. Только я не рассчитываю на хлеб. К пятому хлеб безусловно не будет готов. Числа десятого, двенадцатого.

– Ага! Уже не пятнадцатого, а двенадцатого? А я вам говорю, что не двенадцатого, не десятого и даже не восьмого, а пятого. Понятно? Пятого!. Понятно вам? Пятого! – Он наклоняет к столу крупную, розовую, упрямую голову и повторяет: – Пятого... Первый день косьбы – пятого!

– Тарас Михайлович... а если хлеб не поспеет? – жалобно говорит агроном.

– Поспеет! – кричит Розанов. – Должен поспеть!

Все смеются. Но Розанов еще ниже опускает голову, как будто собирается бодаться.

– Нужно вырвать у природы лишние дни, – быстро говорит он. – Не может быть такого случая, чтобы ни на одном участке из тридцати пяти тысяч га не поспел хлеб пятого. Обязательно где-нибудь поспеет. Ведь так?

– Это так. Где-нибудь да поспеет...

– Так вот я это самое и говорю! Значит, что нужно, чтобы не пропустить? Нужно немедленно выделить людей и организовать дозоры. Понятно? Пускай день и ночь ходят дозоры. Как только где заметят, что можно начинать косить, так и начнем, ни одной минуты не пропуская.

Заседание закрывается.

Розанов с непокрытой головой ходит по двору. Ему жарко. Он устал. Где-то вокруг зреют, наливаются хлеба. Он видит эшелон с хлебом, который идет в крупный рабочий центр. Длинный и быстрый эшелон с их хлебом.

Розанов смотрит на небо. Небо в тучах. Дует ветер. Бежит трава. Розанову страшно хочется солнца.

Он идет, опустив крепкую круглую голову. Он бормочет сквозь зубы:

– Нужно вырвать у природы лишние дни. В этом вся штука.

Разошлись по квартирам. Чувствую себя немного лучше.

Обедали.

На столе в стеклянном кувшине громадный букет белой акации. Какой милый, забытый, но с детства памятный одесский запах...

Гулял по двору, размышлял. Сейчас здесь все живет ощущением надвигающегося боя. Надвигающийся бой – это уборка, сдача и т. д.

Виды на урожай блестящие. Общее мнение. Но срок начала уборки зависит от погоды. Будет солнце – уборка начнется пятого. Нет – тогда не раньше пятнадцатого. Десять дней – это чудовищный срок в данных условиях. Все дело решает колос. Мы окружены полями. Там происходит созревание.

Пятнадцать – двадцать дней ожидания. Но эти пятнадцать дней зато с напряжением употребляются на подготовку к самому действию.

На днях ездил в пятую бригаду колхоза «Первое мая», на поле. В семь часов утра.

Они должны были полоть.

Силосная башня. Потом дорога. Ястреб на проводах. Шиповник. Дикая маслина. Кустарник.

Собирался дождь. Было холодно и пасмурно. Возле омета старой соломы – три телеги. Казан, дрова, вода, крупа. Баба-кухарка. Широкоплечий бригадир. Он точил напильником сапы. И еще один мужчина, круглолицый, со щербатыми зубами, добродушный. И еще хлопец лет семнадцати в помощь кухарке – он колол дрова.

Остальные – женщины. Их двадцать пять. Они только пошли с сапами полоть кукурузу, как дождь. Они вернулись бегом к омету.

Разговорились. Жаловались, что им не записывают трудодни.

* * *

Опять пошел дождь. День пропал. Они томились, кутались. Дымились сырые дрова под казаном. Все не могли разгореться. Старая кухарка жаловалась, что непременно помрет от такой погоды, чтоб она провалилась!

– Не умрешь, – сказала ей другая старуха. – Кухарка умрет – ее и поп не запечатает.

Все неохотно засмеялись. Раздражал дождь.

Перед вечером поехали с Костиным в артель за двенадцать километров. По дороге нас застигла гроза. Четыре километра ехали под проливным дождем.

В правлении артели, в маленькой глиняной комнате, застали главу артели Афанасьева. В прошлом это питерский рабочий. Тертый калач. Всюду побывал. Ему тридцать шесть лет. Он маленький, курносый, разбитной, бывалый, хромает.

В империалистическую был шофером в гаубичном дивизионе восьмидюймовых «виккерсов». С семнадцатого года в партии. Был в Кимрах на обувной фабрике. В гражданскую кружил по всем фронтам: Сибирь, Урал, Северный, Польский, наконец, Южный – почти полный круг. Был где-то директором маленькой

электростанции; был районным партработником по крестьянским земельным делам; был председателем суда.

Когда мы вошли, он писал длинное письмо товарищу Хатаевичу.

Артель получила от Хатаевича письмо, теперь он отвечал.

С видимым удовольствием и с наигранным равнодушием Афанасьев сказал:

– Он – нам письмо. Теперь я – ему. Так у нас и наладятся дружественные отношения, переписка.

Рассказывал, как он приехал в январе в артель. Был полный развал.

– Все правление сбежало. Сдрейфили. Председатель Чернов сбежал. Оставил печать маленькому сынишке и сказал: «Дня через два-три сдашь в правление».

Пацан приходит и сдает печать. Смех и грех. Два члена правления, ничего никому не сказав, следом за ним, прямо на станцию, конечно ночью, и тоже, стало быть, сбежали. Один Дейнега из всего правления остался за председателя. Он и голова, и завхоз, он и производственная часть, и секретарь, и все на свете. Сказал: «Не уйду с поста», – и не ушел.

Тут меня прислали. Меня здесь народ добре знает. Я сменил Дейнегу. Дейнега стал членом правления по производственной части. Мы с ним работаем. Голова сельрады, товарищ Устенко, тоже с нами добре работал. Он сюда еще раньше меня приехал. Он вам более подробно может рассказать, что тут творилось. Он, что творилось! Полный развал, окончательный развал. Я вообще по-русски говорю и пишу. Но пришлось говорить и писать по-украински. Теперь у меня в голове форменная путаница, как говорится, «суржик». Пишу по-русски – украинские слова вставляю и наоборот. А недавно я писал своим братьям в Питер письмо, забылся, да и написал его скрозь по-украински. Они мне отвечают: «Что такое? Мало мы поняли!» А я только тогда сообразил.

Голова идет кругом.

Я писал дневник своей жизни. Еще с фронта. Снимал копии со всех писем, которые я писал и которые мне писали. Очень интересно. Это у меня на квартире в Питере осталось.

А вот и товарищ Устенко. Здорово, товарищ Устенко!

Вошел Устенко – большой, костлявый, в брезентовом плаще, с наружностью вольнолюбивого и несколько мрачного солдата-фронтовика революционной, большевистской закваски.

Он пришел с кнутом в руках и сел в углу на табурет. Узнав, о чем идет разговор, он улыбнулся и заметил:

– Ох, тут дел было, я вам скажу! Я здесь уже давно, с ноября месяца. Я свидетель всех этих дел. Могу вам все рассказать, вы только записывайте. А не хотите сами записывать, – я вам могу все сам записать. Вы мне только бумаги достаньте, какой ни на есть бумаги. Я вам карандашом вот столько бумаги напишу, все факты со своей подписью, все как было. Вот столько бумаги могу исписать карандашом, – он показал толстую кипу большими руками. – Я могу и чернилом, только простым карандашом легче: карандаш – тот сам так по бумаге и бегаёт. Я вам могу целую кипу написать за своей подписью, а вы потом как хотите это используйте. Можно, конечно, и в роман вставить, можно и пьеску сделать. Для пьески очень хорошо, как все тутошнее правление разбегалось.

– Я уже рассказывал, – заметил Афанасьев.

– А я вам это все могу написать. Я сам роман из своей жизни написал. Карандашом. Вот такую кипу. Всю мою жизнь описал.

– Где ж он сейчас, этот роман?

– Где? Пропал. Я его оставил на столе и ушел. А у меня, знаете, сынишка маленький. Ну, у него нет другого удовольствия, как что-нибудь шкодить. Особенно рвать бумагу любит. Как увидит – книжка или какая-нибудь тетрадка, он ее сейчас же берет и начинает отрывать листья. Оторвет один – подивится, подивится и бросит. Потом другой, потом третий и так далее, пока по всей хате листов не набросает. А сам смеется! А сам смеется!

Тут и сам Устенко улыбнулся нежной улыбкой отца, восхищенного шкодами своего малютки.

– А что ж, хороший, по крайней мере, был этот сбежавший председатель Чернов?

Афанасьев сморщил курносый нос и вытащил из кармана черный кожаный портсигар.

Председатель из него – пустое место. Он всех боялся. С людьми не разговаривал. Только любил проводить свою линию и с правлением совершенно не считался. Едет в бричке по степу мимо бригады –

никогда к людям не подойдет. Остановит бричку и кричит: «Бригадира!» И командует бригадиру: сделай так, сделай сяк, чтоб все было исполнено. И поедет дальше, даже не попрощается. Он к людям так, и люди к нему так. Потерял всякий авторитет.

Запрется в комнате в правлении. Вот в этой самой комнате. Всю комнату лозунгами залепил. Всюду лозунги, лозунги, лозунги. Народ к нему заходит, спрашивает какого-нибудь совета или же разъяснения, а он положит голову в бумаги, будто бы сильно занят, и молчит. А народ стоит. Его спрашивают, а он молчит, молчит, молчит, и ни слова от него не добьешься, ну буквально ни звука. Или обратно: откинется на спинку стула, задерет голову вверх, нос до горы, закроет глаза и так заносчиво молчит, только ноздри, как две дырки, людям видны, и молчит, и молчит, и молчит с закрытыми глазами, как той проклятый.

Конечно, с ним окончательно перестали считаться.

Каждый делает, что ему захочется, без всякого руководства. И кулачью это было на руку. Они стали вертеть народом как угодно. И ни от кого никакого не имели сопротивления. Прямо развалил все дело. Шляпа.

– А где же они сейчас, ваш бывший голова Чернов и все сбежавшие правленцы? Так и пропали?

– Зачем? Они сейчас все тут. Повозвращались один за другим.

– И Чернов вернулся?

– А как же! Вернулся. Один раз ночью я сижу вот здесь, за этим самым столом, вдруг слышу – такой тихонький стук в дверь, такой осторожненький стук. И такой тоненький голосок: «Можно до вас?» А я ему таким громким басом: «Войдите!» Входит. Осторожненько подходит до меня. Таким мягоньким голоском этак ласково: «Здравствуйте, товарищ Афанасьев». А я ему басом: «Здравствуй, Чернов. Что скажешь, Чернов?» А он: «Вот я пришел». – «Вижу, что ты пришел, и ну?» – «Примите меня обратно в артель». – «А мы тебя, Чернов, и не исключали. Иди в бригаду, работай». Так он и пошел в бригаду рядовым колхозником. Ну, только рядовой колхозник из него оказался абсолютно никуда. Еще хуже, чем председатель. А кажется, был все-таки председателем, все дела артельные должен бы знать... А! – воскликнул вдруг Афанасьев. – Вот и многоуважаемый товарищ Дейнега! Здорово, Дейнега!

Вошел Дейнега.

В черном большом картузе на уши; рыже-черные, сильно опущенные усы; черные, густые, высокие брови на темном, худом крестьянском лице; босой; высоко закатанные штаны; худые, черные от загара и грязи ноги; черный пиджак.

В комнату протиснулся еще один человек, в грубом брезентовом плаще, большой, согнутый в плечах, с длинным, большим носом, а на носу красная горбинка, – распространенный тип украинского крестьянина, из тех, которых называют «дубоносый» или же «дубастый». Он вошел с ясной, но несколько блудливой улыбкой.

– А! Вот вам, пожалуйста! Один из наших беглецов. Товарищ Чернов, бывший наш председатель. А ну-ка, расскажи людям, как ты бегал!

– Бегал – и все. Что ж там рассказывать! Просто бежал без всякой цели куда глаза глядят, лишь бы куда-нибудь подальше.

– Сдрейфил?

– А как же! Прямо скажу – перелякался. Ну его к черту! Ночевал по станциям с какими-то ворами. Горя натерпелся, ну его к бису! Потом вернулся.

Он был немногословен и скоро замолчал.

Пошли разговоры об урожае и о погоде. Урожай должен быть исключительным, но гадят дожди. Каждый день обязательно дождь.

– Как нанятый, – сказал Афанасьев раздраженно. – Каждое утро я смотрю на ласточек. Раз низко летают, значит, обязательно будет дождь. А если не ласточки, тогда у нас главный барометр – пчелы Дейнеги.

– У меня две семьи пчел, – сказал Дейнега. – Как они сидят возле улья и не хотят лететь в степь, значит, обязательно дождь. Каждое утро я на них смотрю: если бурчат мои пчелы, значит, дождь.

Интересная поездка с Розановым в колхоз «Маяк». Правление недалеко, в Зацепах. Поехал в бричке. Часов десять утра.

Погода чудесная, небо в крупных летних облаках, солнце, синева, цветы и жаворонки.

Сначала заехали в правление.

Зашли сразу через контору в камору (склад). Там аккуратно завязанные полные узкие мешки и мешочки; отруби кукурузные в ящике, лари пустые, часы на стене, на печке паяльная лампа и мотки

синего и сурового шпагата, весы с гирями, как в лавке; на стенах хомуты, вожжи, сбруи. Все очень хозяйственно.

Розанов потребовал ведомость. Долго рассматривал записи. Продовольствия, как видно, маловато, это верно, но все же оно есть, оно на строгом учете, расходуется планомерно.

Интересовались свиньями. Оказывается, все свиньи уже поросые. Одна опоросилась. Десять поросят.

– Хорошие они?

Председатель лучисто улыбнулся заросшим ртом:

– Хорошие поросенки. Поросенки хорошие.

Затем мы перешли в контору. Там, в комнате председателя, член правления писал громадную, со многими графами и клетками, ведомость: «Оперативный план обмолота и сдачи зерна государству».

Розанов, сдвинув кепку совсем на затылок, поправлял, тыкая карандашом в цифры.

Цифры обмолота были расположены в убывающем порядке – от контрольной цифры к нулю, по дням.

Розанов требовал, чтобы цифры были расположены по линии, восходящей от нуля до контрольной цифры налога.

Слышалось кряхтенье члена правления, который вслед за розановским карандашом вел по клеткам ведомости свой заскорузлый палец.

Заставив все переделать и терпеливо убедив, что так будет правильно, взял с собою голову сельсовета, голову колхоза, полевода и помощника директора МТС по данному району и вышел к бричкам.

Поехали осматривать поля, их всего две тысячи пятьсот га.

Только что выехали из села, как Розанов выскочил из брички и побежал на пар. Все последовали за ним.

Он ругался за плохую обработку.

Потом спросил полевода Чередниченко, длинного, с впалой грудью и очень длинными руками:

– Тебе, Чередниченко, нравится этот пар?

Чередниченко помялся и сказал, стыдливо улыбаясь:

– Ни, не нравится.

– А тебе, голова, нравится?

– Не нравится, – сказал голова.

– Так вот, ты знаешь, что тебя, Чередниченко, за такой пар надо штрафовать на пятнадцать трудодней. Скажи мне, следует тебя оштрафовать, Чередниченко, на пятнадцать трудодней или не следует?

Чередниченко подумал и сказал:

– Пожалуй, что и следует.

– Так вот. Тебя, к сожалению, нельзя штрафовать, потому что ты тогда, выходит, мало заработал и нечего тебе будет есть, Чередниченко...

Розанов помолчал.

– Сколько ты лет хозяйствуешь, Чередниченко?

– Да сколько... С малых лет.

– Так. А был у тебя, Чередниченко, когда-нибудь такой поганый пар?

– Никогда не было такого поганого пара.

– А ты, голова, сколько лет хозяйствуешь?

– Я? Сколько себя помню – хозяйствую.

– А был ли у тебя, голова, такой паршивый пар?

– Не было.

– Так почему же вы так плохо следите за колхозным паром? Разве это пар? Тьфу! Чтоб сейчас же после обеда поставить сюда три бороны и перебороновать все! Понятно? А то позарастает – тогда придется все опять перебукаривать.

Поехали дальше, но сейчас же остановились и опять вылезли из бричек.

Рассматривали рожь.

Она уже налилась до молочной зрелости, даже гуще. Почти ломается на ногте. Растирали колосья на ладонях, дули, обвеивали.

Решили, что дня через четыре, то есть 7 июля, можно скосить этот участок.

Потом поехали и подожгли скирду старой соломы. Она никому не нужна и только мешает: отнимает место и представляет, когда хлеба созреют вокруг, пожарную опасность. Огонь от спички побежал по скирде, и по ней пошло, разрастаясь, черное пятно величиной в овчинку, окруженное клубничными языками пламени.

Язва на глазах разрасталась.

Повалил водянисто-молочный дым. Из соломы выбежали два красивых хорька и скрылись. Долго любовались мы огнем. Сверху и

сбоку пекло – солнце и огонь.

Потом Розанов ворошил копицы сена. Оно «горело», то есть прело, нагревалось, пахло мышами.

Опять нагоняй.

Жарило солнце. Парило... Шли великолепные облака. Ждали грозы. Казалось, она сейчас начнется. Ветер даже принес от какой-то далекой тучи несколько больших, теплых, увесистых капель; даже гремело где-то очень недалеко. Но небо все время менялось, и грозы все не было. Стало расчищаться. Таких бы десять – пятнадцать дней – и дело в шляпе.

Все были довольны.

Осматривали постройку табора. Несколько женщин покрывали соломой крышу походной конюшни. Недалеко стояла клеть шалаша, где будут спать люди. Обдумывали, где бы сделать походный красный уголок.

Розанов стал показывать, как надо делать маты. Взял несколько пучков камыша. Бригадир обидчиво сказал:

– Если вы, товарищ Розанов, военный и городской человек, показываете нам, то это нам просто совестно: неужели мы, сельские жители, этого не сможем сделать? Обязательно сделаем, за это не беспокойтесь, товарищ начальник.

Затем поехали и остановились возле бригады женщин, выбирающих желтые кусты перекасти-поля и малиновый мышиный горошек из ржи.

Они подошли к нам.

– Кто у вас ланковой?

– А вот ланковой, цей хлопчик.

Хлопчику лет четырнадцать. Он босой, солидно надутый и вместе с тем застенчивый. Большой картуз. Грудь так выпячена и широка, что впереди рубаха короче, чем сзади. Он украшен цветами. На груди букет малинового мышинового горошка и розового клевера; из-под фуражки на коричневое ухо падает веточка мышинового горошка. Зовут Николка.

Пока по его адресу острили, он стоял спокойно, насупившись; он не сердился; он даже не проявлял любопытства; он спокойно стоял среди колхозниц, этот единственный мужчина и начальник, украшенный цветами, как невеста.

Женщины разговорились. Конечно, жаловались.

Розанов сказал:

– А ну-ка, чем зря языками трепать, скажите лучше, готовы ли у вас перевясла?^[1]

– Ни. И на что они нам?

– Как это на что? А снопы вязать?

– Снопы мы зараз, тут на месте, будем вязать.

– А ну-ка, вот ты, бойкая девка, – ты, ты, не прячься, чего прячешься? – покажи, как ты будешь вязать, а я посмотрю. Ну-ка!

Бойкая девка споро вышла из рядов, остановилась, деловито и сильно нарвала большой пучок трав и колосьев, ловко разделила его на две части и стала быстро скручивать в жгут.

– погоди! Пстой! Ну вот и неверно. Да ты не торопись. Ты сначала оббей как следует, все честь честью.

Бойкая девка бросила начатый жгут, снова нарвала большой пучок, тщательно оббила его от земли, нахмурилась, разделила пополам и стала скручивать колос к колосу.

– Ну вот и опять неверно. А ну-ка, вот ты покажи, как надо, – обратился Розанов к другой девушке.

Она вышла, нарвала, оббила и стала связывать.

– Стой. Неверно.

Женщины рассердились.

– Так ты сам покажи. Может, ты лучше знаешь. А у нас так вяжут.

– погодите. А ну-ка, ты покажи, – сказал Розанов, подзывая третью девушку.

Третья девушка вышла и стала вязать.

– Неверно. Совершенно неверно. Пстой. Смотри.

Розанов стал показывать.

– Вот ты первый раз завернула – и стоп. Теперь смотри. Теперь надо колоски всунуть внутрь, чтобы они не торчали. Вот так. – Розанов ловко заправил торчащие колоски внутрь и закрутил жгут. – Вот видите, у нас как делают. Теперь ничего не торчит, гладко, и не разорвешь. Понятно?

Голова колхоза сказал женщинам:

– Верно. Смотрите.

Он ловко повторил работу Розанова, заправив колосья внутрь.

– Вот вам и жгут. Я старик, а десять снопов сделаю, пока вы, молодые, сделаете пять. Учитесь. – И, обратившись к нам, сказал: – Конечно, они еще молодые, серые, им учиться треба.

– Эх ты, – сказал Розанов первой девушке, – такая красивая, толстая, а вязать не умеешь! Тебя никто замуж не возьмет.

– А и не надо, – сказала бойкая девушка. – Я думала, вы меня чем-нибудь другим напугаете. А замуж никто не возьмет – это мне все равно. И так мужчин мало. Я и без чоловіка обойдусь. Я думала, может, вы мне кушать не дадите, тогда другое дело.

– Как же я тебе кушать не дам, чудачка, если ты трудодни имеешь?

Женщины стали смеяться.

Потом мы смотрели силосную яму. Большая и глубокая, прямоугольная, как могила, яма. Осыпалась. Заросла по краям бурьяном. Розанов устроил нагоняй за недостаток внимания к силосованию.

Возле складов станции запахло йодоформом. Это привезли и выгружают два вагона суперфосфата. Через переезд ехали один за другим два трактора «Интернационал» с плугами нашей МТС.

Мы стояли с Зоей Васильевной под жестяным навесом дверей, ведущих на нашу лестницу. Накрапывал маленький дождик. Слева светила луна в три четверти, справа небо было свинцово и блистали молнии. Горизонт был обложен дождевыми тучами и светился темно-красной угрюмой каемкой зари, прерываемой в некоторых местах полосами дождя.

Возле дома, в палисаднике, огороженном деревянным заборчиком, цвела клумба ночной фиалки – маттиолы. Дождь усиливал и без того сильный ее запах.

Зоя Васильевна – жена Розанова – рассказывала мне:

– Я сюда приехала к мужу в апреле. Уже был вечер. Меня никто не встретил на вокзале. Женщина помогла мне донести вещи со станции сюда. Из окон выглядывали на меня любопытные.

Пошел снег.

Я спросила, здесь ли Розанов, – может быть, его вообще здесь нет и я не туда приехала. Сказали – здесь, помогли внести вещи и привели меня прямо к нему в кабинет.

Я попала как раз на бурное заседание. Он едва со мной поздоровался.

Тут я увидела всех.

Они ужасно спорили насчет какого-то теленка.

Тогда здесь, вы знаете, этого палисадника не было, этих деревцов не было, качелей тоже.

Это я потом, в день Первого мая, убедила сделать палисадник, организовала женщин, жен служащих. Мы ходили в сельсовет, доставали кусты и дерева. Вон там куст, – видите? – нам сказали, что это жасмин, оказалось, совсем не жасмин. Но это не важно. А теперь цветет ночная фиалка. Вы чувствуете запах?

Какие здесь были гнетущие дни, если б вы знали! Весна. Дожди. Выехать трактором на поле невозможно: здесь ужасно скользкая почва, колеса скользят, крутятся, на месте буксуют. А каждый день, каждая минута дороги.

Был в колхозных яслях. Это обыкновенная хата из хороших. В одной комнате дети в возрасте от двух с половиной до пяти лет сидели за столиками и дожидались обеда, пели «На полянке сели...». В другой смешной трогательно по стенам очень низко развешаны вешалки, и на них висит детская роба – кофты, курточки, зипунишки.

В третьей комнате – спальня. Там на таких же детских трогательных «козлах» спало несколько маленьких мальчиков и девочек. Воздух плох, не проветривают.

В четвертой комнате, где воздух тоже очень спертый, три коечки. Там больные дети. Таких на сорок человек трое. Остальные здоровые и веселые.

Один большеголовый малыш с лукавыми и страшно добрыми глазами.

– Как зовут?

– Мыкола.

За детьми смотрят девочка лет девяти, серьезная, аккуратная, и взрослая няня в чистом кубовом платье, в белом платке и клеенчатом переднике. Она чиста, но равнодушна. У нее на руках забавный полуторогодовалый пузырь – девочка, очень большеголовая и большеглазая, как мопс, дочка колхозного головы.

В сенях, держась ручкой за столбик, стояла, поджав одну босую ногу, как цапля, и плакала, развозя грязь по лицу, четырехлетняя девочка в платочке. Она содрогалась от плача. Она сегодня первый раз в яслях, – наверное, думает, что мамка ее бросила.

Я к ней подошел с лаской, но она заревела во весь голос. Я спросил того ласкового и веселого малыша с большой плюшевой головой:

– А где мамка?

Он ответил:

– Работает...

– А батька?

– Работает-е-е... – И махнул ручкой в степь.

Село Зацепы. Во дворе школы-семилетки милый садик. А сама школа – обычный школьный каменный одноэтажный дом с колоколом у крыльца. В садике растут кусты желтой акации, вишни, и за ними небольшой огород чудесных высоких маков; они все одного роста, толстые стебли, зеленые коробочки и крупные батистовые цветы – бледно-розовые, бледно-лиловые и белые.

Это же не цветы, это огородная «культура».

Учитель – молодой, деревенского вида человек, с коротко остриженной круглой головой, в серых брюках, деревенских башмаках, в косоворотке стального цвета и кожаном поясе.

По стенам учительской два стеклянных черных, очень плоских шкафчика – вверху стекло, внизу закрытые ящики. Похожи эти шкафчики-этажерки на божницы.

На подоконнике два дешевых голубых глобуса – один побольше, а другой поменьше.

В углу кучка глиняной лепки – дощечки с листьями, фруктами.

От скуки я прошелся по гулким классам. Там ремонт. Наляпано известью. Черные столы, скамьи и доски – все сдвинуто, перевернуто. Небольшое пианино палисандрового дерева. Очень старое. Я поднял крышку и стукнул пальцем по желтому костяному клавишу. Клавиш пикнул. Звук резкий, но без резонанса.

Зимой здесь будет порядок, много детей, шум и в воздухе сухая меловая пыль.

В сенях свалены деревянные капканы для сусликов.

К учителю зашла дочь директора нашей МТС. Ей около шестнадцати лет. Она только что окончила семилетку. Это девушка-подросток. Она красива, провинциальна и застенчива. У нее две небольшие толстые косы, жакет, детская юбка, голые ноги в носках, туфли на низком каблуке.

Зою Васильевну она называет «тетя Розанова», а меня «дядя» и, отвечая на вопрос взрослого, краснеет. Она поступает в Днепропетровске в какой-то техникум. Мне показалось, что она рассчитывала застать учителя одного; увидя нас, она поклонилась и немного покраснела.

На побывке в Москве. Хожу по жаре, среди шума, нарядных девушек. Чувствую себя отпусником с фронта, неловким солдатом.

Выехал из Москвы (второй раз) 15 июля, приехал в Синельниково 16-го вечером. До одиннадцати ждал бердянского поезда. Сел в вагон. В вагоне пусто.

Ночь.

Свет от станции через окна. Жду отправления. Входит какой-то парень. В вагоне плохо видно, но парень сразу обратил на себя чем-то внимание. Он какой-то несуразный, шаркает длинными ногами, валится вперед, идет не то как пьяный, не то как еще не проснувшийся, хлопая ладонями по стенам и скамьям, хватаясь длинными руками за полки.

Он вошел, бормоча что-то под нос, с обезьяньей ловкостью взобрался на вторую полку против меня, сразу упал на нее, свесив голову в проход и высунув чересчур длинные ноги в открытое окно.

Сопел. Плевал на пол. Ворочался. Мычал про себя.

Я курил.

Он сказал мне что-то, чего я не разобрал. Я не ответил. Он отвернулся, сплюнул.

Было похоже, что его мучит жажда. Быстро обернулся и еще раз что-то сказал мне косноязычно. Я опять не понял. Но показалось, что он просит закурить. Я сказал, что у меня последняя папироса. Он промычал, отвернулся, потом вскочил и мгновенно влез на третью полку; оттуда бесшумно перебрался на противоположную, надо мной, и там, в темноте, затих.

Поезд стоял.

Затем ввалились, косноязычно болтая, еще два парня. Они прошли по вагону, согнувшись и хлопая в темноте длинными руками по лавкам. Они, сопя, улеглись на лавки. Затихли.

Потом еще один такой же.

Мне почему-то стало не по себе.

Потом под окном по перрону, разговаривая, прошли какие-то двое... Я уловил одно лишь слово – «душевнобольные».

Поезд стоял.

Мне становилось страшно.

Потом в вагон вошел молодой человек с портфелем. В темноте я видел белый воротник его рубашки, выпущенной поверх пиджака. Он остановился в проходе, осмотрелся по сторонам и совершенно явственно сказал:

– Здесь душевнобольные?

Ему никто не ответил.

Он спокойно говорил:

– Где здесь душевнобольные?

Снова молчание.

Он повернулся и вышел. Это было как дурной сон. Через пять минут молодой человек с белыми отворотами вошел снова в сопровождении кого-то, очевидно железнодорожника.

– Они тут, – сказал железнодорожник, – четверо.

Молодой человек прошелся по вагону, заглядывая на лавки и всматриваясь в темные углы. Он стал считать людей: «Раз, два, три, четыре», – и успокоился.

Он стоял в проходе. На него смотрели с полок парни.

– Что это происходит? – спросил я его.

– А вы кто такой?

Я назвался.

Он любезно протянул мне руку и отрекомендовался:

– Доктор Виленский.

Он сказал, что очень рад этой встрече, объяснил, что везет тридцать человек душевнобольных на станцию Ульяновскую. Там трудовая колония душевнобольных. Они работают совершенно на свободе, им отведено три тысячи гектаров, крупное зерновое хозяйство на правах колхоза. Это первый опыт в таком роде на всем земном шаре.

До сих пор, даже в Советском Союзе, душевнобольные содержались взаперти или под надзором и пользовались только одним правом – мелкой торговли, остальных прав были лишены. Сейчас, по согласованию с Украинской академией наук и Комакадемией, производится опыт свободного трудового поселения душевнобольных. Они блестяще выполняли посевную кампанию и теперь готовятся к уборочной.

Доктор Виленский и с ним еще два врача везут тридцать человек душевнобольных в виде подкрепления. Они набрали их в разных больницах и домах.

Виленский надеется, что урожай будет собран образцово.

Он волнуется.

Он пионер и инициатор этого дела. Они написали подробное письмо о своем деле, имеющем мировое значение, Максиму Горькому, но опасаются посылать до окончания опыта: боятся оскандалиться.

Пока он говорил, душевнобольные окружили его, слушали со вниманием, молча и жадно курия и сплевывая.

– Это новые, – сказал доктор. – Их сегодня в последний раз называют душевнобольными. В колонии это слово вычеркнуто из словаря. Там они – колонисты, и никто не имеет права называть их больными. Все в районе это знают.

Доктор Виленский – молодой бледный человек с большими, черными, немигающими, очень ласковыми, внимательными глазами. У него уже десятилетний стаж. Как все психиатры, он спокоен, внимателен, серьезен и очень мягок.

В этом вагоне он разместил своих четырех человек. Остальные были в других вагонах. Теперь он пришел перевести их, чтобы все больные, «будущие колонисты», находились вместе.

Так как нам было некоторое время по дороге, он предложил мне перейти к ним и два пролета поговорить.

Я охотно согласился. Он услужливо подхватил мою кошелку и велел душевнобольным идти за ним.

Мы устроились в другом вагоне, куда собрали всех больных. Они охотно уступили мне место возле выхода, так как мне нужно было сходить через одну остановку.

Поезд поехал.

Больные просили есть. Пришла немолодая интеллигентная женщина, держа порции хлеба. Она ласково и терпеливо стала оделять хлебом больных. Это была врач, сопровождающая больных.

Начался разговор.

Виленский рассказывал с энтузиазмом о трудовой колонии:

– Вы знаете, как они работают? Замечательно. Исполнительные, аккуратные, честные. К своему труду относятся исключительно. Например, ему поручено, скажем, охранять посевы. Если он поймает кого-нибудь с колосками, прямо ужас что будет. Приходится сдерживать. А одна женщина есть, колонистка, ей поручили смотреть за тремя лошадьми. Так вы посмотрите на ее лошадей! Красота! Толстые, сытые, здоровые, абсолютно чистые. Она их и поит, и моет, и чистит, и кормит. Как за детьми, за ними смотрит. А как же? «Если мне, говорит, поручили лошадей, то будьте уверены на все сто». Есть среди колонистов художник-писатель – прямо исключительный, очень красиво и талантливо пишет, вы обязательно познакомьтесь с его творчеством! Есть артисты, музыканты, скидальщики, мотористы, конюхи, косари. И все замечательно трудоспособные и талантливые. Есть врач, студент. До сих пор думали, что их надо изолировать. Оказалось, наоборот. Вы себе не можете представить, какой у них появляется энтузиазм, когда они попадают из душных комнат на волю! Они не знают, куда девать свою освобожденную энергию. И наша задача – пустить ее по правильному руслу. Это русло – работа. Настоящая, полноценная, полезная общественная работа. В данном случае – хлеборобство. Они включились в трудовую семью и сделали ее достойными членами. Это ли не поразительный факт, невозможный ни в одном капиталистическом государстве!

Пока Виленский рассказывал, нас окружили.

Против нас сидел молодой человек в кепке, с несколько полным и сонным лицом. Он положил локти на колени и чересчур близко и внимательно всматривался в мое лицо. Он долго-долго смотрел и наконец, как бы собирая всю волю и умственные способности, выговорил:

– У вас интересное для рисования лицо. Очень острые углы. Вас можно очень похоже нарисовать.

– Это художник, – сказал Виленский, – он очень похоже рисует портреты, замечательный талант.

– Я вас могу нарисовать, – сказал, медленно собираясь с мыслями, художник. – У вас острое лицо. Я могу вас похоже нарисовать.

Я обещал приехать и позировать. Он сказал серьезно:

– Очень вам благодарен. Я вас могу похоже нарисовать. А вы кто будете?

Я сказал. Он серьезно помолчал и потом отдельно произнес, не торопясь:

– Я вас могу очень похоже нарисовать, товарищ корреспондент, приезжайте к нам.

– Непременно.

Художник долго собирался с мыслями, потом сказал Виленскому, сонно улыбаясь и с большим трудом подбирая и складывая слова:

– Шпрехен зи дейч, геноссе доктор?^[2]

– Я, эйн бисхен^[3], – серьезно ответил Виленский.

Художник задумался, сидел понуро, затем продолжал так же трудно:

– Вифиль габен зи фамилие?^[4]

Доктор внимательно вслушался, не понял и попросил повторить.

– Ви-филь габен зи фа-ми-лие? – повторил сонно и отдельно художник.

– Ах, понимаю, – сказал доктор. – Их габе дрей персон мит мир, айн фрау унд айн кинд^[5].

Художник важно кивнул головой.

– Их ферштее, – сказал он, – жена и ребенок. Зер гут^[6].

Он опять уронил голову на руки и задумался. Со всех сторон на него смотрели с уважением больные. Художник обратился ко мне:

– Шпрехен зи дейч?^[7]

– Бисхен^[8].

Он с удовлетворением кивнул головой и стал рыться по карманам. Он достал измятую пачку папирос «Бокс» и протянул мне:

– Волен зи айн сигаретт?^[9]

Я взял тоненькую, полувысыпавшуюся папироску.

– Данке зер^[10].

Он ласково и серьезно подал мне огня:

– Раухен битте. Их габе нох филь сигареттен^[11].

– Данке шен^[12].

Художник с самодовольной скромностью огляделся вокруг.

– Откуда вы знаете немецкий язык? – спросил я.

Он, очевидно, ждал этого вопроса.

– Я учил его в школе. Теперь почти все забыл. Я был очень болен, я все забыл.

– У него сонная болезнь, – пояснил доктор.

Художник поправил:

– Энцефалит. У меня был энцефалит. Я почти все забыл. Теперь энцефалит прошел, но отразился на мозгу. Мне трудно вспомнить. Я все забываю. Раухен битте нох айн сигареттен^[13].

Ему, видимо, доставляло громадное наслаждение вспоминать и складывать забытые, растерянные немецкие слова.

– Это неизлечимая болезнь, – со вздохом сказал он. – Последствия ее неизлечимы.

– Ну, ничего, подождите, – сказал я в утешение. – Может быть, ученые откроют возбудитель энцефалита, и тогда будет прививка, и вас вылечат.

– Все равно уж поздно. Болезнь прошла. Это последствия. Это уже не вылечат.

И он скорбно опустил голову.

Усаживая меня на лавку, доктор Виленский заботливо разостлал две газеты, чтоб было чисто. Он тоже усиленно приглашал меня приехать. Это от Зацеп совсем недалеко.

– Вы мне дайте телеграмму, я вам вышлю на станцию Ульяновку лошадей, а там всего пятнадцать километров...

Я сердечно простился с доктором Виленским. Он услужливо донес до площадки мои вещи. Я сошел с поезда. Меня встретили Розанов, Костин и Зоя Васильевна. Розанов был в белой рубахе и соломенном бриле. Я заметил, что у него за эти дни сильно загорело лицо...

Я вернулся в политотдел, как в свою семью.

Вот я опять в Зацепах, в МТС, в «своей» комнате с букетом на столе. Я чувствую себя так, как себя всегда чувствует человек, уезжавший на некоторое время и опять возвратившийся. Люди вокруг продолжают жить интересами, смысл которых пока непонятен. Я еще

не в курсе дела, передо мной вьются хвосты, кончики каких-то интересов.

Я понимаю из разговоров, что началась косовица, что во многих местах молотят, но не могу еще понять, почему у всех нервное состояние, почему кого-то надо взгреть, поощрить, почему все время взволнованно выезжают со двора. Что-то происходит вокруг, но что – мне пока неизвестно.

На дворе перемены.

Дом, который строили и рассчитывали вывести в два этажа, теперь решили строить в один этаж. Его уже подвели под крышу и делают стропила.

По двору прошел человек, которого я совсем забыл, но вдруг, увидев его в белой рубахе и восьмирублевой деревенской панаме, с пергаментным, малярным лицом, с длинной, прямой трубкой в оскаленных зубах, вспомнил. Он шел, выставя вперед острые колени. Агроном!

Потом я видел, как он накачивает шину велосипеда, прислоненного к заборчику.

Машин за сараями не видно, они все отправлены в поле. Но двигатель стучит по-прежнему.

Трава во дворе разрослась, но уже нет того мягкого, красивого цвета. Она жестка, суха. Кусты бурьяна, будяков, полыни. Жарко. Дождей нет и следа.

Настоящие жаркие летние дни.

Мы отвезли Хоменко в Синельниково. Был второй час ночи. Поехали обратно. А шофер должен был вернуться опять в Синельниково и подать Хоменко машину в пять часов утра. Когда он спит?

Разговор с Розановым на обратном пути, когда шофер гнал тархтящую в темноте машину полным ходом, километров по восемьдесят в час, по незнакомой для меня и потому страшной дороге.

Я:

– А ты не чересчур, Тарас Михайлович?

Он:

– Что чересчур?

– Не чересчур резко? Тебе не кажется, что нужно немножко погибче, потактичнее?

– Ты, Валентин Петрович, вот что... Если не понимаешь, то не спрашивай... Подумай сначала хорошенько. У нас не парламент. Чего я буду миндальничать? Коммунисты не должны между собою заниматься вежливостью. Нужно крепко ударить по «сырым» настроениям. Я человек военный.

Мы разговорились о перспективах дальнейшей реконструкции сельского хозяйства, об уничтожении противоречий между городом и деревней, о будущем Советского Союза, о мировой революции.

Он весьма начитан в области марксизма и неплохой диалектик, смелый. Он сказал:

– Знаешь, я только сейчас начинаю привыкать к своей новой работе. Я столько лет работал в Красной Армии! Я мечтал сделаться комиссаром, командиром полка. Я кончил Толмачевку и уже получил назначение, как вдруг – бац! – демобилизация. Поедешь начальником политотдела! Ты знаешь, Валентин Петрович, я человек на слезы крепкий. Но тут, как стал прощаться с ребятами... А сейчас уже привык к деревне. Если бы меня отсюда перебросили, тоже бы, наверное, пустил слезу. Очень втянулся. Захватывающая работа. В полку тоже захватывает. Но здесь шире. Перспективы какие! Жизнь ломается.

Однажды Розанов рассказал мне такой случай. Как-то в полку он пошел перед сном проверять караулы – дело было в лагере – и видит, что нигде нету воды, не привезли. А лагерь в лесу, и много деревянных построек.

– Я разнес кого следует и думаю: посылать за водой или не посылать? А уж был час ночи. Ну, думаю, до утра подождем, а утром привезут. Пошел спать. По дороге опять думаю: а может, послать? Мало ли что может случиться! Но все-таки решил не посылать. Пришел и лег спать. А у нас громадный деревянный клуб. Мы сделали. На него пошло три тысячи бревен. Здоровенных бревен! Можешь себе представить! Отличный клуб! Я лежу и думаю: а может быть, послать все-таки за водой? А то вдруг что-нибудь случится... Я, конечно, видел, что воды нет, даже замечание сделал. Есть свидетели, но все же... А вдруг как загорится? Ну, все-таки решил, что можно подождать до утра. И вдруг мне ночью приснился сон – и, понимаешь

ты, такой жизненный, со всеми подробностями, прямо как на самом деле, – что загорелся клуб. Я вскочил как ошалелый. Ну, ты понимаешь, это на меня до того подействовало, что сердце чуть не выпрыгивает из груди. Стучит с перебоями. И в глазах темно. У меня сердце паршивое. Я сильной жары не выдерживаю. Я думал тогда, что умираю. Весь трясусь, и сердце стучит, как будто в грудь кузнечным молотком. Я выпил две склянки валерьяновых капель. Насилу успокоился. Ты понимаешь – клуб в три тысячи бревен! И горит! Это тебе не шутки...

В этом – весь Розанов.

Он долго придумывал, как сушить зерно. Может быть, устроить специальные железные барабаны? Но ничего придумать не мог.

В шесть утра за нами на автомобиле заехал предрика Хоменко. Мы, уже сидя в машине, выпили по стакану молока, которое нам вынесла Семеновна.

В поле «Червонной долины» начало массовой косовицы. Мы туда приехали в семь, но народ еще только собирался. Это объяснили тем, что еще не налажено, еще только первый день.

Кухарка разводила под казаном огонь, рубила мясо.

Хоменко сунул руку в мешок и достал горсть кукурузной муки.

Пицца улучшилась – по двести граммов мяса на человека.

Тяжелая работа за конной лобогрейкой – бабы подбирали жито и вязали снопы.

На другом поле работали два трактора, за каждым по две лобогрейки. Скидальщики парились. На лобогрейки сели Сазанов и Хоменко за скидальщиков. Быстро вспотели. Трактор чересчур быстро косит. За ним трудно поспевать.

Стояла большая тракторная будка, похожая на те ящики, в которых раньше перевозили аэропланы. Она была с окнами и дверью.

Трактористы – все черные, в черной, замасленной одежде и с белыми глазами. Молодые. Деревенские парни. Но уже ничего крестьянского в них нету. Машина придала им вид индустриальных рабочих, а работают они совсем недавно на машинах. Но уже совсем другой стиль, другие манеры.

Тут же производилась торговля. Кооператор в панаме привез на бричке ящик товаров – махорки, книжек, спичек.

У него охотно покупали. Но жаловались, что нема грошей.

– Скоро будут гроши. Соберете урожай, и заведутся гроши.

– Може, и будут, кто его знает.

Вперед загадывать опасаются и не любят. Эту черту – нелюбовь загадывать – я заметил еще в империалистическую, на фронте, когда жил на батарее с солдатами. Ужасно не любят. «Мне должны посылку прислать». – «Може, и пришлют. А може, и не пришлют. И где еще там посылка? Одни разговоры и больше ничего».

Приехал, мигая ослепительно спицами, велосипедист. Привез последние газеты: харьковский «Коммунист», днепропетровскую «Зарю», московские «Правду», «Известия». Их быстро разобрали подписчики. Подписчиков довольно много.

В другой бригаде люди обедали на току. Они обедали аккуратно и скромно, подвинув себе миски с супом, и вынимали из узелков, отворачиваясь друг от друга, еду, принесенную из дому.

Они рассыпались по всему току. Под телегами сидели, под бестарками, в тени молотилки, за бочкой на колесах.

Очевидно, общественное питание здесь еще середка наполовинку.

Одеты все празднично. Бабы в беленьких чистых платочках с кружевной оборочкой.

Говорят, что в старое время отцы возили своих дочерей на базар, разодетых и в беленьких таких же платочках в кружевной оборке, и на этих платочках красными нитками было вышито: «Сто рублей», «Сто пятьдесят рублей» – это приданое девушки.

Почти у всех на шее искусственный жемчуг.

Было число 17-е, а 20-го район собрался отправлять в Днепропетровск первый эшелон зерна в девятьсот тонн, то есть шестьдесят вагонов.

Несколькими днями позже мы были с Костиным вечером в таборе. Бригада Чубаря. Народ расходился по домам. С ним ничего нельзя было поделать.

Мы поехали назад. У нас было свободное место в бричке. Пригласили одну из баб сесть. Подвезли до Зацеп.

Она радостно забралась на козлы и села рядом с кучером, Алешкиным батькой, к нам лицом.

– Почему не ночуешь в таборе?

У нее в потемках широкое, покорное и доброе лицо в сереньком платке.

– Как же я могу ночевать в таборе, когда у меня трое детей дома! Надо накормить и хлеб испечь. И огород пораскрадут.

Н-да...

Это подкрепило мои прежние мысли: раз невыгодно, значит, тут какая-то неправильность в организации.

Я сказал об этом Розанову. Вот соображения Розанова на этот предмет:

– Конечно, невыгодно ночевать в таборе, так как дома теряют картошку и барахло – могут покрасть. Конечно. Но от несвоевременного выхода на работу теряются тысячи центнеров хлеба. И они этого не видят по своей консервативности и по привычке считать свою рубашку ближе к телу. Почему? Потому, что картошка – ее видно, ее можно сегодня, сейчас же, съесть, а хлеб, который пропадает, – хлеб отвлеченный, его не видно сейчас, то есть не видно потерь общих. Теперь понятно?

Я думаю, что Розанов тут немножко «загнул». Надо бы и «личную» картошку суметь сохранить, организовав общественную охрану, и «отвлеченный» хлеб собрать до последнего зернышка на личную и общественную потребу.

На сегодня, 26 июля, по сведениям Розанова, сдано около десяти тысяч пудов хлеба (около тысячи пятисот центнеров). Это мало. Косят с 16-го (по тысяче пудов в день с двадцати двух колхозов).

Костин только что вернулся из объезда. Везде лежит и сушится по сто пятьдесят – двести центнеров жита.

Костин сердито сказал:

– Удивляюсь, как его не раскрадывают! Это редкое благородство. Сюда таскают, туда таскают, все время открыто. Не захочешь – станешь красть!

Всего, значит, по всем колхозам сушится около двадцати тысяч пудов! Сколько это хлопот, рабочей силы, энергии: то его укрывают от дождя, то ссыпают, то опять рассыпают на ряднах.

У Костина в кабинете письменный стол, несгораемый шкаф, выкрашенный в некрасивую коричневую краску. В нижнем ящике

несгораемого шкафа хранятся тарелки; стол другой – с газетами; там лежат очки, бумаги.

В специальной коробочке собрание резолюций партсъездов в красных переплетах. Лежит первый том «Капитала» со множеством закладок и пришпиленных заметок.

В артели немцев-колонистов «Ротер штерн» забавная женщина – секретарь ячейки.

Сейчас ее уже сняли. Эмоциональна, суетлива, бестолкова и болтлива.

Розанов ее здорово «мурыжил».

– В ячейке план хлебосдачи есть?

– План? Хлебосдачи?. План хлебосдачи есть.

– Где он? Покажи.

– Он в правлении.

– Я тебя не спрашиваю, что у вас есть в правлении, а я тебя спрашиваю: есть ли план хлебосдачи в ячейке?

– В ячейке?

– В ячейке.

– В ячейке нету, а есть в правлении.

– Зачем же ты мне говоришь, что он есть в ячейке?

– Товарищ Розанов, план был в ячейке, но стали ремонтировать... сырые стены... невозможно приклеить. Пока он в правлении. Я сейчас принесу.

Она заметалась как угорелая и выбежала из комнаты. Мы долго ее ждали. Минут через пятнадцать она прибежала без плана.

– Где же план?

– Сейчас, сейчас... Его сейчас найдут и принесут. Вы не беспокойтесь. Садитесь, пожалуйста. План сейчас найдут и принесут.

Она села на скамью, положила локти на стол, положила острый подбородок на ладони, выставила стальные зубы и уставилась на Розанова отчаянными глазами, полными готовности и внимания.

– Как у вас дела с хлебосдачей?

– Дела? С хлебосдачей? Сейчас я скажу...

Она встрепенулась.

– Дела с хлебосдачей обстоят так. Нужно укрепить массовую работу, нажать на бригады, добиться перелома в настроениях,

сколотить крепкий актив, выявить лодырей, симулянтов и рвачей, ударить по классовому врагу, усилить партийную бдительность и обеспечить своевременный обмолот и сдачу хлеба государству.

Она высыпала это одним духом, с одушевлением стуча кулаком по столу.

– Стой, стой, стой! Помолчи. Что ты мне бубнишь – надо, надо, надо? Я тебя не спрашиваю, что тебе надо, а я спрашиваю, как у тебя обстоят дела с хлебосдачей. Конкретно: в чем выражается работа ячейки? И твоя в частности, как секретаря? Ну?

Она опять встрепенулась:

– Сейчас я тебе скажу, в чем. Во-первых, мы должны добиться перелома, ударить по гнилым настроениям, сколотить актив...

Розанов смотрел на нее в упор с ледяной иронией. Она смешалась, замолкла.

– Ну, ну, продолжай... Я тебя слушаю. Чего же ты замолчала? Говори, говори... Болтай дальше.

– Товарищ Розанов! – умоляюще воскликнула она и взялась руками за волосы, судорожно их поправила. – Я не знаю, что вы от меня требуете?

– Я от тебя требую, чтобы ты мне коротко и ясно рассказала, что конкретно сделала ячейка для проведения уборочной кампании и сдачи хлеба государству.

– Конкретно?

– Да, конкретно.

– Конкретно мы сделали вот что...

Она положила голову на стол и стала тереться об него большим носом. Вдруг она сорвалась с места и бросилась к двери.

– Куда?

– Сейчас я принесу план.

Она опять пропадала минут пятнадцать. Розанов шагал по комнате, разглядывая маленькие печатные лозунги, аккуратно расклеенные по стенам.

Она вернулась с планом и положила его на стол. Розанов искоса на него взглянул и сказал:

– Это не план.

– Нет, план.

– Нет, не план.

– А что же это?

– Это контрольные цифры. Не больше. То, что мы вам дали, то вы сюда вписали и думаете, что это план.

– Я не понимаю, товарищ Розанов, что ты от меня хочешь?

В ее голосе звучали слезы.

– Я хочу, чтобы у вас был план. По бригадам. По дням. Конкретно: когда и что надо сделать, когда и сколько скосить, обмолотить и сдать. Понятно?

– Понятно, – быстро, с готовностью сказала она. – Когда и сколько скосить, обмолотить и сдать по бригадам... Да?

– Да.

– Так это пара пустяков. Это я тебе в полчаса сделаю.

– Во сколько?

– В полчаса.

– Делай, – сказал Розанов спокойно и выложил на стол плоские карманные часы Первого Московского часового завода. – Сейчас четверть четвертого!

Она с отчаянием посмотрела на часы, но потом гордо сжала губы, деловито засустилась, побежала за бумагой и села писать, бормоча под нос, сосредоточенно разглядывая балки потолка, за которые были воткнуты пучки колосьев, и растирая переносицу тыльной стороной карандаша. Перечеркивая и путая, она написала полколонки. Сорвалась с места, выбежала из комнаты и прибежала со счетоводом – небольшим, вежливым, сухим немцем с папкой под мышкой.

Немец раскланялся и сел помогать.

Розанов поглядывал то на часы, то в написанное.

– Одним словом, у вас ни черта не получается, – вдруг сказал он на пятнадцатой минуте. – Давайте сюда, давайте! Смотрите...

Он вырвал из-под ее карандаша бумагу. Карандаш провел твердую кривую линию.

– Вот смотрите сюда. Товарищ Катаев, дай-ка мне сюда твою самопишущую ручку.

Справляясь со своей записной книжкой, он четко написал план уборочной по бригадам.

– Вот получай. Для точнейшего руководства. Кто у тебя бригадир в первой бригаде?

– Бригадир? В первой бригаде у нас этот... такой высокий... я его знаю, только забыла фамилию...

– Забыла фамилию... – Розанов в сердцах плюнул. – Она забыла фамилию бригадира первой бригады! Сколько времени ты здесь секретарем? Пятый месяц? Хороший секретарь! Замечательный!

– Товарищ Розанов! – закричала она. – Честное слово, я не могу работать! Я писала в райком – они не хотят снимать. Ей-богу, я совершенно не в состоянии что-нибудь делать. Я здесь пропадаю. Я работница районного масштаба...

Розанов большими шагами пошел к автомобилю, где Хоменко жевал хлеб и шофер спал, примостившись на двух передних скамеечках.

Она бежала за нами.

– Поехали! – решительно сказал Розанов.

Громадные вязы шумели вдоль прямой улицы скучного немецкого села. Возле правления обедали несколько человек – ели кашу. Но стол был покрыт серой скатертью и серая соль насыпана в вазочки грубого, деревенского стекла.

Она говорила:

– Товарищ Розанов, вы не беспокойтесь, я это все сделаю. Можете не сомневаться. Все будет в точности сделано.

– Ну, – сказал Розанов и вдруг обаятельно улыбнулся, – у вас тут, кажется, где-то вишни растут? Не угостишь ли нас... фунтика два?

– Вишни?. Да, да! Сейчас.

Она еще пуще засуетилась и послала мальчишку в сад нарвать нам вишен.

– Сейчас вишни будут... сейчас, сейчас...

– Только поскорее, а то нам некогда.

Шофер завел машину.

Возле автомобиля остановилась старуха с клюкой и красным, вытекшим глазом. Она стала что-то злобно кричать по-немецки. Язык немцев-колонистов трудно понять. Мы попросили секретаря перевести. Она нам перевела. Старуха жаловалась, что два старика, с которыми она живет, съедают ее обед, и требовала, чтобы этих стариков строго наказали. Ей было лет восемьдесят пять. Ее седые волосы развевались. Она стучала на нас палкой и грозила кому-то вдоль улицы, вероятно, тем вредным старикам.

- Сумасшедшая старуха, – сказала секретарь.
- Где же твои знаменитые вишни? – нетерпеливо сказал Розанов.
- Сейчас, сейчас будут!
- Нам некогда. Пошел!

Шофер двинул автомобиль. Мы поехали.

Она несколько шагов бежала за нами.

– Сейчас будут вишни! – кричала она.

– А ну тебя с твоими вишнями! – сказал Розанов, и мы выехали из села.

Присматриваюсь к Розанову. Иногда он сидит в белой косоворотке за столом, думает. У него сияют небольшие голубенькие глазки. Большой круглый череп. Ему тридцать два года, но он широко лысеет.

Тогда мне кажется, что вот-вот его рубашка пропотеет на спине, шея станет старчески грубой, черной и пористой, как пробка, череп – лысым, как у апостола, и весь он станет стариком плотником, таким самым, каким был его отец.

Чеховский мотив.

У Зои Васильевны нарыв на ноге. Пришел из зацепской больницы доктор. Он в холщовых брюках, аккуратно выплаженных. Животик. От ремешка брюк в карман тянется аккуратненький ремешочек часов. Люстриновый пиджак поверх сиреневой полосатой сорочки и легкий люстриновый картуз с дырочками для вентиляции. Из бокового кармана торчит футляр термометра.

Он немолод, говорит с украинским акцентом, – долголетняя практика на селе наложила на него отпечаток. Говорят, что он больше занимается хозяйством, чем больницей. Но в общем его хвалят.

Я пошел проводить его до больницы. Я спросил:

– Как вы думаете, доктор, почему в прошлом году были такие затруднения?

– Как вам сказать... По-моему, безобразно велось хозяйство. А сведения давали раздутые об урожае. Налога и не выдержали.

– Но почему же такое безобразное хозяйствование?

Он пожал плечами.

– Вам не кажется, – спросил я, – что таким хозяйствованием кулацкие элементы нарочно доводили до крайности? Пропадай, мол,

все пропадом. Чем хуже, тем лучше!

– Похоже, что так.

– А как, на ваш взгляд, сейчас?

– О, никакого сравнения! Никакого! Сейчас есть хозяин.

Доктор задумался и, сосредоточенно зажмурившись, очень веско повторил:

– Хозяин... Настоящий хозяин... Вот видите траву? – Он показал на сухой, пестрый, пыльный луг, розово освещенный вечерним солнцем, луг, через который тянулась длинная и острая тень колокольни. – Коровы, овцы ничем, кроме этой травы, не питаются, но сейчас же перерабатывают ее в жиры, в молоко, в масло. А кормите травой человека – этого не будет. Значит, организм животных является вспомогательным для переработки зелени в жиры. Своеобразный агрегат. Сколько у нас этого сырья, из которого делаются жиры! Но еще животных мало. А они необходимы. Это ближайшая проблема. У нас нарушен в хозяйстве жировой баланс. Надо восстановить, надо. Толстой это для других писал, насчет только хлеба... проповедовал... Поверьте мне, как врачу.

– Толстой не признавал докторов, – поддразнил я его.

– А доктора не признают Толстого, – сказал он. – Ну, будьте здоровы, приходите посмотреть прием больных. Это вам будет интересно. Я принимаю человек сорок – пятьдесят в день. А комбайны косят в балке. Это отсюда недалеко. Пройдите вдоль кладбища, а потом километра полтора.

Возвращался домой пешком, по высокому железнодорожному полотну, широко загибающемуся к станции.

Солнце село.

Темно-клубничный закат, на нем, как бы вырезанная из черной фотографической бумаги, наклеена двугорбая церковь. Сиреневый пар над паровозом. Огни семафоров, красные и зеленые. Блеск рельсов.

Если бы не комбайны и не грузовик, проехавший только что в облаке пыли к элеватору, – вполне чеховский пейзаж, особенно этот доктор. Надо пойти к нему в больницу на прием, чтобы окончательно отдать дань чеховской традиции.

Осмотрели табор «Парижской коммуны».

Это роскошный, образцовый, показательный табор.

Тут высокий, просторный курень с мужским и женским отделениями, со столом в проходе, со скамьями, с хорошо убитым земляным полом, посыпанным, как на троицу, срезанной рогозой и полынью.

Всюду лозунги, графики, газеты.

Недалеко – кухня. Хорошенький временный домик под черепицей. Столы, скамьи, посуда, бочка, ведра, бак, кружка.

Стоят в ряд бестарки, хорошо выкрашенные в красный цвет, с желтыми лозунгами и надписями.

Ходит интеллигентная девушка-практикантка, студентка из Ленинграда.

Но Розанов как бы не замечает всего этого.

– Сколько зерна сдали?

Оказывается, мало.

– Вот так так! Вот прекрасно. Все есть: и табор, и бестарки, и кухня. Хоть на выставку. Все есть, кроме зерна. Красиво... Очень мне нужен ваш табор без зерна! Я предпочитаю зерно без табора! – кричит Розанов.

Но мне очень понравились и табор, и кухня, и бестарки, и весь стиль коммуны. Все чисто, аккуратно, с иголочки.

Машины расписаны цветами.

Производит впечатление, что крепкая, талантливая молодежь «играет» в труд.

Но разве это недостаток, если в результате этой игры – образцовое, большое, очень хорошее хозяйство? Наоборот, труд должен быть желанным и радостным. И зерно сдадут. Обычно «Парижская коммуна» на первом месте.

Это здесь знаменитый бригадир Ганна Рыбалка, о которой мне много говорили.

Но я ее еще не видел.

Розанов, особенно требовательный к интеллигентным работникам, стал «брат в работу» председателя коммуны Назаренко.

Назаренко, высокий, красивый парень в белой рубахе, спокойно сидел за своим письменным столом.

По очереди входили коммунары и коммунарки. Я ждал появления легендарной Ганны Рыбалки. Но ее все не было.

– А где же Ганна Рыбалка? – спросил я шепотом. – Почему ее нет?

– А вот же она, – сказал мне Хоменко, показывая глазами на женщину, давно уже сидевшую подле двери на скамье.

Вот уж никак не ожидал, что это именно и есть знаменитая Ганна Рыбалка. Я представлял ее высокой, стройной, смуглой девятнадцатилетней красавицей, в майке с засученными рукавами. Она оказалась низенькой, плотной женщиной, в белом платочке с кружевной оборкой, в белой деревенской кофте, в сборчатой юбке, лет двадцати пяти. Курносая и очень бровастая, она никак не подходила ни к своей репутации, ни к своему поэтическому имени – Ганна.

Однако, присмотревшись, я нашел в ней очаровательную, немного ироническую усмешку, замечательной белизны зубы и грубоватую женственность молодой крестьянки. Маленькая босая ножка. Она сидела скромно и молча. (Только один раз усмехнулась каким-то своим мыслям.) Она досидела до конца, не выступала и по окончании заседания встала и незаметно вышла.

С ней сейчас целая история в коммуне. Недавно она сошлась и стала жить с председателем коммуны Назаренко.

Бригадир живет с председателем! Родственные связи!

Пошло недовольство части правленцев. Под Ганну давно подкапывались соперники. Ее бригада всегда первая; ей не могли простить, что она первая во всем районе закончила сев и ездила с рапортом в Москву, к генеральному секретарю комсомола.

Теперь враги поставили вопрос: совместимо ли быть бригадиром и вместе с тем женой председателя?

Назаренко для Ганны бросил свою жену и троих детей. Старики этого тоже не одобрили.

Начались разговоры, что Ганна потеряла авторитет и ее надо сместить с бригадирства или чтоб Назаренко ушел из председателей.

Наши политотдельцы ездили решать это дело. Ответственная вещь – снимать зарекомендованного работника, образцового и незапятнанного бригадира в такое напряженное время.

Разобравшись, нашли, что Ганна работает по-прежнему отлично. (А говорили, что в связи с медовым месяцем она стала немного манкировать.)

Ганну оставили в бригадирах. Во время разбирательства дела она держалась скромно, не выступала и мнения своего не высказывала: терпеливо ждала, что решат. Назаренко – тоже.

Отец Назаренко, старик-коммунар, сказал свое мнение:

– Я считаю, что по сравнению с прежней женой моего сына Ганна ни черта не стоит. Во-первых, та баба добрая хозяйка, во-вторых, трое пацанов, в-третьих, Ганна уже со многими жила. Она жила с моим младшим сыном Назаренком и со старшим сыном Назаренком, а теперь живет со средним. Понравились ей Назаренки! Но это долго не протянется. Они поживут-поживут, и он опять вернется до своей бабы. Это я вам говорю.

Старик Назаренко был в австрийском плену, знает немецкий язык и немного итальянский. Его уважают. Он в коммуне занимается какой-то полуадминистративной работой, – кажется, «обликовец», учетчик. Он аккуратно одет, бритый, в строченой панаме серого полотна, похож на фермера. У него три сына – и все коммунары.

Часа в два ночи испортился автомобиль. Как раз только что проехали мостик. Низина. Вокруг болотные большие сорняки. Целая заросль. Сильная ореховая вонь дурмана, рогозы, рокот лягушек и крики жаб – те знаменитые ночные звуки, когда как будто кто-то дует в бутылку.

Сырая темнота и масса звезд в черном небе.

Испортилось магнето. Мы зажигали спички одну за другой, и при их свете шофер чинил.

Адски хотелось спать.

Розанов спал.

Часа через полтора, изведя два коробка, починили и поехали...

Мчались, наверстывая время, как угорелые. Перед нами, ослепленные фарами, метались, взлетая с дороги, совы. Одну сову убило радиатором.

Неслись по обеим сторонам дороги сказочные растения. Перед фарами кружились добела раскаленные мотыльки.

Подул неожиданно горячий, сухой ветер.

Дьявольская, шекспировская ночь!

Розанов вошел в комнату с котенком.

Под лестницей родила кошка. Котята подросли.

Он вошел с котенком в одной руке и с блюдцем молока в другой. Он поставил блюдце на пол возле моей кровати. Тыкал пестренького котенка мордочкой в молоко.

Котенок пищал, как воробей чирикал.

Розанов сиял, ласково приговаривая:

– Так-так-так-так.

Розовенький язычок быстро замелькал в блюдце с голубой каемкой.

Нынче:

«Ведомость о ходе косовицы, молотьбы, хлебосдачи на 28 июля 1933 года.

1. Нужно скосить 25127 га
 2. Скошено 7538 га
 3. Связано 6603 га
 4. Сложено 6368 га
 5. План хлебосдачи 91329 центнеров
 6. Сдано хлеба 1834 центнера
 7. Вылущено 32 га
 8. Поднято под зябь 11 га
- 28 июля 1933 г.».

(И кудрявая подпись.)

Все это на клочке плохой бумаги, лиловыми чернилами.

Секретарь ячейки артели «Чубарь» товарищ Драчев.

Я познакомился с ним утром.

Он не был в поле. Он занимался делами в селе. У него три дела, требующих немедленного вмешательства: 1) засолили мясо для питания бригад, но оно портится, пахивают кости, надо пересолить; 2) в детских яслях произвести осмотр детей, вызвать доктора и устроить изолятор для больных; 3) горит в амбаре мокрое жито.

Драчев – человек новый. Он здесь всего два года. Обычная судьба деревенского коммуниста – перебрасывают.

Сначала был где-то беспартийным активистом, хорошим работником, предколхоза, предсельсовета, кандидатом партии, потом партийцем.

Тогда его стали перебрасывать с места на место секретарем.

Здесь он с тридцать первого года.

Ему лет тридцать. Он чистенько одет, довольно крупный, молодое лицо, полудеревенский, соломенная рваная шляпа, одинок, живет «на квартире», по профессии скидальщик.

Он пошел от правления артели через знойную улицу, вошел во двор – там погреб.

В холодной тьме погреба кладовщик рубил мясные туши и засыпал их солью.

Драчев залез в погреб, перенюхал каждый кусок, велел отделить мясо от костей и складывать отдельно.

Он доволен, что бригады обеспечены недели на две мясом. А потом еще есть запас постного масла.

С руками, до локтей запачканными соленой сукровицей, Драчев вылез на солнце и зажмурился.

Потом он вошел в амбар против церкви. Велел отпереть. Жито было навалено кучей. Он опустил в жито руку. В глубине оно было мокрое и горячее.

Никакой вентиляции.

Он велел открыть ставни и окна.

Возле амбара бабы сушили на мобилизованных ряднах зерно. Он и его пощупал.

На чердак вела лестница. Одна деревянная ступень отсутствовала. Он приказал сделать немедленно.

Была бочка, но без воды. А вдруг пожар? Он велел немедленно налить водой.

Бабы подметали зерно вениками из полыни.

В яслях уже был доктор.

Из сорока двух ребят трое больных. Их отделили. Дети водили хоровод и пели песенку про бригадира первой бригады. Новую песенку на старый мотив. Кто сочинил ее – не мог добиться.

Драчев долго ходил по комнатам яслей, совещаясь с доктором. Сговорился с ним, что доктор завтра в обеденный перерыв придет в табор и проведет беседу на медицинскую тему.

Потом Драчев поехал в табор – за три километра от деревни.

По дороге он срывал кое-где колоски и растирал зерна на ладони, обдувал, веял, пробовал зерно на зуб и на ноготь – определял зрелость.

Приехал как раз в обеденный перерыв. Кончили молотить.

Сидели с чашками и мисками, обедая.

В красном уголке – в шалаше – парнишка и дивчина сочиняли полевою газету.

Суетился возле четырехлампового приемника рыжий Циба, комсомолец и продавец в лавке Днепромторга. Радио было налажено, но не могло работать, так как требовалась для аккумулятора кислота.

Драчев сказал, что в деревне, в парикмахерской, сидит молочарник соседней коммуны, который обещал дать литр кислоты, только чтобы с ним кто-нибудь поехал.

Циба вскочил на ноги:

– Я сам, бачите, як электротехник...

И тотчас, задыхаясь, убежал в деревню. Ему во что бы то ни стало хотелось, чтобы вечером работало радио.

Осмотрев табор и сделав ряд хозяйственных замечаний, Драчев сел отдохнуть, но тут кончился обеденный перерыв, и он пошел на косилку скидывать.

Скидальщик он лихой. Вырабатывает норму, то есть имеет ежедневно полтора трудодня.

Когда фотограф захотел его сфотографировать, он снял шляпу и обнажил выбритую, круглую, голубую голову.

– В шляпе будет интереснее, – сказал фотограф.

Но Драчев убежден, что шляпа ему не идет. Так и снялся без шляпы.

Он, как правило, ночует в таборе, в бестарке на сене.

Я представляю себе, как на рассвете открывается крышка бестарки, высовывается бритая голова Драчева и сощуренные молодые глаза оглядывают спящий табор, покрытый густой свежей росой...

Как-то поздно вечером, часов в девять с половиной, я шел мимо поля. Несмотря на то что было уже почти темно, бригада баб складывала копны. Высокий, в шляпе, Драчев стоял и показывал, как надо копнить.

Бабы со всех сторон сходились к нему и складывали крестом снопы у его босых ног.

Подпрыгивая, она бежит через двор, от тракторных сараев к жилому дому.

Я издали вижу ее желто-розовое, как пенки вишневого варенья, давно не стиранное ситцевое платье, ее грязные коричневые ноги в каких-то невероятных, стоптанных туфлях, пестрый женотдельский платочек на черных курчавых сухих волосах.

Она сильно размахивает большими голыми мужскими руками. Блестит ее пенсне.

Это сорокалетняя женщина, агротехпропагандистка, товарищ Бузулук.

Она так же нелепа и странна, как и ее фамилия.

Она пролетает мимо меня, замечает, хочет остановиться, запинается, потом в отчаянии машет рукой и пролетает дальше.

Она скрывается в дверях дома, но тотчас выскакивает оттуда и мигом мчится назад к тракторному сараю, большая, как лошадь, нелепая, неряшливая, взволнованная...

Она опять хочет остановиться возле меня, но опять-таки с отчаянием машет рукой и уносится к тракторному сараю.

Зачем, по какому делу она бежала туда и обратно – неизвестно.

Ее прислали для агротехпропаганды, но она сама признается, что к этому не лежит ее душа. По склонностям и темпераменту она массовик, культagitатор. Она в институте занималась главным образом кружками, стенгазетами и т. д.

Здесь она добровольно взяла на себя организацию так называемого культкомбайна.

Культкомбайн – это большой фургон, снабженный радио, листовками, стенгазетой, лозунгами, карикатурами, гармоникой, доской лодырей и ударников и т. д. Он должен выехать на поля и ездить по бригадам, обслуживать их во время обеденного перерыва и после работы, вечером.

Соня Бузулук всей душой отдалась этому делу. Она руководит художниками, сама красит колеса охрой, носится как угорелая. Она энтузиастка. К любому делу она относится с таким жаром, с таким порывом, что за нее становится страшно. Она никогда не говорит

спокойно, а всегда со страстью, с муками, как будто рожает. За всякое дело она «болеет».

У нее детское платье без рукавов. Под мышками мускулистых, мужских рук растут сухие черные волосы.

Кем бы она могла быть? Помощником провизора? Акушеркой? Что-то в этом роде.

Но она крестьянка. Из земледельческой еврейской колонии под Херсоном.

С малых лет она работала на земле и хорошо помнит, как трудно было работать, как эксплуатировали управляющие, помещики... на своей спине испытала.

Подготовка агиткомбайна идет хорошо, быстро. Но ей все кажется, что медленно. Каждую минуту она думает, что все пропало, все погибло, ничего не выйдет, все пошло прахом.

Она, если так можно выразиться, энтузиастка-пессимистка. В ней ничего женского, кроме застенчивости и доброты.

Она застенчива феноменально. От застенчивости она может вдруг, ни с того ни с сего выбежать из комнаты, нелепо размахивая руками; от застенчивости она может накричать, набузить.

Она живет где-то в Зацепях. Чем она питается, укрывается ночью – неизвестно.

Иногда она прибегает попросить у Семеновны иголку и нитку. Потом она сидит где-нибудь в уголке и неловко зашивает платье.

Над ней все подшучивают, но все признают в ней большую душу и чудесную доброту.

Ее очень любят.

Это чудесное, нелепое, милое существо, сорокалетний ребенок.

Сначала она набросилась на меня, заставила писать лозунги, придумывать рисунки. Но так как она все мои короткие лозунги превращала в длиннейшие афоризмы, полные придаточных предложений и тавтологий, я скоро охладел к агиткомбайну.

Она махнула на меня рукой. Она таинственно говорила про меня:

– Я уже на него не надеюсь.

Но просила мне этого не передавать. Мне все же сказали.

Я спросил ее:

– Бузулук, так, значит, ты уже на меня больше не надеешься?

Она страшно покраснела.

– Ничего подобного, – и таинственным шепотом: – А кто тебе сказал?

– Зоя Васильевна сказала.

– Ну, я ей ничего больше не буду доверять.

– Почему же ты на меня перестала «надеяться»?

– А ты почему не пишешь ничего?

– А откуда ты знаешь, что я не пишу? Может быть, я пишу роман.

– Рассказывай!. Где ж он?

– Чудачка! Роман надо писать год-два. О Магнитогорске я писал полтора года. Подожди, напишу.

– И мы будем читать?

– Будете читать.

– Только ты смотри, про меня чего-нибудь такого не напиши.

– Обязательно напишу.

– Что ж ты напишешь?

– Что ты малохольная.

– Ну!. – воскликнула она, покраснев, и хлопнула меня осторожно по плечу своей мужской по величине, но вялой рукой. – Сам ты малохольный!

Если она что-нибудь хочет сказать, она никогда не говорит прямо, а всегда конфиденциально.

Таинственно тащит за руку, подталкивает костлявым потным плечом в соседнюю комнату, в коридор, в закоулок, если на дворе, то за дом, за скирду; отводит от других, таинственно шепчет:

– Иди, я тебе что-то скажу... Тебе нравится агиткомбайн?

– Нравится.

Она тяжело вздыхает.

– Нет, это верно, что тебе нравится?

– Верно.

– А почему он тебе именно нравится?

– Потому что он хороший.

Она долго смотрит в глаза, потом застенчиво фыркает, стучает по плечу и говорит:

– А ну тебя совсем! От тебя никакого толку не добьешься. Я уж на тебя не надеюсь.

Все же агиткомбайн у нее вышел «на ять». Весь в картинках, в портретах, в флажках, он в срок выехал в поле.

Она отправилась на нем, сидя рядом с кучером, как хозяйка бродячего цирка.

Потом в Днепропетровске она выхлопотала какую-то капеллу из одиннадцати человек.

– Приедут артисты, – торжественно заявила она и прибавила: – Тут у нас и писатель, тут у нас и фотограф, тут у нас и артисты, тут у нас скоро будет и легковой автомобиль. «Дела идут, контора пишет...»

Только что влетел взволнованный Марковский, секретарь ячейки МТС.

В линялой розовой майке, он похож на уличного акробата. Черный, носатый, остряк, жлоб.

– Костина нет?

– Нет.

– Тьфу, черт! Костина нет! Розанова нет! Гавриленко нет! Вот в чем дело. Там комбайн косит, так в полове вылетает половина зерна. Прямо преступление! И вот такие куски оставляют нескошенными. Прямо уголовное преступление! Ну, я побегу!.

Еле переводя дух и вытирая коричневой рукой лоб, исчез.

Как в люк провалился.

В «Шевченко», между прочим, с двух га вчера намолотили пятьдесят центнеров ячменя. Сто пятьдесят пудов с га.

Вот это урожай!

С актерами невероятная возня.

Соня Бузулук совершенно обезумела.

Она их вызвала, они приехали; теперь их надо расселить, кормить, возить, нянчиться с ними.

Она совсем потеряла голову. Она, идеально бескорыстная, столкнулась со странствующей богемой.

Картинка!

Они ходят по МТС, разыскивают еду, просят хлеба, масла, требуют молока.

– Слушай, иди сюда...

Она заводит меня за угол дома и таинственно, отчаянно шепчет:

– Что мне с ними делать?

– С кем?

– С этими самыми... с этой капеллой, чтоб она провалилась!.

Но сама сияет.

– А что такое?

– Невыдержанная публика. Совершенно безыдейные настроения...

– А что такое?

– Все время кушать требуют.

– А ты как думала?

– Вот чудак! Я их вчера кормила, позавчера они тоже так здорово нажрались... А сегодня, представь, чуть утро – требуют кушать! Я так думаю: вчера подкормились, сегодня могут подождать. Окончательно разложившаяся публика. Но я их перестрою. Ты увидишь, я их перестрою.

На территории МТС появились артисты.

Шел руководитель, пожилой вкрадчивый «арап» в стального цвета толстовке и тюбетейке.

Он шел, как кот, к кладовой с запиской в руке. Вероятно, что-нибудь получать.

Шел скрипач с футляром.

Парочками гуляли девушки, так резко бросающиеся в глаза на фоне местного народа. Явно – приезжие.

На другой день Соня Бузулук увезла их в поле.

Они были долго в отсутствии. Соня Бузулук держит их в таборе и, как слышно, перевоспитывает.

Как-то она появилась на час.

Отвела в сторону, загородила от остальных и жарко зашептала:

– Понемножечку перевоспитываю. Во-первых, отменила костюмы. Зачем им в этих пестрых костюмах выступать? Пускай так, как есть, выступают. Во-вторых, переделала их репертуар. А то они вчера как начали спевать полтавскую старинную песню, так, представь себе, все бабы начали плакать. Те поют, а эти режут. Те поют, а эти разливаются. Ну, я это прекратила. Мне надо что-нибудь бодрое, заряжающее – одним словом, на все сто. Правильно?

Я засмеялся.

– А ну тебя! – закричала она, махнула на меня рукой, как на окончательно погибшего, и исчезла.

Поездка с фотографом в бригады «Першого травня», «Маяка».

В третьей бригаде «Першого травня», в таборе, нашли Соню Бузулук с ее фургоном.

Я издали заметил в толпе ее платье и флажки фургона.

Когда мы подъехали, возле агиткомбайна на лужке сидели широким кругом колхозники, преимущественно женщины.

Артисты стояли, готовые к выступлению.

Бузулук села, подобрав ноги, посередине, в пыльную траву, и стала говорить. Она говорила очень спокойно, вразумительно, популярно и медленно. Я не ожидал. Ее очень внимательно, сочувственно выслушали. Она, очевидно, действительно неплохой массовый организатор.

Потом – капелла.

Сначала спели хором какую-то вещь Гречанинова, потом – из современных, потом две девушки плясали русскую под хор и скрипку.

Скрипка звучала под открытым небом совсем слабо.

Девушки сорвали с луга по цветку, и началась пластика.

Колхозники бесстрастно, но внимательно смотрели и слушали.

Потом руководитель и одна из девушек под аккомпанемент той же скрипки прочли в два голоса частушки о том, как надо вязать, как надо подбирать колоски, как надо не лениться. Очень бойкие частушки с упоминанием фамилий бригадиров.

Бузулук в это время подползла ко мне и впиалась в мой локоть:

– Ну? Ты слышишь? Как тебе нравится? Это мы им сами составили частушки.

– Кто именно?

– А не все ли тебе равно, кто? Мы и мы. Нравятся?

– Нравятся.

– А ну тебя...

– Все-таки – кто сочинял?

– А ты сперва скажи: хорошо или плохо?

– Хорошо.

– Определенно?

– Определенно.

Она с удовольствием зажмурилась.

– Это местный хлопчик сочинил. Видишь, сидит, такой курносый, под агиткомбайном, в картузе? Иди сюда, я тебе имею что-то сказать.

Она согнала меня с места и отвела за будку.

- Как тебе нравится?
- Что?
- Как я их перестроила.
- Нравится.
- А ну тебя! – Она с отчаянием махнула рукой.

Танцевали под скрипку. Сначала стеснялись. Потом пошло несколько пар. Сам бригадир Циба (это не рыжий Циба, а другой Циба, фамилия распространенная), сам бригадир Циба танцевал казачка.

Сделали снимок.

В шалаше красного уголка, украшенного лозунгами и зеленью, сидела, перебирая струны балалайки, вишневецкая учительница Зина Антоненко.

Я заметил ее еще в прошлый приезд, когда мы с Елисеевым читали лекцию о технике стенных газет в столовой МТС.

Она тогда сидела с краю первой скамьи, боком, в черном, длинном, легком платье, высокая, стройная, смуглая, даже, я бы сказал, элегантная. На ее голове был повязан каким-то не то бантом, не то тюрбаном черно-желтый вуалевый шарф.

По окончании лекции она аккуратно собрала свои тетрадки и ушла по полотну железной дороги вместе с двумя какими-то молодыми, высокими, красивыми парнями. Они шли трое по полотну, братски положив друг другу руки на плечи, и толкались, играли, – видимо, дружили.

Теперь она сидела в шалаше, украшенном зеленью, и меланхолично перебирала струны балалайки.

На ней было розовое плотное платье.

Она некрасива. У нее почти негритянский нос с широко раздутыми ноздрями. Он именно и портит ее лицо. Остальное прелестно. Светлые глаза, темные украинские брови, небольшой розовый сухой рот.

Ей лет девятнадцать.

Мне рассказали про нее интересную вещь. Она с пятилетнего возраста воспитывалась в коммуне имени Ленина. Теперь комсомолка, и комсомол послал ее учительствовать в Вишневецкую.

Таким образом, она – продукт коммуны. Ее воспитала коммуна, где у нее мать печет хлебы, где у нее работают две сестры и брат.

Это интересно.

Я подсел к ней, но она отвечала на мои вопросы неохотно и как-то невразумительно, по-украински. А я плохо понимаю. Часто говорила слова «звичайно», «цикаво», которые казались мне насмешливыми.

Но я ошибался. «Звичайно» – это просто-напросто «конечно», а «цикаво» – интересно.

Я пригласил ее как-нибудь вечером зайти поговорить.

Она сказала: «Звичайно», – и стала крутить из газетной бумаги и махорки папиросу.

Она много курила.

Соня Бузулук лихо перевоспитала капеллу.

«Они» у нее уже работают между делом в поле, убирают колоски, вяжут, водят лошадей.

Одна артистка проявила замечательный талант в вязке снопов. Колхозницы очень хвалят ее работу – быстрая, чистая. Предлагали записать ее на красную доску.

Бузулук сияет.

Она скоро повезет их по другим колхозам.

За время пребывания в таборе она чудовищно запустила себя. У нее уже не простая грязь на лице, а какая-то особенная, черная, как вакса. Выпачкала нос колесной мазью. На руках какие-то потеки.

Зина Антоненко пришла часов в семь вечера. Она пришла в другом платье. Беленьком, ситцевом, с уральской небольшой брошкой на шее.

Я предложил ей табаку.

Она скрутила папиросу и с удовольствием затянулась.

Осторожно выпустила из широких ноздрей дым.

Сначала мне было трудно ее понимать – она говорила на литературном украинском языке, – но потом привык. Да и она стала как-то говорить более «по-русски». Очевидно, моторная память подавала ей ритм и обороты русской речи, хорошо известной ей с детства.

Всю свою сознательную жизнь Зина Антоненко провела в коммуне. В детском саду, в школе первой ступени, потом в

девятилетке. Вступила в комсомол. Комсомол направил ее из родной коммуны учительницей в село Верхнетроицкое.

– Ну что ж робить? Звичайно, я поехала. Хозяйничаты я совершенно не умею. Как там сварить что-нибудь, приготовить – этого я совершенно не понимала, не имела представления. Привыкла в коммуне к столовой. Поселилась я на квартире у одной женщины. Она мне готовила. Скучно ужасно. Мать приехала из коммуны меня навестить. Взяла отпуск. Но ей не понравилось. Звичайно! Вечером некуда пойти. Она там, в коммуне, привыкла каждый вечер то в клуб, то в театр, то в красный уголок, то куда... Жизнь кипит. А здесь тишина, да скука, да ничего вокруг нет. Словом, не понравилось маме.

Посидела дней пять и уехала обратно в коммуну.

Потом меня комсомол перебрал в Вишневецкую. Тут нас поселилось в одной хате три учительницы. Веселая такая коммунка, молодежная. Но все-таки за коммуной Ленина сильно скучно. Бачьте, как тут в колхозах люди тихо живут по сравнению с коммунами. Тишина-а-а... А я, знаете, совершенно не привыкла быть одной. Просто-таки не могу. Приучилась к обществу. Прямо-таки и не представляю, как это другие люди любят одиночество! Когда я одна – с ума схожу. И потом грязь. Полы глиняные, мазаные. А я люблю, чтоб все было чисто. Я через день мазала пол. Ну, только у меня плохо выходило. Другие учительки с меня смеются. Я, звичайно, мазала добре, да только каемку не умела делать, у меня неверно выходило. Бани нету, плохо. Надо греть казан и мыться в хате. Как это люди живут в такой грязи – не понимаю. Просто дурни какие-то. Не могут организовать в коммуну!

В коммуну Ленина много народу просится. Их принимают, но с разбором. Каждого не примут. Принимают общим собранием. Обсуждают его все коммунары.

А какие в коммуне чудесные пацаны! Ой, смех!

Тут ее глаза засияли. Говорить о детях явно доставляло ей удовольствие. Она так приятно произнесла это «чудесные пацаны».

– Чудесные! – повторила она. – Идет какой-нибудь пацан лет четырех, опоздал в детмайданчик, а другие пацаны встретят – и так серьезно до него: «Прогульщик! В майданчик опоздал! Дивиться на прогульщика!» А тот так серьезно им отвечает: «Я сегодня выходной!»

У меня там есть племянница Тamarочка, моей старшей сестры дочка. Четыре, пятый. Чудесная девочка. Прямо-таки чудесная. Такая умненькая, серьезная. Мама на работе, или уехала куда-нибудь, или еще что – так она сама проснется, оденется и сама идет в детский сад. А потом вернется вечером и сама ложится спать. Прямо как взрослая. И умненькая – вы себе не можете представить. Один раз спрашивает: «Тетя Зина, зачем люди умываются?» Я говорю: «Чтоб бактерий с себя помыть». – «А что такое бактерии?» – «А это такие козявочки, они болезни переносят». – «А где они, покажи». – «Их не видно, они маленькие, такие крошечные, что не видно». – «Покажи». Ну, пришлось повести ее в школу и там микроскоп показывать. Представьте, она все очень хорошо поняла. А потом опять спрашивает: «А зачем пол моют?» – «Чтоб бактерий не было». – «А разве как их моют, так они умирают?» – «Не умирают, но прилипают к полу и не могут летать в воздухе».

Так она, представьте, на другой день видит, как пылинки в солнечном лучике возятся, и говорит: «Бачь, тетя Зина, бактерии прыгают. Надо их помыть, чтобы они не прыгали». Чудесно!

А потом я как-то приехала и стала вытирать стол той тряпкой, которой обычно стулья вытирали. Тамара говорит: «Не вытирай этой тряпкой, там от стульев бактерии».

Она, представьте, ездила на автомобиле. А, представьте, на поезде никогда не ездила. У нас в коммуне грузовик. Я поехала в Синельниково и ее с собой взяла. На станции стоят разные поезда. Стоит товарный, стоит пассажирский. «Тетя Зина, а мы на каком поезде – на красном чи на зеленом?» – «На зеленом, деточка». Мы вошли в вагон, Тamarочка стала возле окна, а я сзади, поезд засвистел и поехал. Она видит, что все мимо поехало, держится за окно и спрашивает: «Тетя Зина, а ты тоже едешь?» Чудесная девочка!

– Вы, как видно, очень любите детей, вам, наверное, нравится быть учительницей?

– Нет, не очень.

– Что, трудно, нервы треплют ребята?

– Нет, ничего. Я в младшей группе. У меня еще маленькие. Они как воск: что я хочу, то с ними и делаю. Не особенно трудно.

– Значит, вас учительство не вполне удовлетворяет?

– Эге.

– А кем бы вы хотели быть, какие у вас перспективы?

Она замялась.

– Не знаю... – неохотно сказала она, но я почувствовал, что она знает.

– Ну, все-таки кем?

– Мабудь, – сказала она тихо, – мабудь, музыке учиться. В Днепропетровске есть музична школа.

– А на чем вы хотите играть?

– На чем попадется. На пьянино, могу на гитаре, на мандолине. У нас все способные к музыке. И сестры и брат. А брат еще здорово рисует.

Мы поболтали еще. Уже стало темнеть. Она собралась уходить. Я пошел провожать.

У нее всюду масса знакомых.

Проходя через наш двор, она окликнула какую-то девушку-работницу:

– Ты что здесь робишь, Одарка?

– Працюю...

– Заходи до мене!

На переезде она заметила на площадке товарного поезда кого-то и закричала:

– Добрый вечер, Петрусь! – И пояснила мне: – Это один мой знакомый со своим пятилетним пацаном поехал. Железнодорожник. У него чудесный пацан, Миколка.

Она повела меня в Вишневецкую не по обычной дороге, а, сокращая расстояние, всякими прямыми тропинками, стежками – через высокую, блестящую, сумрачную кукурузу, через мостик, потом через огороды села Малые Зацепы, через заросли пахучего бурьяна, будяков, паслёна.

Дважды мы проходили по палкам, проложенным над тенистыми и таинственными ручейками.

Было уже совсем темно.

Но она быстро и легко шла в потемках, подавая мне в трудных местах руку, так что в конце концов не я ее провожал, а она меня.

По дороге она со смехом рассказала мне про своих подруг, веселых учительек. Одна из них, Татка, чаще всего фигурировала в ее рассказах.

Однажды она с Таткой поехала в Днепропетровск.

– Я добре знаю Днепропетровск. Мне довольно быть один раз, и я все запомню. А Татка никогда не была. Ой, смех! Вот я ей говорю: «Сейчас мы поедem на трамвае». А она спрашивает: «А он нас возьмет?» – «Возьмет!»

Ну, мы сели, я ей говорю, чтобы она вперед шла, а она стесняется, не хочет. Я прошла вперед, а у нее чемоданчик и деньги. Я ей кричу через весь вагон: «Татка, заплати за билет!» А она мне кричит через весь вагон обратно: «А я думала, они нас так подвезут, без денег». Ой, смех! Она первый раз в таком большом городе.

– А вы?

– Я – во второй раз.

– И больше нигде в «большом городе» не были?

– Нет.

– Однако как вы хорошо находите дорогу в темноте... все эти стежки, тропочки...

– Я в темноте вижу, как кошка. – Она тихонько засмеялась. – Как кошка... Смотрите, я вас заведу куда-нибудь и брошу.

– А я найду дорогу.

– А ну-ка, скажите, где сейчас Зацепы?

Я показал наугад рукой на черную кучу больших деревьев.

– А вот и не угадали! – воскликнула она. – Правее!

Она легонько положила руку на мое плечо и показала другой рукой направление.

– Придется вас провожать обратно.

Она увидела впереди какую-то фигуру.

– Эй, Степан Иванович, пойдem со мной гулять! – закричала она общительно. – Пойдем со мной гулять, проведем человека!

Степан Иванович, с бутылкой молока в руках, отказался.

– Ну, я тебе припомню! – закричала Зина задорно. – Не приходи ко мне до хаты, выгоню!

Это был приезжий учитель.

Она просила еще нескольких, но все хотели спать, все отказывались.

Наконец она сосватала мне уже возле самой своей хаты, в которой светился желтый огонь, какого-то дюжего парня. Он благополучно вывел меня к железной дороге.

В деревне возле хат мелькали фигуры, горели папиросы, слышались в степи песни, пахло дымом и печеным хлебом. Лаяли собаки. Стучал двигатель мельницы.

Была чудесная, звездная июльская деревенская ночь, полная таинственной тьмы и нежности.

Пахло ореховой горечью сорняков.

«Чудесный пацан» – наше время, наша жизнь!

Ночи стали совсем летние, черные по-южному и звездные.

На Украине называют Большую Медведицу – Воз.

Узнавание звезд, разговоры о вселенной.

Много падающих звезд. По всем направлениям.

Очень сильно пахнет в палисаднике маттиола.

Сидим часов до двенадцати на скамеечке. Тепло, и комаров немного.

Только что приехал из «Парижской коммуны» Петрусенко, помощник начполитотдела по комсомольской работе.

Это молодой человек, низенький, плотный, в соломенной высокой шляпе с очень короткими полями.

Иногда он ездит на велосипеде.

У него жена известна своей ревностью и скверным характером. Он бы с ней давно разошелся, но боится. Есть ребенок.

Она устраивает ему скандалы, часто выбегает во двор – нарочно с заплаканными глазами: дескать, посмотрите, люди добрые, какой у меня муж мерзавец.

Иногда без всякого повода она пронесется через двор в черном свистящем шелковом платье, в новых туфлях на высоких каблуках. Она грозит, что, если он ее бросит, убьет его и ребенка.

Принципиально ни черта не делает: муж должен кормить.

Петрусенко, тихий и скромный человек, молча несет свой крест.

Он любит уезжать из дому в «Парижскую коммуну».

Там он отдыхает.

Я подозреваю, что он равнодушен к Ганне Рыбалке. Он, по моему, незаметно наружно, но очень глубоко переживает скандал с Ганной, который отнюдь не затих, а, наоборот, разгорается, вступает в новые фазы.

Нынче он привез новые подробности и рассказывает их своим низким, по-украински жужжащим голосом:

– Там новое дело. Новые сплетни. Какой-то человек, говорят, зашел в одиннадцать часов дня в клуню – в красный уголок, а там будто бы на кровати лежат в обнимку Ганна и Назаренко, и тут же за загородкой какой-то комсомолец все видел. Где он это мог заметить? Главное – там никакой кровати нету.

– Положим, кровать есть, – сказал кто-то. – Там, в кутке, я сам видел, для отдыха.

– Ну, допустим, что есть кровать, – ну что они, дурные, что ли, чтоб этим заниматься? Днем? И главное – где? В червонном уголке. Что, у них хаты своей нема, что ли? Теперь пошли разговоры, сплетни. Это специально, чтоб Ганну и Назаренко дискредитировать. Это работа Крота. Ему хочется скинуть Назаренко и самому стать головой коммуны. Крот – известный склочник. Мелкий человек. И главное – старик Назаренко держит сторону Крота, он осуждает этот брак.

На Ганну это сильно влияет. Она даже подалась немного, похудела, молчит. Но не уступает. И Назаренко тоже. Оба не сдаются. Вопрос стоит очень остро.

Это ли не тема, если хорошенько вдуматься?

В связи с выдачами крупных авансов муки (в счет трудодней) забавное явление. Все девушки и вдовы с большим количеством трудодней стали выгодными невестами. У некоторых есть по двести пятьдесят – триста трудодней. Уже многие лодыри и симулянты без трудодней подъезжают, женихаются.

А мужчин мало. Соблазн велик. Раньше жених спрашивал: «А есть у тебя корова?» А теперь: «А сколько у тебя трудодней?»

Трудодни – выгодное приданое.

Девушка, у которой триста трудодней, и женихи-лодыри.

Это ли не тема для веселой деревенской оперетки?

Колхозник стоял на току, чесал затылок:

– У меня двести сорок трудодней. Ничего. Но баба моя – работница никуда: у нее всего тридцать пять. Вот у других баб по сто

пятьдесят трудодней. Коли б у моей бабы трудодней полтора ста! Тогда вместе всех четыреста...

И он с завистью смотрел на приехавшую доярку, у которой было двести пятьдесят трудодней. Искренне жалел, что на ней нельзя жениться.

С ненавистью смотрел на свою неповоротливую и ленивую бабу и чесал пыльный затылок черным пальцем.

Зоя Васильевна букву «о» после «л» произносит очень мягко, с еле уловимым мягким знаком после «л», так что у нее получается вместо «о» «ё»: лёжка, лёшадь, молёко.

Вероятно, это какой-то областной признак произношения, некий фонетический провинциализм.

Я часто встречал провинциалов с таким произношением.

Она так же мягка и провинциальна, как ее выговор.

Она и Розанов – полные противоположности. Как они соединились, непонятно.

Она, по ее собственным словам, «больна современной советской литературой». У нее книжки, портреты, биографии, сборники.

Она знает о современных писателях, не видя их, гораздо больше, чем, например, я, сталкивающийся с ними ежедневно.

У нее тяжелое положение. Она всюду следует за мужем, которым распоряжается партия.

Переезжая с места на место, с работы на работу, он не теряет колеи.

Ее же каждый переезд выбивает из колеи, она теряет работу.

Она окончила какие-то не то педагогические, не то библиотечные курсы, где-то заведовала библиотекой, устраивала выставки писателей, какие-то диаграммы, лозунги, картотеки.

Она любит свое дело, она очень современна.

Сейчас у нее очень острое положение.

Мужа послали начполитотдела в МТС в деревню. Он при деле. А она? Что должна делать она?

Ее хотели устроить при политотделе секретарем (техническим). Но Розанов против. Он очень щепетилен.

Она беспартийная. Я думаю, он ей не доверяет. Не доверяет именно потому, что она его жена. У нее же отнята возможность

работы. Она не хочет опуститься, стать мужней женой, кухаркой. Для этого она слишком современна и эмансипирована. Однако самый ход жизни начинает ее втягивать в «болото», как она выражается.

Муж приезжает голодный, проделав на бричке сорок – пятьдесят километров. Надо его накормить, надо приготовить горячую воду, чтоб он помылся, побрился.

Это, конечно, почтенное дело, но все же – кухарка.

Она барахтается, не сдается, не хочет опуститься.

Она выписывает «Литературную газету», журналы.

Но «Литературная газета» часто пропадает на почте, журналы опаздывают, неаккуратно выходят. Она отстает от жизни.

Хозяйство начинает съедать время.

Чтоб не опуститься, она часто, по нескольку раз в день, моется, переодевается, шьет новые платья. Вот она появляется в дверях столовой в полосатом синем с белым спортивным платье «Динамо», в тапочках, с громадной прописной буквой «Д» на груди. Вот она бежит через двор к леднику, с ключами в руке, в пестром ситцевом сарафане. Вот она появляется вечером к чаю в халатике.

Сперва у нее были обширные планы деревенской деятельности: фотографировать ударников, выпускать стенгазеты, работать среди женщин, устраивать ясли.

Но фотоаппарат у нее сломанный. Она типичная растяпа, неудачница. Когда она снимает, это мучение: падает штатив, валятся кассеты; вечно она снимает, забыв вложить пластинку, или второй раз снимает на той же пластинке; от аппарата отскакивают какие-то винтики; не открывается объектив. Вечно она то «недодержала», то «передержала», то объект съемки не попал в кадр.

Розанова это бесит.

А она убеждает себя, что все эти неудачи случайны.

За стенную газету она взялась горячо, но скоро надоело: никто не поддерживает, никто не дает заметок, нельзя же все самой.

Один раз ей удалось организовать эмтээсовских женщин. Первого мая. Они засадили перед домом садик. Расчистили двор от грязи, навоза. Посыпали садик песочком. Теперь тут растут жасмин, маттиола, кустик сирени, топольки.

Сделали над деревянной аркой светящуюся красную звезду.

– И вдруг, когда делали звезду, – говорит Зоя Васильевна, – я поймала себя на мысли: вот Первое мая, праздник, я хлопочу, стараюсь – и ото всего этого мне нет никакой радости. Что мне до этого всего? Зачем я стараюсь?

Она сказала это с мягкой горечью и очень откровенно.

Откровенность, правдивость – ее черта.

Теперь у нее новая мечта: поступить зимой учительницей в зацепскую семилетку, читать курс русской литературы.

Недавно она ходила в школу и взяла у заведующего программу. Несколько дней она с ней носилась. Теперь остыла. Из этого тоже ничего, наверное, не выйдет.

Она возится с детьми. Сейчас возится с котенком. У нее всегда несколько нелепые идеи. Сейчас она, например, убеждена, что котенка надо как-то особенно «приучать» к людям.

Она может вдруг вечером сорваться с места и с развевающимися подстриженными волосами помчаться к качелям:

– Товарищи, идемте качаться на качелях!

С ней никто не идет – все люди солидные.

Она, разбежавшись, одна вскакивает на доску и качается до головокружения, только в темноте мечется ее светлое платье.

То она может сесть на стул боком, уронить лицо и волосы на спинку. Так она и снята на одной карточке, которая стоит на письменном столе Розанова в овале: подбородок на спинке стула, обворожительная улыбка и волосы по плечам.

Это следы провинции. Но этого немного.

У них квартира из двух комнат с кухней.

Она сделала все, чтоб был уют. В спальне две опрятные кровати, на стене ружья, горка фибровых чемоданов, один на другом – от большого до самого малюсенького; на большом венецианском окне шторы.

В столовой два письменных столика – его и ее.

На его столике – статуэтка Ленина, но не обычная, а куб и на нем голова; марксистская литература, три тома «Капитала» в папке; Энгельс, полный Ленин в двух изданиях и т. д.

Пепельница в виде раковины со спичечницей.

Фотография Зои Васильевны в деревянной выжженной рамке.

На ее столике – Маяковский, Безыменский, антология поэзии и т. д.

Обеденный стол всегда с букетом полевых цветов; занавески на окнах, стул-качалка, курительный столик, фотографии и картинки на стенах.

Все это дешевое и рыночное, но весь вид комнаты тем не менее не мещанский.

И на видном месте, почти на середине, как треножник некоего семейного алтаря, фотографический аппарат на расставленном штативе.

Когда-то в Ульяновске – литературный кружок, местная богема, местные Северянины, Блоки, Бальмонты.

Сама писала стихи, печальные – про осень, про дождь.

Сейчас над этим посмеивается. Вкус вырос. О своем романе с Розановым рассказывает так.

Служила на пехотных курсах библиотекарей. Розанова прислали с каких-то курсов на культработу. Ей было семнадцать лет.

Он вошел в библиотеку и сразу сказал: «Этот лозунг надо убрать». Был сердит и придирчив. Его не любили машинистки. Подойдет, скажет: «Ты мне перестукай сейчас же эту бумажку». – «Какое вы имеете право обращаться ко мне на „ты“? Я пойду жаловаться к комиссару». – «Ты мне, матушка, не нужна. Мне только нужно, чтобы ты мне переписала...»

– Я, – рассказывает Зоя Васильевна, – ему не подчинялась по положению, но он придирился. Но когда моя выставка работ Ленина вышла замечательно, он сказал: «Надо ее перенести в клуб. – А он заведовал клубом. – Очень хорошая выставка!»

Так и пошло.

Вот шестой год езжу за ним из города в город.

Заехали с фотографом в пятую бригаду, в ту самую, где видел женщин под дождем в первый приезд.

Они обедали в балочке возле колодца.

Только что кончили вязать за виндроуэром^[14].

Я их тогда, в первый приезд, снял и обещал обязательно привезти снимок. Я его захватил с собой.

Они меня сразу узнали. Были очень тронуты, что я сдержал свое обещание. Обычно приезжают, обещают и забывают.

Окружили меня и рассматривали карточку. Тогда их было двадцать пять человек. Старуха с любопытством отыскивала в группе себя.

Теперь их было уже не двадцать пять, а сорок. Пятнадцать прибавилось – вернулись в бригаду, прослышав про хороший урожай.

Они были одеты чисто и даже нарядно.

Они были красные и загорелые.

Хорошо ели, были веселы и оживлены.

Кухарка, которая в прошлый раз ворчала больше всех, искала себя в группе и не находила. Она стояла с краю и не вышла.

Была очень недовольна, даже рассержена.

Она кричала:

– Снимите кухарку, снимите меня, как я варю борщ!

Одна из новоприбывших в бригаду попыталась пожаловаться, что у нее мало трудодней, но другие на нее напали: надо было раньше начинать работать.

Некоторые уже поговаривали о том, что нечего надевать, мало ситцу. А это уже хороший признак.

Та старуха, которая обещала умереть, стояла против меня, открыв рот с редкими, сточенными, но все же целыми зубами, и говорила:

– Не хочу умирать, хочу жить и наробить богато трудодней.

Она это говорила, просительно улыбаясь, как будто бы я был всемогущий бог.

Кухарка наступала на меня и требовала, чтобы ей выдавали мыло и чистый фартук.

Я сказал:

– А я здесь при чем? Возьми мою майку.

Она басом захохотала:

– На что мне твоя майка!

Они решили требовать у колхоза мыло и фартук для кухарки.

Настроение было боевое и веселое.

Разительная перемена.

Здесь раньше было громаднейшее имение помещика Русова.

Он был чудовищно богат.

Приезжал сюда раз в пятнадцать лет, а так постоянно жил за границей.

Всеми делами заворачивал его управляющий Дымов – человек широкий и красивый. Он жил в Писаревке.

Наша Семеновна в семнадцать лет стала его любовницей, «экономкой». Обыкновенная украинская история.

Очевидно, в молодости она была дьявольски красива. Она еще и сейчас довольно красива, а сейчас ей под пятьдесят.

Она что называется баба-огонь. Черна, подвижна, с острым глазом, соболиной бровью. Наверное, такие были киевские ведьмы.

С Дымовым она прижила двух дочерей.

Сначала он дал ей пятьсот рублей на хату. Потом она потребовала еще тысячу рублей. Он не дал. Начался суд. Суд прекратила революция.

Дымова убили махновцы.

Семеновна еще раньше вышла замуж за хорошего человека, железнодорожника. С ним, впрочем, она не живет.

Младшая дочь осталась при нем, в Днепропетровске.

Иногда она приезжает к матери.

Несмотря на свой возраст, Семеновна не может угомониться.

Уже на службе у Костина, месяц-два назад, у нее был роман с эмтээсовским бухгалтером, плюгавым и незаметным человеком. Она крепко держалась за эту последнюю любовь. Она подкармливала бухгалтера, стирала ему, всячески ублажала.

Бухгалтер жил внизу.

Она ходила к нему ночевать. Это была почти официальная связь.

Вдруг бухгалтер стал крутить роман с некоей Надей, конторщицей из своей бухгалтерии.

Эта Надя считалась по всей МТС первой красавицей. Я ее видел. Ей лет двадцать – двадцать один. У нее небольшие черненькие глазки, провинциальный носик, гладко зачесанные, с узлом на затылке, волосы. Сложение довольно коровье.

Вследствие своей смазливости и аполитичности она была любимой мишенью для эмтээсовской стенной газеты.

Постоянно по ее адресу появлялись язвительные заметки с заголовками вроде: «О, эти черные глаза...» – и т. п.

Я сильно подозреваю, что их писали обманутые поклонники.

Одним словом, бухгалтер стал жить с Надей, о чем незамедлительно все узнали, а в том числе и Семеновна.

Тут проявился темперамент Семеновны во всей силе. Она закатила Наде посередине двора грандиозный скандал. Она поносила ее и бухгалтера с мастерством разъяренной Солохи.

Она называла ее мерзавкой, которая со всеми живет, и его мерзавцем, которому она носила хозяйские котлеты.

Она проявила столько же ревности, сколько и бесстыдства.

Подставив лестницу, она заглянула в комнату бухгалтера и видела все собственными глазами.

Носит на темной, некогда очень красивой, шее искусственный жемчуг.

Она отличная хозяйка и любит щегольнуть какой-нибудь фаршированной курицей, запеканкой, особенными кабачками. Ограниченные запасы провизии не дают ей развернуться. Она отлично шьет и подрабатывает этим.

Однажды по случаю окончания ремонта сельскохозяйственных машин в столовой был устроен обед с пивом и танцами. Пришел гармонист и какой-то тип «свадебного пьяницы» с бубном.

Сначала никто не хотел танцевать – стеснялись.

А музыка так и подмывала.

Тогда из толпы, стоящей в дверях, вырвалась, очевидно неожиданно для себя, Семеновна, прошла круг и, смутившись, бросилась вон. Она, наверное, вспомнила свои годы.

Но по ее повадке, по тому, как она повела плечом, мигнула глазом, притопнула ногой, все почувствовали, какая это была баба!

К ней по очереди приезжали все ее дочери.

Сначала средняя – большая, толстая, но красивая, чертежница из Днепропетровска, честная жена своего мужа и мать восьмилетнего мальчика.

Затем старшая – сухая, худенькая блондинка с прелестным, кротким лицом и добродетельными глазами и все же чем-то похожая на мать, честная жена своего мужа, железнодорожного служащего, мать хорошенького мальчугана пяти лет.

И, наконец, приехала младшая из Днепропетровска – подросток пятнадцати – шестнадцати лет, угловатая, тонкая, неловкая, крикливая до чертиков Валька, ученица седьмой группы школы второй ступени.

Она похожа на ведьму-подростка.

Она поет песни, – например, «Я девочка гуляющая...» – бесится, врывается в комнаты с полевыми букетами.

Вместе с тем она страшно конфузится и, чтобы это скрыть, грубит.

Она на каждый вопрос испускает какой-то досадливый, кошачий, сердитый и страшно громкий вопль, вроде «ай-яй-мяу».

Она громоподобно хлопает дверьми.

– Валька, что это у тебя с ногой?

– Нарыв на пальце.

– Это, наверное, от купания?

– Ай, что вы говорите! – И, сердито захлопнув дверь, уносится, гремя по лестнице.

У нее растут на руке бородавки. Она страдает. Я посоветовал ей поймать жабу, растолочь ее в порошок, выйти в новолуние в полночь во двор и посыпать бородавки.

Она очень серьезно слушала и готова была поверить, но вдруг, посмотрев мне в глаза и поняв, что я шучу, сама улыбнулась, потом вспыхнула, окрысилась, крикнула свое «ай-яй-мяу».

– А ну вас, дядька! Вы всегда говорите глупости! – И, хлопнув дверью, умчалась во двор.

Годика через два-три это будет чертенок почище мамыши.

Появлялся дед, Семеновны отец.

Он сидел в кухне и обедал.

Это мощный, красивый, худощавый старик с длинной черно-седой бородой. Ему семьдесят с лишним. Но он на ходу прыгает с поезда, работает; недавно гостил у родственников в совхозе и поправился там на пуд.

Вот это порода!

Я был в Писаревке и видел запущенный барский сад и фундамент дома, где жил Дымов.

Старые одичавшие груши, липы, кусты, душный шалаш. Сад спускается к реке. Река вся в очерете.

Весной она разливается, и здесь были огороды болгар; сейчас тут совхозные огороды. Семеновна постоянно вспоминает Писаревку. Цветы в Писаревке лучше всех цветов. Малина в Писаревке лучше всех малин. Все в Писаревке самое лучшее в мире.

А сад в Писаревке – куда там! Такого сада и на свете нигде нет!

Если в столовой случайно упомянут Писаревку, Семеновна тут как тут, уже стоит в дверях, сложив по-бабьи руки, и слушает, блестя своими чертовски живыми и страстными глазами. Видно, в Писаревке видала она счастье в жизни!

В одном из таборов окружили бабы. Кое-кто жаловался на еду. Но еда отличная. Это обычная повадка: может быть, больше дадут.

Пока бабы шумели, стоя возле черной, замасленной подводки с горючим, инструментом и запасными частями, опершись на дышло, смотрела на нас в упор желтоглазая, курносая, очень некрасивая, веснушчатая девушка.

Она улыбалась – буквально рот до ушей.

У нее замечательные, ослепительные, «комсомольские» зубы.

Она вся черная, лоснящаяся от нефти, керосина, масла; в кепке.

Руки тоже совершенно черные, и только кругленькие беленькие ноготки, обведенные трауром.

Это Ленка, трактористка из коммуны имени Ленина, которая послала ее к шевченковцам.

Она недоумевает, почему шумят женщины.

Ей абсолютно непонятен этот мир галдящих «индивидуальностей».

У нее на щеке ссадина.

– Кто это тебя так поцеловал, Леночка?

– Какой там! Нет времени целоваться. День и ночь в поле.

– Только поэтому?

– Я еще годика два подожду.

– Парней нет подходящих?

– Найдутся!

Год тому назад она не знала ни одной буквы. Сейчас грамотна, общительна, весела и даже, я бы сказал, кокетлива. Она радостно и пытливо болтала с нами и просила передать привет «нашему заместителю по комсомольским делам».

– Передайте ему вот такой привет! – и показала двумя ладонями размер небольшой коробочки.

По западной Белоруссии*

Путевые заметки

I

Маленький подтянутый лейтенант в походном снаряжении, начальник понтонного эшелона, на каждой остановке выпрыгивал из теплушки и шел ругаться с дежурным по станции. Пятиминутная остановка приводила его в отчаяние. Искося поглядывая на закрытый семафор, он яростно плевался, бормотал:

– Черт бы их всех раздавил с такой ездой! Пока мы тут копаемся, без нас все кончат! Куда же это годится?

Но полосатая рука семафора нехотя подымалась. Мощный ФД ревел и рвал с места. Площадки мотало. На площадках качались грузовики с понтонами. Дождь бил в звонкие, пустые ящики защитного цвета.

Меня забавляло юношеское нетерпение лейтенанта, но, признаться, я его вполне понимал и сам разделял. Еще бы! Красная Армия стремительно наступает. Каждый час приходит новое сообщение.

Взяты Броды, взяты Барановичи, взято Молодечно, взята Сморгонь, взят Ковель.

Как хочется скорей быть там, в первых рядах! Нужно действовать, выполнять боевое задание – наводить понтоны, форсировать реки...

Это чувство горячего, молодого нетерпения испытывали все бойцы – танкисты, пехотинцы, артиллеристы, саперы, конники, летчики, радисты... Это же чувство продолжал испытывать и я, дожидаясь несколько дней в Минске выезда в Западную Белоруссию.

А радио тем временем приносило все новые и новые сообщения – о вступлении наших частей в Слоним, Волковыск, Львов, Вильно.

Невыносимо!

...И вот мы едем с секретарем ЦК КП(б) Белоруссии, членом Военного совета фронта товарищем Пономаренко.

Автомобиль вынес нас из Минска в западном направлении по великолепному шоссе. В поле стрекотал трактор. Колхозный сад тянулся вдоль шоссе. Знаменитые минские яблоки, крупные, тяжелые, сплошь покрывают вымазанные известью деревья. Ветви, подпертые жердями, гнутся под тяжестью плодов.

Мы обогнали несколько батарей, батальонов пехоты, обозов, бензиновых цистерн с надписью: «Огнеопасно».

– Вы обратили внимание на яблоки? – спросил товарищ Пономаренко.

– Да, превосходные яблони.

– Превосходные. Но не в этом дело. Вы заметили, что ни одно яблоко не сорвано, ни одна ветка не сломана? А ведь мимо этих яблок вот уже шестой день идут части Красной Армии. Вы понимаете, солдаты идут мимо и не трогают их.

Это действительно было чудесно. Армия поистине народная, сознательная, дисциплинированная, культурная, плоть от плоти, кость от кости тех колхозников, мимо садов которых она проходила. Красноармейцы, верные сыны трудового народа, умели ценить и уважать колхозный труд. Общественная собственность для них священна и неприкосновенна.

Проехали сквозь смолистый лес. Тут шоссе кончалось. Здесь была раньше граница.

Я искал глазами наш государственный пограничный столб. Но его не было. На его месте зияла песчаная яма. 17 сентября утром, отдав частям приказ перейти границу, командир товарищ Еременко велел выкопать наш пограничный столб, погрузить его на подводу и везти вместе с наступающими частями на запад. Он сказал:

– Я его вкопаю там, где мне прикажут партия и правительство.

Крылатая фраза командира мгновенно облетела фронт. Ее передавали из уст в уста.

Переезд. Полосатый, темно-зеленый с красным, польский столб. Белый дом польской пограничной заставы. Куцый польский орел. Стены усеяны дырами от пуль. Здесь шел молниеносный бой.

Мы в Западной Белоруссии. Тот же широкий коридор лесной просеки, тот же песок, та же свежая зелень среди стройных сосен. Поляна. Огород. Баба копает картошку. Босоногий мальчик в рваной школьной конфедератке на белобрысой голове сидит на заборе и

смотрит на нас синими глазами. Идет долговязый, чисто, но очень бедно одетый крестьянин, тоже босой, и низко кланяется.

А дальше, в лесу, уже трещали костры, валил дым, повара чистили капусту и картошку. Пехота выстроилась в очередь перед походными кухнями. И тысячи полторы уже давно не бритых пленных в худых зеленых шинелях сидели, стояли возле порога.

Из-за леса раздался тонкий свисток паровоза. Поворот. Дамба. Шлюз. Пруд. Перевал. Обывательские, мещанские домики, и мы въехали в местечко Столбцы.

Столбцы – первый польский пограничный городок, а значит, в какой-то мере «визитная карточка» бывшей Речи Посполитой на ее восточных дверях. Прочитаешь визитную карточку – и сразу получишь полное представление о том, с кем имеешь дело, кого перед собой видишь, в чей дом попал.

Достаточно было бегло взглянуть на польскую «визитную карточку» – на местечко Столбцы, чтобы сразу понять, что собой представляла пани Польша.

Пани Польша была бедная, но «благородная» дама с громадными претензиями и с громадной амбицией, живущая абсолютно не по средствам и, кроме того, в чужой квартире, которую выдавала за свою.

Внешне показная, чисто представительная сторона по сути дела слабого и нищего польского государства бросалась в глаза сразу.

Невероятно шикарные, красные, лакированные почтовые ящики, выбеленные заборы, отели, цукерни, кауферы – все это было «как в лучших домах». И рядом, на базаре, – ободранные крестьянские клячи, плетеные телеги, босые бабы и мужики, лиловые от холода и голода ребятишки.

Капризная разорившаяся барыня одела своих слуг – почтальонов, кондукторов, рассыльных, лесничих и т. д. – в парадную форму попугайской красоты. Обшила галунами, обвесила каким-то аксельбантами, напялила на голову пудовые конфедератки, окованные медью, обшитые жостью, всюду посадила заносчивых крючконосых орлов с острым оперением – свою эмблему.

Любовь официальной панской Польши к пышным формам одежды породила множество курьезов. Например, в Столбцах я вдруг увидел у каких-то ворот старого воинственного польского генерала в полной парадной форме. Цыганская конфедератка с непомерным

козырьком, окованным чистым золотом, неслыханные сапоги с невиданными шпорами, мундир, усеянный громадными сияющими пуговицами, аксельбанты, ордена, медали, звезды, знаки отличия нескольких сортов, галуны, сабля, грозные нафабранные усы кончиками вверх, воротник выше шеи. Вид грозный и сверхвоинственный.

– Вы кто здесь такой? – закричал я почти в ужасе.

Тогда старик вежливо приложил трясущуюся руку в замшевой перчатке к непомерному козырьку, звякнул шпорами и, сделав лицо сдобным, как булка, пролепетал:

– Я есть, пан товарищ, старший пожарный городской пожарной команды имени графа Понятовского.

...Наш автомобиль окружили мальчики. Обыкновенные хорошие, симпатичные белорусские мальчики. Любители кино, автомобилей и футбола. Только эти мальчики отличались от наших советских хороших мальчиков тем, что у них на головах торчали нелепые гимназические конфедератки с громадными козырьками. На выезде у Столбцов я заметил у ворот многих халупок маленькие самодельные красные флажки.

II

...Мы видели изнанку панской Польши. Мы видели нищие белорусские деревни, серые деревянные халупы с изумрудно-бархатными подушками мха на гнилых крышах, с двумя жердями вместо забора, с чахлой рябиной у крыльца.

О восторженных встречах уже много писали. Действительно, каждого красноармейца, каждого советского человека белорусское население встречает восторженно.

В каждом селе товарища Пономаренко окружала толпа. Это были летучие митинги. Один-единственный вопрос стоял на повестке – земля.

На лицах крестьян Западной Белоруссии лежал отблеск 1918 года, пришедшего к ним в 1939 году, то есть через двадцать один год. Двадцать один год ждал белорусский народ этой минуты!

Теперь приступили к дележу панской земли. Приступили дружно, деловито, по-хозяйски.

В одной деревне нам рассказали такой случай.

Едва только вошли части Красной Армии, как общество постановило немедленно делить панские земли. Дело простое. Одна остановка: в деревне была всего одна землемерная лента. Тогда общество посылает делегата в соседнюю деревню за второй лентой. Делегат приходит:

– Позычьте нам землемерную ленту.
– Ленту можно, берите. А зачем вам?
– Землю делить.
– Какую землю?
– Панскую.
– Ды вы что, ума решились? Кто же вам позволит панскую землю делить?

– А мы никого и спрашивать не будем. К нам Красная Армия только что пришла. Она за народ стоит.

– Красная Армия! Да не может этого быть!
– Подите посмотрите.
– Ну, в таком случае, дорогие соседи, извините, землемерную ленту вам позычить не можем.
– Почему?
– Потому что нам самим пригодится.

Поминутно справляясь с картой, мы пробирались к Барановичам. По ярким лугам ходили белоснежные гуси. В прудах отражались ивы и облака. Толстые овцы стояли на тоненьких ножках.

Здесь уже дороги не те, что у нас под Минском. Довольно паршивые грунтовые дороги, частенько проселки, выматывающие душу.

В свое время поляки объясняли, что плохие дороги, дескать, часть их стратегического плана в предполагаемой войне против Советского Союза. Предполагалось, что по плохим дорогам Красная Армия не так скоро доберется до Барановичского укрепленного района – так называемой «польской линии Мажино».

«Линия Мажино» – это звучит гордо. Тем не менее на месте господина Мажино я бы обиделся. Как известно, вышеупомянутая «польская линия Мажино», несмотря на плохие дороги, была занята

частями Красной Армии буквально через несколько часов после начала наступления. Красная Армия двигалась по плохим дорогам быстрее, чем польские части, которые должны были занять бетонированные гнезда в своем знаменитом укреплении. Части Красной Армии, прорываясь, как вихрь, через хваленую «линию Мажино», ударили с тыла. Бойцы подходили к бетонированным гнездам с тыла, стучали прикладами в стены и кричали:

– Выходите, паны, будет, повоевали.

И паны выходили с саблей в руке и сапогами под мышкой.

Так что плохие дороги абсолютно не помогли и не поддержали славу польского оружия. Зато лично я пострадал. На одном особенно «стратегическом» ухабе машину так тряхнуло, что у Пономаренко подпрыгнула фуражка, а я стукнулся головой о верхнее перекрытие и заработал солидную гулю, так что до сих пор при слове «Мажино» у меня чешется макушка.

А вот что о Барановичском укрепленном районе сказал командующий фронтом товарищ Ковалев:

– Хороший укрепленный район. Много превосходных сухих помещений. Я думаю, мы его отдадим белорусскому народу – пусть здесь картошку ссыпают.

Мы подъезжали к местечку Несвиж. Вокруг расстилались необъятные земли Радзивилла. Стали попадаться зажиточные села – выбеленные заборы, лавочки, вывески аптек, слесарных мастерских, портных. Цеховые знаки, написанные наивной кистью деревенского маляра, напоминали что-то давнее, старорежимное, виденное в далеком детстве, – ножницы, утюг, ванна, примус, мужская голова в профиль, с усами и бобриком. Здесь живут злейшие враги белорусского народа и верные холопы панской Польши, так называемые осадники. Осадники – это бывшие солдаты и унтер-офицеры легионов маршала Пилсудского, участники польско-советской войны 1920 года. Польское правительство дало им земельные участки, деньги, сделало из них привилегированных мелких земельных собственников, вооружило.

Сейчас осадники разбежались и скрылись в лесах, изредка постреливая в проходящие части Красной Армии. Но их песенка спета. Народ ненавидит их и понемногу вылавливает. Все же по этим местам надо ехать не зевая, с расстегнутой кобурой револьвера.

В местечке Несвиж жизнь заметно наладилась: открыты кофейные, некоторые магазины, рабочая гвардия с красными повязками на рукаве, с охотничьими ружьями в руках, в «штатских» пальто. Гвардейцы лихо козыряют автомобилю членов Военсовета.

Стоят проходящие части. Лошади, привязанные к рябинам, звонко перебирают копытами по булыжной провинциальной мостовой.

Несколько синих танкистов окружили местную домашнюю хозяйку, которая с корзинкой томатов в руках оживленно беседует с нашими парнями.

Много пишут о том, как местное население окружает наших бойцов и забрасывает их вопросами. Я наблюдал и обратное. Танкисты забрасывали вопросами домашнюю хозяйку. Я услышал отрывок следующего разговора.

Молодцеватый танкист, открыв рот, приседая от любопытства и пытливо заглядывая в глаза несвижской домашней хозяйке, допытывался:

– И магазины у вас частные?

– Так есть, так есть.

– Совершенно так-таки частные?

– Так есть. Частные. Так есть.

Танкист растерянно посмотрел на товарищей, покрутил головой и с нескрываемым сочувствием вздохнул:

– Ай-ай-яй!

Он, этот веселый московский паренек двадцати лет, конечно, слышал, что есть за рубежом частная собственность, капитализм и т. д., но представлял себе это отвлеченно, а тут совершенно конкретно – магазин. Но магазин не кооперативный, не государственный, а частный, то есть принадлежащий одному лицу, хозяину, который может с этим магазином и всем находящимся в нем товаром сделать все, что пожелает.

Это показалось веселому синему советскому танкисту до такой степени диким, что он еще долго – я видел – крутил головой и сокрушенно бормотал:

– Ай-ай-яй!

В доме бывшего старосты кипела работа. Там разместилось временное управление. Население охотно идет туда за разрешением всех своих вопросов. Дел масса. Вопросов масса. Перед временным

управлением стоит сложная задача – перевести нарушенную молниеносной войной жизнь на новые рельсы.

В управление идут за советами учителя, рабочие, крестьяне соседних гмин, домохозяйки, владельцы магазинов, кафе...

Несвиж. Между прочим, замечательно то, что в нем находится один из знаменитых замков бывшего князя Радзивилла, легендарно богатого польского феодала.

По минированным полям, по не успевшей быть взорванной дамбе мы подъехали к замку. В рваном плаще плюща он отражался в ярком зеркале векового пруда.

III

Шоссе на редкость прямое. Машина легко дает девяносто километров в час. Вдоль шоссе – старинные дубы удивительной красоты. В полях ветряные мельницы, похожие на монахов-капуцинов; конусообразные сутаны и вздетые к облачному небу руки. Пейзаж романтический. Но далеко не мирный.

Мы приближаемся к Брест-Литовску. Только что проехали город Кобрин. Мелькнуло все, что полагается: рынок, бензиновая колонка, отель, пожарное депо, аптека... Мелькнула афишная тумба. Поверх ободранных польских военных плакатов – несколько супрематическое изображение могучего легионера в стальном шлеме с поднятой винтовкой – порадовал глаз самодельный плакат кинотеатра: «Ленин в 1918 году».

Чем ближе к Брест-Литовску, тем явственней следы войны.

Черные остовы сожженных деревень. Спешно брошенные окопы. Пулеметные гнезда. Следы бомбардировок – воронки и сломанные деревья. Остроконечные черепичные крыши, зияющие дырами. Стекла уцелевших домиков накрест заклеены полосками бумаги.

Отступая, поляки сожгли все мосты. Приходится объезжать. Машина круто ныряет вниз с дорожной насыпи, осторожно перебирается по шатким доскам временного моста и с напряженным воем на полном газу снова взбирается на шоссе, с тем чтобы нагонять потерянные минуты.

То и дело встречаются сброшенные с шоссе польские автомобили. Они лежат вверх колесами, ободранные, страшные, со снятыми баллонами, без стекол и арматуры, – настоящие трупы машин. Их десятки, сотни. Самых разнообразных цветов и марок. Тут и так называемые «польские фиаты» (польское производство из итальянских деталей), тут и старинные австрийские «штейера», и «шевроле», и «фордики», и цветные автобусы.

Панически бегущая польская армия бросала их безжалостно и грубо, явно не рассчитывая больше когда-нибудь воспользоваться ими.

В одном месте у дороги, в болоте, лежала легковая машина. Какой марки – неизвестно, так как ее уже засосало в трясины по самую крышу. Она лежала, так сказать, по горло в зеленой, малахитовой жиже. И лежала она так уютно и спокойно, как будто никогда, нигде, кроме болота, и не жила. Абсолютно акклиматизировалась.

Поминутно попадаются польские солдаты. Безоружные, они идут по двое, по трое, а то и поодиночке. Это не военнопленные, это не дезертиры. Это просто-напросто белорусские крестьяне, возвращающиеся домой после неприятной и невыгодной поденной работы в бывшей польской армии. Они идут с палочками в руках, прихрамывая – видно, понатирали себе сапогами ноги, – с чемоданчиками, сумочками, в зеленых шинелях, похожих на больничные халаты, небритые. Некоторые, наиболее хозяйственные, идут босиком, а сапоги несут за плечами – единственное полезное, что они вынесли с собой из постылой панской армии.

Им немножко совестно подтянутых, крепких, веселых и деловитых наших бойцов, которые гремят мимо них на танках, грузовиках, гусеничных тракторах...

Они снимают свои угловатые конфедератки и кланяются. Иногда просят табачку, хлебца.

Наши бойцы охотно с ними делятся. Свой брат крестьянин. Свой брат рабочий.

...Шоссе забито беженцами. Они идут пешком, едут на велосипедах, на подводах, наконец, на обыкновенных городских извозчиках с номером. Странно, необычайно видеть на козлах, рядом с извозчиком, господина в пенсне, с бородкой, в парижской шляпе, который везет свою семью бог весть куда. В пролетке на вещах сидит

дама с детьми, какая-то старушка... Сзади к пролетке привязан, так сказать, запас горючего – несколько мешков овса.

И так – на всех дорогах...

Беженцы двигаются днем и ночью... Смешиваются с воинскими частями, сидят в лесу у костра. Многие приспособились к кочевой жизни. Научились свертывать свои одеяла на манер солдатских шинелей – в скатку – и носят через плечо.

Но паники никакой нет. Знают, что все кончено. Все самое страшное позади. Теперь поскорее надо добраться назад домой и начинать мирную жизнь.

Едем из Вильно в Минск. Везем последние номера «Виленской правды». Кабина набита кипами газет. Веревка развязалась, номера газет сползают на ноги. Чудесный, солнечный, холодный день. Сосновые леса. Быстрые облака. Шоссе, обсаженное березами. Знаменитое шоссе Москва – Вильно, по которому отступала армия Наполеона. В иных местах сохранились с тех времен березы. Огромные, вековые, почерневшие, с длинными плакучими ветвями. Настоящие верещагинские березы.

Изредка нас обгоняет серебряный самолет Гражданского Воздушного Флота. Он ныряет в холодных облаках, вдруг зажигается на солнце стеклянной звездой.

Вот по шоссе идет небольшой человечек в бобриковом картузе, с мешком за плечами.

– Здравствуйте, товарищи.

– Здравствуйте.

– Газетку не дадите?

Останавливаемся.

– Как не дать! Дадим. Последний номер «Виленской правды».

Знакомимся. Быстро возникает беседа.

– Вы кто такой, товарищ?

– Я сапожник. Из Вильно. Несу сапоги сыну. Он живет тут недалеко, в двенадцати километрах.

– Ну, как у вас дела?

– Дела ничего. Спасибо. Было плохо. А после того как пришли большевики, нам, мастеровым, стало гораздо лучше.

– А чем раньше было плохо?

Он смотрит на нас блестящими, наивными глазами.

– Как же не плохо? Безработица замучила. Летом есть работа – едим. А зимой нет работы – голодаем.

– Вы для себя работали или на хозяина?

– На хозяина. Хозяин имеет в Вильно обувной магазин. Мы вырабатываем для него изящную дамскую обувь последних моделей. Может, знаете, виленская обувь славится? Да...

– А вы сколько от хозяина получаете за пару?

– Мы получаем три злотых. Совсем нас хотят ограбить. Мы работаем, а он только в магазине сидит и на наши деньги себе дома строит. Несколько домов себе в Вильно построил. На наш труд. Ну, спасибо, теперь товарищи пришли. Теперь будем жить по-другому.

– Как же?

– Сделаем артель. Будем на себя работать. У вас можно еще один номерок газеты взять? Народ очень интересуется, что товарищи пишут.

– Пожалуйста. Возьмите пяток. Дайте людям. Пусть читают.

– Спасибо, товарищи.

– Добрый путь, товарищ.

– А в Москву поехать скоро можно будет? Интересно посмотреть, какая у вас Москва.

– Скоро, скоро.

– Спасибо, товарищи.

– За что?

– За то, что пришли.

– И вам спасибо.

– За что?

– За то, что хорошо наших товарищей красноармейцев встречаете.

– Как же плохо встречать? Они наши братья.

– Ну, будьте счастливы.

– Взаимно.

Наша легковая машина шипит, кряхтит, шумит, трогается с места и весело бежит дальше, пугая непривычных к автомобильному движению крестьянских лошадей.

Вот жнивье. По жнивью ходят коровы. Мальчик-пастушок в конфедератке до ушей, в худом пальтишке, подпоясанный веревкой, идет за ними.

- Здорово, молодец!
- Здравствуйте, товарищи!
- Чьи коровы?
- Чьи? Известно чьи. Панские.
- А у вас своих коров нет?

Мальчик весело открывает мелкие белые зубы. Жмурится против солнца.

- Нет.
- А земля есть?
- Две десятины.
- Семья большая?
- Восемь человек.
- На восемь человек две десятины?
- Ага.
- Чья же вокруг земля?
- Помещика.
- Сколько тебе помещик платит за то, что ты пасешь его коров?
- Тридцать золотых в год.
- Это что ж выходит – два с чем-то золотых в месяц?
- Ага.
- Много?
- Зачем много? Мало.
- Как же вы живете?
- Бог знает.
- А бог есть?
- А как же. Есть.
- Где же он?

Мальчик щурится еще больше и показывает пальцем вверх:

- А на небе.
- Кто тебе сказал?
- Ксендз.

Мальчик подходит к автомобилю и с детской жадностью рассматривает колеса, стекла, фонари.

- Хочешь быть шофером?
- Его глаза загораются:
- Ага!

– Ну, так в чем же дело? Бросай своих панских коров и садись, мы тебя повезем учиться.

Он понимает, что это шутка, но также понимает, что в этой шутке есть какая-то доля правды. Он понимает, что это возможно. Если не сейчас, не сию минуту, то, может быть, через год, через три.

– Дайте газетку.

– Бери. Дашь прочесть в деревне.

– Спасибо, товарищи.

– За что?

– За то, что пришли.

Он смущенно отходит и бредет за коровами, погруженный в свои детские мечты о какой-то другой, интересной, богатой жизни, когда можно будет не пасти панских коров, а мчаться на автомобиле по веселому белорусскому шоссе.

Вот и Сморгонь. Дважды знаменитое местечко. Это в Сморгони Наполеон бросил свою отступающую армию и один укатил в коляске в Париж. Это под Сморгонью в 1915–1917 годах, во время первой мировой империалистической войны, шли небывало жестокие бои.

Я осматриваюсь вокруг. Узнаю складки местности, линию железной дороги. Даже наши артиллерийские окопы сохранились. Они осыпались, заросли травой, но я узнаю их.

Возле железнодорожного переезда нас окружает небольшая толпа. Солдат польской армии с велосипедом. Еще один солдат. Старик. Несколько женщин. Расхватывают газеты. Расспрашивают.

Солдат с велосипедом оказывается артиллеристом. Он сражался под Львовом. Над ним подтрунивают. Он смущенно усмехается, говорит:

– Мне повезло. Если бы не пришла Красная Армия, мне бы пришлось еще служить и служить. А вот теперь, вместо того чтобы служить панам, я домой еду, к семье.

Другой солдат – пехотинец. Он деловито спрашивает артиллериста:

– У вас в Кошах уже землю помещика поделили?

– Еще нет. Комитет только что выбрали. А у вас в Шутовичах?

– Делят уже.

Высокая пожилая женщина с кошелкой вдруг начинает довольно сердито кричать на солдат:

– Эх вы, мужчины! Землю делить не умеете.

И, обращаясь к нам:

– Вы, товарищи, нам инструктора поскорее пришлите, чтобы он научил, как землю делить. А то наши мужчины никуда не годятся.

Старик сердито ее останавливает:

– Ишь ты! Инструктора тебе надо, как панскую землю делить. А разве в семнадцатом году большевиков кто-нибудь учил, как это делается? Сами дошли. Нам бы только в случае чего немножко помогли с помещиком справиться.

– Да ведь уже справились.

– Справиться справились, а кто его знает!

– Ну и видно, что ты не больно умен, – вдруг огрызается баба, – боишься, что паны вернутся! Большевиков двадцать лет пугают, что, дескать, не сегодня-завтра им конец придет, а они за это время таких танков себе наделали, что не только своих «бывших» не боятся, а еще и наших панов бывшими сделали за два дня. На вот!

Смеркается. Дорога вьется среди столетних берез. Мелькают знакомые названия деревень, местечек.

Кревы, Лебедев, Молодечно... Мелькают яркие фары встречных автомобилей.

Наш шофер товарищ Михаил Значенок газует. Он уже совершает четвертый рейс, развозя по селам Западной Белоруссии советские газеты.

IV

Исколесили всю Западную Белоруссию.

...Опять Сморгонь. Среда. Базарный день. Площадь возле церкви тесно заставлена крестьянскими подводами. Оглобли задраны вверх. Целый лес оглобель.

Торгуют мясом, хлебом, овощами. Много превосходной картошки. Еще больше яблок. Их – горы. Чудесный, тонкий и опьяняющий запах яблок стоит в воздухе.

Тот факт, что крестьяне охотно везут на рынок свои продукты, говорит о многом. И прежде всего о том, что жизнь

стабилизировалась. Доверие и любовь белорусского народа к Советской власти тверды, определены, нерушимы.

Ночью был мороз. Утром крыши, дороги, поля, деревья, солома – в голубом, матовом инее. Желтое солнце холодно горит в росе на радиаторе машины.

И опять возле машины свалка. «Правда» нарасхват. Ее выхватывают из рук. Тут же разворачивают и вслух читают.

Со всех сторон тянутся грубые, темные крестьянские руки:

– Товарищи! Дайте номерок!

– Товарищи, не забудьте меня. Я специально пришел за пятнадцать километров за московской газеткой.

– Да что ж вы пихаетесь, мужики! Пропустите до газеты женщину, пускай женщина тоже прочитает газету.

Дом временного управления выходит на базарную площадь. Беленький, в два этажа. Легкий балкончик, декорированный флагами, лентами, лозунгами. Возле домика всегда толпа. Особенно в эти дни подготовки к выборам в Народное собрание. Здесь помещается окружная избирательная комиссия.

Сейчас составляются списки избирателей.

Штат комиссии не велик. Работы много. Народ охотно идет помогать комиссии. Имеется много добровольцев, особенно из среды интеллигенции, предлагающих свои услуги по составлению списков, заполнению учетных карточек.

Каждую минуту входят в комнату, уходят посетители.

Председатель окружной избирательной комиссии товарищ И. М. Бруднер не успевает отвечать на вопросы. Вопросы однотипны:

– Мне девятнадцать лет. Могу ли я голосовать?

– Можете. Все граждане, достигшие восемнадцати лет, имеют право голоса.

– Спасибо, товарищ.

Или:

– Я еврей. Имею я право голосовать?

– Имеете. Имеют право голоса все граждане, без различия вероисповедания и национальности.

– Спасибо, спасибо, товарищ!

Очень часто посетителей сразу приходит такое количество, что товарищ Бруднер выносит прием прямо на площадь. Иногда возникает

летучий митинг. Крестьяне, приехавшие торговать, наскоро закрывают рогожами свои товары и бегут к толпе. Мелькают нагольные полушубки, свитки, черные овчины.

Народ шумит, жестикулирует, жарко обсуждает каждую фразу, брошенную оратором. Все весело возбуждены. Настроение бодрое, приподнятое. Сразу видно, что предстоящие выборы дело свое, кровное, общенародное.

Широкое, всенародное, публичное обсуждение кандидатур дает поразительные результаты. При такого рода обсуждении врагу будет очень трудно проникнуть в Народное собрание.

Председатель временного управления товарищ Зейфман рассказал очень поучительный случай.

На собрании железнодорожников во время выборов в местный комитет группа враждебно настроенных «профсоюзников» выставила свой список. Собрание потребовало, чтобы список обсуждался «по-советски», то есть чтобы каждая кандидатура обсуждалась персонально, публично, при участии всего собрания. Каждый кандидат должен был выходить на трибуну перед народом, рассказывать свою биографию, говорить о своих политических убеждениях, о своей программе и т. д.

Разумеется, при такого рода обсуждении кандидатур все желтые профсоюзники, мечтавшие проскочить фуксом, в общем списочке, под шумок, жестоко и с треском провалились.

– Я никогда за всю свою жизнь не видал подобного провала, – говорит товарищ Бруднер, весело потирая руки. – Неслыханный провал!

В маленький кабинет товарища Бруднера один за другим входят посетители.

Вот женщина в осеннем пальто и скромной шляпке. Она служащая почтово-телеграфной конторы. Нужен керосин для освещения. Она с жаром объясняет, что без керосина контора не может работать. Товарищ Бруднер пишет записку в склад на керосин.

Вот двое юношей. Их исключили из школы за неплатеж. Как быть?

– Товарищи, – говорит товарищ Бруднер, – в Советском Союзе ни один человек не платит за право учения. Наоборот, очень часто учащиеся даже получают стипендии.

Юноши растерянно переглядываются.

– Как? Как сказал товарищ? В Советском Союзе не берут денег за право учения?

– Да.

– И еще... может быть, мы не так расслышали... Наоборот, очень часто учащиеся даже получают стипендии?

– Конечно.

Юноши вспыхивают от удовольствия и толкают друг друга локтями. Толкают совсем по-мальчишески, по-школьнически, даже слегка фыркают.

– Значит, нас примут обратно?

– Ясно.

– И мы будем учиться даром?

– Понятно.

– И даже... может быть... как вы думаете, товарищ?. Может быть, нам дадут стипендию?

– Очень просто.

– О, спасибо, спасибо вам, товарищ!.

И они, счастливые и возбужденные, неловко сталкиваясь в дверях, выходят из кабинета.

Входит девушка с милым круглым лицом и черными блестящими глазами. Это представительница благотворительного общества «Капля молока». Она пришла во временное управление за помощью. Средств мало, а грудных детей, нуждающихся в питании, много.

– Великолепно!

Товарищ Бруднер весело потирает руки.

– Пожалуйста! – Он показывает широким жестом в угол. Там лежат какие-то банки, свертки, коробки. – Берите, что вам пригодится. Это все народ собрал у помещика. Здесь чай, несколько кило какао, печенье, конфеты, сахар. Вашим детишкам это пригодится?

– О, конечно!

– Забирайте панское добро.

Он весело и заботливо нагружает сияющую девушку пакетами.

– Спасибо, товарищ! Спасибо!.

Девушка довольная уходит.

А на улице продолжают предвыборные митинги. Митингуют комсомольцы, совсем недавно выпущенные из польских

концентрационных лагерей. Некоторые из них сидели год-два в невероятно тяжелых условиях. Были на краю гибели. Отчаялись когда-либо выйти на свободу. Но бодрости своей комсомольской не потеряли. Их вырвала из рук палачей Красная Армия.

Сейчас за ними буквально по пятам ходит местная молодежь и смотрит на них обожающими глазами.

А они, такие молодые, такие милые, такие похожие на наших комсомольцев времен гражданской войны, весело смеются, поют хором и на перекрестках бросают в толпу жгучие, прямые, неотразимые слова о счастье жить на свободной белорусской земле, навсегда освобожденной от власти панов. И белорусские рябины стоят вокруг них, яркие, свежие, обожженные первым морозом, как девушки, раздетые в красные серьги и мониста ради веселого народного праздника.

V

Вечер 21 октября. До выборов считанные часы. Народ на улицах. Толпы всюду, где «пахнет выборами». Возле избирательных участков, куда везут на грузовиках цветы. Возле афиш, объявлений и лозунгов.

Настроение исключительно приподнятое.

Собственно, народ уже давно изъявил свою волю. Это произошло сравнительно недавно – начиная с 17 сентября. Белорусское население, превращенное диким произволом польских панов в колониальных рабов, с энтузиазмом встречало части Красной Армии. Каждый цветок, брошенный Красной Армией, был голосом народа за Советскую власть. А цветов этих были тысячи тысяч! Колонны Красной Армии были осыпаны цветами. Вот, собственно, и голосование.

Я помню, как в первые дни освобождения Западной Белоруссии народ буквально требовал, чтобы немедленно была установлена Советская власть. Как ни парадоксально, но народ нужно было сдерживать.

– Подождите, – говорили ему. – Красная Армия пришла для того, чтобы в первую голову установить порядок, наладить жизнь,

разрушенную панскими горе-правителями. Подождите. Жизнь войдет в норму, и тогда пусть сам народ решит свою судьбу.

Признаться, население принимало это за шутку. Даже сердилось. Я сам слышал, как крестьяне и рабочие говорили:

– Какие могут быть разговоры! Мы давно с вами. С Красной Армией. С Коммунистической партией. Со всеми великими, свободными народами Советского Союза. Устанавливайте скорее Советскую власть, и баста!

Эта поспешность, горячность были вполне понятны. Слишком наболело у белорусского народа во время подлого владычества панов, помещиков и капиталистов.

Но советские законы есть советские законы.

Советская власть никогда не была навязана народу силой оружия. Советскую власть народы выбирали как самую лучшую, самую умную форму государственной власти. Советскую власть создал Ленин – величайший гуманист мира. Не на силе штыков, а на доброй воле угнетенных народов утверждена великая идея Советской власти – воистину народной, воистину справедливой, воистину единственной.

Трудящиеся Белостока с нетерпением ждали момента, когда они отдадут свои голоса настоящим народным избранникам, людям, преданным делу Коммунистической партии.

Этот день наступил.

Вечером входим в избирательный участок. Портреты, лозунги, зелень. Несмотря на позднее время, граждане осаждают участок, проверяя, попали ли они в список, не искажены ли их фамилии, имена. Все хотят голосовать за своих избранников! Очень уютно, с большим вкусом оборудованы кабины для голосования: маленький мраморный столик, перо, чернила. А в соседней комнате среди зелени цветов – красная урна.

В Белостоке все время находится секретарь ЦК КП(б) Белоруссии товарищ Пономаренко. Мы беседуем о предстоящих выборах.

– Чудесное настроение, – говорит товарищ Пономаренко, – твердое настроение. Уверенное. Выборы пройдут хорошо. Замечательный народ.

Около шести часов утра по-московски. По местному времени – около четырех. Еще ночь. Но ярко освещены окна избирательных

участков. В них горит красное, зеленое, пестрое.

Четко стучат каблуки прохожих по тротуарам. Это избиратели торопятся к урнам.

Четвертый участок седьмого избирательного округа помещается в здании Государственного фанерного завода. Завод «государственный» еще с польских времен. Надо полагать, что в самое ближайшее время он будет Белорусским государственным фанерным заводом.

Пришли первые избиратели. Они ждут шести.

Первой пришла, как это часто бывало и у нас в Союзе, старуха Лукерья Романовна Федорчук, вдова рабочего и мать рабочего фабрики Зингерблета. Ей семьдесят три года. Она пришла вместе со своим сыном в два часа пятьдесят минут. Сидит. Волнуется. Запахивается в старую темную шаль. Поправляет старческими, несгибающимися пальцами волосы под косыночкой. Она говорит:

– Когда были паны, я никогда не голосовала. А теперь пришла первая. И первая отдам свой голос народному избраннику.

Шесть часов. Наконец-то! Она идет в кабину, быстро выходит оттуда и опускает синий конверт в урну.

Объезжаем избирательные участки. Всюду примерно одна и та же картина. Очень похоже на Москву, на незабываемые дни выборов в Верховные Советы СССР и союзных республик. Много кумача, зелени, портретов. Всюду очень чисто, уютно. По-деловому просто. Всюду по радио передается музыка.

В приемной за столиком сидит товарищ и дает разъяснения по самым разнообразным вопросам.

Избиратели идут охотно. Их много. Даже кое-где образуются очереди к урнам. Но участков по городу больше ста, так что особенного скопления нет.

Все проходящие несколько церемонно, в сознании исполняемого долга, важно здороваются с избирательной комиссией.

И даже в этом: «Доброе утро, товарищи!» – сквозит отношение к Советской власти – уважение, любовь.

В результате выборов, конечно, можно не сомневаться.

Вот первый участок восемнадцатого района.

Это особый участок. Здесь голосуют беженцы. Их масса. Они идут сплошной лентой, с мешками за плечами, измученные, беспризорные, с детьми на руках. Они идут голосовать за народного кандидата, за Советскую власть. Они отлично понимают, что только Советская власть даст им покой, работу, радость, счастье.

Разыгрывается потрясающая сцена. Идет изможденная нестарая женщина с сухими волосами, выбившимися из-под рваного платка. Ее поддерживают под руки. Ее глаза воспалены. Ноги дрожат. По щекам текут слезы. Она кричит:

– Они убили его! Они убили его! А я так мечтала когда-нибудь вместе с ним опустить в урну свой голос за Советскую власть!

Это жена расстрелянного коммуниста.

Ее вводят в кабину. Она выходит оттуда с теми же лихорадочно горящими глазами. Опускает конверт в урну. В урну капают ее слезы.

– Он так ждал Советской власти!

Сейчас, когда я пишу эти строки, еще день. Яркое солнце. Купы зеленых, коричневых, лимонных, коралловых деревьев в саду. На улицах масса народу. И летчики, гордые соколы нашей родины, показывают ошеломленным горожанам фигуры высшего пилотажа.

В ясном, фарфоровом небе реют прозрачно-красные флаги.

VI

Совершенно исключительный, незабываемый день!

Из правой ложи вижу полукруглый зал Белостокского городского театра. Театр новый, нового стиля, выкрашенный розовым, голубым и серым. Похож на средней руки Дом культуры в Ленинграде или Москве. Кумач, лозунги, цветы. Пиво и бутерброды в буфете дополняют сходство.

Депутаты наполнили партер и балкон. Мелькают пестрые национальные костюмы белорусских крестьянок. Красные розетки и маленькие портреты вождей в петлицах мужских пиджаков.

В театре тысяча с лишним мест. А одних лишь депутатов свыше девятисот. Кроме того, масса гостей – рабочих, артистов, писателей, художников.

Резкий свет юпитеров. Кинооператоры, фоторепортеры. Оркестр играет советские популярные песни. Зеленый занавес раздвигается. Вишневый бархат боковых софитов. Овальный стол президиума. Обитая вишневым плюшем трибуна. Желтые пустые стулья. Старейший депутат открывает собрание. Избираются президиум, мандатная комиссия.

Все идет своим чередом. Идет четко, уверенно, деловито. Слово для доклада о государственной власти предоставляется депутату Народного собрания Сергею Притыцкому. Буря возгласов и аплодисментов. Вопрос о Советской власти – самый жгучий, самый острый вопрос для Западной Белоруссии. Народ хочет, чтобы как можно скорее была установлена Советская власть. И вот этот момент настал.

Сергей Притыцкий – один из самых молодых и популярных белорусских подпольных большевиков. Это он, Сергей Притыцкий, застрелил на суде провокатора, бежал, получил во время бегства несколько ранений, был схвачен польской полицией, приговорен к смерти. Смерть ему заменили пожизненной каторгой. Красная Армия освободила Притыцкого.

Вот почему так горячо, так бурно приветствует народ своего депутата Сергея Притыцкого.

Он тихо, но внятно начинает говорить о Советской власти. Сначала как бы стесняясь, но вот голос его крепнет. Каждое его слово ловят на лету. Почти после каждой фразы овация.

Это – наглядная демонстрация объединения народа на почве ленинских идей.

Снова несутся со всех сторон лозунги. Иногда депутат начинает лозунг, но незаметно для себя переходит на реплику, на речь.

У всех наболело в душе. Каждый хочет на своем собрании и на своем родном языке выразить все свои чаяния, мысли и чувства.

Ни одного равнодушного лица. Ни одного холодного взгляда. Щеки горят. Руки в движении.

Несутся проклятия по адресу польских помещиков и капиталистов.

Несется восторженное «ура» в честь Красной Армии – избавительницы народов Западной Белоруссии от ее поработителей.

Заключительные слова Притыцкого трудно расслышать. Он только успевает сказать: «Так какую же власть...» – как его голос тонет в море, в бушующем море голосов:

– Хотим Советскую власть! Хотим быть Советской Белоруссией!

Собрание продолжается, но оно уже дало исчерпывающий ответ на самый главный вопрос дня:

– Какой быть Западной Белоруссии?

Ответ единогласный, выраженный бурно и восторженно:

– Советской, Советской! Только Советской!

VII

Я видел знаменитый замок князей Радзивиллов и местечке Несвиж. Красная Армия только что прошла. Владельцы замка не успели бежать, они были захвачены врасплох. Замок окружен водой. Он соединяется с местечком дамбой. Поляки минировали дамбу. Если бы они ее взорвали, окрестности оказались бы затопленными. Но в панике они не успели. Несчастье было предотвращено. По минированной дамбе, обсаженной деревьями с выбеленными стволами, миную подъемный мост, мы въехали в глубокие ворота замка.

Одно из крыльев замка ремонтировалось. Стояла лестница. Часть стены белела новой штукатуркой. Над главным подъездом был высечен крючконосый польский орел с острыми крыльями, висел венецианский фонарь кованого железа, грубый и вместе с тем изящный.

По каменной холодной лестнице с медными перилами мы поднялись в сумрачную большую прихожую, увешанную старинными картинами и уставленную темной старинной мебелью. Здесь временно помещалась наша кордегардия. Вооруженные красноармейцы сидели на креслах и диванах. Стоял пулемет.

Караульный начальник послал за управляющим, тот скоро явился. Это был немолодой плотный господин в дорогом просторном английском костюме ворсистой шерсти, в домашних башмаках и в превосходной сорочке с отстегнутым воротничком. Он поздоровался с нами с подобострастной, несколько слащавой любезностью, за

которой чувствовались глубоко скрытое презрение и ярость. Мы попросили его показать нам замок. Он еще раз поклонился и повел нас по залам. Мы молча следовали за ним, поражаясь величине, количеству и богатству панских покоев. Каждая комната была величиной со зрительный зал небольшого театра. Иные из них были в два света. Особенно бросалось в глаза то, что всюду стены были белены. Их грубая, даже, я бы сказал, казарменная, белизна подчеркивала богатство мебели, паркетов, сложенных из множества драгоценных сортов дерева – красного, черного, лимонного, массивных полированных дверей, громадных зеркал в тонких золотых рамах.

Мы увидели кабинет князя с длинным столом посередине. За этим столом свободно могло бы поместиться пятьдесят человек. Стол был покрыт драгоценными скатертями и вышивками. На нем стояли цветы, вазы, книги, миниатюры и современные семейные фотографии. Было разбросано множество французских и американских иллюстрированных журналов за июль, август и даже сентябрь месяц этого рокового для хозяев года.

Мы видели грандиозный охотничий зал, устланный шкурами медведей, волков, лисиц. На длинных столах было разложено охотничье оружие – пистолеты, мушкетеры, кинжалы, современные штуцера, винтовки. На стенах висели во множестве рога оленей, лосей, кабаньи клыки. Кабаньи клыки были оправлены в золото, сложены попарно и висели на золотых цепочках на гвоздиках, как маленькие костяные хомутики. Под каждой парой клыков была надпись. Оказывается, все эти рога и клыки получили «Гран при» на какой-то аристократической охотничьей выставке в Париже. Тут же был устроен домашний тир, где на черном фоне виднелись белые зайцы и олени.

Затем мы осмотрели рыцарский зал, полный рыцарских доспехов – шлемов, нагрудников, набедренников. Ряд рыцарей стояли вдоль белых стен, блестя тусклым серебром и золотом. Стояли целые рыцари-всадники со страусовыми перьями на решетчатых шлемах.

Залы следовали за залами. Мы не осмотрели еще и четверти замка, как устали.

– Сколько же всего здесь комнат? – спросил я управляющего.

– Что-нибудь – сто двадцать, – ответил он с поклоном.

– А сколько было у пана земли?

Управляющий опять поклонился:

– Что-нибудь – шестьдесят тысяч десятин.

– А лесу?

– Что-нибудь – пять тысяч десятин.

А в это время в замке шла своя, привычная жизнь. Через залы проходили лакеи в узких пиджаках и в бачках. Шуршали юбки горничных.

Мы торопились. У нас не было больше времени осматривать замок. Мы вышли. Управляющий довел нас до лестницы и сказал:

– Должен вам доложить, что хотя князь и имеет шестьдесят тысяч земли и пять тысяч лесу, но, откровенно говоря, земля эта и лес не так уж хороши... Я не думаю, чтобы было целесообразно...

Мы не дослушали его и вышли. Я не мог опомниться. Я, конечно, знал, что существуют в мире князья и майораты. Но как-то отвлеченно. Теперь же я увидел это воочию. Это произвело особенно подавляющее впечатление потому, что я видел чудовищную, ни с чем не сравнимую нищету крестьян, живущих вокруг этого замка. В течение нескольких столетий Радзивиллы буквально высасывали из крестьян все соки, для того чтобы построить, содержать, украшать этот проклятый замок, для того чтобы жить в этой роскоши, ездить в Париж, в Нью-Йорк, мотать деньги в Монте-Карло, держать автомобили, выписывать драгоценные духи, вина и наряды, сморкаться в носовые платки ценой в две тысячи франков штука. «Что-нибудь шестьдесят тысяч десятин»! Ах, холуй! Я долго не мог успокоиться.

Через некоторое время я посетил другой замок. Это был знаменитый замок князей Мирских в местечке Мир. Часто мне приходилось во время поездок по Западной Белоруссии видеть его издали. Иногда ночью мимо нас, на фоне лунного облачного неба, проплывал силуэт двух готических башен, над которыми летали тучи черных птиц. Замок Радзивиллов – пятнадцатого века. Замок Мирских – едва ли не тринадцатого. Он окружен высоким крепостным валом. Из ворот вот-вот, кажется, выедут закованные в сталь рыцари. Это – замок в духе Вальтер Скотта. На три четверти он разрушен. Зияют бойницы. Верх одной башни обвалился. На верху другой уцелел ржавый флюгер. Обвалившаяся штукатурка открывает большие

кирпичи старинной кладки елочкой. Через рыцарские ворота, черные от копоти внутри, мы лихо въехали во двор замка на своей «эмочке». Мощный двор был завален рухлядью. В стороне стоял грубый, очень старый дубовый стол – совершенно как из «Гугенотов».

По углам разросся шиповник. Его коралловые ягоды и колючие ветви говорили моему воображению о спящей красавице. Крылья замка зияли дырами окон. Крыши давно не было. В середине корпуса, там, где некогда были залы и покои, теперь росли клены – лимонно-желтые, пунцовые, коричневые. Их ветви виднелись в амбразурах окон изнутри. Осенние клены жили во флигелях замка. Но центральная часть замка была цела. В ней до последнего времени жили хозяева.

У входа стоял человек в подпоясанном пальто и с красной повязкой на рукаве – часовой рабочей гвардии. Я подошел к нему, поздоровался, предъявил свое удостоверение и попросил показать замок. Он прочел удостоверение, вернул его мне и попросил отойти на десять шагов от двери. Я подумал, что он шутит. Но он вдруг вскинул свою берданку... и щелкнул затвором. «Назад!» – закричал он. Я отошел и, стоя на почтительном расстоянии, стал уговаривать его пустить в замок. Он был непоколебим. Я сердился, доставал удостоверения, показывал на красную звезду на своей фуражке – он стоял как статуя, с берданкой наперевес. Он имел строжайший приказ не пропускать в замок никого без начальника рабочей гвардии. Я рассердился. Он вторично щелкнул затвором. Мне ничего не оставалось, как ехать в местечко за начальником рабочей гвардии.

Начальник рабочей гвардии любезно провел меня мимо неумолимого часового в замок. Там не было ничего интересного. Те же картины, вазы, дорогая мебель, радиоприемник последнего выпуска, бильярд с шарами и брошенными киями.

Я остановился возле библиотечных шкафов красного дерева, вделанных в стены. Здесь было множество старинных французских книг, среди них «Письма Мирабо», «История французской революции» Тьера и еще множество томов, имеющих отношение к истории французской революции. Это показалось мне примечательным. Последний польский феодал изучает историю французской революции. Как видно, мысли о революции неотступно преследовали князя. Замок разрушался, а он все думал, думал. Все об

одном. О близкой расплате. О Людовике на плахе, о голове мадам Ролан...

Мы вышли на свежий воздух. Часовой взглянул на меня смягченно. Я запомнил его фамилию: Мицкевич. Однофамилец великого польского поэта Адама Мицкевича, столяр Мицкевич из местечка Мир бдительно и неподкупно стоял на своем посту у бывшего замка князя Мирского.

...Поезд шел из Белостока в Москву. Только что кончилось заседание Народного собрания Западной Белоруссии, навсегда отдавшее в руки трудового народа все богатства Радзивиллов, Мирских, Понятовских, Беков... В поезде ехала в Москву полномочная комиссия Народного собрания Западной Белоруссии. Она ехала на внеочередную сессию Верховного Совета, с тем чтобы войти в великую семью советских народов. Был октябрь.

Люди смотрели в окна на огненные леса, на свою освобожденную землю, на землю, которой никогда уже не будут владеть ни Радзивиллы, ни Мирские. Люди переживали свой первый Октябрь. И замки польских феодалов проплывали на горизонте, как смутные тени прошлого.

В дни Отечественной войны

Их было двое*

Один шел в разорванном мундире, слегка пошатываясь. Его голубоватые глаза, мутные с перепоя, смотрели в землю. В голове тяжело гудело. Ослабевшие ноги нетвердо ступали по жнивью. Все, что произошло только что, представлялось ему дурным сном. Во рту пересохло. Очень хотелось пить и курить.

Другой шел позади, ладный, подтянутый, с винтовкой в руке.

Один был стрелок-радист Вилли Ренер. Его самолет только что прижали к земле советские «ястребки». Теперь стрелок-радист Вилли Ренер был военнопленным.

Другой был младший командир Красной Армии Вергелис. Он вел сбитого немецкого летчика Вилли Ренера в штаб, на допрос.

Вокруг лежала широкая русская земля. Полосы льна, снопы ржи, далекий синий лес на горизонте, легкие осенние облака в нежно-водянистой голубизне русского неба.

Идти было далеко.

Немец обернулся на ходу. С перепоя ему хотелось болтать. Он посмотрел на Вергелиса. Треугольники на петличках Вергелиса привлекли внимание военнопленного.

– Это, наверное, младший командир, – пробормотал он, не ожидая ответа, так как свой полувопрос произнес по-немецки.

Но Вергелис немного знал язык своего врага.

– Да, я младший командир, – сказал он.

Немец слегка оживился:

– О, вы знаете немецкий язык?

– Да.

– Вы младший командир?

– Да.

Немец некоторое время смотрел на Бергелиса и потом сказал:

– Я тоже младший командир.

Вергелис промолчал.

– Наверное, мы однолетки.

– Возможно.

Вилли Ренер задумался.

– Мне двадцать три года, – наконец сказал он.

– И мне двадцать три года, – сказал Вергелис.

Он нахмурился. Ему показалось до последней степени диким то обстоятельство, что между ними, младшим командиром Красной Армии и этим фашистом, могло оказаться хоть что-нибудь общее. Это общее было – двадцать три года.

– Мне двадцать три года, – повторил фашистский летчик, стрелок-радист Вилли Ренер, – мне двадцать три года, и я уже облетел всю Европу. – Он подумал и уточнил: – Почти всю Европу.

Младший командир Вергелис усмехнулся. Он усмехнулся потому, что немецкий стрелок-радист сказал «почти», Европа без СССР не есть Европа. Вилли Ренеру не удалось закончить свое турне «по Европе». Его разбитый «юнкерс» валяется недалеко от советского города В. Турне не состоялось. Пришлось прибавить неприятное слово «почти».

– Я облетел почти всю Европу, – с угрюмым упорством пьяного повторил Вилли Ренер. – Я был в Бухаресте...

– Ну, и что же вы скажете о Бухаресте? – спросил младший командир Вергелис.

– В Бухаресте много публичных домов, – быстро сказал Вилли Ренер. – Я также был в Голландии.

– Что же вы видели в Голландии?

– В Роттердаме отличные, богатые магазины... Кроме того, я был в Польше.

– А что вы заметили в Польше?

– Польские девушки – змеи: они кусаются.

– А в Греции?

– В Греции душистый коньяк.

– А вы читали что-нибудь?

– О да. Я много читал.

– Что же именно вы читали?

– Я читал «Майн кампф» Гитлера, я читал роман доктора Геббельса.

– А Генриха Гейне вы читали?

– Нет, не читал. Генрих Гейне – еврей.

- А Льва Толстого вы читали?
- Нет, не читал. Лев Толстой – ублюдок.
- А Генриха Манна вы читали?
- Нет, не читал. Генрих Манн – антифашист.
- А Максима Горького вы читали?
- Нет, не читал. Максим Горький – коммунист.

Тошнота отвращения подкатила к горлу младшего командира Вергелиса.

– Да, я их не читал, – сказал Вилли Ренер. – Но я их сжигал. Я сжигал их книги на улицах города Эссена. Вы знаете город Эссен?

Нервно поглядывая на штык младшего командира Вергелиса, стрелок-радист фашистской армии стал рассказывать свою биографию.

Он был болтлив с перепоя.

Его отец, солдат вильгельмовской армии, сложил свою голову на полях Украины.

Фашистский агитатор, завербовавший Вилли Ропера в гитлеровскую организацию молодежи, беседовал с ним однажды в одной из эссенских пивнушек. Они оба были зверски пьяны, и фашистский агитатор говорил, пуская слюни в глиняную пивную кружку, похожую на шрапнельный стакан:

– Смотри на Восток, парень. Твой взгляд всегда должен быть обращен на Восток!

И глаза фашистского молодчика с тупой жадностью смотрели на Восток, но руки его до поры до времени орудовали в Германии.

Он хорошо запомнил слова своего фюрера Гитлера о том, что «нужно повесить на каждом столбе человека, чтобы навести порядок».

Однажды ему поручили перевести старого антифашиста из одного концлагеря в другой. Вилли Ренер мучил свою жертву. Старый антифашист сказал своему мучителю, что он старше его на тридцать пять лет. Ренер плюнул ему в лицо, потом застрелил.

Об этом, конечно, Вилли Ренер не рассказал младшему командиру Вергелису. Это выяснилось позже, на следствии. Об этом рассказал на допросе его «друг по разбою», штурман сбитого «юнкерса».

– Слушайте, Ренер, знаете ли вы, против кого вы воюете?

– Не знаю. Я просто стреляю людей. Зверей я оставляю на совести охотников.

Младший командир Красной Армии посмотрел на младшего офицера гитлеровской банды. У того было тупое, жадное лицо выродка. Оно нервно передергивалось. Типичное лицо алкоголика, садиста, психопата. «И это человек моего возраста?! – с яростью подумал Вергелис. – Нет, это не человек. Это грязное животное двадцати трех лет от роду, низкое, пьяное, жадное, глупое и мерзкое».

– Что я мог сказать Вилли Ренеру, человеку моего возраста? – говорит об этой встрече младший командир Красной Армии Вергелис. – Что я мог рассказать этому народоненавистнику?.

Я мог бы рассказать о себе, молодом советском еврейском поэте, написавшем книгу стихов о братстве народов и строительстве новой жизни, я мог бы рассказать этому разрушителю мирных городов и сел о себе, строившем шесть лет прекрасный город в дикой дальневосточной тайге.

Я мог еще рассказать ему о моем друге Коле Мартынове, прекрасном трактористе и мужественном воине. Этот простой, благородный советский парень за день до моего разговора с Ренером вынес белокурую польскую девочку из-под обстрела фашистского разбойника. Его сразила пуля. Падая, он успел бережно посадить на траву невредимую девочку.

Что я мог рассказать Вилли Ренеру, этой свинье, до головокружения вонявшей водкой?

Я отвернулся. Его увели.

Я ушел на свой боевой пост.

1941

Поклянемся никогда не забывать этого!*

Эти снимки найдены у убитого немецкого офицера в районе Яропольца.

Я держу их в руках. Я осязаю их.

Товарищи, не торопитесь перевернуть газетный лист! Хорошенько всмотритесь в эти снимки. Вдумайтесь в то, что

произошло.

Вот «суд». Их «судят», этих пятерых простых, хороших русских людей, граждан великого Советского Союза.

Где их «судят» и кто их «судит»?

Их «судят» на родной русской земле фашистские разбойники.

Вот «суд» окончен. Пять гитлеровских негодяев пробуют прочность веревок. Они бодро подтягиваются на мускулах. Они резвятся. Два ээсовца деловито следят за приготовлением к казни.

Заметьте их и запомните.

Запомните навсегда их хамские, щегольские позы, их худосочные ножки дегенератов, их пистолетики, их галифе.

Поклянемся никогда не забывать этого!

Перекладина, пять петель. И немецкий палач на помосте.

Всмотритесь в эту тупую, подлую фашистскую морду. Разве это человек?

Запомним же и поклянемся никогда этого не забывать!

Пять хороших, честных русских людей всходят на эшафот.

Вот они стоят с петлями на шее. Всмотритесь в них. Это – наши братья. Таких, как они, мы видим вокруг себя каждый день десятки тысяч. Великолепные советские люди – мужественные, трудолюбивые, честные... И гитлеровские палачи, ворвавшиеся на нашу землю, надели им на шею веревку.

Их сейчас повесят.

Но разве можно заметить хоть тень страха в этих мужественных родных лицах?

Нет.

Они прямо смотрят смерти в глаза. Они знают, что умирают за родину. Они не боятся смерти потому, что они – плоть от плоти и кость от кости великого советского народа.

А советский народ бессмертен.

Поклянемся же никогда не забывать этого!

Секунда – и стол выбит из-под их ног. Это уже не люди. Это трупы. Трое повешены «как следует». Двое оборвались. Их будут снова казнить. Да! Их будут «перевешивать».

Всмотритесь в это, запомните!

Поклянемся никогда не забывать этого!

Вот они, пятеро повешенных. Пятеро сыновей нашей родины – молодых, талантливых, честных, хороших советских людей.

Забудем ли мы это когда-нибудь?

Никогда!

Мы будем помнить эти снимки до последней детали, от цигейкового воротника одного из повешенных до пошлой складки на галифе убийцы.

Запомните эту складку!

Запомните это слово «галифе»!

Запомните, что генерал Галифе убивал французских рабочих – лучших сыновей французского народа.

И поклянемся еще в одном. Поклянемся никогда не забывать, что все эти снимки совершенно хладнокровно сделал фашист.

Вдумайтесь в это! Человек совершенно просто и деловито снимает казнь.

Человек? О нет! Конечно, не человек.

Это холодный мерзавец, садист и сукин сын. Животное? Нет. Гораздо хуже. Это – выродок.

Фашисты насилуют, жгут, режут, грабят, взрывают, вешают.

Они воображают, что весь мир можно оглушить страхом, а потом изнасиловать.

Но эти мерзавцы глубоко заблуждаются.

Русского патриота, человека советской эпохи, запугать нельзя.

Не запугаете!

Поклянемся же никогда не забывать этого!

1942

«Торопиться приносить скоро»*

«Приказ Коммандантий!

Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоко.

Сдай в восемь часов один мешок овес.

Или вы дать, или ваший домий сгорать.

Торопиться приносить скоро».

Приказ фашистского коменданта, найденный нашими войсками в одном из освобожденных районов Ленинградской области.

Вот каким языком разговаривают гитлеровские бандиты и ворюги с русским народом в захваченных районах.

Язык, что и говорить, красноречивый.

Из него так и прет беспримерное, чисто фашистское, хамство, подлость, зверская жестокость.

Кто писал эти жалкие, страшные каракули, нахально претендующие называться русским языком?

Растрепанная душонка, потерявший остатки совести и чести, проклятый родной страной и забывший родной язык белогвардеец, продавшийся фашистам?

Или прибалтийский барон?

Или шпик, специально изучавший русский язык в какой-нибудь гестаповской «академии»?

Не все ли равно!

В этом коротком безграмотном, жутком приказе как в капле воды отразилась вся презренная идеология фашизма.

Это заповеди бандита. «Майн кампф» в сокращенном издании. Самая сущность фашизма.

«Господин немецкий Коммандантий», этот выродок и болван, не любит утруждать себя длинными рассуждениями. Он, черт возьми, прям и лаконичен. Кроме того, ему, как видно, ужасно хочется жрать. Он отощал. Он мечтает о еде.

«Каждый, который у себя есть одна корова, сдай в восемь часов один горшок с молоко».

Ему, видите ли, утром ровно в восемь часов хочется краденого молочка. Он без этого не может. Он так привык.

Он, кроме того, большой любитель награбленного овса:

«Сдай в восемь часов один мешок овес».

С этим мерзавцем шутки плохи:

«Или вы дать, или ваший домий сгорать».

И пылают крестьянские дома, облитые керосином гитлеровским разбойником в комендантском мундире со свастикой на рукаве. Замерзают выброшенные в снег дети. Льется кровь...

А господин «Коммандантий» истошно кричит, топая ногами:

«Торопитесь приносить скоро!»

Он торопится.

Он торопится грабить. Он чувствует, что скоро Красная Армия вышвырнет всю фашистскую нечисть со священной советской земли.

И тогда господину «Коммандантию» придется предстать перед страшным и беспощадным судом великого советского народа.

И тогда за каждый «горшок с молоком», за каждый «мешок овес», за каждый сожженный дом, за каждую слезу советского человека он заплатит своей поганой, гнилой кровью.

1942

Гвардии капитан Туганов*

Мне нужно было повидаться с генералом, командиром одной из наших конногвардейских частей. Я приехал в деревню и вошел в избу, на крыльце которой стояли парные часовые. Генерала не было дома. Адьютант пригласил меня в горницу, оклеенную по-деревенски газетами и обоями, и предложил подождать. Когда мы вошли, адъютант представился:

– Гвардии капитан Туганов.

Это был красивый смуглый мужчина несколько восточного типа, плотный и очень хорошо сложенный. На вид ему было лет тридцать пять. На нем была легкая защитная рубашка, перехваченная узким кавказским ремешком с набором. Синие шаровары с алыми гвардейскими лампасами. Мягкие сапоги джигита. Шпоры. Пистолет. На груди два ордена: один гражданский – Трудового Красного Знамени, другой военный – Боевого Красного Знамени. Я это внутренне отметил. Мы поговорили о последних операциях части и о погоде. Операции были удачны. Погода никуда не годилась: пятый день шел дождь, сделавший дороги почти непроходимыми и сильно поднявший уровень рек.

Пока я разговаривал с капитаном, лицо его казалось мне все более и более знакомым. Как будто бы и фамилию его я тоже уже слышал раньше.

– Мне кажется, капитан, что я вас знаю.

– Это не исключено, – сказал он со сдержанной улыбкой.

– Но я не могу вспомнить, где я вас встречал!

– Это могло быть во многих точках Советского Союза. Вы могли меня видеть в Харькове, в Одессе, в Новосибирске, в Куйбышеве, в Саратове, в Ленинграде, в Ташкенте... в десятках городов... Наконец, в Москве.

– Вот именно, кажется, я вас видел в Москве. Но при каких обстоятельствах? В каком месте?

– Я думаю, – сказал капитан, – вероятнее всего, вы меня видели в цирке.

– В цирке?

– Ну да.

– Позвольте!.

И тут меня как молнией озарило. Ну да! Конечно! Я сразу увидел фасад Московского цирка и громадный цветной плакат, изображавший всадников в черных бурках и красных башлыках: «Грандиозный аттракцион. Донские казаки под руководством Михаила Туганова». Я был изумлен:

– Михаил Туганов... вы?

– Я.

– Тот самый, знаменитый?

– Да. Тот самый. Известный.

Я еще раз взглянул на него. Конечно. Это он. Последний раз я видел его на арене Московского цирка. В ослепительных разноцветных лучах прожектора на арену выезжают донские казаки. Их кони танцуют, носят боками. С удил падает пена. Развеваются башлыки и бурки. Впереди три аккордеониста на конях. Черные бурки, папахи и белоснежные аккордеоны. Это красиво. И потом – замечательный номер. Казаки пляшут, стреляют, рубят лозу, показывают высший класс джигитовки. И во главе этой замечательной труппы Михаил Туганов. Он несется по арене в карьер. На голове у человека яблоко. Михаил Туганов на всем скаку разрубает яблоко шашкой. Михаил Туганов на всем скаку стреляет из револьвера в цель. Михаил Туганов проносится вокруг арены на своем взмыленном скакуне, повиснув вниз головой на стремянах.

– И вот теперь вы... – говорю я.

– И вот теперь я гвардии капитан, – говорит Туганов.

– Как же это случилось?

– Это случилось очень просто.

И гвардии капитан Михаил Туганов рассказывает мне поистине простую и почти эпическую в своей простоте историю:

– Я сам по рождению кавказец, осетин. Прирожденный джигит и наездник. Мой отец – джигит. Мой дед – джигит. С детских лет я научился в совершенстве владеть конем, шашкой и винтовкой. Юношей, почти мальчиком, я поступил в цирк. Скоро я выдвинулся. Я стал довольно известным наездником. Я создал с тремя товарищами небольшой полный номер «Четыре Туганова четыре». Это был вполне приличный номер. Он имел успех у публики. Но он не представлял собой ничего выдающегося. Номер как номер, на десять – двенадцать минут. Меня это не удовлетворяло. Я мечтал создать что-нибудь более самобытное, более оригинальное и, если хотите, более народное. Однажды мы гастролировали в Ростове-на-Дону – в столице донских казаков. Здесь мне пришла в голову счастливая мысль – создать из настоящих донских казаков настоящий «гала-номер». Так родилась «труппа донских казаков под руководством Михаила Туганова». Наш номер был сделан, как говорится, на настоящем сливочном масле. Я набрал настоящих донских казаков – наездников и джигитов с головы до пят. Все, что мы показывали публике, было подлинно народное мастерство казачьей верховой езды, рубки, стрельбы, песен и плясок. Мы выступали в настоящих казачьих костюмах, на настоящих казачьих лошадях, с настоящим казачьим оружием – винтовкой, шашкой, пистолетом. Наш номер шел сорок пять минут, нам предоставляли целое отделение цирковой программы, обычно третье. Мы стали любимцами публики. Мы гастролировали по всему Советскому Союзу. Я не приписываю себе нашего успеха. Своим успехом мы обязаны великолепным традициям русского казачества. В день объявления войны, двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок первого года, мы как раз гастролировали в Московском государственном цирке. После представления вся наша труппа в целом подала заявление с просьбой отправить нас всех на фронт. Нашу просьбу командование Красной Армии удовлетворило. В течение нескольких дней к нам примкнули наши братья и знакомые – донские казаки, осетины, кубанцы. Получился целый хорошо вооруженный кавалерийский взвод казаков, на хороших лошадях и хорошо экипированный. Мы были готовы к бою. Я был назначен командиром этого взвода, а мой друг, директор нашей труппы

Алавердов, – комиссаром. Десятого июля мы в конном строю выехали из ворот Московского цирка на фронт. Нас провожали представители художественной интеллигенции, артисты, циркачи, весь народ. С песнями, под звуки аккордеонов, мы проехали по Цветному бульвару, держа в руках букеты. Скоро мы прибыли на фронт, в распоряжение знаменитого, легендарного кавалерийского генерала Льва Доватора. С ним мы и проделали всю кампанию. Были в четырех рейдах в тылу у противника. Из нашей группы пало в боях с гитлеровцами девять человек, несколько ранено, почти все остальные награждены боевыми орденами и медалями. Я получил орден Боевого Красного Знамени. Я ношу его рядом с орденом Трудового Красного Знамени, полученным несколько лет тому назад за работу в цирке. Оказалось, что наше цирковое мастерство пригодилось. То, что в мирное время было развлечением, во время войны стало делом, настоящим, большим военным делом. Теперь я произведен в капитаны и состою адъютантом командира гвардейской кавалерийской части.

Я, затаив дыхание, слушал эту простую и поразительную историю.

На прощание я крепко пожал руку Михаилу Туганову – замечательному мастеру цирка, замечательному командиру Красной Армии, человеку большой души, патриоту, гвардии капитану и кавалеру двух орденов.

Я ехал домой по грязной лесной дороге. Лошадь с трудом вытаскивала из грязи копыта. Копыта хлопали, как пробки. Шел дождь. Бурка намочла. Вода текла по коленям. За мной ехал коневод. Но вот он поравнялся со мной и сказал:

– Вам не рассказывал капитан Туганов, как его спасла профессия циркача во время одной из наших операций?

– Нет, не рассказывал.

– Ну да, он очень скромный человек. Он никогда не говорит о своих боевых подвигах. Но вы должны знать, как писатель. Вы непременно должны знать. Я вам сейчас расскажу.

– Расскажите.

И он мне рассказал замечательный случай из боевой практики бывшего циркового артиста, ныне конногвардейца Михаила Туганова:

– Однажды во время операции на Западном фронте, во время сильных боев, когда дислокация наших и вражеских частей была

неясна, капитан Туганов один, на коне, но ошибке заехал в село, занятое немецкими автоматчиками. Капитан Туганов доехал до середины села и только тогда заметил, что попал в расположение немцев. Он был в бурке, в красном башлыке. Немцы открыли по нему страшный огонь из автоматов. Туганов повернул коня и помчался карьером назад. Пули свистели вокруг, пробивая бурку. Тогда Туганов сделал вид, что его убили. Он свалился с седла и повис на стремях под брюхом лошади. Это был его излюбленный номер джигитовки. Немцы, уверенные в том, что казак убит, прекратили стрельбу и погнались за лошадью. Но лошадь была хорошо дрессирована. Она, не снижая аллюра, вынесла капитана Туганова из села. Тогда капитан вскочил на седло и умчался, как вихрь, в развевающейся бурке и в развеваемомся алом башлыке. Немцы ахнули, но было уже поздно. Пули не долетали. Так мастерство циркача спасло ему жизнь.

Пятый день шел дождь. Небо было темного порохового цвета. На его фоне очень мокрая зелень лугов, полей и лесов казалась особенно яркой. Она почти резала глаза. Мимо нас проезжали всадники, закутанные в мокрые бурки или плащ-палатки. От мокрых лошадей шел пар. Все это, вместе со звуками гремящего вдалеке боя, вызывало необычайно сильное и острое впечатление весны и войны. Ядовито-желтые лютики пылали в мокрых лугах.

Я ехал и думал:

«Да, таков гвардии капитан Туганов!»

1942

Концерт перед боем*

Она только что приехала с фронта. Через четыре дня она снова уезжает на фронт. Мы сидим в ее номере в гостинице «Москва». За окном громадные дома и асфальтовые перекрестки московского центра. Мчатся закамуфлированные машины, рассыпают искры трамваи и троллейбусы. Торопятся пешеходы. Серый весенний деловой московский денек.

Она еще полна фронтовых впечатлений.

Это известная исполнительница русских народных песен Лидия Русланова. На ней скромное коричневое платье. Волосы просто и

гладко убраны. Лицо чисто русское, крестьянское. Она и есть крестьянка-мордовка.

Почти с первых же дней войны она разъезжает по частям героической Красной Армии, выступая перед бойцами. Она ездит с маленькой труппой, в которую входят фокусник, баянист, скрипач, конферансье.

Где только они не побывали! И на юге, и на юго-западе, и на севере! Они дали сотни концертов.

Красная Армия необыкновенно любит и ценит искусство.

Вкус к искусству – в крови русского народа. Ничто так не поднимает его дух, как искусство. Музыка, пение, литература, поэзия – вечные друзья русского народа.

Множество актерских бригад, созданных Комитетом по делам искусства и концертно-эстрадным объединением, непрерывно посещает части действующей армии. Их работа огромна. Можно сказать, что за время войны такие бригады дали на передовых позициях десятки тысяч концертов. И это не будет преувеличением.

– Ну, как вам съездилось, Лидия Андреевна? – спрашиваю я.

– Замечательно! – с воодушевлением отвечает она.

И конечно, следующий же мой вопрос:

– Как дела на фронте?

– Бьем врага, – коротко говорит Лидия Русланова. – Упорно, ежедневно.

Ее глаза светятся уверенностью в победе.

Она охотно рассказывает о своей поездке. Особенное впечатление производит ее рассказ о концерте в трехстах метрах от линии огня, данном за тридцать минут до атаки на укрепленный пункт N. И перед моими глазами возникает незабываемая, волнующая картина.

Лес. В лесу еще сыро. Маленький, разбитый снарядами и полусожженный домик лесника. Совсем недалеко идет бой – артиллерийская подготовка. Осколки срезают сучья деревьев. Прямо на земле стоит Лидия Русланова. На пенечке сидит ее аккомпаниатор с гармоникой. На певиче мордовский яркий сарафан, лапти. На голове цветной платок – по алому полю зеленые розы. И что-то желтое, что-то ультрамариновое. На шее бусы. Она поет. Ее окружает сто или полтора десятка бойцов. Это пехотинцы. Они в маскировочных костюмах. Их лица черны, как у марокканцев. На шее автоматы. Они только что

вышли из боя и через тридцать минут снова должны идти в атаку. Это концерт перед боем.

Горят яркие краски народного костюма Лидии Руслановой. Летит над лесом широкая русская песня. Звуки чистого и сильного голоса смешиваются с взрывами и свистом вражеских мин, летящих через голову.

Бойцы как зачарованные слушают любимую песню.

Рядом западная дорога, по которой идут транспорты, автомобили, сани, походная кухня, и вот, услышав голос певицы, один за другим люди и машины сворачивают к домику лесничего.

Лидия Русланова поет уже перед громадной толпой.

Вот она кончила.

Молодой боец подходит к певице.

Он говорит:

– Видишь, какие мы чумазые после боя. Но песней своей ты нас умыла, как мать умывает своих детей. Спасибо. Сердце оттаяло. Спой еще.

И она поет. Поет широкую, чудесную русскую песню:

Вот мчится тройка удалая
Вдоль по дороге столбовой.
И колокольчик, дар Валдая,
Звенит уныло под дугой...

Но подана команда. Бойцы уходят в лес. Через минуту лес содрогается от сплошного треска автоматов. Началась атака. Вдохновленные песней, бойцы стремительно атакуют противника. Несется отдаленное «ура».

А к певице уже подходит хирург. Он просит певицу спеть раненому лейтенанту, которого везут в санбат.

Певица идет к раненому. На носилках лежит тяжело раненный лейтенант. Голова забинтована. Виден только один голубой блестящий глаз. Рот запекся. Лейтенанту трудно говорить. Но поворот его забинтованной головы и голубой глаз выражают просьбу: «Спойте!»

Она ласково наклоняется над ним. Тихо говорит:

– Может быть, вам тяжело будет слушать? Может быть, это вредно?

Губы лейтенанта шевелятся. Он еле слышно говорит:

– Нет, пожалуйста. Спойте. Для меня это будет лучшее лекарство.

И она поет. Поет тихо, как мать над постелью больного сына. Она поет:

Ах ты, степь широкая, степь
раздольная,
Ой да Волга-матушка, Волга
вольная...

И радостно блестит голубой глаз лейтенанта, и рука его благодарно жмет руку певицы.

Где только не выступают фронтовые артисты!

В хлебах, в банях, в избах, в лесах, в окопах, в блиндажах. Они живут трудной и славной фронтовой жизнью. Они делят с армией все. И армия их обожает – от рядового до генерала.

Пехотинцы несут им свои котелки с огненным борщом, танкисты предлагают им свой паек – сто граммов водки. Казаки заботливо кутают их в свои черные косматые бурки и яркие, алые и синие, башлыки.

С песней, с широкой русской песней идет армия в бой. И побеждает...

1942

Партизан*

Он начальник партизанского отряда. Его называют «товарищ Н.». Это высокий, стройный, интеллигентный человек в опрятном, полувоенном костюме с небольшим пистолетом на поясе. Он чисто выбрит. В его волосах сбоку заметна небольшая седина. Глаза добрые, спокойные, но вместе с тем очень твердые. Под глазами несколько мелких морщин, свидетельствующих о бессонных ночах и

постоянном душевном и физическом напряжении. Все его движения очень точны и целесообразны. В них нет ничего лишнего. Поэтому его движения, я бы даже сказал, изящны. Ноги небольшие, в хороших хромовых сапогах. Руки с длинными пальцами. Он по профессии инженер.

– Что же вас, собственно, интересует? – сказал он, краем глаза взглянув на большие часы-браслет с фосфорными стрелками. Я понял, что у него мало времени.

– Я хотел бы вам задать один вопрос.

– Пожалуйста.

– Часто приходится читать такую примерно фразу: «Партизаны пустили под откос немецкий поезд». Очень сжато. Что это значит в подробностях? Как это делается?

– Как это делается? В подробностях? – сказал товарищ Н. – Хорошо. Я вам постараюсь рассказать об этом в подробностях.

Он утомленно улыбнулся.

– Делается это так, – сказал он. – Вот, например, припоминаю один конкретный случай из практики нашего отряда. Это было зимой, в очень глубоком тылу немецкой армии. Наша разведка донесла, что по железной дороге в восемь часов вечера прошел неприятельский эшелон. Мне была хорошо известна немецкая пунктуальность. Имелись все основания предполагать, что и завтра тоже ровно в восемь часов вечера пройдет эшелон.

Мы установили наблюдение. Действительно, на завтра, ровно в восемь часов вечера, прошел эшелон. Несколько вечеров сряду мы наблюдали за дорогой. И каждый вечер ровно в восемь часов немецкий эшелон проходил мимо нас. Сомнения быть не могло.

Мы стали готовиться. Мы подвезли на подводах из лесу, из тайных складов нашего отряда, мины. Это были не электрические мины, взрывающиеся автоматически, от замыкания тока. Такие мины были нам непригодны. Если бы мы употребили электрические мины, то взорвался бы только один паровоз. А нам требовалось взорвать и пустить под откос весь состав. Это можно было сделать, только употребив мины механические, то есть такие, которые можно взорвать все одновременно и именно в нужный момент.

Самое трудное было заложить мины под рельсы. Для этого, во-первых, требовалось время, во-вторых, необходимо было определить

длину состава, для того чтобы взорвались все вагоны. Приблизительная длина эшелона была нами разведана – пятьдесят вагонов. Мы заложили две мины на расстоянии пятидесяти вагонов одну от другой; первая предназначалась для паровоза, вторая – для последнего вагона. В промежутке мы заложили равномерно еще десятка два мин.

Мы работали всю ночь. Работа была очень трудная. Несколько раз мимо нас проезжал немецкий разъезд. Но, к счастью, ночь была очень темная. Мы не курили, не разговаривали. Мы не могли произвести ни одного неосторожного звука. Это чертовски утомительно, особенно если принять во внимание, что почва промерзла на метр и тверда, как гранит.

Весь день мы прятались в лесу. В семь часов вечера мы были уже на месте.

Мы вырыли в кювете небольшую ямку. Мы провели к этой ямке от каждой мины длинный шнурок, который стоило только дернуть, чтобы мина взорвалась. Весь секрет успеха заключался в том, чтобы как раз в тот момент, когда паровоз будет над первой миной, а хвостовой вагон над последней, дернуть сразу за все шнурки.

Мы спрятались и стали ждать. Ночь была черна. Проехал немецкий разъезд. Он проехал очень близко. Мы слышали дыхание лошадей и немецкую речь. Мы замерли. Разъезд нас не заметил.

Без двадцати минут восемь рельсы вдруг загудели. Неужели поезд? Неужели аккуратные немцы вышли из графика? Я взялся за свои веревочки и прижался к земле, каждый миг готовый рвануть их. Я едва не произвел взрыва. Но в последнюю секунду опомнился. Это был не поезд. Мимо нас промчалась моторная дрезина с фонарями. Она осматривала путь.

Малейшая неаккуратность в нашей работе могла сорвать все наше предприятие. Но работа была сделана чисто. Все следы были аккуратно посыпаны снежком. Дрезина промчалась мимо, не остановившись. Она обдала нас ветром.

Ух, гора с плеч! Теперь скоро должен был появиться поезд. Напряжение дошло до крайнего предела. Мы прислушивались к тишине ночи, мы всматривались в темноту до боли глаз. В том, что поезд появится ровно в восемь часов, мы не сомневались. Нас волновал другой вопрос: какой это будет поезд?

А это было для нас далеко не все равно. От того, какой это будет поезд, зависела наша жизнь. Поезд мог быть с продовольствием или снаряжением. Тогда ничего. Поезд мог быть воинский, с солдатами. Тогда тоже ничего. Но поезд мог быть с боеприпасами, то есть нагруженный снарядами и взрывчатыми материалами. Тогда неизбежная смерть. Все будут убиты чудовищным взрывом. В этом не могло быть никакого сомнения.

И вот мы смотрели вдаль и прислушивались. Ровно в восемь часов послышался шум поезда. Поезд шел с потушенными огнями. Но кто его знает, какой это поезд – воинский, продовольственный или с боеприпасами? Что он нам нес – жизнь или смерть? Впрочем, в тот момент – могу поручиться – никто из нас не думал о смерти. Все думали только об одном: как бы поаккуратнее взорвать мины – не раньше и не позже, чем паровоз станет на головную мину.

Темная масса паровоза приблизилась. Вот он уже, постукивая на стыках, прошел по всем минам. Вот он уже над головной миной. Из поддувала сыпались угольки. Они освещали розовым светом снег.

Время. Пора. Я изо всех сил дергаю за систему своих веревочек. Я дернул с такой силой, что у меня заболело плечо. И в тот же миг раздался взрыв. Это был, доложу я вам, настоящий партизанский взрыв первого сорта. Тендер встал на дыбы и наскочил на паровоз. Тендер и паровоз поднялись в виде громадной буквы «А». Скрежет железа, лязг, треск дерева, звон стекол, огонь, дым, ад... Вагоны катились под откос боком, как консервные коробки. И затем – минутная тишина, минутное оцепенение. Сердце радостно билось в груди. Живы! Поезд взорван! Задание выполнено!

Через минуту молчания начались крики, стоны, истерический смех, беспорядочная стрельба из автоматов. Мы не совсем точно определили длину состава. Он оказался длиннее на два-три вагона. Из этих уцелевших вагонов выскакивали обезумевшие немцы и метались возле поезда, сверкая электрическими фонариками. Густой пар из взорванного паровоза покрыл все вокруг. На два километра вокруг пахло как в прачечной. Оставшиеся в живых фрицы бесновались. Но мы были уже далеко. Мы пробирались на наших добрых лошадках по лесу.

Через несколько минут мы услышали за собой еще один взрыв. Это подорвалась на электрической mine, предусмотрительно

поставленной нашими людьми невдалеке от места крушения, дрезина, спешившая на помощь к взорванному эшелону. Через некоторое время после этого вы могли прочесть коротенькое сообщение, что партизаны там-то пустили под откос немецкий эшелон. Вот и все. Вот, собственно, «как это делается».

Так закончил товарищ Н. свой короткий рассказ. Он его закончил и почти без паузы сказал:

– Вы слышали вчера Барсову в «Севильском цирюльнике»? Говорят, она бесподобна.

– Да.

– Мне, знаете, не удалось достать билетов, – сказал он огорченно.

– Но она будет петь послезавтра.

– К сожалению, завтра я уезжаю.

– Куда?

Он улыбнулся и не ответил на мой бестактный вопрос.

1942

Лейтенант*

Готовность номер один заключается в том, что летчик сидит в кабине своего истребителя, никуда не отлучаясь, готовый по первому сигналу, в ту же минуту, подняться в воздух для выполнения боевого задания.

В этом положении готовности номер один находился лейтенант Борисов в то мартовское утро, сухое и неяркое, когда на аэродром прибыли члены бюро полковой организации для участия в открытом партийном собрании.

На повестке в числе других стоял вопрос о приеме в партию лейтенанта Борисова. Так как лейтенант Борисов не мог покинуть свой самолет, то собрание состоялось рядом с ним, тут же, на опушке еще обнаженного леса.

Расстелив плащ-палатку, члены бюро сели на сухую прошлогоднюю листву, из которой торчали подснежники. Секретарь открыл голубую папку и разложил дела. Скоро пространство между дежурными самолетами, закиданное валежником, наполнилось

голубыми фуражками, кожаными пальто, брезентовыми куртками. Стояли. Сидели. Лежали.

Комиссар оглядел собравшихся и сказал:

– Лейтенант Борисов тут?

– Тут.

– Ну что ж, тогда «начнем, пожалуй».

Этой фразой начинались обычно все партийные собрания.

Километрах в двадцати, не утихая ни на минуту, гремели слитные раскаты боя.

– Первый вопрос на повестке – прием в партию лейтенанта Борисова, – сказал комиссар и обратился к секретарю: – Заявление лейтенанта Борисова имеется?

– Имеется.

– Зачитайте.

Секретарь взял листок бумаги и громко, так, чтобы все слышали, прочел:

– «Лейтенанта Анатолия Прохоровича Борисова в партийную организацию Сорок пятого полка истребительной авиации. Заявление. Прошу принять меня в члены партии. Клянусь отдать все свои силы, а если понадобится, то и жизнь, за дело полной победы над немецким фашизмом, за счастье всего прогрессивного, свободолюбивого человечества. Смерть гитлеровским мерзавцам! Анатолий Борисов». Все.

– Коротко, но ясно, – сказал кто-то в толпе после некоторого молчания.

И все засмеялись. Как видно, лейтенанта Борисова любили в полку.

– Ну что ж, – сказал комиссар, – может быть, у кого-нибудь есть вопросы к лейтенанту Борисову?

– Пусть расскажет свою биографию, – сказал один из членов бюро негромким густым басом.

– Товарищ Борисов, поступило предложение, чтобы вы рассказали свою биографию. Просим вас.

Лейтенант Борисов задвигался на своем глубоком сиденье и попытался встать, но зацепился кислородный баллон. Краска смущения выступила на лице лейтенанта. Он даже вспотел.

– Ничего. Не вставай. Говори сидя, – послышались голоса.

Но лейтенант Борисов все-таки встал. Ему было жарко. Он снял кожаный шлем и вытер рукавом комбинезона переносицу. Русые волосы рассыпались по его лбу. Он подобрал их и закинул вверх. На его молодом, курносом, широком розовом лице с медвежьими глазами блестели мелкие капельки пота.

– Моя автобиография, в общем, такая, – сказал он, старательно морща лоб. – Родился я, значит, в тысяча девятьсот девятнадцатом году в Москве. Ну, конечно, с тысяча девятьсот двадцать восьмого года стал ходить в школу. Ну, кончил десятилетку. Был отличником. Кончил на «отлично». Вступил, понятное дело, в комсомол. Потом окончил школу военных летчиков... Ну вот, теперь, значит, воюю. Имею на счету четыре сбитых немецких самолета. Два в индивидуальном бою да два в групповом. Ну вот... Что же еще?. Да вообще, товарищи, по правде сказать, у меня и автобиографии никакой сколько-нибудь порядочной нет, – закончил он застенчивым голосом с извиняющимися интонациями.

– Не больно густо! – произнес тот же веселый и доброжелательный голос, который раньше сказал: «Коротко, но ясно».

Некоторое время все молчали, слушая то нарастающий, то опадающий ритм далекого боя.

– Вопросы у кого-нибудь есть? – сказал комиссар.

– У меня есть, – сказал молоденький механик в новенькой голубой фуражечке и с медалью «За отвагу» на груди. – У меня есть такой вопрос к товарищу Борисову...

– Пожалуйста.

– Пусть товарищ Борисов скажет нам, как он смотрит на обязанности члена партии.

Борисов сосредоточенно наморщил лоб, как видно желая дать наиболее подробный и наиболее исчерпывающий ответ. Но в это время телефонист, который лежал под крылом истребителя, положив под ухо трубку полевого телефона, поднял руку, призывая ко вниманию.

– Третья эскадрилья, в воздух, – сказал он негромко. – Курс восемь.

И в ту же секунду механики бросились снимать с моторов чехлы. Лейтенант Борисов быстро надел шлем, сел на свое низкое кресло,

махнул рукой в большой черной перчатке с раструбами и поспешно задвинул прозрачную крышку кабины. Заревели моторы.

Через минуту три истребителя один за другим поднялись в голубоватый, как бы перламутровый, воздух и тремя небольшими горизонтальными черточками скрылись за лесом курсом на запад.

– Ну что ж, – сказал комиссар, когда моторы самолета смолкли, – отложим вопрос до возвращения лейтенанта Борисова на аэродром. А пока перейдем к следующему. Какой следующий вопрос на повестке?

– Вопрос о текущем мелком ремонте пулеметного вооружения самолетов.

– Так. По этому поводу возьму слово. Наблюдается недостаточно четкая работа нашей технической службы...

И началось горячее обсуждение вопроса о текущем мелком ремонте пулеметного вооружения. Прения затянулись. Прошло сорок минут, а они еще только разгорелись. Вдруг кто-то сказал:

– Возвращаются.

Три самолета шли на посадку. Два самолета шли хорошо. Третий самолет слегка покачивался. Два самолета сели хорошо. Третий сделал «козла» и чуть не скапотировал, но выровнялся и подрулил к лесу. Но, не дойдя до леса, остановился. К самолету бежали встревоженные механики. Два летчика вылезли из двух первых самолетов. Из третьего самолета никто не выходил. Через минуту из третьего самолета вынули лейтенанта Борисова с простреленной грудью, простреленной печенью и простреленной рукой. Он был мертв. Его принесли на опушку и положили на плащ-палатку. Его лицо было еще совсем живым, но слишком белым. Глаза тускло блестели из-под неплотно закрывшихся век. Отпечаток спокойствия и важности лежал на его большом, могучем лбу. Губы были плотно, сердито сжаты.

Старший лейтенант Козырев, ведущий прилетевшего звена, подошел к командиру полка и доложил:

– Шли курсом восемь. На квадрате шестнадцать – девяносто два встретили шесть «юнкерсов», шедших под охраной восьми «мессершмиттов». Навязали немцам бой. Один «юнкерс» и три «мессершмитта» уничтожены. Из этого числа лейтенантом Борисовым лично сбито два «мессера».

Некоторое время все молча смотрели на все более и более синее лицо лейтенанта Борисова, неподвижно обращенное к перламутровому, прохладному мартовскому небу. Ритм артиллерийских раскатов то нарастал, то падал.

– Ну что ж, – сказал комиссар, – предлагаю считать лейтенанта Борисова членом партии. Кто «за»?

Лес рук поднялся над толпой.

– Член партии лейтенант Борисов умер, как подобает настоящему большевику, – сказал комиссар.

Четыре товарища подняли на плащ-палатке тело лейтенанта Борисова и понесли.

Из сухой травы торчали большие белые подснежники.

1942

Фотографическая карточка*

По заводскому двору к столовой шли двое. Он и она. Она – молодая, очень хорошенькая девушка в легкой шубке и в цветном платочке. Он – молодой человек в матросском бушлате, смуглый, черноглазый, настоящий черноморский морячок.

Я заметил, что он как-то неестественно ставит правую ногу. Каблук слишком сильно стучал по камням дороги, проложенной через двор. Эти двое молодых людей, он и она, шли рядом, держась за руки, как дети.

– Милая пара, – сказал я.

– Да, замечательная пара, – сказал инженер. – Они оба работают у нас в шлифовальном цехе. История их знакомства и их любви могла бы послужить темой для романа – настолько она необыкновенна и вместе с тем естественна.

– Расскажите.

Постараюсь передать как можно короче историю, которую рассказал инженер.

Назовем девушку Клавой. Месяцев десять тому назад она работала в госпитале, регистраторшей в канцелярии. Однажды она послала на фронт посылочку. Это был обычный пакетик с варешками, куском туалетного мыла, с пачкой папирос, с платочком и

множеством других трогательных, но весьма полезных мелочишек. Обычно каждая девушка вкладывает в свой пакетик письмо неизвестному бойцу. Она сообщает свое имя и свой адрес. Но Клава не была мастерица писать письма. Она начинала писать несколько раз, но ни одно письмо не удовлетворило ее. То выходило слишком сухо, то слишком восторженно, то слишком сентиментально.

В конце концов она разорвала все варианты. Она взяла свою фотографическую карточку и на обороте ее написала всего два слова. Затем она вложила карточку в свой пакетик. Эти два слова, написанные на обороте карточки, были: «Самому храброму».

И больше ничего. Ни подписи, ни адреса.

Посылка была получена в одном из отрядов морской пехоты. Она досталась одному бойцу – назовем его Сережа, – парню хорошему, боевому. Он посмотрел на фотографию и ахнул. Он был поражен красотой девушки.

Впрочем, может быть, она была не так красива, как соответствовала его вкусу. В общем, все было прекрасно. Но, прочитав на обороте карточки надпись, парень отправился к своему командиру. Он заявил, что не считает себя вправе взять посылку.

– Почему? – спросил командир.

– Потому, что я не считаю себя самым храбрым.

– А девушка вам нравится?

Сережа не ответил ничего.

– Хорошо, – сказал командир. – У вас отличный вкус.

Командир показал карточку красивой девушки своим морячкам.

– Вот что, товарищи, – сказал он коротко, по-военному, – получена посылка. В письме карточка девушки. На карточке написано два слова: «Самому храброму». Больше ничего. Вопрос: кто должен получить посылку и карточку?

– Самый храбрый, – хором ответили морячки.

– Присоединяюсь, – сказал командир. – Посылку и карточку получит самый храбрый. Самый храбрый, два шага вперед!

Но никто из ребят не двинулся с места. Они все были храбрые, но никто не был хвастлив.

– Я так и думал, – сказал командир и спрятал карточку в боковой карман. – Сегодня мы идем в атаку. Самый храбрый получит карточку и посылочку.

Во время атаки Сережа пробрался за линию неприятельского расположения, подполз к румынской батарее и забросал ее гранатами. Орудийная прислуга растерялась. Батарея была атакована и взята. Сережа был представлен к боевому ордену и получил из рук командира посылку. С того дня Сережа не расставался с заветной карточкой.

Однажды, регистрируя личные вещи и документы только что принятых раненых, Клава увидела свою карточку. Фотография была пробита пулей и окровавлена. Девушка кинулась к начальнику госпиталя. Она умоляла разрешить ей оставить работу в канцелярии, перейти сиделкой в палату, где лежал ее герой, ее «самый храбрый». Начальник госпиталя разрешил. Сережа был в очень тяжелом состоянии. Две недели он находился между жизнью и смертью. Она ни на минуту не отходила от его койки. Она буквально вырвала его из рук смерти. Она выходила его с беззаветной преданностью матери, сестры, жены.

Пришлось все же отнять ему ногу. Потом он стал поправляться. Это было счастливейшее их время. Она дала ему слово никогда не расставаться с ним.

– Зачем же ты, Клавдюша, связываешь свою жизнь с калекой? – сказал он. – Не торопись, подумай!

– Молчи! – сказала она сердито. – Ты ничего не понимаешь.

Получив протез, он выписался из госпиталя. Он поехал работать на этот большой военный завод. Он не мыслил себе жизнь без дела, без труда, без борьбы с врагами родины. Раньше он боролся с ними оружием, теперь он будет с ними бороться мастерством шлифовальщика. Она последовала за ним. Она так же, как и он, стала шлифовальщицей. Их рабочие места рядом, за двумя соседними станками «цинциннати».

...Вот что рассказал мне инженер, пока мы обедали в заводской столовой.

Клава и Сережа сидели рядом за длинным столом и ели борщ, аккуратно подставляя ломти хлеба под жестяные штампованные ложки. Они с аппетитом ели и разговаривали, нежно глядя друг на друга молодыми, счастливыми и вместе с тем строгими глазами.

На его груди блестел новенький орден Красной Звезды. Мне захотелось подойти к ним, крепко пожать руку ему и крепко

поцеловать ей.

Но я этого не сделал. Я не хотел смущать этих милых, замечательных людей, настоящих русских патриотов. Я боялся оскорбить их скромность, которая всегда сопутствует истинной доблести и душевной чистоте.

1942

Во ржи*

Сначала мы шли пригибаясь, потом стали на четвереньки и поползли, осторожно раздвигая очень густую и очень высокую рожь. Метров через пятьдесят мы увидели наше боевое охранение. Несколько бойцов лежали в маленьких уютных гнездах, усталых свежей соломой. Бронебойщик-казак, маленький, с блестящим глиняным лицом, выставил далеко вперед ствол своего противотанкового ружья – тонкий и неестественно длинный, с кубиком на конце. Все бойцы были замаскированы. Поверх шлемов на них были надеты широкие соломенные «абажуры», а на некоторых – сети с нашитой на них травой. Это делало их похожими на рыбаков со старинных рисунков.

Вчера здесь были немцы. Ночью их выбили. Позицию до прихода пехоты пока держал маленький отряд автоматчиков и бронебойщиков. К ним-то мы и попали.

Увидев ползущего генерала, бойцы сделали попытку встать. Но генерал сердито на них шикнул. Они снова, поджав ноги, улеглись, как дети в свои ясли. Стоя на коленях, генерал развел рукою рожь и начал медленно, тщательно осматривать в бинокль защитного цвета немецкие позиции. Отсюда до немцев было не более полукилометра «ничьей земли».

– А где же ваша пехота? – спросил я.

– Она сейчас подойдет, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля.

Гвардии генерал был в простом, защитном комбинезоне, из штанов выглядывали пыльные голенища грубых солдатских сапог. Генерал позвал к себе артиллерийского офицера, который сейчас же подполз на четвереньках. Генерал и артиллерийский офицер стали в

два бинокля осматривать местность. Их внимание особенно привлекал небольшой лесок, синевший позади ситцевого гречишного поля, на самом отдаленном плане панорамы. По мнению генерала, там была батарея, по мнению артиллерийского офицера – две засеченные еще вчера пушки.

– Карту! – сказал генерал и, не оборачиваясь, протянул назад руку.

В ту же минуту подполз адъютант, и в руке генерала оказалась ужасно потеряя, вся меченая-перемеченая карта, сложенная как салфетка. Он положил карту на пыльную землю, покрытую сбитыми колосьями, разладил ее, насколько это было возможно, и погрузился в ее изучение.

– Прикажете кинуть туда штучки четыре осколочных, – сказал он. – Может быть, они ответят.

– Есть четыре осколочных!

Артиллерийский офицер пополз к своей рации. Это был ящичек с антенной в виде тонкого шеста, с тремя длинными треугольными зелеными листками, что делало ее похожей на искусственную пальмочку.

В это время в воздухе что-то близко, коротко, почти бесшумно порхнуло.

– Мина! – негромко крикнул кто-то.

И в тот же миг раздался злой, отрывистый, крякнувший взрыв. Воздух довольно ощутительно толкнул и нажал в уши. Свистя, пронеслась стая осколков, сбивая цветы и колосья. Маленький осколочек со звоном щелкнул вдалеке по чьей-то стальной каске. Душный коричневый дым пополз по земле, ветер протаскивал его, как волосы, сквозь частый гребень ржи. Тухло запахло порохом и горелым картоном, как бывает в летнем саду после фейерверка.

– Живы? – сказал генерал.

– Живы! – ответило несколько голосов.

– Плохо маскируетесь, – сказал сердито генерал. – Устроили тут базар. Ходите, бродите. Нужно ползать. Понятно? Ройте щель, только как следует, на полный профиль.

Несколько бойцов, лежа на боку, тотчас стали поспешно долбить землю коротенькими лопатками. Но в эту минуту пролетело еще две мины. Они разорвались немного подальше, повалив в разные стороны

вокруг себя рожь, раскидав далеко васильки и ромашки, вырванные с корнем.

– Ищет, – сказал кто-то.

– Только не находит.

– Формалист, – сказал генерал, сдвигая на затылок свою легонькую, летнюю фуражечку и продолжая работать над картой. – Формально стали воевать фрицы. Дайте перископ.

И тотчас в его руке очутился небольшой перископ. Генерал пополз далеко вперед, – мне показалось, что он дополз до самого переднего края немцев, – лег там и высунул изо ржи вверх зеленую палочку перископа.

Прилетела еще мина. Потом еще две. Потом скоро еще одна. С этого времени вплоть до броска в атаку через правильные промежутки стали прилетать тяжелые мины. Они рвались и близко и далеко, и справа и слева. Но на них уже больше никто не обращал особенного внимания, так как все очень хорошо понимали, что немец бьет наугад, а все остальное уже дело случая.

Закончив работу с картой, генерал отдал несколько приказаний на тот случай, если с фланга появятся неприятельские танки, и сначала ползком, а потом только пригибаясь пошел на соседнее клеверное поле, где у него был приготовлен вспомогательный пункт управления. Это была обыкновенная щель, в которой уже сидел в земляной нише телефонист в каске и названивал в танковые батальоны, уже занимавшие где-то поблизости, в складках местности, исходные позиции перед атакой.

Генерал посмотрел на часы. До начала атаки оставалось еще пятнадцать минут. Все вокруг было тихо. Разумеется, «тихо» в том смысле, что огонь с нашей и немецкой стороны велся в спокойном, неторопливом, ничего не предвещавшем ритме. Стреляли все виды оружия. Далеко, в тылах, этот огонь, вероятно, представлялся слитным, раскатистым гулом, подавляющим и грозно-тревожным. Но, находясь где-то в самом центре этой разнообразной канонады, люди привычным ухом и совершенно безошибочно определяли, какой звук для них опасен, может быть даже смертелен, а какой нет. Все «безопасные» звуки, как бы громки они ни были, не задерживали на себе внимания, существовали где-то как бы на втором плане. Все звуки «опасные», в свою очередь, делились на просто опасные и

смертельно опасные и в соответствии с этим занимали в сознании более или менее важное место. Так, например, потрясающий грохот тяжелых авиабомб, которые время от времени немецкие «хейнкели» высыпали целыми сериями на наши соседние дороги с большой высоты и очень неточно, – он почти не привлекал внимания, так как непосредственно нам не угрожал, хотя вдалеке со всех сторон вокруг нас и поднимались гигантские, многоярусные, черные, зловещие тучи их взрывов. Свист ежеминутно перелетавших через голову туда и обратно немецких и наших снарядов тоже мало привлекал наше внимание, хотя был назойлив и громок. Зато порхающий звук прилетевшей мины чуткое ухо улавливало каким-то чудом еще за секунду до его возникновения, и люди успевали прижаться к земле или спрыгнуть в щель. Глаз мгновенно замечал молниеносную тень вдруг подкравшегося на бреющем полете «мессершмитта», – что-то черное, желтое, как оса, с крестами. Он проносился над нашим полем, паля изо всех своих пулеметов и подымая этой пальбой частые фонтанчики пыли. Иногда из какого-нибудь большого, подозрительного, дырявого облака вдруг вываливалась курсом прямо на нас тройка или шестерка бомбардировщиков, плохо видных против солнца. Тогда все напряженно задирали головы вверх, желая распознать, свои это или «его». И непременно какой-нибудь оптимист говорил:

– Наши.

И непременно какой-нибудь пессимист отвечал:

– Немецкие.

Осмотрев в последний раз в бинокль поле боя, на котором – он это знал лучше всех – через пять минут будет твориться нечто невероятное, генерал велел в последний раз обзвонить все танковые батальоны и дружески разговаривал с каждым командиром.

– Ну, как самочувствие?

Командиры двух батальонов подошли к телефону тотчас же. Третий не подошел. Вместо него подошел его заместитель.

– Я просил не заместителя, а самого командира, – строго сказал генерал.

– Товарищ седьмой, двадцать пятый лично подойти не может.

– Почему?

– Он намыленный!

– Чем?

– Мылом. Бреется. Он приказал доложить вам, что все в порядке и все на месте. А что касается бритья, то оно будет закончено полностью через три минуты. Прикажете прекратить или разрешите добриться?

– Хорошо. Пусть добреется, – улыбаясь, сказал генерал.

После этого я увидел роту пехоты, которая шла прямо на нас, поднимаясь из лощины на гору. Гвардейцы шли во весь рост, широкой цепью по пестрому – малиновому, лиловому, зеленому – клеверному полю. В стальных касках с туго затянутыми ремешками, в зелено-желтых маскировочных плащах и сетках, размашисто шагая по великолепной орловской земле, они несли на плечах кто пулемет, кто трубу миномета, кто ящик с патронами или минами, кто просто автомат, положив палец на спусковой крючок и выставив вперед ствол.

– Ложитесь, черти! – крикнул молоденький смуглый офицер связи с пыльным лицом и детскими каплями пота на подбородке.

Они не слышали.

– Ложитесь! Ползите!

Несколько мин разорвалось между ними и нами. Они переглянулись. Но никто не лег. Они только прибавили шаг. Теперь они почти бежали. Они быстро приближались к нам, вырастая на склоне цветущего холма, на громадном фоне знойного, пыльно-голубого орловского неба, заваленного грудями движущихся перламутровых облаков.

– Орлы! Гвардейцы! – сказал генерал с восхищением.

Рота побежала мимо нас, вернее – через нас, в сторону неприятеля и шагах в сорока залегла.

– Отсюда они после артиллерийского налета пойдут в атаку и выбьют мерзавцев из их узла сопротивления. У нас сейчас такая тактика. Артиллерия, авиация и танки врываются в брешь и развивают успех... Чем, между прочим, и объясняется, – прибавил он не без ехидства, – что вы приехали в танковое соединение, а попали в пехотную цепь, и мое место, собственно говоря, не здесь, а сзади.

Я ничего не успел ответить, так как стрелка больших генеральских часов, по-видимому, коснулась заветной цифры.

Описать следующие десять минут я не имею ни надлежащих красок, ни таланта. Это был великолепный, молниеносный артиллерийский шквал. Над нашими головами неслись на запад сотни мелких, средних и крупных снарядов. Я посмотрел в бинокль. Боевые порядки немцев заволокло дымом и пылью. Там что-то вспыхивало, рвалось, клубилось, взлетало вверх, падало черным дождем и вновь взлетало. И как завершение этой десятиминутной симфонии вспыхнул огонь гвардейских минометов. Это был мощный аккорд. Тогда поднялась пехотная цепь.

– За родину, за партию! – крикнул чей-то хриплый голос.

И мы услышали протяжное, раскатистое «ура».

Грянули пулеметы, автоматы...

– Пошли, орлы, – сказал генерал и вскочил на бруствер.

А через полчаса телефонист закричал снизу, из своего окопчика, осипшим счастливым голосом:

– Товарищ гвардии генерал-майор, командир второго батальона доносит, что неприятель выбит со своих позиций и бежит.

– Вижу, вижу, – сказал генерал, не отрываясь от бинокля. – Товарищ писатель, вам не приходилось видеть, как драпают фрицы? Могу вам доставить это удовольствие.

И он протянул мне свой бинокль. На среднем и дальнем плане катилась пыль. Это, очевидно, неслись на запад немецкие грузовики, самоходные пушки, кухни, танки. В жизни я не видел более приятного зрелища!

– Первое отделение нашей программы закончено, – сказал генерал, вытирая со лба и с носа черный пот. – А теперь надо поскорее ехать на правый фланг, в район железной дороги. Адьютант, машину!

Мы покинули наше чудесное ржаное поле и стали спускаться в лощину. Теперь мы шли по вспаханному клину. На душе было восхитительно легко. Я смотрел на потную, рабочую спину генерал-майора, и почему-то мне вспомнились «Война и мир» и Багратион, идущий по вспаханному полю, «как бы трудясь».

1943

В наступлении*

Полковник, громадный человек с могучей грудью, стремительно шагает, перепрыгивая через свежие воронки и пригибаясь. Бинобль болтается на его загорелой богатырской шее. Мы едва поспеваем. Но он не обращает на это внимания. Наоборот. Он прибавляет шаг. Изредка оглядываясь на нас, он бодро покрикивает:

– Больше жизни! Веселее! Медленно ходить будем дома, по бульвару. А здесь война. На войне надо ходить быстро. Наклоняйтесь. Не жалейте спины.

Ординарец с автоматом на груди шепчет мне, почтительно и преданно показывая глазами на своего полковника:

– У нас полковник – орел. Настоящий пехотинец. На коне – всегда шагом, а пешком – всегда рысью. Еле поспеваешь.

У ординарца забинтована голова. Щека чудовищно раздута. Но это не флюс. Сквозь марлю проступает большое пятно крови. Час тому назад его ранило осколком бризантной гранаты, которая разорвалась между ним и полковником. Но он не пошел в лазарет. Он остался в бою, рядом со своим командиром.

С запада заходит большая гроза.

Еще солнце горит бело и ярко, но уже к нему подбирается громадная, густо-черная туча. Туча уже закрыла полнеба. Иногда в ней судорожно передергивается бледная молния. Но грома не слышно. Все звуки вокруг поглощены раскатами артиллерийских выстрелов. Земля ощутительно содрогается от ударов. Ходуном ходит воздух. Удар следует за ударом так быстро, что иногда два или три удара наскакивают друг на друга, сливаются. Сзади со всех сторон беглым огнем бьют наши батареи. Фрицы огрызаются. Впереди, на западе, над верхушками леса, над кустарником то и дело поднимаются грохочущие, крутящиеся, скалистые облака взрывов. На грозовом фоне, черном, как антрацит, они кажутся пепельными.

Мелко, часто, с сухим, острым блеском дрожит на ветру скудная листва кустарника.

В этом исковерканном, обожженном, обломанном чернолесье, так ужасно загаженном войной, еще свежи следы недавнего боя. Здесь все говорит о разгроме немецкой дивизии.

На земле рубчатые следы танков. Они вломились в оборону противника и «проутюжили» ее. Лес вокруг поломан. Воронка от разорвавшегося снаряда. На краю воронки лежит, раскинувшись, труп

немецкого солдата. У него горит и дымится сапог. Присматриваюсь. Ага! Все ясно. Он собрался бросить из кустов в русский танк свою стеклянную ампулу с зажигательной жидкостью. Но был убит. Ампула треснула. Густая, тяжелая, прозрачная жидкость потекла на ногу мертвого немца и загорелась.

Красный телефонный шнур, вися на кустах, преграждает нам путь.

– Это немецкий провод, – говорит полковник, – но вы его все же не рвите. Сейчас он уже не немецкий, а советский. Мы им пользуемся для связи. Сколько мы захватили ихнего шнура?

– Сорок километров, – докладывает ординарец.

– В хозяйстве пригодится, – говорит весело полковник.

Он поднимает могучей рукой шнур, и мы, наклонив головы, быстро проходим под ним.

Немецкая траншея. Здесь по колено в тухлой, зеленой воде еще сегодня утром сидели фашисты. Сейчас они здесь лежат. Неподвижные. Грязные. Серые. Вокруг разбросаны солома, бутылки, консервные банки, письма, немецкие газеты, патроны, фляжки, окровавленные тряпки, треснувшие каски. А вот, немного подалее, немецкий офицерский блиндаж. Сейчас здесь оперативный пункт командира нашего наступающего полка.

На столе разложена карта, и командир артиллерийского полка, только что вернувшись с рекогносцировки, спешно наносит на карту обнаруженные немецкие огневые точки. Завтра на рассвете их будут добивать.

А вот две последние немецкие новинки летнего сезона – «скрипуха» и «кобылий череп».

«Скрипуха» – это большая реактивная мина весом в восемьдесят четыре килограмма. Здесь, на этом участке, их захватили несколько штук. Фрицы отступали так поспешно, что даже не успели выпустить по нас «скрипухи». Они так и остались на огневых позициях. Подходим к одной из этих мин. Мина заключена в решетчатый деревянный ящик, похожий на тару от авиабомбы. Ящик с миной стоит, косо прислоненный к стене специально отрытого окопчика. Никаких прицельных приспособлений нет. Мину наводят приблизительно, «на глазок». Перед выстрелом ее даже не вынимают из ящика. Включают ток, и она летит, как граната, на два с половиной

километра. Шуму от нее много, а толку – не очень. Во время полета она издает отвратительный звук, похожий на скрипение заржавленного флюгера. Наши бойцы и прозвали ее за это «скрипухой». Удирая, враги все же успели снять со своих «скрипух» электрические запальники. Но наши бойцы быстро приспособились и тут же, не теряя золотого времени, стали палить по отступающим фашистам их же «скрипухами».

– Русский солдат, – с уважением говорит полковник. – Золотые руки. Он все может. Если понадобится, то и блоху подкует. Как левша у Лескова.

А вот и так называемый «кобылий череп». Это стальной колпак около двух метров в длину и высоту. В нем помещается скорострельный пулемет с боевым комплектом патронов. Этот колпак закапывается в землю, обкладывается дерном. Его очень трудно обнаружить. Он герметически закрывается. Для вентиляции имеется специальная машина, которая приводится в действие педалями, похожими на велосипедные. В «кобыльем черепе» сидят два солдата. Один качает воздух, другой стреляет из пулемета. Имеются два перископа, два откидных сиденья, полочки для продуктов и для боеприпасов. Все ручки, педали, кнопки этой машины никелированные. Внутри «кобылий череп» выкрашен добротной белой эмалевой краской, снаружи – темно-серой. На первый взгляд может показаться, что этот самый «кобылий череп» неприступная крепость, – и все же вот он, перед нами, выковырянный из земли, бессильный, с оторванной дверью и согнутым перископом.

– Сколько мы захватили за сегодняшнее утро этих самых хваленых «кобыльих черепов»?

– Одиннадцать штук, товарищ полковник, – докладывает ординарец.

А вот громадные черные дискообразные противотанковые мины, сложенные длинными штабелями. Немцы собирались заминировать дороги. Но не успели. Натиск наших доблестных пехотинцев был слишком стремителен. Немцы удрали, а мины остались.

– Ничего, пригодятся! – коротко говорит полковник, хозяйственно потирая руки.

Впереди раздается противный, тошнотворный скрип, и вслед за ним воздух потрясает крякающий взрыв.

– Вот она, «скрипуха», во всей своей красоте.

Беспрерывно впереди, в кустарнике, раздаются маленькие взрывчики, как будто кто-то бьет электрические лампочки. Это разрывные пули.

Туча закрыла небо. Все вдруг померкло. С шумом водопада обрушился на передний край ливень.

Автоматчики ведут пленных немцев. Их только что взяли. Мокрые, грязные, бредут они, низко опустив головы в серых пилотках. И дождь вокруг них блестит стальной решеткой.

– Стой! – говорит полковник. – Какого полка пленные?

– Триста тридцать второго.

– Вам ничего не говорит этот номер немецкого пехотного полка? – спрашивает меня полковник.

Я напрягаю память. 332? Действительно, что-то знакомое. И вдруг точно молния озаряет. Ведь этот гитлеровский полковник Рюдерер, командир 332-го пехотного полка, в декабре 1941 года приказал повесить Зою Космодемьянскую.

– Значит, против нас в данный момент воюет Триста тридцать второй пехотный полк?

– Он самый. Вернее, его жалкие остатки.

– А наши бойцы это знают?

– Да, – говорит полковник, – они это знают, они мстят за свою Зою. Видите, как они дерутся? Как львы. И ничто не может остановить их наступательного порыва – ни «скрипухи», ни «кобыльи черепа», никакая фашистская чертовщина. В результате последних боев Триста тридцать второй бандитский полк настолько потрепан, что его, очевидно, скоро отведут на переформирование. Мои бойцы поклялись добить этот полк!

Гремит гром, заглушаемый громом батарей. Блеск молний смешивается с блеском разрывов. Беглым шагом, с автоматами наперевес, проходит мимо нас на передовую рота автоматчиков. Запряжка из шести маленьких собачек провозит с передовой на тележке раненого.

Рядом с собачками идет девушка-санитарка. Синеглазая, розовая, молоденькая, озабоченная, в маленькой пилотке, из-под которой падают русые волосы, потемневшие от ливня.

Отец Василий*

Он пил чай вприкуску, поставив блюдечко на три пальца. Его седые волосы были заплетены по-домашнему жидкой косичкой.

– Скажите, батюшка, как же вы жили при фашистах?

– Я не жил, но существовал.

– А как отнеслись к фашистам ваши прихожане?

– Для русского человека не может быть иного отношения к врагам своего отечества, как ненависть.

– А как гитлеровцы отнеслись к гражданам вашего города?

– Отношение фашистов ко всем русским людям, в частности к моим прихожанам, общеизвестно. В первый же день своего пришествия они для устрашения прочих повесили восемь первых попавшихся граждан на площади перед храмом. В дальнейшем число невинно казненных увеличилось до пятидесяти двух. Фашисты сожгли одну треть домов. Остальные ограбили. Многие младенцы, выброшенные гитлеровскими солдатами и офицерами на мороз из теплых жилищ, погибли. Злодеяния и бесчинства иноземцев неописуемы.

Он выражался несколько книжно, старомодно, в духе семинарии, где он получил образование. Говоря, он пристально рассматривал кусочек сахара, который держал в темной руке.

– Действовала ли ваша церковь при фашистах?

– Да. Богослужение совершалось. Сначала я служил, желая дать возможность преследуемым и лишенным крова людям находить приют и хотя бы относительное спокойствие в храме божьем. Но вскоре гитлеровцы, как солдаты, так и офицеры, стали слишком бесцеремонны. Они входили в храм в головных уборах и в оружии, тем самым оскорбляя религиозное чувство верующих. Они трогали пальцами иконы. Они позволяли себе расхаживать по алтарю во время литургии. Они зажигали сигары и папиросы от лампад. Я уже не упоминаю о непристойных выходках по адресу женщин, певших на клиросе. Я просил их. Я взывал к их совести. Я умолял. Но все было тщетно. Мои увещевания, просьбы и даже мольбы не действовали на этих разбойников. В конце концов чаша моего терпения

переполнилась. Однажды во время слишком оскорбительной выходки компании немецких унтер-офицеров, которые начали в храме пить коньяк и закусывать, я прекратил богослужение и покинул храм. Следом за мной молча удалились и все молящиеся. В тот же день я запер двери храма на замок и твердо решил более не служить до тех пор, пока фашисты не будут изгнаны.

Отец Василий посмотрел старческими, синеватыми глазами, которые вдруг стали твердыми и прозрачными, как лед.

– И больше вы не служили?

– Нет, через некоторое время я опять стал отправлять богослужение.

– Почему?

– Меня заставил немецкий комендант. Он велел привести меня в комендатуру. Стуча по столу рукояткой револьвера, он заявил, что либо я буду отправлять богослужение, либо он повесит на церковной ограде десять человек из моих прихожан. Мог ли я принять на себя такой грех? Я отступился от своего решения. Я заявил, что повинуюсь.

– Но зачем это понадобилось немецкому коменданту?

– Я полагаю, причин было две. Первая – желание во что бы то ни стало настоять на своем и унижить русского священнослужителя, осмелившегося в виде протеста запереть храм. Вторая – предположение, что регулярная церковная служба знаменует собой как бы полное восстановление порядка в оккупированном городе.

Отец Василий тонко и зло усмехнулся.

– Немецкий комендант предложил мне служить без малейших сокращений, «как при старом режиме». Он именно так, этими словами, и выразился. После этого я стал служить.

Он замолчал и подул на блюдечко. На поверхности чая образовалась ямка, похожая на ложечку. Он резко откусил кусочек сахара крепкими старческими зубами и запил его чаем.

– Да, я стал служить. Я служил без малейших сокращений. А по воскресным и праздничным дням, каждый раз точно и аккуратно, без изъятия, исполняя приказ немецкого коменданта, я неукоснительно произносил с амвона проповеди. Они были на чисто религиозные темы. Я говорил моим прихожанам о святом Александре Невском, победителе немецких псов-рыцарей на Чудском озере, я говорил им о Дмитрии Донском, победителе татар на поле Куликовом, я говорил о

двенадцати языках, вторгшихся на нашу родину под знаменами Наполеона, день изгнания которых мы празднуем двадцать пятого декабря по старому стилю. И каждую службу я возносил молитвы о великом русском воинстве – о даровании ему победы и одоления над всеми его врагами и супостатами.

Теперь глаза отца Василия блестели. Он встал и ходил по номеру гостиницы твердой походкой почти молодого человека. Он был небольшого роста, но в эту минуту он казался выше себя на целую голову.

– А и здорово же вы их чесали, сукиных детей, батюшка! – вдруг сказал сиплый стариковский голос с покашливанием.

Оказывается, в номере, кроме нас, был еще один человек. Он сидел в темном углу в кресле. Я его сразу не заметил. Пожилой мужик с черепом лысым, как у апостола, в стеганой солдатской телогрейке и в рыжих сапогах, покуривал махорочку.

– Это наш пономарь Никита Степанович, – сказал отец Василий.

Никита Степанович подошел к столу и, глядя на меня простодушными синими и вместе с тем зоркими мужицкими глазами, сказал очень просто, даже деловито:

– Пока отец Василий служил, тем временем, знаете, у нас за церковью встречались партизаны, была явка. В подвалах же мы издавали небольшую газетку под названием «Смерть фашистским оккупантам!». Когда подошла Красная Армия, мы уничтожили гранатами всю гитлеровскую комендатуру, до единого человека. Ни один, так сказать, фриц не ушел.

– Да, – строго заметил отец Василий, – ибо сказано: поднявший меч от меча и погибнет.

1943

Труба зовет*

Ночь. Пустынные лестницы. Гулкие коридоры. Следы недавно законченного ремонта. Запах краски, извести. Скупой свет дежурных лампочек. Последняя ночь перед началом занятий. Завтра ровно в шесть часов тридцать минут прозвучит труба. Ее повелительный и раскатистый звук возвестит новый день – не только первый день

упорной учебы и настойчивого труда, а день новой жизни. Новую жизнь начинают четыреста восемьдесят мальчиков, воспитанников Калининского суворовского военного училища. Синяя заря позднего зимнего утра будет для них зарей новой жизни. А пока они крепко и сладко спят.

Обходим спальни.

Здесь все новое. Новые кровати. Новые одеяла. Новые тумбочки, пахнущие свежей краской. Разметавшись во сне, спят остриженные под машинку чудесные мальчишки исконных, коренных областей русских – Калининской, Ярославской, Ивановской, Смоленской, Московской, – цвет будущего нашего кадрового офицерства.

На тумбочках и табуретках строго по инструкции сложены их новенькая форменная одежда, белье, обувь.

Печи жарко натоплены. Некоторые мальчики скинули с себя одеяла. При слабом свете зашторенной лампочки шелковисто и смугло блестит чье-нибудь еще не вполне сформировавшееся, детское плечо. Здесь оно вырастет, разовьется, окрепнет, станет могучим плечом офицера.

Но вот раннее утро. Шесть тридцать. Резкие звуки трубы летят по лестницам, по коридорам, забираются в самые отдаленные уголки здания.

Мгновенно, с волшебной быстротой, ночная тишина превращается в бодрый гул утра. Слышатся смутные голоса, шум, звуки быстрой беготни по лестницам. Ровно через десять минут роты одна за другой, твердо отбивая шаг, выходят со своими офицерами во двор.

Во дворе еще темно. Еще совсем ночь. Смутно сияет снег. Деревья стоят как седые облака.

Звонкие голоса офицеров выкрикивают команду утренней зарядки. Воспитанники вышли во двор в одних гимнастерках, без поясов. Но им ничуть не холодно. Бодрой утренней свежестью веет от их смуглых и темных лиц. Они быстро приседают, выбрасывают руки, поднимаются на носки. Воспитанники четвертой роты делают зарядку четко и точно, с настоящим военным щегольством. Это «старики». Им уже по тринадцать лет. Возраст почтенный! Но зато ужасно суетятся и мельтешат воспитанники приготовительного и младшего приготовительного классов. Эти восьмилетние малыши в своих

длинных черных брюках с узкими лампасами, гимнастерках, черных каракулевых ушанках и красных погонах необыкновенно оживляют картину утренней зарядки.

Через десять минут зарядка окончена. Труба. Роты беглым шагом возвращаются в свои помещения.

Начинается туалет. Голые по пояс, с полотенцами на шеях, толпятся воспитанники возле умывальников, моются, вытираются, чистят зубы. Потом быстро одеваются, заправляют друг другу сзади гимнастерки, чистят друг друга. Все стараются быть особенно аккуратными и подтянутыми.

Ритм суворовского училища – четкий, быстрый, военный ритм – уже всецело овладел ими и несет их по графику от трубы к трубе, от команды к команде.

– Направо равняйся!. Смирно!. Направо! – Голос офицера-воспитателя звучит строго, отрывисто, резко. – Шагом марш!

В строю, твердо печатая шаг, роты спускаются по лестнице в столовую, к первому завтраку. Чтобы рота не наскокивала на роту где-нибудь на повороте, воспитанники дают шаг на месте. Шарканье шага на месте наполняет этажи, коридоры и лестницы здания.

В столовой воспитанники едят, заложив за воротники белоснежные салфетки. Все очень чисто, прилично, пристойно. Никакой суеты, никаких лишних разговоров. Завтрак хорош: молоко, чай, хлеб, масло.

Снова труба. Начальник училища генерал-майор Визжилин входит в зал, где собрались воспитанники училища.

– Встать, смирно!

Четыреста восемьдесят мальчиков в черных форменных костюмах с золотыми пуговицами и красными погонями вскакивают с новеньких желтых клубных стульев. Дежурный по училищу рапортует:

– Товарищ генерал-майор, вверенное вам училище в составе четырех рот и двух приготовительных классов собрано на митинг по вашему приказанию. Капитан Пименов.

– Здравствуйте, товарищи воспитанники!

– Здравия желаем, товарищ генерал! – в четыре счета отрывисто и лихо чеканят воспитанники.

Я смотрю на них – на маленьких, больших, коренастых, тоненьких, озорных, спокойных, всяких, таких разных и таких одинаковых в своей новенькой форме, подхваченных одной волной воинской дисциплины, и думаю: вот оно, будущее нашей армии, а значит, и нашей родины.

Среди этих мальчиков, которые стоят с книжками и тетрадками в руках, я вижу двух внуков Чапаева, сына легендарного капитана Гастелло, племянника Орджоникидзе, сына Героя Советского Союза Кошубы. Среди этих мальчиков немало участников Великой Отечественной войны. Иные из них награждены медалями.

Одиннадцатилетний воспитанник Коля Мищенко два года воевал с немцами. Его отца и мать расстреляли фашисты в 1941 году. Коля ушел в отряд белорусских партизан. Потом он вместе с партизанами перебрался через линию фронта. Здесь он вызвался провести группу наших разведчиков во вражеский тыл. Это можно было сделать только в одном месте, где через болото шла тайная тропа. Знакомым путем юный партизан благополучно провел в тыл врага своих старших боевых товарищей. Он был награжден медалью «За боевые заслуги». Узнав об этом подвиге, командир дивизии генерал-майор Мищенко усыновил Колю. Теперь юный герой попал в суворовское училище.

...Генерал-майор Визжилин объявляет о начале занятий и провозглашает суворовское «ура» в честь Советского правительства.

Бурная орация. Гремит оркестр. Под звуки марша роты расходятся по светлым, просторным классам. Здесь воспитанники будут заниматься математикой, географией, русским языком, иностранными языками, военной подготовкой.

Минутная тишина. И опять труба, возвещающая начало уроков. Новая жизнь началась.

1943

В Молдавии*

Путевые заметки

Летим на 2-й Украинский. Много рек уже перелетел наш самолет. Северный Донец. Днепр. Ингул...

Погода сомнительная. То ясно, то вдруг туман, дождь, снег...

После Умани неожиданно сильный снежный буран. Сквозь белые газовые вихри с большим трудом находим аэродром. Когда приземляемся, вокруг уже ничего не видно – метет, крутит, слепит, валит с ног...

Приходится ждать погоды.

Идем по Умани. Идти трудно. Мешает брошенная немецкая техника. Ею буквально забиты все улицы, площади, скверы, переулки. Трудно себе вообразить, сколько вокруг всех этих «тигров», «пантер», «фердинандов», тягачей, транспортеров, пушек, легковых и грузовых автомобилей. Это был настоящий погром.

Здесь фашистские дивизии, разбитые наголову войсками 2-го Украинского фронта, бросили все. Отсюда гитлеровцы бежали на запад, оставляя в грязи чемоданы, шинели, сапоги. Фрицы бежали босиком. Я думаю, ни одна армия в мире еще не драпала так позорно, как гитлеровская армия зимой и весной этого года.

Сразу видно, какая здесь была суэта, паника.

Вот тяжелый немецкий танк, наскочивший на уличный трансформатор. Трансформатор рухнул и загорелся. Загорелся и «тигр». Так они и стоят, страшные, обгорелые, как немые свидетели фашистского драпа.

Но все это уже позади. Фашистские танки, нацистские штаны, немецкие сапоги и гитлеровская «слава» остались на беспредельных украинских шляхах.

И через советскую Умань все идут и идут на запад, подтягиваясь к передовой, тылы славного 2-го Украинского фронта маршала Конева.

* * *

И опять летим. И опять под нами широко расходятся туманно зеленеющие украинские поля, черные шляхи, усеянные брошенной немецкой техникой.

А вот и Днестр.

Стиснутый высокими, крутыми берегами, он быстро, извилисто течет, вздувшийся свинцовой весенней водой.

Здесь гораздо теплее, суше. Чувствуется юг.

Самолет идет на посадку, но вдруг, не коснувшись земли, опять круто взмывает вверх. Мы опять делаем круг над селом. Внизу поворачивается маленькая быстрая речка. По ее мутной поверхности бегут лиловые водоворотики. Поворачивается зеленый луг. Поворачивается высокий, палевый, прошлогодний камыш. Каруселью несется небо, полное круглых пасхальных облаков.

Мы низко пролетаем над белым кубом новой мельницы. Возле нее видны волы и подводы с мешками. Мелькают соломенные и цинковые крыши, плетеные заборы, клуни, виноградники, фруктовые сады, церковь, длинный железнодорожный мост, по которому ползут наши танки.

Большой термометр, прикрепленный к стойке крыльев, показывает десять градусов выше нуля. Тепло. Самолет опять идет на посадку.

Самолет окружают – чудные молдавские парнишки в высоких бараньих шапках, коричневых домотканых свитках и штанах, босые, с карими веселыми глазами и зубками, белыми и крепкими, как молодая кукуруза. Эти мальчишки смотрят на наш самолет как на величайшее чудо. Радостно приветствуют прибывших. Так они встречали своих освободителей, воинов Красной Армии, в 1940 году.

С 1941 года захватчики держали трудолюбивый, умный и талантливый молдавский народ, вновь попавший в кабалу, на положении рабов. Цветущую страну они превратили в колонию. Румынские бароны молдаван и за людей, собственно, не считали. Румынская «метрополия» у молдавского народа умела только брать. А сама ничего не давала.

Трудно поверить, что в Европе, в середине XX века, в цветущем и богатом селе, вы не найдете пары сапог, носового платка, десяти метров ситца, – я уж не говорю о патефоне, велосипеде, швейной машине, радио, газете – то есть о всем том, что прочно вошло в быт народов Советского Союза.

Впрочем, и сами «господа» румынские бароны, эти маленькие хищники, в свою очередь, являлись аграрным придатком еще более

сильного хищника – немецкого империализма. Так что молдавский народ изнемогал под двойным прессом. Из молдавского народа выдавливали все его жизненные соки с двух сторон. С одной стороны его жали румынские помещики, с другой стороны – немецкие фашисты.

Единственная мельница, которую мы заметили с воздуха, принадлежала немцу. Немец был монополист. Он держал в своих руках всю округу, этот кулак и живодер. Он опутал своими сетями всех. От него зависел каждый местный земледелец. Все были у него в долгу. Все снимали шапки и низко ему кланялись.

Теперь Красная Армия освободила село. Немец-мельник сбежал. Он даже не успел разрушить мельницу – так стремительно наступала Красная Армия! Немец бежал, теряя штаны и высунув язык. Он оставил свой дом, лучший дом в селе, выстроенный с покушением на «стиль» – с террасой, со столбиками и стенами, выкрашенными масляной краской под мрамор. Он оставил свою контору со столами и стульями «модерн», свой несгораемый шкаф, свои бухгалтерские книги, списки своих должников.

Теперь в его доме остановился командир подразделения штурмовиков гвардии подполковник Шундриков.

На полу разостлана громадная карта. Подполковник Шундриков входит в комнату с большой вешалкой. Он накладывает ее на карту. Она служит линейкой. Он проводит по линейке красным карандашом черту. Это новый курс на Кишинев, на Яссы.

– Не утонишься за пехотой. Скоро и карты не хватит, – говорит Шундриков, – надо новые листы подклеивать.

Сквозь открытое окно врывается шум моторов. Подполковник мельком смотрит на небо:

– Наша пара возвращается с разведки. Садятся.

Через пять минут в комнату входит пилот в шлеме, в комбинезоне, в унтах, с большим целлулоидным планшетом у колена.

– Товарищ гвардии подполковник, с разведки вернулся лейтенант такой-то. Разрешите доложить?

– Докладывайте. Где были? Что заметили?

– Пересек Прут, Жижию, дошел до Ясс, прошелся на запад вдоль железки.

– Ну, что там видать?

– На станции стоят пять составов.
– Вчера ж было семь?
– Два состава ушли.
– Зенитная артиллерия бьет?
– Бьет, но слабо.
– А что на дорогах?
– Маленькое движение.
– Туда или оттуда?
– Главным образом оттуда.
– Понятно. Балочки хорошо просмотрели?
– Балочки просмотрел хорошо. В квадрате девятнадцать – сорок восемь обнаружил обоз и обстрелял. Ну и паника там поднялась! Кто куда... Разбежались во все стороны.

– Правильно, – сказал Шундриков. – Это им не сорок первый год, когда у них было превосходство в воздухе.

Глаза подполковника Шундрикова весело сверкают.

Не завидую я фрицам, которые встретятся с Шундриковым на земле или в воздухе. Это прирожденный воздушный боец. Штурмовик до мозга костей. Человек железного мужества, стремительных решений, он беззаветно храбр, грозен в бою, беспощаден к врагам и доброжелателен, даже нежен, к своим товарищам.

Он выглядит очень молодо. В нем есть что-то мальчишеское, задорное, почти детское. Он худощав, строен, быстр в движениях. Его руки, привыкшие к штурвалу, постоянно работают. Если он рассказывает что-нибудь, особенно какой-нибудь боевой эпизод, его узкие, гибкие ладони ловко и быстро изображают все то, о чем он говорит.

Он командует подразделением штурмовиков. Шундриков идет на самые ответственные, самые опасные задания.

...Немцы сильно бомбили с воздуха одну из наших переправ на Днестре. Над Днестром стоял туман. Но для Шундрикова не существует нелетной погоды. Он сел на свой ИЛ и с группой штурмовиков пошел громить гитлеровцев. Он обрушился на «юнkersы», повисшие над переправой. Он разогнал их и барражировал до тех пор, пока наша пехота не переправилась на западный берег.

Тем временем гитлеровцы вызвали свою истребительную авиацию, и только на одного Шундрикова ринулось четыре «мессера». Шундриков и его группа в этом бою показали высокий класс летного искусства. Шундриков обманул «мессеров». Он ушел от них на бреющем полете, по балкам, по лощинам, делая зигзаги, петляя, и в конце концов замел свои следы и скрылся.

В тот день, когда я познакомился с подполковником Шундриковым, он сидел за столом на командном пункте и занимался подготовкой перевода своего подразделения на новую точку, на запад. Позвонил телефон. Шундриков взял трубку:

– Алло! «Незабудка» у телефона... Здравия желаю!. Как?. Газету? За девятое апреля?. Нет, еще не читал! Никак нет. Все время в движении... Так точно... Сводку по радио? Никак нет. Не принимал.

Шундриков некоторое время внимательно слушал, прижав трубку к уху, и вдруг побледнел, встал, вытянулся.

– Служу Советскому Союзу, – сказал он, отчетливо произнося каждое слово, и глаза его странно блеснули.

Он снова стал слушать и через некоторое время снова повторил:

– Служу Советскому Союзу. Так точно. Понимаю.

Он еще немного послушал и потом аккуратно положил трубку на стол, на карту, рядом с кожаным ящиком аппарата. Он сел, вытер со лба пот и вдруг улыбнулся счастливой, озорной, мальчишеской улыбкой.

Все офицеры, которые были в это время в хате, впились глазами в бледное, счастливое лицо своего командира.

– Что? Что такое? Награжден орденом?

– Нет, – сказал Шундриков.

Офицеры вопросительно переглянулись.

– Приказ Верховного командования Маршалу Советского Союза Коневу, – сказал Шундриков, – и там написано: в боях за прорыв обороны противника и за форсирование реки Прут отличились войска таких-то и таких-то и в том числе летчики подполковника Шундрикова.

Шундриков встал.

– Поздравляю вас, боевые друзья! Поздравляю вас с наградой!

И все офицеры, летчики подполковника Шундрикова, вытянулись и четко произнесли:

– Служим Советскому Союзу!

Я остановился в чистой и прохладной молдаванской хате с глиняным мазаным полом, на котором были разостланы домотканые дорожки.

Перед вечером в комнату вошел хозяин. Это был крупный старый человек с коротко остриженной круглой головой и плохо выбритым твердым подбородком. И голова и подбородок его полуседые, черно-серого цвета. Усы и густые брови черные. Большими, грубыми руками он постелил на стол чистое серое холщовое полотенце с зелеными каемками, поставил на него миску с оранжевой дымящейся мамалыгой, миску с брынзой, кувшин и две кружки.

– Не угодно ли будет попробовать нашей молдаванской мамалыги и выпить нашего бессарабского вина собственного виноградника? – сказал он, старательно подбирая русские слова.

Как видно, он когда-то хорошо говорил по-русски, но забыл этот язык и напрягает память, чтобы вспомнить его.

Я поблагодарил и пригласил хозяина поужинать вместе со мной. Он, видимо, только этого и ждал. Ему хотелось поговорить.

Мы взяли, как это полагается по молдаванскому обычаю, руками по куску мамалыги, обмакнули ее в соленую брынзу и съели, запив розовым, кисленьким, душистым винцом.

Потом я вынул коробочку и предложил своему хозяину табаку. Он скрутил сигарку и с наслаждением затянулся.

– Давно не курил такого табачку, – сказал он.

– Вот тебе раз. Да ведь у вас в Молдавии родится отличный табак.

– Где там табак! Боже сохрани сеять табак! Строго запрещено. За каждый корень табака румынские правители накладывали штраф и сажали в тюрьму. У них монополия. Табак можно только покупать в лавочке. А самому сеять – боже сохрани! Но разве ж в лавочке купишь?

– А что?

– Денег нет. Налоги задавили. Ничего у нас нет. Соли нет. Спичек нет. Материала никакого нет. Что своими руками можем сделать, то и есть. Видите?

И он показал на себя своей большой, как лопата, черной рукой землепашца.

И точно. Все на нем было самодельное: на ногах самодельные постолы из сыромятной кожи, сшитые кожаными нитками, домотканые шаровары, домотканая свитка.

– Как же вы живете?

– А так и живем.

С жадностью он стал расспрашивать о положении на фронтах, о жизни Советского Союза, о Красной Армии... Он прислушивался к каждому моему слову. Он прикладывал ладони ковшиком к уху, с величайшим вниманием морщил лоб, стараясь не пропустить ни одной мелочи.

Я рассказал ему о разгроме немцев под Корсунь-Шевченковским, о брошенной неприятельской технике, о делах под Львовом. Все это для него было новостью. Он ничего не знал.

Он все время качал своей крупной стриженной головой и цокал губами.

– Ц-ц-ц! Скажи на милость! А мы здесь ничего не знали, – сказал он, вдруг понизив голос и покосившись на дверь.

Очевидно, в нем был еще силен рефлекс осторожности, боязни, что его подслушивают, рефлекс, выработавшийся за время фашистского владычества.

Он сам поймал себя на этом и широко, доверчиво улыбнулся.

– Вот, знаете, я с вами разговариваю, а сам все время нет-нет да и задрожу. Мне все время кажется, что за мной кто-то шпионит, а потом придет полицейский и заберет в кутузку. Ох, как мы тут жили! Ну, теперь, слава богу, надеюсь, все пойдет по-другому. Свет увидим. Будем жить так же свободно, как тогда, когда родная Красная Армия пришла к нам в первый раз.

Он немного помялся, погладил свои темные усы.

– Извините, я что вас хотел спросить... одну минуточку повремените...

Он проворно ушел в какую-то каморку, долго там возился и наконец вернулся, застенчиво держа в больших пальцах маленькую серебряную медаль на старенькой, потертой георгиевской ленточке. Я сразу узнал ее.

– Я ее все эти черные годы берег как зеницу ока. Скажите, прошу я вас: могу я ее теперь носить, эту дорогую для меня память? Все-таки я на действительной в Варшавской крепости служил, в крепостной артиллерии. Потом, как началась война, меня с двумя орудиями отправили в Порт-Артур. В Порт-Артуре воевал. Генерала Кондратенко помню. Хороший был человек, царство ему небесное! Храбрый генерал.

Он перекрестился.

И я вдруг понял, почему мне с самого начала показались как-то странно знакомыми и эта круглая стриженная голова, и эти темные усы, и этот крепкий, выскобленный подбородок, и эти острые, умные глаза под густыми бровями. Старый русский солдат. Да, это был старый русский солдат, несмотря на многолетнюю насильственную румынизацию сохранивший свой особый, типический характер.

– Так что, видите, я старый русский солдат, – как бы отвечая на мои мысли, сказал он. – Я и на империалистической был. С немцами воевал.

Глаза старика гордо блеснули отражением старой русской славы. Его немного сутулые плечи выпрямились. Он широким жестом вытер усы и крикнул.

– Ну, если так, – сказал он, – то разрешите мне тогда налить еще по одной кружке нашего бессарабского и выпить за нашу советскую Красную Армию. И чтобы мы этих подлецов фашистов больше в глаза не видели!

Он сдул с розового вина красную пену, окунул в него свои солдатские усы и выпил не отрываясь всю кружку, до дна.

Днем было тепло. А сейчас прохладно, туманно. В Карпатах тает снег, и оттуда тянет весенним холодком. Зеленоватая, туманная луна стоит над селом. Звезда, чистая, прозрачная, как ледяная слеза, висит в серебристом небе над камышовой крышей. Над крышей силуэты двух аистов. Аисты неподвижно стоят над большим гнездом.

Тихо. Только слышно, как где-то далеко, на краю села, лает собака. Да изредка доносится с шоссе ровный шум идущих на запад танков. Они идут всю ночь.

Пробираюсь в узком коридоре улицы между двух высоких глухих стен, сложенных из больших кирпичей, сделанных из земли с

соломой и сверху обмазанных глиной.

В одном месте за забором слышатся голоса, приглушенный смех. Осторожно заглядываю во двор. Белая стена хаты, фосфорически сияющая в лунном свете. Белые безрукавки и черные высокие шапки парней. Серые свитки и платки девушек. Ночное гулянье.

Но откуда взялись эти парни? Днем я ходил по селу и не видел ни одного человека призывного возраста. В чем дело? Впрочем, скоро все выяснилось: при первом удобном случае они, угоняемые фашистами в тыл, убегали.

И вот теперь они сидят на завалинках родного дома со своими девушками и вполголоса поют частушки, вывезенные с Украины.

Тихонько напевает приятный молодой голос украинские слова с сильным молдаванским акцентом. И девушки подхватывают припев.

Луна плывет над селом. Черные, голые деревья, черные крыши.

В серебряном, лунном небе шумят самолеты. Это наши ночные бомбардировщики идут на работу. Идут на Яссы, идут на Констанцу.

Идут, чтобы как можно скорее с корнем выжечь гитлеровскую заразу, где бы она ни гнездилась.

Всю ночь шумят, шумят в серебристом, лунном небе ночные бомбардировщики, пролетая на запад.

Я опускаю над собой прозрачный колпак и крепко его привинчиваю. Я сижу глубоко и удобно на широком брезентовом ремне, подвешенном между двумя бортами штурмовика, против пулемета, обращенного назад. Я вижу хвост самолета, антенну и нежное голубоватое небо, покрытое весенними перламутровыми облаками.

Мощный мотор ревет, как водопад.

Наш ИЛ бежит, подпрыгивая, по лугу. Луг широко и плавно бежит назад. Бегут назад оставшиеся на земле маленькие истребители, бензиновые цистерны, большой китообразный транспортный «Дуглас», из которого выкатывают бочки с горючим и выгружают ящики с боеприпасами. Бегут назад блиндажи, тонкие стволы зенитной батареи...

Толчки прекращаются. Мы летим. Грохот мощного мотора усиливается. Теперь это уже не водопад. Теперь это многоголосый, могущественный гул органа. Мир до краев наполнен им.

Глубоко внизу плывут назад и расходятся широким веером коричневые, зеленые поля, виноградники, балки, речки.

Голубой хвост самолета с красной звездой и номером подымается еще выше. Во все стороны разбегаются белые линейки шоссе. Здесь уже почти совсем сухо. По шоссе вьется уже первая, легкая пыль. Это идет колонна наших танков. Мы проносимся над ней. Вот опять вьется пыль. Это колонна грузовиков со снарядами, с горючим, с продовольствием. Вот батальон пехоты. Солнце блестит звездочками на кончиках штыков. Славная пехота идет на запад. Она торопится. Пылят пушки, минометные подразделения, обозы, заправщики. И все это стремится на запад, по пятам отступающего врага.

Вот внизу мелькнули Бельцы. Черепичные и камышовые крыши. Вокзал. Составы. Садик, и в садике маленькая раковина открытой сцены. Сверкнула река.

Но дальше, дальше! На запад!

Еще пятнадцать – двадцать минут – и под нами проплывает, извилисто поворачиваясь, новая река. Она туманно блестит на солнце. Она зеленеет, желтеет в камышах. Это Прут. Он промелькнул, пропал.

Вот внизу между нами и землей появилось что-то, какая-то живая, переливающаяся цепочка. Присматриваюсь. Это дикие гуси. Они возвращаются из теплых краев на родину. Еще дальше – стая дроздов. Они летят, тяжело взмахивая крыльями. Они тоже возвращаются на родину. А вот и аисты на длинных крыльях. Они летят домой.

Все возвращаются на родину в эту весну.

Чудесная весна! Весна победы. Весна славы. Весна, которая возвратила родину украинцам, молдаванам...

Хвост ИЛа опадает. Машина взмывает вверх и разворачивается. Дымно-голубая цепь Карпат туманно виднеется на горизонте. Земля поднимается сбоку, стеной. И на краю этой стены видны густые клубы дыма.

1944

Кузнец*

Холодноватый апрельский ветер дул с Карпат.

Много дней и ночей, не зная отдыха, преследовали славные советские конники бегущих гитлеровцев. Ни грязь, ни распутица, ни сердито вздувшиеся весенние реки, ни бешеные контратаки врага – ничто не могло остановить их порыва.

Они летели как птицы.

Их черные бурки и алые башлыки развевались на степном молдавском ветру. Туманное солнце и нежная апрельская лазурь мигали в зеркальных клинках. Бледные искры и синяя грязь во все стороны летели с выбеленных подков. Кони со взмыленными мордами потемнели от пота.

Единственное чувство владело всеми: не дать врагу уйти.

Казалось, никакая сила в мире не может их остановить.

И все же они остановились. Им пришлось остановиться. Они остановились, потому что стерлись и сбились подковы. Нужно было перековать коней. А походные кузни с подковами и кузнецами остались далеко позади. Ожидать, пока они подтянутся, значило дать противнику уйти.

Это было за Сороками. Конники спешили, привязали своих коней к ограде и задумались. Трудно поставить советского кавалериста в тупик. И все же они оказались в тупике. И ехать дальше никак нельзя – лошадей покалечишь, и не ехать тоже никак нельзя – противника упустишь.

Закусил командир ус, сорвал сухую лозину и ударил ею в сердцах по грязному сапогу.

– Как же быть, хлопцы?

Но хлопцы молчали.

Вот тут-то и выступил на сцену старик молдаванин в высокой бараньей шапке и коричневой домотканой свитке, до того неподвижно стоявший неподалеку от конников. Он был стар, высок, сух. Его громадные черные руки опирались на высокий пастуший посох. Казалось, что это мертвец, вставший из могилы для того, чтобы посмотреть на славных советских конников, принесших освобождение его родной Молдавии. Он не торопясь подошел к командиру, не торопясь снял шапку, поклонился с величавым достоинством и сказал:

– Подождите.

Потом он ушел и скоро вернулся с мешком древесного угля, небольшими ручными мехами, кузнечным молотом, наковальней и

щипцами.

– Был когда-то я кузнецом, – сказал он с улыбкой, чуть мелькнувшей из-под его густых черных бровей. – Подковы у вас имеются?

– Подков нету.

– А железа у вас имеется?

– Железа нету.

– Тогда возьмем эту железу, – сказал старик, положив громадную руку на ограду. – Это старая железа, хорошая железа. Я ее знаю. Я ее ковал сорок лет тому назад. Моя работа.

Пока конники выламывали железные прутья, старик присел на корточки и выкопал в земле маленький первобытный горн. Он засыпал в него уголь, разжег и стал одной рукой раздувать маленькие первобытные мехи, положенные прямо на земле. Другой рукой он взял щипцы, захватил ими кусок выломанной ограды и сунул его в жар. Старая зеленая краска сразу пошла коричневыми волдырями. Скоро раздался тонкий, серебряный звон молота по наковальне. Первая малиновая подкова упала в песок, остывая, синяя, и покрылась сизой окалиной.

С чудесной, почти волшебной, легкостью и быстротой орудовал старик своими нехитрыми инструментами – щипцами, молотом, мехами. Это была вдохновенная работа истинного артиста, великого мастера своего дела. И порой казалось, что у него не две руки, а четыре, – так виртуозно он ими действовал, успевая в одно и то же время и раздувать мехи, и класть на наковальню куски раскаленного железа, и ударять по ним молотом.

Все новые и новые подковы и гвозди летели в песок, к ногам очарованных, повеселевших конников. Остывшие кони, почуяв запах каленого железа и кузнечного дыма, раздували ноздри и нетерпеливо перебирали ногами.

А тем временем подтянулись и тылы с походными кузнями, кузнецами и подковами.

Звеня новыми подковами, летели конники в молдаванской степи. Черные бурки и алые башлыки развевались на степном ветру, и весеннее, искрометное солнце мигало в зеркальных клинках.

Семья Игнатовых*

Только что меня посетил Петр Карпович Игнатов, и я весь нахожусь под впечатлением этого необыкновенного человека. Он командир Краснодарского городского партизанского отряда минеров имени братьев Игнатовых.

Братья Игнатовы – это два его сына, Евгений и Геннадий. Они оба были в партизанском отряде отца и оба погибли на его глазах при взрыве немецкого поезда. Они посмертно получили звание Героев Советского Союза.

Недавно Петр Карпович приехал в Москву из родного Краснодара и привез рукопись своей книги «Записки партизана», которая скоро выйдет в свет.

Он сидит передо мной, этот крепкий и очень подвижной, моложавый пожилой человек с быстрыми и точными движениями и глазами следопыта. Он очень похож на дореволюционного питерского рабочего, каким и был в действительности. Это русский самоучка, механик, человек самобытного таланта.

Он одет в полувоенное. На груди орден Ленина и партизанская медаль.

Вот что он рассказывает:

– Мой отряд почти целиком состоял из представителей кубанской казачьей городской интеллигенции. В него входили директора высших учебных заведений и крупных промышленных предприятий Краснодара, научные работники, инженеры, экономисты, высококвалифицированные рабочие. Многие среди них были почетные кубанские казаки, черноморцы – потомки славных запорожцев-сечевиков. Отряд имел резко выраженный «производственный» профиль – мы были минерами-диверсантами. Взрывали мосты, электростанции, склады, пускали под откос немецкие поезда, жгли колонны грузовых машин вместе с охранявшими их броневиками и танками. Вот «текущий счет» отряда. Взорвано и разрушено: пятнадцать паровозов с поездами, триста девяносто два вагона с войсками и грузами, сорок один танк, сто тринадцать автомашин, свыше ста мотоциклов с прицепами, тридцать четыре моста и уничтожено свыше восьми тысяч оккупантов.

И все это в то время, когда гитлеровцы рвались к Баку и концентрировали у себя в тылу «армию вторжения» в Иран, в Индию. Вот по этому тылу и бил партизанский отряд Игнатова.

– Наш отряд, – продолжает Игнатов, – был своеобразным «партизанским комбинатом». Мы имели свои фабрики, свое большое хозяйство. Наши мастерские – минные, кузнечно-механические, столярные, сапожные, портновские – обслуживали не только наш отряд, но и наших соседей-партизан. В тылу у немцев, в горной глуши, мы открыли «минно-диверсионный университет», где проходили практику минно-диверсионной работы лучшие и храбрейшие партизаны соседних отрядов.

Я ясно представил себе эту почти майн-ридовскую обстановку: горные ущелья, неприступные скалы, фабрика, сколоченная из бревен, деревянные форты, тайные звериные тропы и пятьдесят партизан – студентов и профессоров, изучающих здесь «на практике» минное дело.

– А теперь я расскажу вам, как погибли мои мальчики, – говорит Игнатов после длинной паузы. – Нам предстояло взорвать поезд и одновременно минировать шоссе и дорогу, идущую параллельно полотну, чтобы хотя на время, но основательно и прочно закупорить фашистам путь к Новороссийску. Мы решили рвать поезд не так, как чаще всего рвали до сих пор партизаны Украины и Белоруссии, то есть дергая за веревочку. Нашу новую железнодорожную мину – сочетание тола и противотанковых гранат – должен был взорвать сам паровоз. И в то же время легкая автодрезина, обычно идущая в разведку перед поездом, должна пройти над миной благополучно. Весь секрет был в тяжести, передаваемой через рельсы в минный заряд. Это была наша новая, усовершенствованная мина. Надо подползти к железнодорожному полотну, отыскать вибрирующий конец рельса, финским ножом выкопать ямку и заложить в нее минный заряд. Потом надо тщательно замаскировать работу – самый внимательный обходчик не должен заметить даже отпечатка наших подошв на шпалах и полотне дороги – и отползти в сторону. И все это в темную кавказскую ночь, в те счастливые короткие минуты, которые предоставят нам зазевавшиеся фашистские часовые. Мина на полотне почти готова. Остается выдернуть последнюю шпильку у предохранителя. Но это всегда успеется. До прихода поезда еще много

времени. Мы хорошо знаем немецкое расписание. Ночь тихая, теплая. Сияют звезды над головой. Неподвижно стоят тополя у дороги. Сейчас начнем минировать шоссе – и домой, в горы...

И вдруг возникает еле слышный звук. Быть может, самолет летит на ночную бомбежку? С каждой секундой шум отчетливее, яснее. С ним переплетается второй звук. Они сливаются, нарастают... Они все ближе, ближе. Поезд! Вне расписания поезд, мы не учли его. Из-за поворота, набирая ход под углом, на всех парах идет тяжелый состав. А рядом с ним по шоссе мчится броневик прикрытия. Что делать? Уходить в горы! Но в «волчьем фугасе» на полотне еще не снята шпилька у предохранителя. Шоссе свободно. Враги ворвутся на него. Они зажмут нас в клещи.

Мимо меня стремительно пробегают мои сыновья. Евгению двадцать семь лет, он уже инженер, а Геннадий совсем мальчик, он только что окончил среднюю школу. Заряжая на ходу последние мины, они бегут к шоссе, быстро минуют обе колеи и выскакивают на полотно. Паровоз уже рядом. Пламя вырывается из поддувала. Гремят буфера. Ребята бросаются к поезду. Разве можно в этой крошечной тьме найти крошечную шпильку предохранителя? Нет, они задумали другое. Они хотят бросить под поезд около мины противотанковые гранаты, чтобы от детонации взорвался «волчий фугас». Я бегу за детьми. Поздно! Одна за другой рвутся две гранаты. И тотчас со страшным грохотом взрывается мина. Сразу становится жарко и душно, как в бане. Взрывная волна как ножом срезает крону могучего клена и отбрасывает меня назад. Я вижу, как лопнул котел паровоза. Падая под уклон, вагоны лезут друг на друга, погребая под своими щепками немцев. Новый взрыв. Это летит в воздух броневик на шоссе. За ним, ярко вспыхнув фарами, рвется второй. Взрывы следуют один за другим. Теперь мины коверкают машины на боковой дороге, разбрасывая искалеченные трупы гитлеровских автоматчиков. Пылает взорванный поезд, кричат звериными голосами раненые фашисты. Я бросаюсь к железной дороге. У полотна, освещенного заревом пожара, лежат разорванные на куски мои мальчики – Евгений и Геннадий. Я беру на руки их окровавленные тела. Теплая кровь заливает мне руки. Я целую то, что осталось от моих детей. Я несу их через минированную дорогу. Потом мы молча роем финскими ножами неглубокую яму, кладем трупы моих сыновей, забрасываем

землей. А над головой, срывая листья, уже жужжат немецкие пули. Вытянувшись цепочкой, глухими тропами уходим в горы. А там, далеко в горах, на нашей «фактории», ждет моя жена, мать моих ребятишек, Елена Ивановна, хирург нашего отряда. Что я скажу ей? Как все это будет?

Петр Карпович замолкает. Его глаза полузакрыты. Страшная картина стоит перед ним. Картина гибели детей. Но он быстро приводит себя в порядок и продолжает свой рассказ...

«Какие люди! – думаю я. – Какие люди! Разве можно победить народ, воспитавший таких людей?»

1944

Одесские катакомбы*

I

Некогда весь юг Украины, то, что раньше называлось Новороссией, был дном моря.

Одесса построена из местного материала – ракушняка. Это легкий, ноздреватый камень светло-желтого цвета, образовавшийся из морских отложений.

Вокруг Одессы и под самой Одессой этого камня неисчерпаемые залежи. Ракушняк необыкновенно легко поддается обработке. Его можно без труда резать простой пилой или даже ножом. Обычно его вырезают в виде довольно больших прямоугольных брусков, похожих на абрикосовую пастилу.

Из этой легкой и хрупкой пастилы в Одессе складывают дома, заборы, церкви. Из нее вырезают надгробные памятники. Ею обкладывают колодцы. Из ракушняка была построена древняя турецкая крепость Хаджибей, руины которой и до сих пор живописно стоят над морем на территории парка культуры и отдыха имени Шевченко. Из ракушняка построены все окрестные села и станции.

Уже около двухсот лет производится разработка этого строительного материала из множества шахт и каменоломен. Понятно, что эта разработка в большинстве случаев производилась

анархически. Таким образом, под всем районом Одессы образовались пустоты, по своему объему равные городу с его окрестностями. Это и есть знаменитые одесские катакомбы, которые сыграли такую громадную роль в истории революционного движения. Они стали традиционным местопребыванием одесского подполья.

В 1905 году из катакомб вышли рабочие на вооруженное восстание. В годы столыпинской реакции в них скрывались остатки разгромленных боевых организаций одесского пролетариата. В 1918 году, во время первого немецкого нашествия, в темных, непроходимых лабиринтах одесских катакомб партия большевиков организовала отпор вильгельмовским захватчикам. И, по-видимому, отсюда же вышли на свою неслыханно дерзкую операцию оставшиеся неизвестными герои-большевики, взорвавшие колоссальные австро-германские склады боеприпасов летом того же 1918 года. Склады эти один за другим взлетали на воздух в течение нескольких суток, и немцам был нанесен такой ущерб, от которого они тогда уже не могли оправиться. Во время деникинцев и врангелевцев в катакомбах находился Одесский подпольный ревком, руководивший разгромом белогвардейщины. Тогда здесь была оборудована прекрасная типография и в течение шести месяцев издавалась большая ежедневная газета «Известия».

После этого более двадцати лет катакомбы пустовали. О них стали понемножку забывать. Казалось, что их историческая роль навсегда кончена. Они становились туманной поэтической легендой чудесного приморского города, оваянного былой славой.

Но вот грянул роковой 1941 год, и одесским катакомбам было суждено еще раз сыграть выдающуюся роль в деле борьбы советских патриотов с иноземными захватчиками.

То, что я видел собственными глазами в катакомбах, и то, что я слышал от участников подполья и живых свидетелей великой борьбы, мне кажется достойным того, чтобы об этом узнал весь советский народ.

Катакомбы тянутся под землей на несколько сот километров. Они имеют тысячи разветвлений, петель, закоулков, тупиков. Множество выходов, шахт и колодцев соединяют лабиринты катакомб с поверхностью. В катакомбах во время оккупации находились вооруженные партизанские отряды, подпольные комитеты партии, диверсионные группы и просто одиночки. В подавляющем большинстве они были между собой разъединены и не знали о существовании друг друга. Таково было требование конспирации.

Поэтому я понял, что охватить все в целом пока невысказано. Тогда я решил, по крайней мере, познакомиться хотя бы с деятельностью какой-нибудь одной группы и осмотреть катакомбы в том районе, где эта группа действовала.

Мне посоветовали побывать в катакомбах Усатовых хуторов. Там скрывался подпольный партийный комитет Пригородного района и несколько партизанских отрядов, непосредственно связанных с этим подпольным райкомом.

Это мне пришлось особенно по душе, так как я хорошо знаю Усатовы хутора. В детстве я несколько раз летом гостил на Усатовых хуторах у одного своего товарища, и, помню, мальчиками мы даже иногда лазили в катакомбы. Понятно, нам удавалось проникнуть туда лишь на несколько десятков шагов в глубину, так как дальше было тесно, темно и очень страшно.

Во всяком случае, я на всю жизнь запомнил за кладбищем, на выгоне, узкую щель в скале, высунувшейся из земли. На камне грелась бирюзовая ящерица. Осыпавшаяся мелкой известковой пылью, мы пролезли в щель. Я помню первую, довольно просторную, комнату, почти залу, в скале, где местные жители некогда выпиливали камень для своих домиков и заборов. Я помню черный крест, выкопченный страстной свечкой на низком слоистом потолке. Дальше мы не пошли.

Теперь я решил опять побывать в этих местах. Но дело осложнилось тем, что очень трудно было разыскать людей, которые работали в подполье Усатовых хуторов. Все они, конечно, в первый же день освобождения Одессы вышли наверх, и кто влился в ряды Красной Армии, кто был послан на советскую или партийную работу в область.

На мое счастье, в это время в Одессе началась областная партийная конференция, и несколько человек усатовских

подпольщиков приехали на нее. В числе их был и товарищ Лазарев Семен Федорович, секретарь одесского Пригородного подпольного райкома партии, то есть тот самый человек, который в течение двух с половиной лет, находясь глубоко под землей, руководил движением Сопротивления одного из самых больших одесских районов. Это была героическая, абсолютно неравная и тем не менее победоносная война небольшой горсточки одесских большевиков, нестигаемых советских патриотов, против двухтысячной регулярной румынской армии, специально расквартированной в районе Усатовых хуторов.

Нас познакомили. Я видел небольшого человека средних лет, с ординарным, немного болезненным лицом, по внешности типичного районного партийного работника, каковым он в действительности и был. Ничего исключительного, а тем более героического при всем желании нельзя было отыскать в его фигуре. Не было в нем также ни тени рисовки или какой-нибудь позы. Даже позы простоты и скромности. Это был настоящий человек массы, русский большевик, плоть от плоти и кость от кости своего народа, сильный своей внутренней правдой и несокрушимой крепостью своего духа.

Узнав, что я хочу спуститься вниз, в «его» катакомбы, Семен Федорович очень обрадовался. Он обрадовался потому, что, оказывается, с того дня, как вышел из катакомб навстречу Красной Армии в апреле 1944 года, до сих пор еще ни разу не удосужился побывать на своем старом пепелище. Несколько раз собирался, да все никак не удавалось. И можно себе представить, как взволновала его перспектива снова повидать те подземные лабиринты, в которых он провел два с половиной года, каждую секунду рискуя головой!

– Что ж, прекрасно! – сказал он, радостно потирая руки. – Даже очень прекрасно! Просто замечательно. Давненько, давненько я туда собираюсь. Ну, так что же? Это мы сейчас организуем.

И с той быстротой, точностью и конкретностью, которые отличают опытного подпольщика, он в течение двух часов организовал довольно трудную поездку в катакомбы.

Прежде всего он из-под земли достал двух своих соратников, членов его подпольной организации, за которыми я безуспешно «охотился» в течение нескольких дней. Один из них был Иван Гаврилович Илюхин, секретарь Овидиопольского подпольного райкома партии, который в силу целого ряда обстоятельств попал в

катакомбы к Лазареву, другой – Леонид Филиппович Горбель, третий секретарь Пригородного подпольного райкома и командир партизанского отряда № 1 (Куяльницкого).

Оба они, Илюхин и Горбель, были люди той же партийной складки, что и Лазарев, – простые, внешне ординарные, скромные, без рисовки, и полные несокрушимой духовной силы, которая светилась в их прямых, открытых глазах. Только они были несколько помоложе Лазарева. Илюхин – уроженец Орловской губернии, настоящий русак, с высоким лбом и крепкими скулами, большой, сильный, в черной коровьей куртке мехом наружу. Горбель – законченный тип веселого и живого черноморца, с крепкими руками, привыкшими к веслам, подвижным, лукавым лицом и статной фигурой, с особым военным щегольством стянутой офицерским поясом.

Они крепко и деловито посоветовались с Лазаревым и тотчас исчезли – добывать вещи, необходимые для нашей экспедиции: фонари «летучая мышь», особые, специально сконструированные для катакомб, большие зажигалки, рассчитанные на несколько часов горения, керосин для фонарей, бензин для автомобиля, старые спецовки, чтобы не запачкать под землей костюмов, короткие костыльки, на которые нужно опираться, пробираясь по тесным и низким подземным коридорам, чтобы не стукаться головой о потолки, и прочее.

Вскоре все это было добыто, и мы отправились.

III

Мы проехали через весь город, миновали Пересыпь, сожженную, взорванную, исковерканную немцами и румынами, и стали огибать ракушняковую гору, ведущую к Хаджибеевскому парку и далее, к Усатовым хуторам. По склонам этой горы, похожей на ковригу хлеба, раскинулось несколько сел – Нерубайское, Куяльник... Их ракушняковые домики под камышовыми или черепичными крышами были выкрашены в разные цвета – бледно-зеленый, темно-синий, абрикосовый, розовый. В некоторых местах в скалах виднелись трещины. Это были входы в катакомбы. Но в большинстве они были

взорваны, развалены или даже забетонированы румынами или немцами.

– Да. Жестокая была борьба, – сказал Лазарев.

Отсюда начиналась территория, где действовал его подпольный райком. Здесь каждый забор, каждый погреб, каждый домик, каждое деревцо, каждая щель были знакомы партизанам, как своя ладонь.

– Вот видите дворик вокруг этого синенького домика под черепицей? – говорил Илюхин. – Здесь я держал бой с фашистами. Нас было семеро, а их больше взвода. И мы держались почти два часа, прикрывая вход в катакомбы, куда с минуты на минуту должна была возвратиться группа товарищей, посланная в город на связь с обкомом. И мы не потеряли ни одного человека.

– А вот здесь, – сказал Горбель, – мы подбили румынский грузовик с продовольствием.

Он стал внимательно всматриваться.

– Будь я проклят, если это не он! – воскликнул вдруг Горбель с веселым изумлением.

Действительно, в стороне от дороги, повалившись набок, лежали жалкие остатки румынского грузовика.

– Хорошая работа, – сказал Лазарев.

– Да. Чистая.

– Большого шума мы тогда наробыли! Что и говорить!

Мы объехали знаменитый Хаджибеевский парк. Некогда в нем росли двухсотлетние дубы, в прудах плавали черные лебеди. Сейчас деревья почти все вырублены. Пруды высохли. Всюду валяются обломки камня. Для чего понадобилось фашистам вырубать этот старинный парк? Для чего понадобилось сжигать курортные павильоны? Взрывать водолечебницу? Совершенно непонятно. Глупо. Подло. И дико. Главное – дико. К виду этого вырубленного, загаженного парка трудно было привыкнуть.

Пока мы ехали мимо него, глаза партизан стали сумрачными, жестокими. Все молчали.

За парком начинались собственно Усатовы курганы. Дорога расходилась на три стороны. Водитель остановил машину:

– Куда дальше ехать?

– Погоди.

Партизаны стали совещаться. Мне показалось, что они говорят на каком-то совершенно непонятном, таинственном, условном языке:

– Берем направление на семечки.

– А я предлагаю рвать прямо на утку.

– Утка развалена.

– Разве?

– А ты забыл?

– Да. Верно. Тогда на кавуны.

– До кавунов трудно будет добраться машиной.

– На семечки! – решительно сказал Лазарев. – Водитель, давай прямо.

И, заметив мое недоумение, объяснил:

– Мы дали каждому входу в катакомбы свое особое имя: «Кавуны», «Семечки», «Утка», «Веребочка». Вы спросите, по какому принципу? А без всякого принципа. Чисто случайно. Вот, например, «Семечки» – это потому, что там был сторожевой пост и караульные лузгали семечки. А «Утка» потому, что там как раз сквозь ствол шахты проходил колодец и в этот колодец один раз случайно заскочила утка. А мы тогда как раз сидели уже второй день без продовольствия. Так что уточка нам очень пригодилась. Есть один вход, называется «Подснежники».

– А почему «Подснежники»?

– Сейчас я вам этого не скажу. Долго рассказывать, а мы уже приехали. Потом вы мне напомните.

– Ладно. Напомню.

Машина пересекла выгон, нырнула в скалистую балочку, вынырнула из нее и въехала во двор небольшой хибарки, крытой камышом. Пока шофер ставил машину за погреб, сложенный все из того же ракушняка, из хибарки вышла крестьянка, с головой, повязанной полинявшим платком. Увидев выходящих из машины гостей, она радостно, приветливо улыбнулась:

– Здравствуйте, товарищ Лазарев! Здравствуйте, товарищ Илюхин! Здравствуйте, товарищ Горбель!

– Здорово, хозяйюшка. Не забыла нас?

– Где там! Разве таких людей когда-нибудь забудешь? Вы наши избавители. Если б не вы, нас бы уже давно поубивали. Что ж вы-то нас совсем забыли? Не приезжаете.

– Дел много. Одесский район восстанавливаем. Времени не выберешь. Хозяин дома?

– Дома, дома. Милости просим. Заходите в хату.

А уже из хаты выходил хозяин. Он так торопился навстречу дорогим гостям, что даже забыл надеть свою баранью шапку. Его смуглое южнорусское лицо с характерным горбатым носом, огненно-черными глазами, сивыми усами и крепким, по-солдатски выбритым подбородком светилось той же радостной, приветливой улыбкой. Он крепко пожимал гостям руки. Несомненно, он бы их всех по очереди расцеловал, если бы это допускалось строгим крестьянским этикетом.

– Заходите, прошу вас. Заходите в хату, дорогие друзья. Заходите, заходите.

– Эти люди нам крепко помогли, когда мы сидели под землей, – сказал Лазарев. – Они нам носили пищу, передавали записки, предупреждали об опасности. Благодаря им нам было известно все, что делается наверху. И ведь все это с опасностью для жизни. Крепкий народ. Настоящие советские патриоты.

– Как же своим людям не помочь? – сказал хозяин, и вокруг его черных молодых глаз пошли веером суховатые морщинки. – Мы вас спасали. Вы нас спасали.

Узнав, что мы будем спускаться в катакомбы, хозяин принес несколько самодельных коптилок, сохранившихся у него еще со времен подполья. Нашелся также и бидон керосина. Керосин был тоже «подпольный». Так что, собственно говоря, мы зря хлопотали насчет «летучих мышей» и горючего.

– Я ж говорил, – с неудовольствием проворчал Горбель, – что у них все есть. Напрасно только время потратили на подготовку!

IV

Пока мы переодевались в старые макинтоши и спецовки, хозяин, показав рукой на скромную обстановку своей хаты, сказал мне:

– При фашистах ничего этого здесь не было. Были только одни голые стены.

– А где ж все это было?

– А в катакомбах же. В последние месяцы ихнего каторжного режима, ихней новой Европы, – чтоб она сгорела! – мы все хозяйство перевели под землю. И овец перевели. И корову. Так что здесь, на поверхности, было хоть шаром покати. Только тем и спаслись от смерти.

– Это верно. Почти все население Усатовых хуторов в последние месяцы пребывания гитлеровских разбойников спасалось у нас в катакомбах.

– Сколько же всего у вас было, так сказать, «посторонних»?

– Несколько тысяч. Я думаю, тысяч до семи. Они, правда, размещались недалеко от выходов, но все равно под нашей охраной они были для врага недоступны.

– Спасители наши, – сказала хозяйка.

И я вдруг понял всю силу этой небольшой горсточки большевиков-патриотов, которые в течение двух с половиной лет не только вели свою смертельно опасную работу, но также сумели спасти несколько тысяч местных жителей от гибели, разорения и неминуемого рабства.

– Ну, товарищи, двинулись, – сказал Лазарев, когда светильники были зажжены и фонари «летучая мышь» отрегулированы.

Мы прошли несколько сот шагов задами, спустились в балочку и подошли к щели в скале.

– Вот это и есть знаменитый выход «Семечки», – сказал Горбель. – Теперь берегите голову. За мной!

Он просунул в щель фонарь, осмотрелся и медленно пролез в узкий проход, задевая могучими плечами стены, с которых посыпалась мелкая каменная пыль. Мы последовали за ним. Камни полетели из-под ног. Еле удерживаясь руками за ноздреватую скалу, я почти съехал вниз на несколько метров. Через минуту мы очутились в довольно большой кубической пещере каменоломни со стенами, вырезанными гармоникой, и ровным потолком, хотя и довольно низким, но достаточным, чтобы стоять во весь рост. И я увидел на потолке крест, некогда выкопченный страстной свечкой. Здесь мы выстроились гуськом в определенном порядке, принятом для движения под землей: впереди – человек с фонарем, за ним – один или два человека без огня, затем – человек с огнем, человек без огня и, наконец, замыкающий с фонарем. Впереди с фонарем пошел Горбель.

Замыкающим был старик хозяин с коптилкой. Между ними разместились остальные – кто с огнем, кто без огня. Я шел предпоследним. Мы двинулись один за другим, цепочкой, в глубину каменоломни. Потолок стал понижаться, стены суживаться. Мы втянулись в подземный ход, где уже нельзя было идти во весь рост. Нужно было сильно пригибаться. Идти в согнутом положении оказалось чрезвычайно трудно. Тут-то я и понял, зачем понадобились деревянные костыльки и шомпола, которые роздал нам Илюхин. Идти, опираясь на короткую палку, было гораздо легче. В катакомбах все партизаны ходили с такими палочками длиной в полметра. Чем ниже приходилось наклоняться, тем быстрее шли люди. Я тоже пошел быстрее. Я почти бежал. И я заметил, что чем скорее идешь в согнутом положении, тем легче идти.

V

Воздух вокруг становился все более и более неподвижным, затхлым, спертым. Фонари и коптилки чуть мерцали, с трудом освещая вплотную придвинувшиеся стены и совсем низко нависшие своды. Становилось душно, даже жарко, хотя наверху была зима, ветер и градусов десять мороза. Иногда почва под ногами поднималась, потолок опускался еще ниже. Оставалось небольшое отверстие, сквозь которое нужно было протискиваться ползком, подчас даже на животе. Песок и каменная пыль сыпались за воротник. С непривычки я задыхался, обливался горячим потом. А мы не прошли еще и километра. Тоннель то и дело поворачивал то вправо, то влево. Он то поднимался, то круто уходил вниз. Через каждые десять – пятнадцать шагов возникали разветвления. Иногда их было три или четыре. Новый человек запутался бы здесь в одну минуту. Но Горбель шел уверенно, как по своей квартире, ни на один миг не задумываясь, куда свернуть. Он только на перепутьях особенно внимательно осматривал стены и полы, освещая их своей «летучей мышью».

– Откуда вы знаете, куда надо идти? – спросил я во время небольшой передышки, когда мы присели на камни посреди тесного тоннеля.

И тогда Горбель открыл мне одну из многочисленных тайн катакомб. Он осветил стены, и я заметил, что они испещрены значками, выцарапанными на камне, нарисованными мелом или углем или просто начерченными пальцами на толстом слое пыли, покрывающем пол. Это были знаки подземной навигации, указатели подземного фарватера. Разумеется, никакой более или менее точной карты катакомб не существует. Стоило бы колоссальных трудов составить схему этого невероятно запутанного лабиринта, имеющего в довершение всего несколько горизонтов залегания. Компас здесь бесполезен. Во-первых, на глубине он работает неточно, а во-вторых, без карты он все равно ни к чему. Звук голоса почти не распространяется. Остается только сигнализация значками, своеобразными иероглифами. Каждый член подпольной организации имел свои, так сказать, «позывные». Когда человек передвигался по лабиринту катакомб, он время от времени оставлял на стенах свои визитные карточки и зашифрованные сообщения о своем направлении, для того чтобы в случае аварии со светом его могли бы отыскать товарищи. Я говорю «аварии со светом» потому, что авария фонаря или копилки равносильна гибели человека. Оставшись без света, человек здесь безусловно должен погибнуть. Двигаясь в темноте, он абсолютно не сможет ориентироваться, через тридцать шагов заблудится среди множества поворотов и будет заживо погребен. Такие случаи бывали.

Но вернемся к подземной навигации.

Горбель осветил фонарем стену, и я увидел на ней несколько значков, нарисованных углем. Один был похож на топографическую стрелку, но только с двумя вертикальными черточками на хвосте. Другой состоял из одной лишь буквы Я. Третий представлял из себя крестик со стрелкой. Были еще кружочки, стрелки, направленные в разные стороны. Были цифры.

Стрелка с двумя вертикалями была, например, визитной карточкой Илюхина. Буква Я – визитной карточкой товарища Васина Якова. Цифры были датами прохождения, стрелки – направлением. Нарисованная пятиконечная звезда была знаком всего подпольного райкома в целом. Таким образом, внимательно глядя на стены, человек посвященный всегда мог понять, кто где в данный момент находится, где кого нужно искать.

– Вот посмотрите, – сказал Горбель, освещая фонарем развилку катакомбы, откуда расходилось в разные стороны несколько тоннелей. – Как вы думаете, в какую сторону нам нужно идти, чтобы прийти в подземный лагерь номер один?

Я пожал плечами. Тогда Горбель показал мне на земле прямую линию, проведенную пальцем в пыли, поперек одного из тоннелей. Это значило, что путь закрыт. Туда идти не следовало. То же самое было и возле другого тоннеля, и возле третьего. Оставался четвертый, поперек которого никакого знака не было. Стало быть, туда и следовало идти. Каждый отдельный камешек, особым образом положенный на дороге, что-нибудь да обозначал на языке этого подземного телеграфа, которым каждый подпольщик владел в совершенстве.

– Видите, какая у нас была хлопотливая жизнь, – с улыбкой сказал Лазарев. – Прямо-таки «Восемьдесят тысяч лье под водой» или, вернее, под землей. Жюль Верн!

– А он у нас был капитан Немо Пригородного райкома партии, – с озорным блеском в глазах сказал веселый Горбель, поглядывая на Лазарева. – Ну, товарищи, потопаем дальше. До лагеря номер один еще довольно далеко. Не будем терять времени.

VI

И мы двинулись дальше, низко нагибаясь и опираясь на свои короткие палочки. Мы прошли еще километра два, и вдруг нам на пути стали попадаться разные вещи. Первой мы увидели лопату, воткнутую в кучу ракушнякового щебня. Через несколько шагов валялся лом. Рядом на камне стояла коптилка, сделанная из квадратной бутылочки из-под одеколona «ТЭЖЭ». Коптилка вся была покрыта пылью, но в ней еще сохранилось немного керосина. Когда Илюхин поднес к ней спичку, фитилек загорелся. Груда заржавленных патронов тускло блеснула за камнем. И конечно, стены вокруг, как и всюду, были исписаны белыми и черными иероглифами. Мы все окружили светильник и смотрели на дымный язычок пламени как очарованные. И правда, было что-то чудесное, почти волшебное, полное глубокого смысла, в том, что эта самодельная партизанская

лампочка, к которой никто не прикасался больше восьми месяцев, вдруг сразу же безотказно загорелась, как будто бы была все время наготове.

– А вы знаете, товарищи, – сказал после некоторого молчания Лазарев, – даже как-то не верится, что все это было, в сущности, так давно. Кажется, что все это было вчера... только что... Смотрите, а вот и наша листовка.

За грудой патронов, покрытой пылью и плесенью, валялся небольшой розовый листок. Я поднял его. Это было воззвание подпольного комитета к железнодорожникам:

«Товарищи железнодорожники!

На наших глазах гитлеровские бандиты вывозят в Германию награбленное добро из нашей отчизны.

Кровопийцы высасывают все соки из нашего народа.

...Священный долг патриота нашей родины требует от каждого вести беспощадную борьбу с ненавистными оккупантами...»

Не все можно было разобрать в этой листовке, истлевшей от времени. Бросались в глаза строчки:

«Не мазутом, а песком засыпайте буксы, поджигайте эшелоны, цистерны с бензином, создавайте пробки на станциях, всеми способами срывайте транспорт ненавистных оккупантов...»

Десятки тысяч таких листовок распространил подпольный райком Лазарева. И советские люди, беззаветные патриоты, засыпали буксы песком, поджигали цистерны б бензином, пускали фашистские эшелоны под откос.

Да, все это было. Теперь это уже история.

Мы снова двинулись дальше, освещая стены дрожащими огоньками своих коптилок. И вдруг, не сговариваясь, под наплывом воспоминаний, партизаны все сразу запели свою подпольную песню, свой партизанский гимн. Их голоса глухо и вместе с тем торжественно звучали под низкими сводами. Цепь огоньков мелькала во мраке. И во всем этом было что-то необыкновенно волнующее, я

бы даже сказал – величественное. Они шли и пели ту самую песню, которую пели под землей в то время, когда по земле, в каких-нибудь десятках метров над ними, стучали кованые сапоги захватчиков. Это были страшные дни, месяцы и годы. Это было великое испытание железом и кровью. И большевики-патриоты выдержали его со славой. Не сдали. Я запомнил их песню от слова до слова. Ее сочинил сам Лазарев. Они пели ее на мотив «Оружьем на солнце сверкая». Вот эта песня:

Пошли мы тернистой дорогой,
Далек оказался наш путь.
Наполнилось сердце тревогой,
Нет сил, невозможно вздохнуть.

И припев:

*Марш вперед, друзья, в поход,
На разгром фашизма!
Нас вперед всегда ведет
Знамя социализма!*

Эти слова, написанные поэтом-самоучкой, может быть, не всюду ладно и гладко, тем не менее произвели на меня громадное впечатление. Каждое слово в них, каждая мысль были глубоко прочувствованы, правдивы, честны и благородны. Это были не стихи. Это была сама жизнь.

В сырых катакомбах глубоких,
Где воздуха мало порой,
Где много обвалов широких,
Живем мы родною семьей.

Жизнь наша – борьба роковая:
В тылу у врага остались.
В борьбе, ни на что невзирая,
Мы тяжесть нести поклялись.

Куда ни ступи – всё преграды.
Царь-голод нам череп сверлит.
Фашистской не ждем мы пощады,
И смерть за плечами стоит.

В рядах наших нет тех, что ноют.
Не тот здесь собрался народ.
Энергию, силу удвоит.
Найдем все же... Будет исход!

Пусть бесятся звери-фашисты.
Блокада их – нам наплевать.
Ставить мины они специалисты.
Их же будем мы ими взрывать.

Нам вера надежду рождает,
Нам вера и бодрость дает,
Кто верит – всегда побеждает,
Позиций своих не сдает.

Что ж делать, когда нет исхода?
На милость врагу не пойдём.
Мы все, как один, за свободу,
За счастье народа умрем.

Когда наконец мы добрались до лагеря номер один, я совершенно выбился из сил. Я был весь мокрый, хоть выжимай. Остальные чувствовали себя прекрасно. Вот что значит привычка!

VII

Лагерь представлял из себя несколько комнат, вырезанных в скале. В одной комнате помещалось отделение партизанского отряда. Здесь были каменные нары, покрытые полусгнившей соломой. Как в

настоящей казарме или блиндаже, у каждого бойца было свое постоянное место. Были здесь каменный стол и каменная скамья. В каменной нише в большом порядке находилось оружие. На стене висело расписание нарядов. Ведро, самодельная кружка, веник. Все честь по чести. В другой комнате находился райком. Здесь на каменных койках спали все три секретаря. Здесь решались партийные дела. Давались боевые задания отряду. На пишущей машинке печатались листовки. Дальше, в коридоре, была сделана выгребная яма, куда бросали мусор. И это было очень важно, так как в условиях сперттого воздуха, отсутствия света и плохого питания отряд все время находился под угрозой возникновения эпидемических заболеваний. Была уборная. Была кухня, где на примусах готовили еду. Был продовольственный склад – большая кадка для муки и большой ящик для других продуктов. Масса бутылок из-под горючего, которое здесь ценилось на вес золота: ведь нужно было круглые сутки освещаться. Было вырезанное в скале отделение, где держали кур и откармливали поросят. Было стойло для коровы. Было несколько семейных отделений, где жили мужья с женами. И всюду в стенах ниши – с лекарствами, с письменными принадлежностями, с иголками, нитками, сапожным инструментом и сапожным товаром.

Теперь мы были окружены предметами домашнего обихода, утварью, посудой, остатками одежды, бутылками, склянками, граммофонными иголками, самодельными плакатами, книгами, брошюрами, румынскими газетами, из которых партизаны черпали многие очень важные для себя сведения, железными ящиками с пулеметными лентами.

Все это сохранилось, хотя и было засыпано пылью.

Илюхин, например, на своей койке нашел свое зимнее пальто. Сукно, правда, почти развалилось от сырости, но каракулевый воротник был еще вполне годен, и Илюхин оторвал его и взял с собой. Окруженные горящими фонарями и светильниками, мы сидели на камнях. Я рассматривал вещи, раскиданные повсюду. О каждой из этих вещей можно было бы написать роман. Вот, например, обломки лампового радиоприемника. Казалось бы, что может быть проще – сидеть под землей и слушать радиопередачу. Однако это совсем не верно. Принимать радиопередачи было не только безумно трудно, это было иногда просто подвигом. Дело в том, что радиоволны под землей

не распространяются. Стало быть, каждый раз нужно было выносить приемник наружу или ставить его возле самого выхода из катакомб. Но все выходы были блокированы врагами. Приходилось постоянно отыскивать новые выходы. Прежде чем вынести приемник наверх, производилась разведка. Очень часто это было связано с серьезной боевой операцией, с разминированием выходов, с перестрелкой, с очень сложной и опасной разведкой. Но и это не все. Нужно было установить временную антенну. Это делалось по ночам, в часы наиболее важных московских передач, под непрерывной угрозой смерти. Кроме того, румыны ставили всюду в районе хуторов специальные установки, чтобы запеленговать и обнаружить партизанскую радиостанцию. Каждый раз приходилось, так сказать, «разминировать» местность от этих радиопеленгаторов. И с опасностью для жизни подпольщики это делали. В углу я увидел кучу снятых с поверхности румынских радиопеленгаторов. Это были трофеи подпольного райкома. А вот и самодельная установка для добывания тока для радиопередатчика. Они крутили ее вручную, как папанинцы на льдине.

Вообще партизанам приходилось все время, без передышки, выполнять тяжелую физическую работу, не говоря уже о постоянных вылазках, выходах в город, диверсиях, перестрелках. На каменном столе лежали в ящике винтовочные патроны и пулеметные ленты. Из-за сырости они все время ржавели, и все время их приходилось чистить, скрести ножами, шлифовать. Это была поистине каторжная работа. Подпольщики все для себя делали сами. Сами варили обед, сами пекли хлеб, сами починяли свою одежду и обувь, сами ремонтировали радио, оружие, делали взрыватели для мин, сами печатали на пишущей машинке листовки. Они были и поварами, и сапожниками, и портными, и слесарями, и пиротехниками, и поэтами, и каменотесами, и врачами. Кажется, нет такой профессии, которой бы они не занимались в своем подполье.

А какие критические дни приходилось им переживать!

Сначала фашисты думали, что партизаны не смогут долго продержаться под землей. Фашистам казалось, что это совершенно невозможно. В своей прессе они уделяли большое внимание катакомбщикам. Какой-то горе-профессор из Бухареста даже напечатал специальную большую успокоительную статью о том, что

партизаны все равно обречены под землей на неминуемую гибель без воздуха, солнечного света, витаминов и тому подобное. Он весьма «научно» обосновал свою «теорию». Но злосчастный профессор не учел одной маленькой детали. Он не учел, что в катакомбах сидят большевики, несгибаемые советские патриоты, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаются. На некоторое время румынские власти успокоились, ожидая естественной гибели подпольщиков. Но подпольщики что-то все не гибли и не гибли. Фашистские эшелоны продолжали валиться под откос, листовки продолжали тысячами распространяться среди одесского населения, каждый день на окраинах находили трупы убитых фашистских солдат и офицеров, ни один неприятельский транспорт, ни один грузовик не мог появиться на дорогах в районе Усатовых хуторов без риска быть обстрелянным или взорванным; взлетали на воздух штабы и комендатуры. Положение фашистов стало невыносимым. Тогда румынские власти решили во что бы то ни стало ликвидировать группу Лазарева. Атаковать подпольщиков в лоб было невозможно. Фашисты, правда, делали попытки ворваться в катакомбы, но это всегда кончалось неудачей. В том-то и заключается неприступность катакомб, что их нельзя захватить силой. Дело простое: в подземный коридор нельзя войти без фонаря. А как только чужой человек с фонарем появится в подземном коридоре, снайперы, засевшие в темноте, бьют без промаха по фонарю. Один снайпер может положить сотню непрошенных гостей. О том же, чтобы войти без фонарей, не может быть и речи. Через тридцать шагов заблудишься. Стало быть, и с фонарем нельзя и без фонаря нельзя. Никак нельзя.

VIII

Видя это, фашисты стали выкуривать партизан из катакомб самыми различными способами. Сначала они прибегли к грубому террору. Они привели к одному из входов в катакомбы партию пленных в сорок человек и по очереди, попарно, расстреляли их всех. Они оставили трупы лежать в течение месяца. Фашисты знали, что партизаны через свои наблюдательные щели все это видели, и рассчитывали подействовать на них психически. У партизан сердце

обливалось кровью при виде горы трупов несчастных, замученных советских людей. Но это не только не устало их, не только не заставило поколебаться. Наоборот, они с еще большей яростью стали бороться с ненавистными захватчиками. Тогда враги применили другую тактику. Они знали, что у подпольщиков на исходе продовольствие. Они знали, что подземные большевики голодают. И вот фашисты подвезли к входу в катакомбы походную кухню. Они согнали к этой кухне все население Усатовых хуторов и стали раздавать ему еду. Толстый повар в белом колпаке наливал в миски наваристый суп, бросал жирные куски говядины, раздавал буханки свежего, золотистого хлеба. Время от времени он, потрясая половником, обращался к скале, в которой, он знал, находятся невидимые партизаны, и кричал им:

– Партизан, сдавайся! Хочешь кушать? На тебе кушать, выходи!

Партизаны голодали уже вторую неделю. Их суточный рацион равнялся семидесяти пяти граммам сырого пшена и чайной ложечке молотого кофе. Они еле держались на ногах. Но и это не поколебало их.

Враги озверели. Они вызвали артиллерию и стали злобно, беспорядочно, а главное – совершенно бессмысленно садить снаряд за снарядом по всем щелям в скалах, которые казались им подозрительными. После этого они послали подпольщикам ультиматум. Передали они его следующим образом. Они поймали местного мальчика и велели ему снести в катакомбы партизанам письмо. Мальчик отказался. Его стали мучить, истязать. Посадили на раскаленную плиту. В бессознательном состоянии бросили его ночью вместе с письмом возле одного из входов в катакомбы. Партизаны втащили мальчика под землю. Вот он, этот вражеский ультиматум:

Товарищи партизаны!

(Они, подлецы, так и написали – «товарищи».)

Красная Армия катится на восток. Возврата Советской власти и Красной Армии нет. Доблестные, победоносные немецкая и румынская армии молниеносно продвигаются на восток. Ваша борьба бесцельна. Нам известно, что вы

терпите лишения, болезни, голод. Вы должны понять, что вы не повернете колеса военной истории назад. Сдавайтесь. Мы вам гарантируем жизнь в концентрационных лагерях на правах военнопленных. Срок ультиматума 24 часа. В случае непринятия нашего ультиматума мы располагаем такими средствами, что вы будете уничтожены в одно мгновение. Наш офицер будет ходить у выхода первой шахты. Он будет в белых перчатках. Вы должны выходить к этому офицеру по одному, без оружия.

Румынское военное командование.

Прочитав это нахальное и высокомерное послание, партизаны вспомнили ответ запорожцев турецкому султану. Но они были так возмущены, они так глубоко презирали оккупантов, что посчитали для себя унижительным вступать с ними в какую бы то ни было полемику, хотя бы даже самую остроумную и ядовитую. Они обсудили вопросы на заседании партийного комитета и решили ответить врагам действием. В следующую же ночь они совершили блестящую вылазку, истребив несколько десятков оккупантов и взорвав комендатуру.

Тогда фашисты перешли к планомерной осаде Усатовских катакомб. С холодной яростью, со зверской методичностью они стали заваливать, взрывать и бетонировать абсолютно все выходы из катакомб, хотя этих выходов в разных местах было несколько десятков. Они решили не оставить партизанам ни одной щели, ни одной дырочки для воздуха. В некоторых местах через катакомбы проходили стволы колодцев. Фашисты отравили эти колодцы мышьяком. Они бросали туда отравляющие вещества, заливали их нефтью, пускали газы. Отряд Лазарева оказался герметически закупоренным под землей, почти без пищи, без воды, с ничтожным запасом горючего, без притока свежего воздуха, без малейшей связи с внешним миром. Смерть казалась неизбежной. Будет съедена последняя ложка пшена, выпит последний поток воды, выгорит последняя капля керосина... Все погрузится в вечный мрак...

А наверху – страшный 1942 год, зима, гитлеровцы на Волге... Можете себе представить, что должна была испытывать в это время горсточка советских людей, замурованная врагами под землей, в глубоком тылу, за тысячи километров от фронта?

И тем не менее эти удивительные люди не потеряли присутствия духа. Они поняли, что их может спасти только одно – новый выход из катакомб. И они начали подземные поиски этого нового выхода. Сперва была послана одна партия. Она взяла с собой почти весь запас горючего и продовольствия. Один за другим люди скрылись в лабиринте. Оставшиеся потушили свет и стали ждать. Они прождали более суток. Партия не возвращалась. Положение становилось катастрофическим. Тогда на розыски первой партии решено было послать вторую партию. Вторая партия состояла всего из двух человек. В лагере остался Лазарев с двумя рядовыми партизанами. Если и вторая партия пропадет – конец. Они прождали вторую партию двенадцать часов. Наконец она вернулась ни с чем. Ни нового выхода, ни первой партии. Воды уже не было. Дышать нечем. Горючего – капля. И вот, когда уже действительно наступал конец, самый настоящий, последний конец, в коридоре забрезжил свет. Это возвращалась первая партия. Она возвращалась с победой. Она нашла новый выход. И нашла она его следующим образом.

Часа через два или три после своего ухода первая партия заметила, что горючего осталось самая малость. Они потушили все фонари. Оставили только один. Но и он поглощал слишком много керосина. Пришлось обрезать фитиль с боков, чтобы фонарь горел как можно экономнее. Шли почти ошупью, с трудом различая на стенах иероглифы. Но куда идти? В какую сторону направиться? Где может быть новый, еще неизвестный выход? Эту задачу невозможно было решить. Они шли наобум из коридора и коридор, кружась в лабиринте, сужавшемся все больше и больше. Они поняли, что если в ближайшие же часы не найдут выход, то они погибнут, так как горючего в фонаре на обратный путь уже не хватит. А в катакомбах отсутствие света означает смерть. Казалось бы, что могло их спасти? Ничто! Но и тут они не сдались, не пришли в уныние. Они решили бороться до последнего вздоха. Они сели и стали думать. И вдруг счастливая мысль осенила одного из них. Они ищут выход? Прекрасно! Но что такое выход? Отверстие, ведущее на воздух. Там, где есть отверстие, должно быть и движение воздуха, сквозняк. Пусть даже самый

маленький сквознячок. Важно только его поймать. Тогда они сняли с фонаря стекло и стали, затаив дыхание, следить за слабым язычком пламени. И вдруг они заметили, что пламя гнется в одну сторону. Оногнулось еле-еле. Но этого было достаточно. Они определили направление движения воздуха. И они медленно пошли на сквознячок, руководствуясь колебанием пламени. Они прошли очень далеко, километров двадцать. И все же они достигли небольшой трещины, возле которой огонь заколебался довольно сильно. Тогда они стали рыть. Лопаты и ломы они побросали по дороге, так как у них не было сил больше тащить их с собой. Они стали рыть руками. Они обдирали себе ногти, ломали пальцы... Кровь текла по их рукам, и все же они проделали достаточное отверстие для того, чтобы вырваться наружу. К счастью, была ночь, и поблизости никого не было. Они вышли из-под земли. Они были в степи, за пятнадцать километров от Усатовых хуторов. Это была великая победа над смертью, так как новый выход означал воздух, пищу, свет, связь с миром – словом, все то, без чего отряд Лазарева не мог бы прожить и одних суток.

Я слушал этот рассказ, затаив дыхание. И по странной ассоциации идей я вспомнил «Подснежники».

– Да, я совсем забыл. Вы мне обещали разъяснить, почему один из ваших выходов называется «Подснежники».

Тень далекого воспоминания мелькнула на болезненном лице Лазарева. Глаза его мягко и золотисто засветились при пламени светильников и фонарей.

– Да, да, совершенно верно, – быстро сказал он, – это тоже связано с поисками нового выхода. Вообще, надо вам сказать, наша борьба с оккупантами в значительной мере заключалась в постоянных поисках новых лазеек. Они забивали одни выходы, а мы находили другие. Так вот однажды мы всем отрядом принуждены были искать новый выход. Мы блуждали несколько суток. Воздуха почти не было, и он был отравлен углекислым газом, фонари все время гасли. Мы теряли сознание. Вдруг мы заметили в скале щель и стали ее расчищать. Мы работали из последних сил. Наконец камень подался, и, навалившись, мы пробили окно. Сразу же мы почти ослепли от солнца. Упоительный весенний воздух, насыщенный ароматом зацветающей степи, теплый, волшебный черноморский воздух ударил нам в лицо, и мы увидели залитую солнцем степь, всю усыпанную

крупными лиловыми цветами, которые почему-то приняли за подснежники. Тут уж, забыв всякую осторожность, мы выскочили на вольный воздух, под солнышко, и стали валяться среди «подснежников», упиваясь воздухом, опьяняющим и душистым, как молодое вино.

– Да, бывали в нашей жизни происшествия! – сказал веселый Горбель.

X

Потом мы сходили посмотреть колодец, который подпольщики вырыли во время блокады. Он был очень глубок. Камень, брошенный в него, не сразу шлепнулся в воду. А ведь пробивали этот колодец в камне простыми лопатами и ломом. Потом мы осмотрели естественную сводчатую залу, где партизаны упражнялись в стрельбе. Это был настоящий, недурно оборудованный тир, причем мишени были вырезаны все из того же ракушника. Их обломки лежали в пыли, со следами пуль. Стало быть, нормальная военная жизнь не прекращалась под землей ни на одну минуту. Дневальные заступали на дневальство, подметая помещение. Часовые уходили на свои посты. Караульный начальник вел постовую ведомость. Райком занимался своими партийными делами.

– Вы и в партию здесь принимали? – спросил я.

– А как же! Несколько человек приняли. Причем судили о человеке по его партизанской работе.

Лазарев улыбнулся:

– Только с анкетой у нас в первое время вышло маленькое недоразумение. Неувязочка, так сказать. Когда мы уходили в подполье, все с собой захватили, одно только забыли – анкеты, которые необходимо заполнять при подаче заявления о приеме в партию. Двое суток мы припоминали, какие вопросы стоят в анкете. Все-таки наконец общими усилиями припомнили. Нельзя же без этого. Всюду нужен порядок. Во всяком деле. Особенно в партийном.

– А исключать из партии приходилось?

– Нет. Исключать не приходилось. Не было ни одного случая исключения, – сказал Лазарев.

С чувством безграничного изумления смотрел я на этого маленького скромного человека, секретаря районного партийного комитета, который в самых невероятных условиях, под носом у заклятых врагов, с такой аккуратностью и точностью вел свое небольшое партийное хозяйство.

Впоследствии я познакомился с его женой, простой русской женщиной, матерью двух взрослых сыновей, находящихся в рядах Красной Армии, на войне. Она стирала белье в большой дубовой лоханке. Вот что она сказала мне про своего мужа:

– Вы знаете, я просто удивляюсь на своего Семена Федоровича. Вы подумайте только, что он вынес. А ведь в нем еле-еле душа в теле. У него слабое сердце. Он постоянно у меня болеет. У него радикулит, ишиас. Как он там не умер, у себя в катакомбах, просто непонятно. Я уж не говорю о его боевых делах, это само собой понятно. Вы только посмотрите, в каких он там лохмотьях ходил...

Она сходила в другую комнату и принесла оттуда ужасную кепку, какие-то рыжие, сплошь латаные-перелатаные штаны и насквозь просалившуюся брезентовую куртку.

– Я это все выварила в соде. Хочу сохранить на память. Вот, даст бог, дети вернутся с фронта, я им покажу. Пусть знают, что их отец тоже воевал в тылу с захватчиками, и воевал не хуже их. Пусть гордятся своим отцом.

Потом она вздохнула и прибавила:

– А все-таки мне не верится, что он столько времени провел между жизнью и смертью в катакомбах – и не только ни разу не хворал, но даже стихи стал там сочинять. Как-то окреп. Чудеса. Вот что значит вера в свое дело. Вот что значит сила духа.

И она с выражением процитировала несколько строк из стихотворения своего мужа:

– «Нам вера надежду рождает, нам вера и бодрость дает. Кто верит – всегда побеждает, позиций своих не сдает...» Не правда ли, как это верно?

Перед тем как тронуться в обратный путь, мы еще раз обошли весь подземный лагерь № 1. Охваченные воспоминаниями своего героического прошлого, такого недавнего и вместе с тем уже такого далекого, окруженные немymi свидетелями их жизни в катакомбах – самодельными кружками, светильниками, оружием, патронами,

книгами, остатками листовок, лохмотьями одежды, остатками обуви, – партизаны продолжали все рассказывать и рассказывать о своей борьбе. Они вспоминали своих боевых товарищей, сожалея, что их сейчас нету с нами. Я то и дело хватался за блокнот и за карандаш, пытаюсь как можно больше записать из того, что они рассказывали. Но потом я понял, что это безнадежное дело. Об этом надо написать роман. И я дал себе слово непременно его написать.

Впрочем, хочется еще передать несколько штрихов, упомянуть о некоторых товарищах, с которыми мне посчастливилось познакомиться позже.

Во-первых, это Анна Филипповна Горбель, сестра Леонида Филипповича. До войны она была банковским работником. Сейчас она опять работает в банке. Во время же подполья она была членом райкома, инструктором связи и начальником штаба. Это она, большая, добродушная, очень простая и очень милая, скромная женщина, осуществляла связь Лазарева с внешним миром. Она надевала на себя крестьянское платье, брала в руки корзинку с курицей или уткой и отправлялась из катакомб в Одессу, обманывая своей внешностью румынских часовых. Десятки раз она подвергала свою жизнь смертельной опасности. Она ходила на явки, приносила инструкции. Она продавала на базаре вещи, для того чтобы закупить для отряда продукты. Она лечила больных. Она ходила на диверсии. Она разрабатывала планы операций. Нужно было обладать колоссальной силой воли и верой в свое дело, чтобы работать так честно и так преданно и вместе с тем с таким мастерством. У нее не было ни одного провала.

Выдающимся партизаном был Николай Андреевич Крилевский, второй секретарь у Лазарева. Он командовал партизанским отрядом № 2 (Усатовским) и много горя причинил оккупантам.

Я уж не говорю о Васине Якове Федоровиче, сподвижнике знаменитого товарища Молодцова, погибшего в фашистском застенке и получившего посмертно высокое звание Героя Советского Союза. Пока Васин был в подполье, враги расстреляли его жену и угнали дочь. Такой удар не каждый бы снес. Но Васин еще крепче сжал зубы. Он лично взорвал два вражеских воинских эшелона. Он выводил свой отряд из катакомб среди бела дня и нападал на врагов. Он бил их

всюду, где только представлялась возможность. Встретиться с Васиным означало для любого оккупанта верную смерть.

XI

– Ну, товарищи, пора. А то наверху, на Большой земле, уже, наверное, ночь, – сказал Илюхин, решительно вставая с камня. – Пошли!

Проходя мимо небольшой ниши в стене, я заметил несколько растрепанных, заплесневевших книг без переплетов. Я взял одну из них. Это была книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм», покрытая ржавыми пятнами капель, падавших с низкого каменного свода. Я осторожно перелистал книгу и заметил, что многие места ее были отчеркнуты карандашом и на полях сделаны заметки. Очевидно, над книгой много работали, изучали ее, штудировали. Другая была – «Тарас Бульба» Гоголя.

И вдруг в моем сознании произошел какой-то мгновенный сдвиг. Я испытал то непередаваемое, томительное и прекрасное чувство, которое иногда испытывают люди. Мне показалось, что все то, что было вокруг меня, я уже когда-то, очень давно, видел. Но когда и где – ускользало из моей памяти. Я сделал усилие и вдруг понял. Это было таинственное соединение двух очень сильных впечатлений моей ранней юности, почти детства. Одно из них было воспоминание о первом посещении пещер Киево-Печерской лавры, другое – римские катакомбы, куда вместе с отцом мы спускались при свете зажженной соломы и смоляных факелов. Причем римское впечатление преобладало. И я почувствовал, что между всеми этими тремя явлениями – между древними киевскими пещерами, римскими катакомбами и одесскими подземельями, несмотря на всю их исторически несоизмеримую разницу, есть нечто общее. Это общее было то, что во всех этих подземельях жили люди, одержимые одной какой-то высокой идеей. Жили мученики и борцы за эту идею. Жили святые, пионеры новой веры. И я вдруг понял, что все люди и вещи, которые меня окружают, – и Лазарев, и Горбель, и Илюхин, и старик – хозяин усатовской хижины, и эти заплесневевшие книги, и эти самодельные светильники, и эта утварь, и это оружие, и эти лопаты и

ломы, – все это уже достояние истории, одной из самых ее блистательных и волнующих страниц, говорящих о торжестве, о беспримерной победе духа нового, советского человека над всеми темными и мрачными силами старого мира, соединившимися в фашизме.

И, мне кажется, Лазарев как-то сразу почувствовал, уловил сердцем эту мою невысказанную мысль. Он сказал:

– А вы знаете что? Иногда, когда нам было очень трудно и очень тяжело, знаете, о чем мы начинали говорить? Мы начинали говорить о том, что после войны в наших катакомбах не мешало бы устроить нечто вроде небольшого музея. Пусть наши дети, пусть советская молодежь посмотрит, как большевистская партия боролась с оккупантами в незабвенные дни Великой Отечественной войны. И мы абсолютно твердо были уверены, что так оно и будет.

– Так оно и будет, – с уверенностью сказал я.

– Стало быть, вы первый экскурсант нашего будущего музея, – пошутил Горбель.

И мы двинулись в обратный путь, один за другим, опираясь на свои коротенькие посошки и освещая фонарями и светильниками иероглифы и условные знаки, нарисованные на ракушняковых стенах. Вскоре мы вышли на поверхность земли через выход «Утка». Была ночь. С моря дул ледяной ветер. Звезды пылали в черном небе. Во тьме лаяли собаки. И над хаткой, где нас ждал простой крестьянский ужин, вился освещенный искрами дымок, благоухающий крепким, родным, знакомым с детства запахом кизяка.

Публицистика разных лет*

Пороги

Это было одиннадцать лет назад.

Наша батарея получила приказ выгрузиться в Александровске для окончательного укомплектования пушками и лошадьми. Мы расквартировались на окраине города, в белом здании народного училища. Наши орудия были до последней степени изношены и ржавы, а лошади больны чесоткой.

Мы обшарили все артиллерийские склады и конские резервы, но не нашли ничего лучшего.

Керосина для чистки пушек не было; лечить лошадей не стоило – с минуты на минуту мы могли получить приказ выступить.

Между тем никто даже в штабе в точности не знал, где в данную минуту находится фронт.

Город питался слухами. Бои шли по железнодорожным линиям. Иные утверждали, что нами занят Ростов, иные, напротив, передавали, что части генерала Деникина вышли на линию Матвеева Кургана и офицерские бронепоезда громят Лозовую.

В тылу вспыхивали кулацкие восстания. То и дело объявлялся какой-нибудь новый атаман – то Махно, то Ангел, то Заболотный. Одним словом, было плохо.

Однажды, выслушав вечерний доклад старшины батареи и подписав химическим карандашом рапортчику на завтрашнее довольствие, я пристегнул портупею и вышел во двор.

Густая южная ночь неподвижно висела между небом и землей, полная звезд и запаха листьев. Было начало июня. Желтый свет ложился из окон штаба в бурьян. Цветущие веники прятали колеса орудий и зарядных ящиков.

За окнами, закрытыми из предосторожности, заседала ячейка. Тени спин и фуражек то падали у самого дома, то вдруг вытягивались, как резиновые, через весь двор до коновязи, пугая больных лошадей.

Лошади всем табуном грубо шарахались в одну сторону, издавая утробное ржание и вырывая из земли колья.

– А, штоб вам повылазило, хвороба! – раздавался негромкий голос босого дневального, и он замахивался на задранные морды брезентовым ведром.

Лошади тотчас утихали. Слышался только волосяной свист хвостов.

Я открыл калитку и, широко шагая по мягкой дороге, пошел к Днепру. Настроение у меня было подавленное. Я двигался вдоль цветущих изгородей, мимо хат, едва белеющих сквозь пыльную листву вишневых палисадников. Ни в одном окне не горел огонь. Все вокруг было мертво и безмолвно.

Изредка из-под ворот выползала спущенная с цепи собака и страстно бросалась на меня с потайным, почти неслышным, рычанием. Я отгонял ее ножами шашки.

Вскоре дорога пошла круто вниз. Я ощутил реку прежде, чем ее увидел. Пресная свежесть воды охватила меня с ног до головы. Я почувствовал острый запах осоки. Почва под ногами стала легкой и упругой. Я узнал ее сразу. Это был толстый пласт высохшего ила, смешанного с тиной и обломками камыша. Совсем близко раздался крик лягушки, сходный со скребущим звуком ножа, открывающего раковину.

У самых моих башмаков захлюпала вода. Отражение звезды побежало, дробясь на уровне подошвы. Я увидел реку. Она была светлей неба.

Я разбудил лодочника, спавшего в кустах, и нанял его на всю ночь. Он вытащил из-под скамейки лодки весла. Загремели уключины. Мы поехали вверх, к порогам.

В ту пору я был очень молод и на досуге сочинял стихи. В моей старой походной тетради сохранилось несколько строк, написанных карандашом. Вот они:

Пресной свежестью реки
Пахнут в полночь тростники,
В речке пляшут огоньки.

В тишине прохладных плавней
Ветер воду бьет крылом.

Все быстрее и своенравней
Вьются струйки под веслом.

Сон к воде осоку клонит;
Потемневший берег тонет
В полумраке голубом.

Гладь реки светла, как воздух,
Берега темны, как лес,
И в туманных млечных звездах
Мы висим меж двух небес.

Лодка вышла на середину реки и упрямо плыла против сильного и широкого течения. Порывы нежного ветра приносили с берега запах цветущей акации и залиvistый лай деревенских собак.

Вдруг раздался отдаленный пушечный выстрел. Ночь дрогнула. Двойной шум эха пролетел по выпуклой поверхности реки, потрясенной до самого дна. Небо покачнулось над головой, как зеркало. По звездам бегло пролетела зарница.

– Что это такое? – спросил я, тревожно наклоняясь вперед.

Лодочник продолжал не торопясь выгребать против течения.

– Це батько Чайкивский людей пужает, – после некоторого молчания сказал он. – Мабуть, заметил на реке якись пароход и бабахнул.

Верстах в семи от Александровска, вниз по течению, на правом берегу действительно хозяйничала банда атамана Чайковского. Я уже слышал о нем. Ночами он ставил пушку в камышах и стрелял по судам, проходящим мимо. На днях он потопил пароход.

Я ждал второго выстрела. Его не последовало. Становилось ощутительно свежей.

Послышался шум порогов. Приближалось утро. Вода и небо обменялись тонами. Раньше вода была светлей неба. Теперь небо стало светлей воды.

Река на порогах шумела, как сотня мельниц. Мы шли вдоль дикого острова Хортица, вдоль плоской полосы песка, заросшего камышами и вереском. Дальше берег Днепра громоздился глыбами

серого гранита. Чудовищные его обломки во множестве валялись, как после циклопической битвы, посередине реки, преграждая ее течение. Стесненная вода сердито бурлила и рвалась среди них, отыскивая ходы и покрывая сивый гранит бешеной своей пеной.

Сделалось свежей. Далеко на правом берегу, в Кичкасе, стали запевать вторые петухи, может быть третьи. Но эти два шума – говор порогов и пение петухов – не смешивались между собой. Они существовали отдельно. Стоило прислушаться к петухам, как тотчас умолкал Днепр. Стоило прислушаться к Днепру, как ухо теряло петухов. Я вспомнил Фета: «...то мельница, то соловей...»

Лодку стало крутить. Я попросил повернуть обратно. Сделать это было не так-то легко. Лодка перестала слушаться весел. Мы попали в ловушку. Скрещивающиеся течения, шелкая камешками, бросали нас во все стороны. Они ударяли то в правый борт, то в левый. Иногда мне казалось, что вот сейчас мы налетим на скалу и разобьемся в щепки.

Однако лодочник оказался человеком бывалым. Не теряя спокойствия, он осторожно, как бы исподволь, почти не работая веслами, выводил лодку из водоворота, не давая ей коснуться камня. Минут десять продолжалась эта упорная, кропотливая борьба с обозленной водой.

Мне оставалось одно – положиться на ловкость лодочника. Я растянулся на корме лицом вверх и, обеими руками поддерживая на затылке фуражку, смотрел в хмурое утреннее небо. Оно качалось и поворачивалось надо мной всеми своими поредевшими утренними звездами, вызывая головокружение и тошноту.

Будущее казалось мрачным, настоящее – безвыходным. Патронов нет, пушки изношены, лошади больны, связь с фронтом порвана, со всех сторон измена, сбоку Махно, в тылу Чайковский.

История, как необузданная река, несла революцию и Республику по своим порогам, по чудовищным обломкам прошлого, каждую секунду готовая разбить нас в щепки, завертеть и навсегда покрыть ядовитой пеной.

Утро свело с неба последние звезды. Заря наливалась, как вишня. Когда мы вернулись, солнце уже всходило. В пыльных садах щебетали птицы. Моя гимнастерка и вязаные обмотки были мокрыми от росы.

Через прохладную дорогу переходили розовые гуси. Под телегой брэнчало ведро. В соборе звонили к обедне – была троица.

На батарейном дворе стояли пушки, испещренные солнечными лучами, бьющими почти горизонтально сквозь мокрый бурьян.

Чесоточные лошади тяжело переступали на месте, терлись крупами и нежно трогали желтыми зубами, покрытыми зеленой слюной, содрогающуюся веревку коновязи. Над ними летали синие мухи.

В окнах еще виднелся свет. Но окна уже были открыты настежь. Из них выходил табачный дым. Заседание ячейки только что кончилось. Пели «Интернационал». Кашевар разводил огонь в походной кухне. Завхоз, сидя спиной к ослепительному солнцу, развешивал продукты. Все пришло в движение.

Полчаса назад был получен приказ грузиться. В пять часов вечера мы отправились на фронт.

До самой погрузки я и политком метались в грязном дивизионном экипаже по знойному, пыльному и равнодушному городу в поисках биноклей, буссолей, орудийного сала, керосина, патронов, упряжи.

Я навсегда запомнил невероятно длинный сквер Соборной улицы, вывески парикмахеров, деревья, названия которых не знал, так хорошо знакомые мне с детства деревья с кучками крылатых семян, висящих под многоугольными листьями, как гроздь зеленых стрекоз.

Солнце пекло наши спины. Кожа внутри околышей фуражек была полна горячего пота. Проезжая мимо пристани, мы решили выкупаться. Стоя по горло в прохладной воде, я видел черепичные крыши сонного города и синеватые тучи, собирающиеся над ними. Мимо проплыл тяжелый баркас.

Бегут по желтой речке
Лиловые колечки
И тают за кормой.

На пристани, за баркой,
Куря, в рубахе яркой
Стоит мастеровой.

За ним светло и сонно
Блестит стекло вагона,
Как белый огонек.

А вдалеке, на горке,
Сквозь синий дым махорки
Скучает городок.

Таков был мирный пейзаж Днепра и города Александровска, изображенный мною в той же походной тетради.

К пяти часам погода испортилась. Пошел парной дождик. Лошади скользили и падали на колени, всходя по мокрым сходням в вагоны.

Несколько эшелонов, прибывших утром, стояли на путях. До сих пор безлюдная, станция была переполнена проезжими красноармейцами. По перрону катили пулеметы. Армейские повозки и кухни превратили станционный сквер в базарную площадь. Шелуха подсолнухов и кабачковых семечек, плотно вбитая в черную землю гвоздатыми башмаками пехотинцев, дополняла сходство.

Всюду мелькали красные панталоны кавалеристов, банты на фуражках, матросские воротники, деревянные ящички маузеров, звезды, оружие и юбки красноармейских баб.

Командиры и политкомы подъезжали в реквизированных экипажах.

Член Реввоенсовета армии, луганский слесарь Клим Ворошилов, держал речь перед бойцами. Он стоял, дымящийся под дождем, на патронных ящиках, сложенных в штабеля на дебаркадере. Мгла митинга окружала его со всех сторон. Слова его были просты и голос сорван.

Ударил музыка. Толпа закричала. Заходящее солнце изнутри осветило истощенную тучу. Туча стала цвета клюквенного киселя с молоком.

Мы сели в вагоны. Поезд тронулся.

Солнце блистало красным леденцом на трубах уплывающего оркестра. Эшелон вырвался в поле. С открытой площадки упала привязанная за рога корова.

Часовой выстрелил в воздух. Комендант приказал не останавливаться. Корову проволокло километра полтора за поездом, прежде чем ее пестрая туша не скатилась под откос.

Яркие, свежие, вымытые дождем и дожелта отлакированные зарей, крутились вокруг эшелона поля. Бойцы сидели в дверях теплушек, свесив вниз босые, натертые обувью ноги. Гармоники и балалайки гремели по всему составу. Ветви украшали по случаю троицы вагоны. Перловые капли прошедшего дождя дрожали и катились по слегка привявшей листве белой акации и черемухи.

Поезд шибко летел в надвигавшуюся с востока темноту.

Это было ровно одиннадцать лет назад.

Много с тех пор утекло воды в Днепре. Алескандровск называется теперь Запорожьем. На днях из окна вагона, с высокой железнодорожной насыпи, я увидел и сразу узнал его гончарные крыши. Они ползли внизу, среди вишневых садов, медленно обгоняя друг друга и рябя вдали черепичной сплошью. Они напоминали Баварию. За ними не столько виднелась, сколько ощущалась большая вода.

Было яркое июньское утро. Ночью шел дождь. С поля дуло удивительным ветром.

Я бы ничуть не поразился, увидев вдруг под откосом убитую корову, – до такой степени был знаком мне этот пейзаж. Он навсегда врезался в память с той неистребимой ясностью, с какой до конца жизни запоминается стена, под которой в детстве копал перочинным ножиком ямку, или трава, по которой впервые шел в бой.

«Прошло одиннадцать лет, и ничего не изменилось с тех пор вокруг».

Так должен был бы написать я, если бы подчинялся традициям старого литературного жанра. Однако это совершенно невозможно. Эпоха разошлась со стилем. Старые формы не отвечают более объему и качеству нового содержания. Так же, как этот имеющий для меня одиннадцатилетнюю давность пейзаж не в состоянии был вместить в себя признаков нового своего назначения и места в мире.

Новое гранитное шоссе, стесненное старыми домиками, вместо того чтобы прямолинейно пересекать местность, принуждено было извиваться и корчиться, как рельс, вытасченный из пожара. Серые

автобусы и легковые машины новейших выпусков и лучших марок бегали взад и вперед, салютуя друг другу молниеносными вспышками металлических частей. Они рвались вон из поля зрения и в конце концов вырывались, входя и выходя вон из пейзажа.

Мы обгоняли, и нас обгоняло множество длиннейших товарных составов.

Площадки и вагоны были гружены лесом, туфом, железом, цементом, песком, продовольствием.

Подобное движение бывает в ближайшем тылу очень важного участка военного фронта перед решительными операциями.

Местность все более походила на прифронтовую полосу. Гора вырытой почвы – светло-желтая насыпь фортификаций – пересекла ландшафт.

Она тянулась влево, пропадала среди домов и деревьев, вновь показывалась и опять пропадала. Это была строящаяся железнодорожная ветка. В последний раз она появилась очень далеко, и ее профиль резко возник на синеве третьего плана.

За ним высилось нечто неразборчиво-туманное, большое и до такой степени «выходящее вон» из знакомого пейзажа, что невольно являлось сомнение: да полно, здесь ли я был одиннадцать лет назад, не ошибся ли местом?

Там стояли в ряд смутные силуэты зданий. Они сливались в лиловый и длинный профиль некоего – скорей воображаемого, чем существующего – города, даже не города, а порта с его элеваторами, эстакадами, кранами, пакгаузами, маяками.

Мы издали огибали мираж, постепенно и крайне осторожно приближаясь к нему с фланга.

Иногда он, этот мираж, действительно пропадал, как бы рассыпался, но вскоре опять возникал с увеличенной ясностью.

Справа и слева открылся покрытый островами Днепр. Поезд взошел на мост. Железный шум ударил в гранитные берега. Броневое эхо встало во всю головокружительную высоту – от шибкой воды до переплетов моста, замелькавших, как рубашка тасуемых карт.

В левых окнах вагона, уже ничем не скрытая от глаз, от начала до конца развернулась поперек реки панорама строительства. Река была перегорожена, завалена, засыпана, заделана, замурована. Дерево, камень, земля, железо, цемент, наваленные и наложенные в

кажущемся беспорядке между берегами, представляли черновой набросок гигантской плотины, над которой местами подымались белые султаны ползающих паровиков.

Впрочем, одна часть сооружения представлялась совершенно сделанной: это было семь узких пролетов высокой и светлой плотины, выведенной из левого берега до четверти реки.

Издали оба берега, насколько хватало зрения, казалось, кишели муравьиной жизнью и были засыпаны щепками.

Мелькнуло множество кранов, вагонов, зданий. Но всех подробностей невозможно было рассмотреть. Мост кончился. Правый берег закрыл картину.

Осталось только впечатление большого и необычного.

До того необычного для земледельческой России, что один из нас сказал, вцепившись руками в оконную раму:

– Н-да! Действительно... Вот тебе и Миргород! Вот тебе и вечера на хуторе близ Диканьки! Америка! Детройт!

Слово было найдено. Детройт! Индустриальный пейзаж. Так вот как она будет выглядеть, наша «избяная, кондовая, толстозадая», когда через несколько пятилеток покроется сетью таких «детройтов»!

Мы подъезжали к станции. Рабочие бараки, чистенькие, новые, с белыми односкатными крышами, на которых – лозунги о пятилетке, индустриализации, трудовой дисциплине.

На площадке молодежь в майках играла в футбол. Луга вокруг были покрыты бурьяном, распустившимся желтым цветом. Над лугами мерцали бабочки-капустницы.

Поезд остановился. Из открытых окон маленькой станции – дикого домика – слышались разнотонные звонки служебных телефонов и провинциально громкие голоса, настойчиво вызывающие телефонную барышню. Но в общем, вокруг было тихо, солнечно и безлюдно.

Автомобиль понес нас по дороге, мимо совсем молоденьких палисадов и барачков, которых оказалось гораздо больше, чем мы предполагали. Целый поселок. Но это были только самые отдаленные подступы к главному. Затем пронеслись склады продовольствия. Своими низкими крышами, обложенными дерном, своим уединением, будками сторожей и проволокой, окружавшей их, они напоминали

пороховые погреба на лугу между военным городком и стрельбищным полем.

У пожарной части, мелькнувшей открытыми своими воротами и широкими окнами выставочного павильона нового стиля, стояли безукоризненно красные пожарные машины.

Широко и свободно разбитые всюду, где только можно, зеленые насаждения крутились, поворачиваясь радиусами аллей, и в шашечном порядке переставляли вокруг автомобиля молоденькие свои деревца. Как видно, здесь всюду происходила упорная, плановая борьба с пылью и песком. Деревья пересаживали десятками тысяч, некоторые старые деревья привозили на грузовиках вместе с почвой.

Мы свернули на шоссе и полетели мимо строящихся и уже выстроенных зданий, мимо штабелей кирпича, фундаментов, сваленных в кучи железных труб и батарей паро-водяного отопления.

Мы увидели очаровательный поселок красных аргентинских коттеджей с высокими, остроконечными крышами, с цветами в палисадниках, велосипедами у калиток, теннисом.

Тут жили иностранные инженеры. Они не хотели к нам ехать. Они боялись. Они требовали комфорта и уюта. Им предложили высказать свои пожелания и вкусы. Они остановились на уюте аргентинских коттеджей. Со сказочной быстротой в запорожской степи возник аргентинский поселок. Иностранцы развели руками.

Дома стали гуще и крупнее. Движение на шоссе – энергичнее. Мы приближались к центру города. Мелькнула внушительная фабрика-кухня – серое здание в стиле Корбюзье – стекло и железобетон, – и, круто повернув, машина остановилась возле трехэтажного дома «трестовского типа», с небольшой черной стеклянной дощечкой у входа: «Днепрострой».

По лестницам бегали работники управления. На стенах висели профсоюзные анонсы. Из открытых дверей слышалось щелканье ундервудов. Учреждение жило типичной будничной учрежденческой жизнью.

И из открытого окна кабинета главного инженера, кабинета, обставленного мощной, комфортабельной кожаной мебелью, выклеенного по стенам чертежами и планами (белое по синему), с полотенцем, висящим возле фаянсового умывальника, с газетами и отчетами, наваленными на столе, просторном, как теннисная

площадка, – из открытого окна этого кабинета мы увидели молодой пыльный бульвар и за ним, совсем близко, могущественный хаос стройки, громоздящийся между двумя берегами совершенно подавленной реки.

Грохот, визг, шип, свист, скрежет наполняли всю ширину квадратного окна.

Два дощатых щита стояли над деревьями против дома – две громадные артиллерийские мишени, испещренные статистическими столбиками и цифрами. На одной доске было написано «правый берег», на другой – «левый берег».

Это были показатели соревнования двух берегов по бетонированию в кубометрах за май месяц, и, как явствовало из ежедневного графика, левый берег систематически отставал.

Сначала мы не успели рассмотреть деталей. Их подавило общее. Теперь детали глушили общее. Внимание было разбито вдребезги. Каждый миг его привлекали к себе тысячи мелочей. Мы сошли вниз.

Пологий берег, пыльный и горячий, сплошь заваленный строительным мусором, щепками, шпалами, гвоздями, бревнами, досками, рельсами, бочками, трубами, проводящими сжатый воздух, содрогался под тяжестью американских паровиков и механических железных площадок, бегущих во всех направлениях по наметанным на живую нитку подвижным путям. То и дело приходилось, услышав их короткий крик, шарахаться в сторону и, прижавшись к деревянным перилам, пропускать мимо себя облитые маслянистым кипятком туши, норовящие нас задеть стальным локтем или толкнуть литой тарелкой буфера.

В тени наскоро сколоченных бараков, заклеенных лозунгами и приказами, стояли баки с кипяченой водой.

Длинная шеренга автоматических, самопрокидывающихся в любую сторону американских площадок, ожидающих своей очереди, стояла перед входом в гигантское, серое, деревянное, сараеподобное здание, принятое нами издали за элеватор.

Площадки были нагружены глыбами гранита. Оглушительный гул сотрясал изнутри стены. Земля ходила под ногами.

Каменная пыль, мелкая как мука, тонким туманом стояла вокруг здания, напоминавшего паровую мельницу.

Это, впрочем, и была мельница, только мельница, превращавшая глыбы гранита в щебень, – камнедробилка.

Мимо часового мы вошли внутрь. Визг и грохот стоял адский. Не слышно было собственного голоса.

Шаткая, деревянная, очень узкая лестница вела вниз, в прохладный подвал, вырубленный в скале.

Там стояла простая по форме, но непомерно большая по масштабу машина.

Представьте себе электрическую кофейную мельницу, такую самую, какие бывают в магазинах Чаеуправления, с двумя маховичками по бокам, но только увеличенную в несколько тысяч раз.

Чудовищные маховики с удивительной легкостью и эластичностью, с ног до головы обдавая большим ветром, кружились среди смятого воздуха.

Циклопические приводные ремни с шелковым, порхающим шелестом улетали по диагонали так далеко вверх, что в конце перспективы – на тошнотворной высоте, на шкивах – казались уже не шире тесемки, в то время как вблизи, на маховике, шириной превосходили человека.

Автоматическая площадка опрокидывалась над пастью мельницы.

Куски днепровского гранита, каждый объемом с добрую четверть средней московской комнаты, нехотя ползли вниз, задерживались на краю, содрогались и, неуклюже переворачиваясь дикими своими гранями, вдруг ссыпались, как рафинад из кулька в сахарницу, в разинутую зубастую пасть прожорливой машины. Она медленно поглощала их, в строгом порядке хватая стальными челюстями, и со скрежетом размалывала.

Только каменная мука подымалась над кратером, заставляя чихать.

Равнодушный малый с засученными рукавами и в фартуке меланхолично кропил из шланга каменную мешанину, из которой редким золотым дождем сыпались искры, как с точильного камня.

Кроме этого меланхолического малого со шлангом и часового в дверях, никого больше не было видно вокруг. Гудели динамо, вырабатывая ток высокого напряжения.

Выйдя из камнедробилки, мы увидели с другой ее стороны три окошечка, из которых по желобам сыпался размолотый гранит трех сортов в площадки, равнодушно ожидающие своей очереди.

Карабкаясь по валким лестничкам и трапам, ежеминутно наклоняя голову и увертываясь от пролетающих внизу железных ящиков с бетоном, мы наконец взобрались на самую высшую точку строящейся плотины, примерно на середину Днепра.

Отсюда Днепр, весь обложенный решетчатыми деревянными рамами, напоминал древнюю Трою, осажденную современным человеком. Железные катапульты паровых кранов размахивали перед ней болтающимися на цепях тоннами камня и бетона.

Я увидел площадку, груженную этими гранитными снарядами. Каждая глыба весила несколько тонн. В гранит было вделано железное ушко. Поднятая за ушко краном, скала болталась над нами в небе, как сережка.

Глядя сверху вниз, мы испытывали головокружение. По обнаженному каменному дну Днепра ходили люди. Каждый сверху казался не больше обойного гвоздика.

Сочетание чудовищных архитектурных масштабов с человеческим ростом вызывало в воображении Гулливера, связанного лилипутами. Скрученный по рукам и ногам, с серыми волосами, привязанными к кольям, обставленный лестничками, по которым бегали крошечные победители, Днепр корчился, как Гулливер, тяжело дыша и бесплодно напрягая мускулы.

Архитектурные масштабы были так грандиозны, что те две с половиной тысячи рабочих, которые в данный момент работали на плотине, производили впечатление двух или трех десятков. Вообще людей почти нигде не было видно. Все строительство было механизировано.

Мы перешли с правого берега на левый. Взятый за горло человеком, Днепр бушевал и рвался через семь пролетов законченной части плотины. Он бурлил, плевался, протестовал, но ничего не помогало.

Никто на него не обращал внимания. Старик рыбак закидывал в мутную кипень свой бредень, и босой милиционер с фуражкой на

затылке равнодушно шел через понтонный мост, неся на бечевке вязку красноперых лещей.

На левом берегу в скалах вырубали прямолинейный коридор шлюза. Гремели пневматические сверла, работающие сжатым воздухом.

Рабочий в парусине и очках, как зубной врач, стоял, напирая на рукоятку инструмента, похожего на стержень бормашины. Инструмент дрожал и подскакивал, сверля, как зуб, гремучий гранит породы. В высверленное дупло заложат патрон, прозвенит сигнальный колокол, люди шарахнутся в сторону, и циклопический осколок отскочит от массива.

Вечером мы снова поехали из Запорожья на Днепрострой. Автомобиль промчался по бывшей Соборной, ныне улице Энгельса, той самой, по которой некогда метался я в пыльном дивизионном экипаже, ища снаряжения для батареи. На улице было полно гуляющего народа. В будках горели разноцветные сиропы. Все это напоминало южный итальянский городок.

Мы вырвались на шоссе. Я узнал беленький домик школы, где стояла батарея. Деревья вокруг него сильно разрослись и возмужали. Очень чистая заря лежала перед нами розовой полосой. Светлые электрические созвездия висели в заре, множась и ярчая по мере нашего приближения. Вскоре весь горизонт сверкал электричеством, как бледная золотая россыпь. Мы въехали на мост.

– Вы едете на два метра под водой, – с улыбкой заметил инженер.

– Как это?

– Очень просто. Когда мы выстроим и закроем плотину, уровень Днепра подыметя до этих пор.

– Это чудовищно... Невероятно! Мистика какая-то!

Проезжая по Кичкасу, мы видели каменные домики, освещенные парикмахерские, кооперативы. На автобусной остановке сидел на лавочке народ. Баба торговала кабачковыми семечками и леденцами. Все было тихо и мирно.

– Здесь вы тоже едете под водой, – с упрямой улыбкой заметил инженер. – Торопитесь рассматривать Кичкас: через год здесь будет дно.

– Как! А дома? А деревья?

– Дома куплены на снос, – это Днепрострою обошлось в семь миллионов, – а деревья мы выкопаем и пересадим повыше.

– Чудовищно!. Невероятно! Мистика!

– Но факт!

Заря погасла. Днепрострой сверкал горами звезд, сведенных революцией с неба на землю.

1930

Ритмы строящегося социализма

(Из записной книжки)

...Ночь была необычайно черна. Мир вокруг меня казался сделанным из одного куска угля. Огни Сталинградского тракторного возникли сразу. Насквозь высверленные в непроницаемой среде земли и воздуха, они блистали точками ювелирной иллюминации.

Корпуса рабочего поселка энергично графили ночь арифметической сеткой белых окон.

Деревянная триумфальная арка, под которой нынешним летом прошел первый трактор, выпущенный заводом, казалась нарисованной мелом.

Фосфорический чертеж заводоуправления, сияющий витринами аквариума, проплыл мимо великолепным своим фасадом.

Ворота отворились.

И тут начались цехи. Длинные, низкие и легкие, они поражали зрение необычайной гармонией пропорций. Два враждебных друг другу материала – стекло и железо, примиренные формулой целесообразности, создали в своем сочетании мужественную и вместе с тем изящную конструкцию, образец современной заводской архитектуры.

Инструментальный, ремонтно-механический, механическо-сборочный, кузнечный, литейный, термический – все эти цехи, полные электрического света, стояли, умно и расчетливо распланированные, друг подле друга, соединенные бетонными дорожками и разделенные клумбами.

Придет время, когда плющ и дикий виноград обовьют цехи, тогда зеленое солнце будет наполнять их гигантскую кубатуру веселым лесным светом. Работать будет приятно, как в роще.

– Берегись!

Мы едва успели отскочить к стене. Мимо нас мягко проехала автоматическая тележка. Штук десять листовой стали, подцепленные к ней сзади, прогромыхали по бетону. На площадке тележки стояла девушка в красном платке. Улыбаясь сплошными, молодыми зубами, она правила своим автокаром, едва прикасаясь пальцами к рычагам управления. На ней были аккуратное шерстяное платье, туфли и белые носки с голубенькой каемкой.

Я улыбнулся. Это было так не похоже на то, что я видел часа два тому назад, сидя на лавочке на приволжском бульваре.

Я не слишком люблю так называемую «красоту русской природы». Волга не вызывает во мне никаких особых восторгов. Большая, плоская и в достаточной мере скучная река. Уже на пристани и на плотках зажигали огни. Четко тараторила моторка. Внизу были видны крыши и ворота пароходства. Вдруг раздалось хоровое пение. Скорее даже не пение, а нечто смутно напоминающее пение. Какой-то уныло-залихватский речитатив, удивительно однообразный и бедный мелодией. Такой мотив мог создать, например, малоталантливый киргиз на третий или четвертый день вынужденного путешествия верхом по абсолютно голой степи. Высокие тенора пели в унисон:

Эх, та-та!

Ох, ти-ти!

Ух, та-та!

Их, ти-ти!

Я посмотрел вниз. Однако внизу было пусто. Только на пристани виднелись фигуры пассажиров.

Я так и решил, что это развлекались в ожидании теплохода советские служащие, проводящие свой очередной отпуск в путешествии вниз по матушке по Волге. Однако песня становилась

все громче и громче. Через двадцать минут в открытых воротах товарной пристани появилась одна ситцевая спина, за ней другая, потом третья – спин двадцать пять или тридцать. Это были грузчики. Они тащили на цепи средней величины кусок листового железа. Таща его, они подбадривали себя ритмическими восклицаниями: «Эх, та-та, ох, ти-ти, ух, та-та, их, ти-ти...» Прямо картина Репина «Бурлаки», да и только! Вытащив на мостовую свой груз, «бурлаки» сбросили с плеч лямку, постояли минут двадцать, поплевали в ладони и принялись вновь тащить свой кусок железа, издавая уныло-ритмичные вопли.

Таким образом, на протяжении каких-нибудь трех часов я стал зрителем двух картин человеческого труда. Я прикоснулся к цепи, один конец которой уходит далеко вниз, в темное и страшное прошлое, а другой ведет в будущее, в то будущее, где цехи будут строиться в рощах и веселая комсомолка одним движением руки будет передвигать с места на место дома.

Я понял, как трудно будет нам преодолеть старые, рабские ритмы работы и как радостно и плодотворно будет это преодоление.

Мы бегло осмотрели цехи.

В литейном видели автоматическую формовку. Чистеньким формовочным станком управляла чистенькая, худенькая девушка. Ее движения были точны, целесообразны, ритмичны. Даже голубой формовочный песок в идеально чистом ящике никак не напоминал грязного, вонючего песка кустарной формовки. Машина облагородила труд, дала ему ясность, чистоту, быстроту, освободила человека от изнурительного напряжения, заставила человека подтянуться, выпрямиться, научила управлять, а не быть управляемым работой.

То же и в прочих цехах. Сталинградский тракторный полностью механизирован. Производство идет потоком.

В механическо-сборочном цехе стоит около тысячи новеньких станков, все – последнее слово техники. Сборка трактора происходит на движущейся ленте конвейера. Конвейер движется беспрерывно. Его беспрерывное движение организует стоящего у конвейера человека. Перебоев в производстве не может быть. Промедление одного влечет за собой промедление остальных. Конвейер наглядно показал непреложность того, что один за всех и все за одного. Быстрота и ритм конвейера сборочно-механического цеха определяют ритм и

быстроту конвейера в литейном. Быстрота и ритм литейного требуют соответствующей быстроты и ритма подвозки и добычи угля. Ритм Сталинградского тракторного выходит за пределы одного города и начинает влиять на темпы всей связанной с ним промышленности.

Еще десять – пятнадцать таких заводов, еще десять – пятнадцать таких неуклонно движущихся кругов – и весь наш Союз начнет жить в новом, неудержимом, прогрессивно возрастающем темпе.

1931

Экспресс

По длинному коридору спального вагона идет молодой человек в темно-синем комбинезоне. Он идет против движения экспресса. Его сильно мотает. В подошвы бьет линолеум. Молодого человека подбрасывает. Он хватается за окна, за двери. Он улыбается. У него широкое, простое лицо. Вокруг шеи обмотано розовое мохнатое полотенце. Он идет умываться.

Это – герой.

Навстречу ему несется взволнованный мир облаков и деревьев.

На крышах полустанков сидят ребяташки. Они машут руками. Под деревьями, по колено в некошенной траве, полной лютиков и незабудок, стоят в развевающихся юбках девушки. Они бросают в окна поезда охапки цветов. Движение экспресса срывает их и уносит из глаз.

Под железнодорожным мостом остановился трамвай. Он пуст. Пассажиры стоят наверху и смотрят в окна поезда. Фотолюбитель наводит свой дешевый аппарат.

Волнистая линия красноармейских голов подымается и опускается на протяжении трех минут, то есть в течение трех километров.

Длинное «ура» тянется во всю длину экспресса.

Внезапно в окно вагона с силой бьет такт оркестра, вырванный из марша наподобие ромашки, вырванной из огромного букета полевых цветов, качающегося на столике тесного купе.

Едут в ночи.

Ночью на станциях, при свете факелов, к поезду выходят толпы людей. Они несут цветы, торты, молоко, мед, модели машин...

Днем на станциях, при свете солнца, к поезду выходят толпы людей. Они несут цветы, хлеб, сало, рыбу, лозунги, сделанные на листах фанеры хитрой мозаикой огурцов и редиски, чудовищные коллекции минералов.

Все, чем богаты области Советского Союза от Владивостока до Москвы, все, чем могут гордиться рабочие, колхозники и пионеры, красноармейцы, поэты, артисты, железнодорожники, охотники, кустари, – всем этим переполнен легендарный экспресс челюскинцев. В вагон-ресторане на столах качаются шоколадные пароходы, жареные свиньи на противнях, крынки меда, горы калачей, конфет. В ведрах бьется живая стерлядь Оби – подарок новосибирцев.

В коридоре международного на полу стоит модель гигантского строгального станка Уралмаша – гордость его механического цеха.

На столике кипа местных газет, и в них стихи, стихи, стихи – огромный дар провинциальных поэтов. Под потолком качается модель самолета. В тамбур втаскивают ящики яблок. Бойкая частушка бродячих актеров, сунувших задорные лица в прорезь лубка, изображающего летящий аэроплан, несется вдогонку экспрессу с крыши станции.

Роскошная корзина алых и белых пионов, корзина, которой позавидовала бы оперная певица, качается на скамеечке против купе героев.

Маленькая, аккуратная книжечка – расписание следования челюскинского экспресса в пределах Пермской дороги.

Виражи, бредущие полеты и мертвые петли, школа высшего пилотажа, – дар летчиков, сопровождающих своих кровных братьев по родине и ремеслу.

...Крошечная девочка в зеленой фуфаечке, которую осторожно держит в толстых руках большой, добродушный, простоволосый человек перед десятком кино- и фотоаппаратов на ступеньках вагона.

Это легендарная девятимесячная девочка Карина, родившаяся на борту «Челюскина», в Карском море, жившая в мешке на дрейфующей льдине и вывезенная с этой льдины на самолете героя.

Ребенок, которому принадлежит будущее, – весь этот прекрасный, замечательный, неопиcуемый мир.

...Первые эскадрильи, высланные навстречу героям их матерью – Москвой.

И, наконец, Москва!

1934

В зеркале Мавзолея

На Мавзолее написано: «Ленин».

Мир отражается в зеркале Мавзолея.

Ежегодно в ноябре холодным и туманным утром на белокаменных трибунах Красной площади сходятся люди.

Черные лабрадоровые и розовые гранитные плиты безукоризненно отшлифованной облицовки отражают великолепную художественную картину встречи друзей, старых боевых товарищей, братьев...

Высокая честь – быть в этот день отраженным в ступенчатых стенах Мавзолея.

Товарищи узнают друг друга в толпе и обмениваются короткими рукопожатиями. Живые приветствуют живых.

Мертвые замурованы в белую Кремлевскую стену или лежат тут же, в могилах. Они молчат, но их имена говорят на каменном языке славы.

«Фрунзе, Дзержинский...»

Это не имена мертвых. Это лозунги вечно живого, бессмертного дела.

Золотая стрелка часов на Спасской башне подходит к десяти.

Войска неподвижны.

Штатский человек с узенькой седой бородой, в шляпе, с палочкой идет к Мавзолею.

Это всесоюзный староста Калинин.

Он отражается в Мавзолее.

Боевые товарищи приветствуют своих вождей. Калинин приподымает шляпу.

Площадь, приготовленная для парада, неподвижна, как гравюра, вырезанная твердой и точной рукой на пластинке стали.

Куранты бьют десять.

Светло-шоколадная, золотистая лошадь с белыми ногами и белым лбом выносит из Спасских ворот Ворошилова. Цокают копыта.

Командующий парадом выдергивает из ножен шашку.

Зеркальная дуга салюта замирает на аршин от земли.

Ворошилов скачет по фронту.

В этот час вокруг Красной площади замирает Москва. Белые и черные лошади конницы грызут мундштуки на площади Революции.

Вдоль улицы Горького в четыре ряда стоят танки.

В витринах магазинов замерли архитектурные проекты будущих дворцов, набережных, скверов, эспланад.

Тысячеоконные корпуса будущих легких, воздушных зданий отражаются в асфальтах непомерного блеска и ширины.

Синеватые облака плывут по античным статуям верхних галерей.

Это – будущее Москвы. Но не то отдаленное будущее, которое мы предчувствовали в первые годы Октября, а близкое, реальное будущее, которое уже можно трогать руками.

Будущее, которое уже в значительной степени вокруг Красной площади стало настоящим.

Охотный ряд превращен в широкую аллею между двумя громаднейшими зданиями. Громадная площадь на Моховой залита асфальтом. И далеко-далеко открыта жемчужно-голубая перспектива с видом на Манеж, на Кремль, на Александровский сад.

То уже кусок будущей Москвы – Москвы зеленой, просторной, элегантной, красивой.

Мы умеем создавать новое, прекрасное, монументальное.

Темный, путаный, тесный мир старой Москвы раскрывается вокруг Красной площади миром светлым, чистым, красивым, нарядным.

Мы создаем свои Булонские леса и Елисейские поля.

Гремят оркестры.

Мелькают, отражаясь в Мавзолее, пехота, артиллерия, кавалерия, самокатчики, танки, грузовики...

Покрывают небо тройка, пятерка, девятка эскадрилий военной авиации.

Пронесятся бреющим полетом истребители.
Они круто взмывают вверх. Они отвесно ползут по воздуху.
Это высшая школа пилотажа.

Идут районы.
Плывут воздушные шары, портреты, флажки.
Колонна семнадцатилетних юношей и девушек гордо несет плакат: «Нам семнадцать лет».
Это ровесники Октября, ровесники века социализма.

Появляется громадный самолет «Максим Горький».
С него гремит «Интернационал». Самолет плывет над площадью, как гигантский музыкальный ящик.

Отцы держат на руках детей.
Маленькая девочка сидит на цоколе трибуны. В одной руке у нее красный флажок, в другой – надкушенное антоновское яблоко. Сизые щечки замурзаны, и глазенки широко смотрят вокруг на весь этот радостный, гремящий, четкий и грозный мир Октябрьского парада.

Девочка отражается в зеркале Мавзолея.

1934

Пролетарский полководец

Передо мной на столе стоит медная гильза трехлинейного винтовочного патрона. Недавно ее нашли в лимане, на месте знаменитых перекопских боев. Пятнадцать лет пролежала она в крепком рассоле Сиваша.

Я беру в руку перекопскую гильзу. Она окислилась, позеленела. Пятнадцать лет назад она была наполнена порохом. Сейчас она набита солью. Она тяжела и устойчива. Бирюзовая накипь времени каменными слоями покрывает ее некогда блестящую поверхность.

Как она волнует, эта небольшая вещица, почти камень!

Я вижу мелкую сине-зеленую воду Сиваша. Я слышу каменное слово – Перекоп. История вставила в свою обойму самые мужественные слова нашей неповторимой эпохи: Октябрь, большевик, Коминтерн, Кремль, «Аврора».

Перекоп принадлежит к числу этих слов.

Сказав «Перекоп», нельзя не сказать «Фрунзе».

С 7 на 8 ноября 1920 года командующий Южным фронтом М. В. Фрунзе провел в районе расположения Шестой армии, в бывшем имении Фальц-Фейна «Аскания-Нова». 5-го числа он отдал приказ по войскам Южного фронта ворваться в Крым и энергичным наступлением на юг овладеть всем полуостровом, уничтожив последнее убежище контрреволюции.

Утром 8 ноября Михаил Васильевич ждал командарма Шестой с докладом о положении дел на линии. Он встал рано и умылся ледяной водой.

Он несколько раз выходил на крыльцо, прислушиваясь, не слышать ли канонады. Но вокруг все было тихо.

В жизни каждого человека бывают особенно значительные дни, полные ожидания и скрытого волнения, дни, когда с раннего утра все душевные силы собраны, уравновешены, как бы приготовлены для принятия важных событий, меняющих всю жизнь.

Именно таким днем был для Фрунзе день 8 ноября 1920 года.

Резервы подтянуты. Дивизии на линии. Приказ отдан.

Фрунзе подошел к окну. Термометр показывал десять градусов ниже нуля. Голые акации сада стояли, как нарисованные углем на серой бумаге озябшего до синевы утреннего неба. Телефонисты вели через сад провод.

Ровно в десять, с пунктуальной точностью офицера генерального штаба, приехал командарм-6. В сопровождении двух порученцев, в ладно пригнанной походной офицерской шинели, блестя ясными стеклами пенсне, неторопливым шагом он прошел под окном и вошел в сени. Фрунзе выпрямился и через левое плечо ловко повернулся к двери. В дверях навтыжку стоял Корк. Фрунзе не терпелось.

– Здравствуйте, Август Иванович, с добрым утром, пожалуйста.

Они крепко пожали друг другу руки. От Корка вкусно пахло солдатским сукном, ноябрьским крепким морозцем и скрипучей кожей амуниции.

– Товарищ командующий фронтом, – сказал Корк, сосредоточенно сдвигая свои колосистые пшеничные брови и взвешивая каждое слово, – выполнение поставленной вами задачи протекает успешно.

– Отлично, – сказал Фрунзе и подошел к столу, где были разложены карты и карандаши.

– Ударная группа Шестой армии в составе Пятнадцатой и Пятьдесят второй стрелковых дивизий ночью овладела Литовским полуостровом и развивает свой удар в юго-западном направлении, в тыл перекопско-армянской группе врангелевцев. Пятьдесят шестая дивизия ведет артиллерийскую подготовку для атаки Турецкого вала.

– Почему же не слышно пушек?

Корк напряженно порозовел.

– Сегодня утром, до девяти часов, в районе боевых действий Пятьдесят первой дивизии имелся густой туман, поэтому Пятьдесят первая дивизия запоздала с началом артиллерийской подготовки на два часа, то есть артподготовка началась вместо восьми в десять...

Фрунзе остановил Корка жестом. Он прислушался. В стекла мягко ударил очень отдаленный орудийный выстрел. Через минуту еще.

– Очень хорошо, – с удовлетворением заметил Михаил Васильевич и прошелся по комнате. – Сейчас мы позавтракаем как следует, а потом уже... – Он потер руки, которые все еще не согрелись после умывания.

Они плотно позавтракали. Фальц-фейновский повар зажарил прекрасную курицу и соорудил замечательную глазунью. Чай пили крепкий, душистый. Предлагая гостю стакан, Фрунзе погладил себя по высоким каштановым, студенческим волосам, потрогал усы и бородку, и вдруг в его глазах блеснули веселые точки.

– Кстати, о чае, – сказал он, заливаясь добродушным хохотком. – Никак не могу забыть. Курьезнейший случай. Еще в девятнадцатом году. В Самаре. Сиротинский рассказывал. Насчет какао. У меня там в штабе Четвертой армии один старый генерал работал. Не буду называть фамилию. И вот, знаете ли, какой у него разговор с Сиротинским произошел. Угощает этот самый генерал Сиротинского какао и показывает банку: «Это, говорит, какао Эйнем, я его еще в пятнадцатом году купил в лавке Гвардейского экономического общества. Осталось всего полкоробки. Вот допью это самое какао, и уж больше никогда в жизни его пить не придется». – «Почему это?» – «А как же? – говорит. – Ведь у большевиков-то какао никогда не будет. Откуда же большевики, вы то есть, какао достанете? Нет уж, я на

какао больше не надеюсь». – «Позвольте, – говорит мой Сиротинский, – почему же это у нас какао не будет? Откуда вы взяли? Обязательно будет. Вот увидите. Дайте только нам социализм построить». – «Разве что при социализме, – говорит наш генерал сумрачно. – И то, наверное, по кружке на человека!» Понимаете? Оказывается, какао у нас не будет!

Фрунзе весело засмеялся, откинулся на спинку стула и вдруг помрачнел.

– Этот же почтенный генерал как-то поведал мне свои сомнения. «Вы, большевики, говорит, вряд ли победите». – «Почему же?» – «Родины у вас нету. Не за что бороться. Те хоть за родину сражаются. А вы за что?»

Фрунзе задумался. Думал долго. И потом глаза его стали медленно-медленно наливаться ясным, совсем детским светом.

– Это у нас-то, у большевиков, нету родины? – негромко сказал он голосом, полным нежного и глубокого чувства. – Ну-с, а теперь... Сколько времени будет продолжаться артиллерийская подготовка?

– Четыре часа.

– В таком случае пока что пойдемте зверей посмотрим.

Они вышли. В ясном, звонком воздухе слышались далекие орудийные выстрелы, словно где-то катали белье. Они обошли почти все имение, наслаждаясь своеобразной прелестью этих таврических прерий. Мелкие коричневые листья акаций усыпали черную, чугунную землю. Лед на лужах ломался под каблуком, как оконное стекло.

Протопал копытцами табунок маленьких злых лошадок Пржевальского с оскаленными зубками и гривами, длинными, как женские волосы.

Проковылял на длинных, голенастых ногах обшарпанный, грязный страус, не зная, куда деваться от холода.

Зебра стояла, храня на своем белом туловище тень забора, бог знает в какие незапамятные времена упавшую на ее прародителей.

Высокомерный верблюд трещал сучьями, ломая заросли сухой акации и трогая жесткими зубами ее стручки.

Над походной кухней какого-то штаба поднимался дымок. Ветер вынимал его из трубы, как ватку, и сносил в сторону. Фрунзе остановился и долго смотрел, следя за его направлением.

– Ветер с запада, – наконец сказал он. – Очень хорошо. Везет.

Действительно, западный ветер был как нельзя более кстати. Он угонял массы воды на восток, благодаря чему в ряде мест через Сиваш образовались броды. Этими бродами и прошли на Литовский полуостров Пятнадцатая и Пятьдесят вторая дивизии. При перемене ветра вода могла подняться и отрезать дивизии, что было чрезвычайно опасно. Но ветер не менялся.

Фрунзе посмотрел на часы. Три. Пора ехать.

– К Блюхеру, – сказал он решительно.

Товарищи, работавшие с Фрунзе в подполье, хорошо знали решительный, даже азартный характер Михаила Васильевича. Он никогда не останавливался ни перед чем для достижения намеченной цели.

Был, например, такой случай.

Город Шуя. Выборы во II Государственную думу. Партийная типография провалена. Организация не имеет возможности выпустить прокламацию с призывом голосовать за большевиков. И вот Михаил Васильевич предлагает захватить силами дружины, которой он руководил, типографию некоего Лимонова и там отпечатать, что нужно. Предложение принято. Михаил Васильевич с большим увлечением и ловкостью провел это дело. Типографию захватили среди бела дня. Техника простая.

– Руки вверх!

И затем, после краткого объяснения, заставили набирать листовку.

Через некоторое время, ничего не подозревая, приезжает в типографию сам Лимонов, хозяин.

– Здравствуйте, Лимонов. Садитесь. Вот вам стул. Только без шума.

Наборщики набирают. А хозяин сидит как приклеенный. Боится пошевелиться. Проходит час, другой. Лимонов приехал на извозчике. Не успел расплатиться. Извозчик ждал, ждал, да и пришел в типографию за деньгами.

– Здравствуйте. Стоп. Возьмите стул.

Сидит извозчик час, сидит другой. А тем временем у извозчика ушла лошадь. Лошадь поймал городской. Побежал городской в типографию за извозчиком накустылять шею.

– А! Господин городской! Здравствуйте. Возьмите стул. И позвольте вашу шашку и револьвер.

Шашку о колено – пополам, а револьвер пригодится для организации.

– И будьте любезны, сидите тихо!

На другой день город был засыпан прокламациями, и в думу прошел большевик.

Такова была мертвая хватка Михаила Васильевича, человека железной, большевистской, ленинской школы.

Смеркалось. Над Перекопским заливом вставал непроницаемый морозный туман. Туман надвигался фронтом, заходил с флангов, охватывал кольцом. В трех шагах ничего не было видно. Чем ближе к позициям, тем слышнее раздавалось упругое бумканье орудий и дробные кричающие разрывы.

Впереди и вправо в тумане блестели огневые вспышки орудийных залпов. Полузадушенные туманом, ходили зеркальные полосы врангелевских прожекторов, стараясь нащупать и открыть движение наших частей.

Я держу в руках перекопскую гильзу. Она покрыта слоистым, морозным туманом времени.

В тумане горит, бушует водянистый огонь – это врангелевские снаряды зажгли скирды соломы у ближнего хутора. Пожар делает туман розовым, прозрачным. Розовый отблеск играет на высокой барашковой шапке Михаила Васильевича Фрунзе. Врангелевские гранаты рвутся на дороге.

Тени красноармейцев, которые в тумане кажутся тенями великанов, идут, идут, идут мимо своего друга, товарища, командира, большевика Фрунзе...

1935

Заметка

– До вас можно?

– Милости просим, милости просим!

И в переднюю входит маленькая женщина в новом манто с высоким котиковым воротником. Ее голова по-бабьи, до бровей, закутана в шелковый вязаный платок. Она порывисто снимает манто. Глядя исподлобья в зеркало, она обеими руками поправляет узел на подбородке, раскладывает по плечам длинную и нарядную бахрому платка и одергивает малиновый вязаный джемпер. Он новенький, блестящий, еще не обносился. Затем она переходит в столовую, сразу же садится глубоко в угол дивана и, упрямо сжав небольшой крестьянский рот с жесткими, обветренными губами, долго сидит, не говоря ни слова, уставясь прямо перед собой в одну точку. Нежная краска глубокого внутреннего возбуждения лежит на ее небольшом, собранном лице с широким, круглым лбом. Видно, что она прилагает страшные усилия, чтобы скрыть возбуждение. Она сердится на себя за это возбуждение. Но ничего не может поделать.

Так в комнату внезапно входит Слава.

Чудесна судьба киевской крестьянки, комсомолки Марии Демченко.

Она сделала, по существу, очень простую и вместе с тем великую в этой простоте вещь: дала и сдержала свое ленинское, комсомольское слово.

Сейчас ее история известна всем.

В качестве одной из лучших ударниц района Мария Демченко была послана на II Всесоюзный съезд колхозников-ударников. Она приехала на съезд с цифрой 460.

Четыреста шестьдесят центнеров сахарной свеклы с гектара. Принимая во внимание, что в то время по Союзу в среднем с гектара собирали не свыше ста центнеров, показатель Марии Демченко был очень велик. Но до приезда на съезд она даже не подозревала, что поставила всесоюзный рекорд. Она думала, что держит лишь первенство района. Оказалось, что в ее руках первенство Союза. Ее выбрали в президиум.

– Сколько вы намерены дать свеклы в следующем году? – спросили ее.

Мария Демченко смущенно замаялась.

– Пятьсот дадите?

Она ответила не сразу. Минут пять она размышляла, прикидывая в уме, выйдет или не выйдет. Наконец она решилась.

– Дам пятьсот, – сказала она сосредоточенно.

Она возвратилась со съезда в свой колхоз, принялась за дело и к следующей осени дала с гектара 523 центнера 70 килограммов отличнейшей свеклы. Вот и все.

Просто?

На первый взгляд – проще простого.

Но так ли все просто и легко было на самом деле?

Свекла вошла хорошо. Чудесные зеленые листочки блестели на ясном майском солнце. И вдруг – бац! – заморозки. Никогда их не бывает в это время года на Украине. А тут – как нарочно.

– И главное, представьте себе, еще мой участок оказался такой самый неудачный во всем колхозе, – бегло блеснув исподлобья глазами, зачастила Мария Демченко своим бойким, но мягким киевским говорком. – Он у нас так и называется «на гадючках». Такая низина. Там, наверное, колысь гадюки водились. И сейчас же, рядом, довольно высокий откос, а на откосе сосновый лес. Ну, вы знаете, по-пид лесом обыкновенно самый мороз, самое замерзает. Прямо-таки как нарочно. Ни у кого вокруг буряки не замерзают, а у меня мерзнут и мерзнут. Мы все, знаете, прямо-таки чуть с ума не сошли. Мы – это я и еще трое дивчат. Мое звено. Мерзнут буряки и мерзнут. Ну что ты скажешь!

Мария Демченко гневно покраснела при одном воспоминании об этом небывалом майском морозе, злобно сорвала с головы платок и стала им обмахиваться. Ее глаза заблестели.

– Вы знаете, я просто-таки не знала, что делать! Дала слово партии – и вдруг такой скандал! Ну, скажите мне за-ради бога, могла я, когда давала это слово, ожидать такого сказанного мороза? Вы знаете, я чуть было от сраму не утопилась в речке. Ну, все-таки в конце концов решила: будь что будет, как-нибудь надо спасать бурячки. Я даже не знаю, как мне это в голову пришло – спасать бурячки дымом! Мы с дивчатами стали вокруг плантации солому палить. День и ночь жгли. На шаг от буряков не отходили.

– Ну и что же, спасли?

– Сорок процентов пропало. Шестьдесят уцелело. Я эти сорок процентов потом досеяла. Ну, главное, у меня такое несчастье – мороз буряки побил, урожай гибнет, а уже вокруг этого дела всякие злыдни, недобитые кулаки, начинают по базарам свою агитацию разводить. У

нас в колхозе есть еще одна Демченко, только не Мария, а Федора. Моя однофамилица. Тоже звеньевая. Ее плантацию мороз совершенно не тронул. Вообще ни одна плантация, кроме моей, от мороза не пострадала. Так вы можете себе представить, какие гадости стали по базарам распускать? Будто бы уже все равно, поскольку у нас одинаковые фамилии, колхоз решил меня на ее плантацию передвинуть, а ее на мою, чтобы скандал замазать. Ну, не плюнуть в глаза таким гадам? Но я, знаете, хоть в душе у меня кипело, только нервно посмеивалась и сказала той Федоре Демченко, моей однофамилице:

«Эх ты, дурочка, – сказала я, – что ты веришь этим гадам? Я все равно из своей померзшей плантации пятьсот центнеров выжму, а ты из своей, которая не померзла, ровно ничего не сделаешь, если не будешь добиваться».

Так и вышло, как я сказала.

Мария Демченко оборвала свой рассказ, вскочила и прошлась по комнате, с хрустом кусая яблоко.

Мы вышли на балкон. Отсюда открывался чудесный вид на Кремль. Мария Демченко с жадным любопытством рассматривала новые звезды, горящие золотым пламенем на старых кремлевских башнях, прозрачные флаги над ЦИК, громадное, многоэтажное здание Совнаркома, кирпичную куполообразную крышу сцены Художественного театра.

Свежий ветер трепал ее по-мальчишески стриженные волосы, вырывал из-под гребенки. Из-под джемпера выплядывал белоснежный воротничок мужской рубашки с новеньким галстуком. Среди зеленых ящичков балкона, в которых доцветали астры и качались под тяжестью матовых капель росы круглые листья настурций, она долго стояла, ярко освещенная холодным ноябрьским солнцем, и все не могла налюбоваться на Москву.

Во время оживленного разговора на посторонние темы она вдруг вспомнила опять свои бурячки:

– Ну, вы знаете, до чего ж мне не везло в этом году, трудно себе представить! Все лето пололи, мотыжили, шаровали... шаровали, пололи, мотыжили... ну, ни одной травинки посторонней не допускали на плантации. А тут, как назло, начали ко мне ездить со всего Союза люди. Каждый день по пять, по шесть человек приезжают.

Корреспонденты, фотографы, писатели, художники, инструктора из района, из области, из центра... Мне работать надо, а они за мной ходят, и ходят, и ходят. А ну их всех! Совсем заморочили голову. Пристают и пристают: «Смотри же, Мария, не подкачай! Смотри же, Мария, сдержи слово!» Тот снимает меня аппаратом, тот рисует с меня портрет, тот с меня роман пишет. И ходят за мной, и ходят... Я думала, что они мне все буряки потопчут. Я даже такую надпись на плантации у себя поставила: «Строго воспрещается ходить по бурякам посторонним лицам». А одна какая-то приехала с целой экскурсией. Пришла прямо на плантацию – и сразу самый большой буряк цап – и вытащила. Ну, знаете, тут я уже не выдержала. Я на нее накричала как следует. А она мне говорит: я, говорит, такая, я, говорит, сякая, я, говорит, этот буряк вытащила с научной целью. А я ей говорю: «Гражданка, это вы бросьте! Кто бы вы ни были, хоть сам Калинин, вы не имеете права мои буряки цапать. Вы за свое дело отвечаете, а я за свои буряки буду отвечать перед партией. Извините!» Присылали мне разные глупые письма, сватались даже, руку и сердце предлагали. А какая-то одна дура Евангелие прислала с подчеркнутыми местами. Это значит – вроде как тебя бог за это все покарает! Да, одним словом, была жара порядочная. В августе опять новое дело – засуха. Как нарочно. Ну ни одного дождя! А без дождя все пропадет. Ну, вы знаете, хоть бы для смеху был дождь... Вижу – опять пропадает моя плантация. Я дала слово перед всей страной, а природа, как нарочно, поперек меня становится: то мороз, то солнце! Тьфу! Пришлось поливать. А до речки километра два. Ну, тут я мобилизовала чисто все на свете – и бочки, и ведра, и макитры.

Надо правду сказать: моя подружка и соперница Мария Гнатенко дюже нам подсобила. Она со своим звеном поливала и мою плантацию. Ну, конечно, не даром. У нас с ней был полный хозрасчет: «так на так». Я, со своей стороны, сильно помогала ей бороться на ее участке с мотыльком. У меня есть свой способ – ночью палить костры. Мотылек идет на огонь, ну и, конечно, сгорает. Через этот способ сколько неприятностей было, вы себе представить не можете! Говорили: «Ты только всех мотыльков временно отпугнешь, все равно они в огонь не пойдут, а потом обратно налетят, а буряки можешь спалить». Но я была настойчивая. Развела костры и спалила всех мотыльков, а буряки совершенно не пострадали.

– Почему же вы решили жечь мотыльков на кострах?

– Та як же... Колысь я ехала ночью на райкомовском «фордике» и заметила, что мотыльки цельной тучей летят на фонари, ну, я тут сейчас же и сообразила это использовать...

По этому поводу я вспомнил, как на Магнитке в 1931 году изощрялись ребята-бетонщики в изобретении всяких новшеств, облегчавших и ускорявших процесс кладки.

Услышав слово «Магнитка», Мария Демченко вдруг светло и взволнованно улыбнулась.

– Так вы ж разве были на Магнитке?

– Был.

– В каком году?

– В тридцать первом.

– Так я ж тогда там была! Бетонщицей работала!

– На каком участке?

– На шестом.

– И я на шестом сидел.

– Что вы скажете!

Знаменитый шестой участок. Знаменитое состязание с Харьковом. Так вот оно что! Вот откуда у Марии Демченко эта изобретательность, этот наблюдательный, хозяйственный глаз, эта трудовая дисциплина!

Она прошла хорошую пролетарскую, комсомольскую школу, эта упорная, настойчивая, целеустремленная украинская девушка!

Она заканчивает свой рассказ:

– Ну, когда началась копка, никто, конечно, почти не спал. Семнадцать дней безвыходно жили в лагере. Копали ночью, при кострах. Ложились в три часа ночи, вставали чуть свет. Мама носила мне лепешки. Я, знаете, очень люблю наши лепешки, на сале. В пять часов вечера выкопали последний буряк. А уж вокруг, вы себе не представляете, что делается! Со всех сторон идут, едут, бегут. Прямо толпы народа! Две киноэкспедиции аппараты крутят. В восемь часов последняя пятитонка с моими буряками уехала на сахарный завод. Мы все ждем. Там, на заводе, важат мои буряки. И еще неизвестно, сколько их там наважат. Дотянут до пятисот или же не дотянут? Представьте, как я нервничаю! И вот через час вдруг звонят с завода: уже есть пятьсот, а то, что еще осталось, подсчитывают. А в это время

откуда ни возьмись прямо в таборе появились столы, лампы, вино, пиво, жареные куры, сало, лепешки, свинина – все на свете и топор, прямо-таки пир горой. Оркестр, конечно, с сахарного завода. Танцы.

И Давид Бурда, мой бригадир, поднял тогда за меня первый тост.

Он сказал:

«Поднимаю этот тост за Марию Демченко, что она твердо сдержала комсомольское слово. Ура!»

Ну, что было дальше – нельзя описать!

Тут вдруг прилетает аэроплан с сотрудниками киевских «Вистей» и садится на наш аэродром. У нас уже знают: если кто-нибудь летит, то зажигай на аэродроме костры, потому что все равно к нам!

Я танцевала всю ночь, хотя за эти семнадцать дней я устала ужасно. И всю ночь я черпала кружкой вино прямо из ведра и подносила по очереди всем своим подружкам, и друзьям, и гостям, и музыкантам, и всем, кто только ни был на том нашем пире. Жалко, вас не было, вот бы погуляли! А потом меня посадили в машину – и в Москву. Надо же человеку отдохнуть. Я думала, в вагоне отдохну. Но не получилось. Там ехал один художник. Он меня как увидел, так сейчас и стал рисовать. И рисовал, представьте себе, до самой Москвы. А в Москве – обратно...

И Мария Демченко улыбнулась своей сердитой, милой улыбкой, показав мелкие, тесные зубы, из которых один был золотой.

1936

Первый чекист

Худощавый человек в ножных кандалах и арестантской бескозырке стоит, опершись на лопату, и смотрит вперед.

Таким и вылепил Дзержинского неизвестный скульптор-любитель.

Имеется много портретов и бюстов Феликса Эдмундовича. Его изображали профессионалы и любители. Есть работы, сделанные с натуры или по памяти. Но есть работы, созданные руками людей, никогда в жизни не видевших Дзержинского.

И вот что замечательно. Во всех этих изображениях, по свидетельству близких Дзержинского, он, как правило, удивительно

похож. Очевидно, не только во внешности Феликса Эдмундовича, но также во всей его внутренней, моральной структуре было нечто незабываемое, неотразимое, нечто настолько типичное и обобщенное, что не требовало от мастера особой гениальности, чтобы воплотить в красках или глине образ замечательного человека.

Можно одним словом охарактеризовать кипучую жизнь Дзержинского: горение. Это горение состояло из бешеной ненависти к злу и страстной, самозабвенной любви к добру и правде.

Еще в раннем детстве, играя со сверстниками, маленький Феликс «дал клятву ненавидеть зло». И он свято исполнял свою детскую клятву. До последнего вздоха он боролся со злом с неслыханной страстью и силой, сделавшей его имя легендарным.

Не было случая, чтобы он отступил в этой борьбе.

Вплоть до 1917 года вся биография Дзержинского представляет собой нескончаемую цепь арестов, ссылок, побегов, каторг, тюрем...

Его мучили, избивали, заковывали в кандалы, гоняли по этапам, — а он не только не терял своей веры и внутренней силы, но, наоборот, с каждым годом, с каждым новым этапом, с каждой новой тюремной камерой его вера становилась все тверже, его воля к победе делалась все непреклоннее, его нравственная сила неукротимо росла.

Человек неукротимой энергии и немедленного действия, Феликс Эдмундович оставался верен себе в любой, даже в самой ужасающей, обстановке.

Слово «Дзержинский» приводило врагов в ужас. Оно стало легендой. Для недобитой русской буржуазии, для бандитов и белогвардейцев, для иностранных контрразведок Дзержинский казался существом вездесущим, всезнающим, неумолимым, как рок, почти мистическим.

А между тем в начале своей деятельности Всероссийская Чрезвычайная Комиссия насчитывала едва ли сорок сотрудников, к моменту же переезда ее из Петрограда в Москву — не более ста двадцати.

В чем же заключается секрет ее неслыханной силы, четкости, быстроты, оперативности?

Секрет этот заключается в том, что Дзержинский сделал ЧК подлинным и буквальным смыслом этого слова орудием в руках пролетариата, защищающего свою власть. Каждый революционный

рабочий и крестьянин, каждый честный гражданин считал своим священным долгом помогать органам ЧК. Таким образом, «щупальца Дзержинского» проникали во все щели, и не было такой силы, которая бы не способствовала борьбе революционного пролетариата, вооруженного мечом с девизом ВЧК.

Железная власть находилась в руках Дзержинского и всех чекистов. Потому-то Феликс Эдмундович и был так суров и требователен прежде всего и в первую голову к своим товарищам по ВЧК.

– Быть чекистом – есть величайший искус на добросовестность и честность, – неоднократно говорил он.

– Чекист всегда должен видеть себя и свои поступки как бы со стороны. Видеть свою спину.

Он был беспощадный враг всякого и всяческого зазнайства, комчванства, высокомерия. Он не гнушался самой черной работы и неустанно призывал к этому своих соратников.

Часто со страстью и волнением повторял он, вкладывая особенный, жгучий смысл в свои слова:

– Чекист должен быть честнее любого!

Дзержинский не чурался самой черной чекистской работы. Он лично ходил на операции, делал обыски, изъятия, аресты, зачастую подвергая свою жизнь смертельной опасности.

Он лично поехал в левоэсеровский отряд Попова арестовать убийцу Мирбаха – авантюриста Блюмкина. В отряде его обезоружили, арестовали, схватили за руки. Он с бешенством вырвался и, схватив Попова за грудь, в ярости закричал:

– Негодяй! Отдайте мне сию же минуту мой револьвер, чтобы я мог... пустить вам пулю в лоб!

Он был бесстрашен.

Он первый бросался на самые трудные участки советской и партийной работы, не считаясь с «чинами».

В 1920 году страшные заносы, которые могут сорвать транспорт, – и Дзержинский первый на борьбе с заносами.

«Предчрезкомснегпуть».

Тысяча девятьсот двадцать первый год – поволжский голод, – и Дзержинский первый в Помголе.

Горячий воздух голодной осени струился над Москвой. Пыль засыпает пустой фонтан на Лубянской площади. И Дзержинский взволнованно входит в свой кабинет, держа в руках небольшой сверток.

– Пожалуйста, перешлите это от меня лично в Помгол, в пользу голодающих.

Секретарь разворачивает сверток. Там небольшая хрустальная чернильница с серебряным ободком и крышечкой. Секретарь узнает эту чернильницу. Это чернильница сына Дзержинского Ясика.

– Феликс Эдмундович, но ведь это же чернильница Ясика.

– Эта роскошь ему сейчас не нужна... – слышен резкий ответ.

Да мало ли этих, на первый взгляд незначительных, но таких замечательных фактов!

И вот наконец последнее утро. У Дзержинского под глазами мешки. Лицо узкое, бледное. Он не спал всю ночь, готовясь к своему последнему выступлению. Сколько цифр, выкладок, балансов! И каждую цифру он обязательно проверял лично. Он не доверял арифмометрам и счетным линейкам. Своим мелким почерком по два, по три раза он проверял каждую колонку цифр... Он внутренне горит. Он сгорает. Он не может успокоиться. Он смотрит на часы.

– Феликс Эдмундович, выпейте хоть стакан молока.

Дзержинский неукротимым жестом отталкивает стакан:

– Молока? Не надо.

Он ходит широкими шагами по кабинету:

– Не надо! Я им брошу карты в лицо!

И он стремительно уходит, торопясь на Пленум ЦК.

И там звучит его страстный, неукротимый голос, покрывающий жалкие реплики Каменевых, Троцких и К°, мощный голос человека, которому ненавистна ложь, который умеет бесконечно, глубоко любить, но и жгуче, неукротимо ненавидеть...

«...А вы знаете отлично, в чем заключается моя сила, – говорит он, обращаясь к оппозиции. – Я не щажу себя никогда... Я никогда не кривлю душой, если я вижу, что у вас непорядки, я со всей силой обрушиваюсь на них...»

И, рванув на себе воротник рубахи, судорожно протягивая белую руку к пустому графину, неистовый Феликс продолжал говорить, громя противников и судорожно делая последний вдох...

1936

Незабываемый день

Мы взошли на крыльцо и стряхнули веничком снег с ботинок.

В избе стоял синий свет зимних сумерек. Бревенчатые стены. Зеркало под полотенцем. Рыночная копия с шишкинского леса. Зелень комнатных растений. Икона. Под нею квадратный дубовый стол на толстых ножках. Камчатная скатерть. Над столом электрическая лампочка с прилаженным к ней зеленым стеклянным абажуром. Портрет Ленина.

М. Ф. Шульгина, высокая красивая старуха с тонким белым лицом, впустила нас в комнату.

– Милости просим. Присаживайтесь.

Мы сели.

Она пошла в соседнюю горницу и через некоторое время вернулась, держа в сухих, тонких руках «венский» стул.

Это был обыкновенный, дешевый, «венский» стул – черный, облезший от времени.

Она поставила его вверх ножками. На оборотной стороне круглого сиденья было написано карандашом:

«На настоящем стуле 9 января 1921 года сидел т. Ленин на общем собрании деревни Горки в доме В. Шульгина».

Семнадцать лет прошло с того дня. И вот в той самой избе, за тем самым столом, за которым тогда сидел Ленин, собралась группа колхозников деревни Горки, ныне колхоза Горки имени Владимира Ильича Ленина.

Их четверо: Алексей Иванович Буянов, Марья Федоровна Шульгина, Алексей Михайлович Шурыгин, Марья Кирилловна Бендерина.

Они вспоминают этот незабываемый день.

Все было очень просто.

Товарищ Ленин жил под Москвой, в двух верстах от деревни, в совхозе.

Крестьяне решили пригласить товарища Ленина к себе в деревню «поговорить о жизни». Два человека, представители общества, отправились к Ленину. Он принял их моментально, выслушал просьбу и тут же деловито назначил день и час встречи: 9 января, в шесть часов вечера.

Ровно в шесть часов вечера 9 января по новому стилю (а по старому стилю 27 декабря 1920 г.) возле избы крестьянина В. А. Шульгина, самой просторной избы в деревне, остановились сани парой, из которых вылез небольшой, коренастый человек в шубе.

– Вот здесь вот, подле окна, сел Владимир Ильич, а рядом с ним села Надежда Константиновна, – сказала хозяйка избы М. Ф. Шульгина, показывая на стулья, на стол, на окна, не торопясь, как бы вызывая в памяти своей давнюю, но дорогую картину.

– Владимир Ильич снял шубу и приладил ее на спинку стула, к окну, чтоб не дуло сзади, – прибавил А. М. Шурыгин.

А. И. Буянов ласково, задумчиво улыбнулся:

– В таком простеньком, знаете, сереньком костюмчике, в галстук... облокотился на этот самый вот стол, опядел всех и прищурился, словно прицелился...

– А народу набилось в комнату человек восемьдесят, да еще человек двести не вошло, и они стояли снаружи, на улице, заглядывая в окна.

– И начались разговоры?

– Разговоры?!. Да как вам сказать... Собственно, это нельзя назвать «разговоры». Нам Владимир Ильич прежде всего сделал доклад о международном и внутреннем положении. Мы ведь в то время, знаете, если правду сказать, насчет политики были ни бэ ни мэ. И вот Владимир Ильич сделал нам обстоятельный доклад. Часа полтора говорил. Все затронул. Все вопросы. И знаете, так просто говорил, так ясно, понятно. Он говорил о том, что крестьяне должны объединяться в товарищества (артели), что надо всячески поддерживать родную Красную Армию, что не следует бояться трудностей, неполадок, а надо смело вмешиваться в управление государством, искоренять пережитки старого режима – взяточничество, бюрократизм, косность, лень, безграмотность... Мы все слушали его затаив дыхание...

– А как раз был третий день рождества. В некоторых избах готовились вечеринки. И представьте себе, ни один человек не ушел домой, пока не кончилось собрание...

– Потом завязалась общая беседа. Но опять-таки то не была беспорядочная болтовня, а вопросы и ответы в строгом порядке, коротко, деловито, серьезно. И записывалось все в протокол. Честь по чести.

– Ну конечно, не обошлось без смеха. Вдруг посреди этого серьезного государственного разговора берет слово Соловьев. Портной. Он уже умер. Берет слово Соловьев и спрашивает Владимира Ильича: дескать, как мне при теперешнем состоянии транспорта перевезти из Саратовской губернии свои подушки?

– Весь народ, конечно, так и повалился от хохота. Соловьев тут же понял, что сморозил глупость, покраснел как рак... А Владимир Ильич только на него бегло взглянул, еле заметно усмехнулся и сделал вид, что не расслышал. Перешел к другим вопросам. Не захотел человека окончательно сконфузить перед обществом. Очень деликатно поступил Владимир Ильич. И мы сразу поняли ту деликатность и очень оценили ее.

– И электричество нам Владимир Ильич помог провести, – сказала хозяйка. – Тогда у нас еще электричества не было. Товарищ Ленин сам внес предложение, чтобы в нашу деревню провели электричество из совхоза. И тут же вынесли постановление провести в деревне электричество. И вот с тех пор, видите, как у нас в деревне светло. Тоже нам память об Ильиче.

– Никакой мелочью не гнушался Владимир Ильич, – заметил А. И. Буянов. – Я как раз в то время служил в Красной Армии и был в отпуску. И хозяйство у меня было очень бедное, а изба совсем развалилась. Я просил в земельном управлении, чтобы мне дали избу. А они там волюнили и не давали. Вот я, пользуясь случаем, и обратился к товарищу Ленину. Он выслушал меня внимательно и спросил народ: «Правильно он говорит?» – «Правильно». Тогда Ленин попросил секретаря записать в протокол, чтобы мне дали избу. И дали. А через некоторое время везу я через лес строительные материалы для своей новой избы. Встречаю Ленина. Идет Ленин с ружьем. Сразу меня узнал. «Здравствуйте, товарищ Ленин». – «Здравствуйте,

товарищ Буянов. Ну как, дали вам избу?» – «Дали. Вот материал везу». – «Ну вот, видите, говорит, надо уметь на них нажать...» И усмехнулся...

Часа три-четыре продолжалось незабываемое собрание. На прощание товарищ Ленин сказал:

– До свиданья, товарищи. Подождите немного. Скоро, очень скоро у нас наступит замечательная жизнь.

Сейчас мимо избы, где семнадцать лет назад Ленин говорил с крестьянами о будущей замечательной жизни, тянется великолепное асфальтовое шоссе. Мелькают автомобили.

Над снегами четко рисуются силуэты мачт для передачи тока высокого напряжения.

В совхозе имени В. И. Ленина выстроена изумительная школадесятилетка: громадные окна, паровое отопление, блеск паркета, чистота, уют...

И веселые ребята выбегают после уроков в «парк пионеров», где за оснеженными елями садится дымное, морозное солнце...

1938

Страна нашей души

Тридцать лет – это ничтожно мало и вместе с тем бесконечно много. Для государства это мало. Для человека – более половины сознательной жизни. И все же, когда я – человек и гражданин – думаю о Советской власти, у меня нет ощущения двойственности. Это происходит потому, что Советская власть гораздо шире общепризнанного понятия государственной формы.

Советская власть не только форма государства. Она также и моральная категория.

Гоголь говорил о «душевном городе». Мы должны говорить о «душевном государстве», о «стране нашей души», где личность советского человека и советского гражданина не противопоставлены друг другу. Они слиты воедино не только во времени и пространстве, но – и это главное – в великом и вечном чувстве мировой справедливости.

Есть люди, которые не могут вырваться из плена древних представлений о природе человеческого общества.

Одни из них изображают Советское государство как некое новейшее повторение Римской империи с медными таблицами ее схоластических законов и человеческой личностью, раздавленной беспощадной стопой невежественного, но высокомерного центуриона.

Другие представляют Советское государство как громадную религиозную общину – скорее, секту – людей, исповедующих коммунизм, как некую новейшую универсальную форму христианства.

Подобные люди могут вызвать только негодование или жалость. Их ум крепко привязан к привычным категориям.

Советский Союз не Рим, коммунизм не религия. Нет ничего более противоположного и враждебного по духу, чем идея грубого, низменного Римского государства цезарей и патрициев, основанного на рабстве, и идея свободного союза свободных советских народов, основанная на политическом и моральном равенстве свободных людей, занятых свободным созидательным трудом для общего блага. Христианство – религия отчаяния и бессилия. Идея коммунизма основана не на мистическом представлении о мнимом бессмертии человека, а на отрицании права угнетения человека человеком, на отрицании рабства в любой форме, на утверждении права каждого человека на свободную, независимую, счастливую жизнь.

Что было бы с человечеством, измученным противоречиями капитализма, дошедшим до отчаяния от невозможности жить мирной, чистой, справедливой общественной жизнью, если бы не великая, вечная правда марксистско-ленинского учения?

Мир должен был бы захлебнуться в крови вечных войн или сойти с ума.

Но сила мирового общечеловеческого гения, нашедшая себе полное и совершенное воплощение в великой Коммунистической партии большевиков, вселила человечеству надежду на лучшее будущее, окрылила его мечтой коммунизма, ибо коммунизм – это прежде всего мир.

Теперь эта мечта близка к осуществлению.

И мы, советские люди, будем первыми людьми на земном шаре, вступившими в ясный и радостный мир коммунистического общества.

Как ничтожны мелкие добродетели христианства и жалкие пороки язычества по сравнению с тем пониманием добра и зла, которому научила нас Советская власть!

Мы научились писать Добро и Зло с большой буквы.

Мы знаем, что такое мировое Зло и что такое мировое Добро.

Советская власть есть благородная и вечная борьба мирового Добра против мирового Зла.

И мы знаем: Добро победит.

Вот почему все темные силы мирового Зла так яростно ополчились на нашу молодую республику общечеловеческой правды – правды коммунизма.

Иногда я думаю: что было бы со мной, что было бы со всеми нами, если бы в мире не было Советской власти – «страны нашей души»?

И мне становится страшно.

Мне становится душно до обморока от одной мысли, что надо снова дышать темным, смрадным и неподвижным воздухом старого, рабского мира, без надежды на освобождение.

И как хорошо бывает снова и снова полной грудью вдохнуть свежий, сильный воздух нового мира и услышать ту музыку мировой гармонии, о которой так тосковали лучшие люди прошлого.

Если бы мне каким-нибудь чудом вернули мою молодость и сказали: «Перед тобою опять твоя жизнь. Ты властен сделать ее такой, какой пожелаешь. Приказывай. Все будет исполнено по твоей воле. Хочешь быть знаменитым, сказочно красивым, несметно богатым? Хочешь путешествовать, наслаждаться любовью красивейших женщин, писать гениальные поэмы, повелевать народами? Все это сделается по одному твоему мановению, но только при том условии, что ты навсегда останешься по „ту сторону“, то есть в старом, обветшалом мире бедных и богатых, сильных и слабых, господ и рабов, белых и черных, и никогда не будешь дышать воздухом коммунизма, никогда не услышишь музыки мировой справедливости...», то я бы ответил:

«Нет. Ничего мне от вас не нужно. Пусть я лучше останусь таким, как я есть, и таким, каким я был. Пусть я лучше еще раз переживу мою чудесную нищую молодость, овеянную октябрьскими бурями. Пусть лучше я еще раз переживу мою беспокойную, трудную,

сложную – а трижды благословенную – зрелость. И пусть я опять остановлюсь на пороге старости и снова увижу так близко перед собой зарю коммунизма. Отойдите. Не заслоняйте от меня солнца!»

1947

Непобедимое братство

Я родился на Украине. Там протекли мое детство, отрочество и юность. Мой отец был коренной русский. Мать – коренная украинка. В моей душе с детских лет тесно сплетено «украинское» и «русское». Вернее, даже не сплетено, а совершенно слито.

Единое, всепоглощающее, священное чувство общей родины в наши дни свойственно всем народам Советского Союза.

В том-то и заключается величайшее счастье человечества, его спасение от неминуемой гибели и вырождения, что на смену темным религиозным и государственным предрассудкам, корыстно разделяющим людей на «великие» и «малые», «достойные» и «недостойные», «господствующие» и «подчиненные», пришло и озарило мир светом высшей справедливости самое человеческое из всех учений, бывших когда-нибудь на земле, неотразимо ясное и светлое, как день, – учение Ленина о равенстве всех народов и о братстве всех трудящихся людей.

А ведь было время, – многие из нас это проклятое время еще хорошо помнят и о нем никогда не забудут! – когда украинца нельзя было назвать украинцем, а надо было обязательно называть «малоросс», когда почти всем народам, населявшим территорию бывшей царской империи, было отказано в священном праве быть народами и предоставлялась унижительная необходимость официально именоваться «инородцами».

В день славной тридцатилетней годовщины рождения Советской Украины как независимого, суверенного государства, равноправного члена в семье советских социалистических республик, обо всем этом нельзя не вспомнить.

Первая, вслед за своей старшей сестрой Россией, вырвалась Украина из тюрьмы народов и уверенно пошла по светлому, широкому пути, указанному ей Лениным. Но для того чтобы выйти на этот путь,

много пришлось выдержать роковых испытаний молодой Украинской Советской Республике. Ее счастье заключалось в том, что она была не одна. Ее старшая и любимая сестра Россия всегда протягивала ей твердую руку помощи.

Советская Украина родилась и окрепла в борьбе с немецкими империалистами, которые в 1918 году вероломно кинулись на нее, желая захватить себе ее несметные богатства и превратить ее в свою колонию. И тогда один трудовой советский народ помог другому трудовому советскому народу в борьбе за свободу и независимость. Это уже не были «великороссы» и «малороссы», которых помещики и капиталисты пытались отделить друг от друга глухой стеной, с тем чтобы удобно было владеть ими поодиночке. Это уже были два независимых, дружественных советских народа, которые вместе, плечом к плечу, нанесли сокрушительный удар иноземным захватчикам в 1918 году.

И рухнуло иноземное иго, идущее с запада, а вместе с ним рухнула и прочая мелкая реакционно-националистическая сволочь – все эти гетманы, петлюры, махны, кистяковские, винниченки, гайдамаки, синие жупаны и прочая, прочая, – которая под желто-благитным флагом якобы «вильной Украины» хотела надеть на нее старую, помещичье-капиталистическую сбрую и заставить тащить старый воз с новым, немецким кучером.

Но на этом дело не кончилось.

С запада надвигалось новое иго. Это была интервенция четырнадцати держав. И освободительная, народная война украинского и русского народов за свою независимость продолжалась.

Кого только не видела за это время в своих цветущих просторах многострадальная Украина!

Здесь была и британская морская пехота, гонявшая по улицам украинских городов футбольные мячи, и шотландские стрелки в коротких клетчатых юбках, со своими шотландскими волынками, и черные сенегальцы с глазами белыми и выпуклыми, как облупленные крутые яйца, и унылые мокроусые греки в английских шинелях со своими печальными мулами, запряженными в повозки, наполненные всяким ворованным барахлом, и румыны в собачьих воротниках, и многие, многие другие «рыцари» мирового капитализма.

Они вообразили, что в их силах повернуть колесо истории вспять. Они обрушились на Советскую страну. Их первые удары приняла Украина.

И новые интервенты еще раз почувствовали на собственной шкуре, что значит иметь дело со свободным советским народом, поднявшимся, как один человек, на освободительную отечественную войну.

Надо было видеть, как драпали интервенты!

Я помню смятенные улицы Одессы, по которым мчались, задрав хвосты, греческие мулы; с дребезжащих повозок падали на мостовую буханки горохового хлеба, какие-то лоханки, подушки, самовары. Я видел бодрых великобританских витязей, позабывших свои футбольные мячи и, подобрав штаны, бежавших в порт, на свои транспорты. Я видел танки французского генерала Франше д'Эспере, бесславно увязшие в грязи возле станции Сербка, и легендарную конницу Котовского, которая, как смерч, на спинах опрокинутого противника ворвалась в город.

Русские и украинские крестьяне в новеньких московских полушубках, с красными лентами на мерлушковых папах, с тульскими винтовками наперевес вступили в освобожденный город, в то время как флотилия интервентов дымила грязным дымом на горизонте, как куча горячего шлака, выброшенного в море.

Братство украинского и русского народов закалялось и крепло в горниле революции. Это братство, нерасторжимое ленинское братство освобожденных трудящихся людей, рабочих и крестьян, скрепленное кровью и озаренное сияющими лучами общей победы, с каждым годом становилось все теснее, все непобедимее.

На смену подвигам воинским пришли подвиги трудовые. В неслыханно краткие, воистину легендарные исторические сроки Советская Украина вместе со всей страной победоносно завершила целый ряд войн – войну с разрухой и голодом, войну с отсталостью культурной и технической, революцию аграрную, революцию индустриальную, революцию культурную.

И опять, как в первые годы своего существования, братский русский народ подал руку помощи родной, любимой сестре Украине.

И опять могучий созидательный гений партии осветил путь Украины на новом мирном поприще. Семимильными шагами пошла

Украина по ступеням пятилеток, осуществляла их вместе с русским народом и со всеми народами Советского Союза.

Величественные огни Днепростроя, сияние Донбасса, бескрайние колхозные массивы, переливающиеся золотистыми волнами пшеницы, тучные стада на пастбищах, фруктовые сады, бахчи, виноградники... Разве перечислишь все богатства, которые добыла себе Советская Украина, добыла с боя у природы за годы мирного строительства.

И если говорить, что Украина построила ДнепрогЭС, то это будет неполная правда. Она построила два ДнепрогЭСа, так как однажды ДнепрогЭС был разрушен фашистскими варварами во время их нашествия.

Чудовищно было это нашествие на Советский Союз! Но так же как и в первый раз, враги были разбиты, уничтожены, развеяны в прах.

Я видел брошенную фашистскую технику, раскиданную по необозримым полям освобожденной Украины.

Я видел войска славного маршала Конева, которые гнали немецкую нацистскую рванину вон из пределов Советской Украины.

Дул весенний ветер. И стаи птиц возвращались в свои родные разоренные гнезда, плывя в крепком, пьянящем, как молодое вино, воздухе возрождающейся Украины.

Прошло еще немного лет, и вот весь Советский Союз празднует тридцатилетие своей милой, родной Украины.

В эти дни мне особенно радостно, и мое сердце рвется на Украину, на мою родину, туда, где в тишине старого кладбища покоятся мои родители – русский отец и мать-украинка. Они лежат рядом в украинской земле, которая вновь цветет неслыханной красотой и счастьем.

Я вспоминаю свою мать с дорогим, смуглым, немного раскосым лицом, вспоминаю, как, баюкая меня, напевала она над моей колыбелью чудесные, незабываемые песни великого украинца Шевченко. Я помню, как мой отец, блестя выступавшими у него на глазах слезами восхищения, читал нам, мне и маме, своим вятским говорком пушкинскую «Полтаву» с ее нечеловечески прекрасной украинской ночью и как они вместе под керосиновой лампой хохотали и нежно улыбались над раскрытым Гоголем, и я никак не мог понять: кто же такой, в конце концов, этот Гоголь? Украинец? Русский?

Спите с миром, мои дорогие старики! Шлю вам свой нежный сыновний привет из близкой Москвы и радуюсь, что я столько же русский, сколько и украинец, и что у нас всех одна душа – общечеловеческая, неделимая на части душа ленинской правды.

Привет тебе, любимая моя Украина, одна из первых стран мира вступившая в нерушимый союз свободных республик!

1948

Великие слагаемые

Недавно я видел Берлин. Вокруг выщербленной, сумрачной громадины обожженного рейхстага, вдоль и поперек исписанной русскими именами, растет бурьян. В пыльных зарослях бурьяна и полыни тонут обломки архитектурных деталей. Нагретый воздух струится над жалкими огородиками превращенного в пустырь Тиргартена, обнесенными ржавым железным ломом. Там, где была знаменитая Аллея победы с ее чудовищно безвкусными статуями, теперь растут капуста и табак-самосад и еще какие-то растения с винно-красными шерстяными кистями, подобными украшениям старой мещанской мебели.

Новая имперская канцелярия представляет собой квартал, засыпанный мелкой щебенкой, по которому бродишь, переступая через ребра фундамента и через остатки внутренних стен, как по мертвым кварталам Помпеи. И в этой мрачной лестничной клетке, которая ведет с поверхности земли вниз, в подземный бункер, где неотвратимый час возмездия застал кровавого маньяка вместе с последними из его шайки, в этой лестничной клетке, почти у самой поверхности земли, стоит тухлая, зеленая вода. Обожженные ступени и заржавленные перила уходят вниз, в мрачный, злоеущий омут, в это подземное черное озеро смерти.

И с каким облегчением потом, возвратившись в родную Москву, ходишь по светлым, шумным улицам и дышишь воздухом родины! Лазурное сияние славы разлито над бескрайними просторами советской земли, и незакатное солнце победы освещает наш путь в будущее. Да, великую победу одержал советский народ три года назад. Может быть, за всю историю человечества это была самая большая

победа сил мировой справедливости – добра, любви и правды – над самыми страшными, самыми черными силами мирового зла.

Не легко досталась нам эта победа. Не легко и не быстро. Но с первых же дней Великой Отечественной войны советский народ и его могучая Советская Армия неуклонно, неотвратимо шли к конечной победе.

Окончательная победа сложилась из тысяч больших и малых побед в тылу и на фронте. И если всмотреться повнимательнее в сущность этих больших и малых побед, то станет ясно, что в основе каждой такой победы лежала великая нравственная сила простого советского человека, верного сына своей социалистической родины, идущей к коммунизму.

Первый ошеломляющий удар, который нанес советский народ немецкому фашизму, был разгром немецкой армии под Москвой в конце сорок первого года. Я помню исковерканную немецкую технику – орудия, гребоподобные танки с белыми крестами, транспортеры, легковые и грузовые машины, мотоциклы, снаряды, штабеля патронов – весь этот зловещий, мрачный лом, заваливший леса и дороги на запад от Москвы. Я помню синие фашистские трупы, занесенные снегом. Это была великая Победа, показавшая миру мощь Советской Армии и развеявшая миф о непобедимости гитлеровской военной машины.

Это была первая громадная по масштабу и по своим последствиям победа. Но это не была вообще первая наша победа. Это было следствие множества других побед – больших и малых, начиная от героических подвигов наших пограничников, принявших на себя первые удары фашистов, и кончая бессмертным подвигом двадцати восьми панфиловцев. Здесь были и героическая Ельня, и Смоленск, и капитан Гастелло, который, как гений света, на пылающем самолете врезался в гущу врагов; здесь было ежедневное, неутомимое, героическое сопротивление всей Советской Армии, которое планомерно, изо дня в день, нарушало «график» сумасшедшего ефрейтора, мечтавшего «молниеносно» выиграть войну. Это было постепенное превращение «блицкрига» в «блицкрах».

Еще наши войска только отходили от границ, еще не были отобилизованы главные силы вооруженного советского народа, а уральские заводы уже приняли колоссальные заказы на тяжелое и

легкое вооружение, истинных масштабов которого враги не могли даже вообразить.

И в то время когда советские воины – простые советские люди – громили фашистов под Москвой, простые советские люди на Урале и в других местах необозримой нашей родины уже ковали грозное оружие, обрушившееся на голову ошеломленных немцев под Сталинградом спустя почти два года.

Величайшая в истории войн победа под Сталинградом могла произойти и неотвратно произошла потому, что ей предшествовали сотни и тысячи больших и малых побед на войне и на трудовом фронте, потому, что простые советские люди, совершившие эти ежедневные и ежечасные победы, были люди большой души и чистого сердца, жизнь свою готовые отдать за дело коммунизма – за самое святое, самое справедливое, самое светлое дело человечества.

Коммунистическая партия, вдохновившая советский народ на тысячи и десятки тысяч великих и малых побед в тылу и на фронте, тем и велика, что вся сила ее небывалого в истории человечества гения направлена вперед, к достижению светлого будущего. Мы победили и под Москвой, и под Сталинградом, и под Севастополем, и под Яссами, и под Будапештом, и под Минском, и под Берлином – повсюду! – потому, что нас вела Коммунистическая партия. Партия была с народом, и народ был с партией. Никогда еще не существовало более тесного единения партии и народа. Это величайшее морально-политическое единство всех советских людей, сплотившихся вокруг партии, и явилось причиной нашей победы.

Мы победили потому, что советский народ дал тысячи, десятки тысяч великих и малых героев. Мы победили потому, что были Ферапонт Головатый и Зоя Космодемьянская, был солдат Александр Матросов, закрывший своей грудью дуло неприятельского пулемета; потому, что, исполняя предначертания партии, войска совершили легендарный переход Днепра и наступление от Днепра до Румынии в невероятно тяжелых условиях весенней распутицы, когда все население помогало переносить вслед за армией снаряды и горючее. Мы победили потому, что был легендарный партизан Ковпак, и потому, что честно и самоотверженно относилась к своей работе ученица ремесленного училища, ставшая к станку на оборонном заводе.

Мы победили потому, что нет таких жертв, которые не был бы готов принести каждый советский человек во имя нашей великой цели, и не было советского человека, который бы мысленно не говорил тогда: вот мой труд, вот мои силы, вот моя кровь, – они принадлежат родине, принадлежат навсегда и без остатка; я с радостью отдам их ради торжества справедливости во всем мире, ради торжества мирового добра над мировым злом. Вот почему мы победили.

Фашистская гадина раздавлена и добита в своем зловещем логове. Но мы не должны забывать, что в мире еще остались змеиные яйца фашизма. Вот почему, дыша воздухом нашей родины, живя под лазурным сиянием славы, разлитым над бескрайними просторами советской земли, под незакатным солнцем победы, мы все должны еще теснее сплотиться вокруг партии, отдавая все свои силы на укрепление победы, добытой три года назад.

Каждый наш день должен быть днем сотен и тысяч больших и малых трудовых подвигов. Ибо лишь из множества скромных ежедневных, ежечасных побед может и должна возникнуть одна великая победа: победа высокого человеческого духа, победа светлого человеческого разума, добра, справедливости и правды над мрачными, зловонными, разлагающимися исчадиями старого мира.

1948

С думами о будущем

Вот они лежат передо мной, письма нестигаемого комсомольца из Одессы Якова Гордиенко, расстрелянного врагами во время оккупации 1941–1944 годов.

Их невозможно читать без чувства громадного уважения к славному ленинскому комсомолу, воспитавшему таких комсомольцев.

Яков Гордиенко был командиром подпольного молодежного отряда, оставшегося в тылу немецко-румынских войск в Одессе. Его арестовали и посадили в тюрьму, судили и расстреляли.

Из тюрьмы он писал:

«Наше дело все равно победит. Советы этой зимой стряхнут с нашей земли немцев и румын. За кровь партизан

они ответят в тысячу раз больше. Мне только боязно, что в такую минуту не могу помочь своим ребятам по духу...

Достаньте мои документы, они закопаны в земле в сарае, под первой доской от точила, сантиметрах в 30–40. Там лежат фото моих друзей и подруг, мой комсомольский билет. В сигуранце у меня не вырвали, что я комсомолец...

Я не боюсь смерти. Я умру, как подобает патриотам родины. Целую всех крепко, крепко, не падайте духом. Крепитесь. Привет всем родственникам. Победа будет за нами.

Яша».

Я выписал здесь ничтожно малую часть из того подлинного материала, которым я располагаю для работы над своим новым романом. Но даже из этих крупинок встает во весь рост моральный облик одесского комсомольца, одного из сотен и тысяч других, подобных ему верных сынов родины.

Слава одесскому комсомолу, воспитавшему таких людей!

1948

Молодость мира

Медленно вращается барабан бетономешалки. Вот он останавливается. Опрокидывается. Сырая масса свежего бетона сыплется в вагонетку. Трое смуглых юношей с лопатами быстро, но неторопливо помогают бетону равномерно наполнять вагонетку. Стоп! Довольно! Две девушки упираются руками в вагонетку, и она плавно катится по рельсам. Солнце знойно сияет в густом ультрамариновом небе. Мускулистые руки девушек смуглы, шелковисты. Черные волосы отливают синевой. Черные глаза смеются. Сверкают перламутровые зубы. Одна за другой катятся по рельсам вагонетки с бетоном. С рокочущим ворчаньем вращаются барабаны бетономешалок. И всюду, куда ни посмотришь, стройные фигуры молодых строителей, юношей и девушек...

Как все это знакомо! Как все это похоже на то героическое, незабываемое время, когда советская молодежь – горячее

комсомольское племя – вышла на заре нашей индустриализации помогать своим вдохновенным трудом строить гиганты наших первых пятилеток.

Вот так было на Магнитострое, на Днепрострое, в Кузбассе, в Сталинграде и на сотнях и тысячах больших и малых строек Советского Союза, в волшебном быстром сроке превратившегося в могущественную индустриальную державу мира.

Но это не Магнитогорск, не Днепрогэс.

Это Балканы. Болгария. Это происходит в наши дни, на заре новой жизни, в которую совсем недавно вступили страны народной демократии.

Широко развернулась инициатива рабочей молодежи в родной славянской Болгарии. Из сел и городов в 1948 году собралась двухсотпятидесятитысячная армия молодежи, чтобы своим трудом помочь стране осуществить величественную программу индустриализации Болгарии. Разделенная на три так называемые бригадные смены, эта молодежная армия добровольцев труда работала в минувшем году на пяти национальных и восьмидесяти двух околийских (уездных) объектах. И многие бригадиры возвращались домой по им же самими выстроенным железным дорогам, по шоссе, прорезавшим старые Балканские горы.

В речи по случаю открытия железной дороги заместитель председателя Совета министров Болгарии сказал, что эта молодежная линия, которую бригадиры с любовью называли «линия-красавица», является только частицей огромной строительной работы, проделанной болгарскими юношами и девушками в 1948 году; в этом труде выковывается новый человек новой Болгарии – строитель социализма.

Это золотые слова, смелые, благородные, полные уверенности в торжестве социализма.

И можно не сомневаться, что вдохновенный труд болгарской молодежи увенчается полным успехом.

Не отстает от могучего марша времени и новая Чехословакия.

Старая Золотая Прага. Карлов мост, уходящий через реку в туманную готику чудесного города. Но какая она нынче молодая, эта старая Золотая Прага! Яркое солнце весны блещет на ее шпилях. Это весна свободы, весна независимости. И как молодо выглядит нынче

старый Карлов мост, по которому стройными рядами шествуют чехословацкие физкультурники!

В программе Союза чешской молодежи главным пунктом записано: «Союз чешской молодежи желает своими собственными силами включиться в строительство республики и вести своих членов и всю молодежь к непосредственному и деятельному участию в организации нашей хозяйственной жизни.

Пусть наше молодое поколение будет поколением новых героев труда, которые построят свою родину собственными руками».

И чехословацкая молодежь, ведомая Коммунистической партией, действительно строит свою новую родину собственными руками. Она восстанавливает разрушенную немцами легендарную Лидице, строит новые дома для шахтеров и рабочих, отдает свой труд индустриализации Словакии.

В долине живописного Вага, на окраине Брно, на крестьянских полях молодые патриоты новой Чехословакии самоотверженно трудятся во имя светлого социалистического завтра.

Их вдохновляет на этот самоотверженный труд пример старших братьев – комсомольцев великого Советского Союза, которые идут в первых рядах строителей своей прекрасной родины.

Их вдохновляют трудовые подвиги, совершенные Николаем Российским, Генрихом Борткевичем, Пашей Ангелиной и многими, многими другими, огромной плеядой советских стахановцев – воспитанников партии большевиков, ленинского комсомола.

Героический пример советской молодежи нашел широкий отклик в сердцах молодых строителей Польши, отдающих свои силы восстановлению Варшавы, развитию промышленности и сельского хозяйства западных земель. К подвигам во имя социализма зовет он и молодежь Румынии.

Георге Георгиу-Деж, генеральный секретарь Рабочей партии Румынии и вице-председатель Совета министров, обратился с воззванием к молодежи, предложив построить очень важный для экономики государства газопровод между Агнитой и Боторкой, протяжением в пятьдесят один километр. На его призыв через тридцать шесть часов откликнулись шестьсот юношей и девушек. Не в шесть месяцев, как это было запроектировано, и не в сорок восемь

дней, как к этому призывал Георгий Георгиевич Деж, а в тридцать четыре дня была закончена прокладка газопровода.

Для капиталистического государства, где применяется рабский труд, где труд для человека не радость, а проклятье, это чудо. Но это не чудо для страны, сломившей рабские устои капитализма и расправляющей свои крылья. Это далеко не единственный случай, таких «чудесных случаев» десятки, если не сотни.

Вся Румыния охвачена молодым порывом строительства. «Своим порывом молодые работники добровольных бригад зажгли огонь патриотического соревнования, пламя сознательного и вдохновенного труда, направленного всецело на благо родины и своего народа», – так пишет румынский журнал «Аркадес».

С ним нельзя не согласиться.

Молодежь Советского Союза и ее авангард – славный ленинский комсомол показали пример молодежи всего мира, как надо бороться со старым и как надо строить новое.

1949

Жигули. Февраль

В адрес строительства Куйбышевского гидроузла ежедневно со всех концов Советского Союза поступают сотня писем от людей, желающих включиться в одну из величайших строек нашей эпохи.

Уже получено свыше семнадцати тысяч писем. Это составляет сто восемьдесят два объемистых тома. Два шкафа, стоящих в одной из комнат отдела кадров. Целая библиотека!

Пишут инженеры, врачи, техники, трактористы, учителя, студенты, ремесленники, демобилизованные офицеры и солдаты, хозяйственники, шоферы, художники, прорабы...

Открываю шкаф и беру наудачу толстую синюю папку с аккуратно подшитыми, перенумерованными письмами.

Вот письмо от группы студентов четвертого курса Дорожно-механического техникума. Мелкий стремительный почерк. Колонна подписей.

«Мы не могли строить город молодости Комсомольск, Днепрогэс, Магнитогорск и участвовать в других грандиозных стройках нашей

любимой родины, благодаря которым она стала передовой страной, у которой учатся построению социализма страны народной демократии. Поэтому мы желаем принять участие в гигантских послевоенных стройках, которые еще ярче демонстрируют миролюбие нашего многомиллионного народа, возглавляющего движение сторонников мира в борьбе за мир...»

Вот письмо от другой группы студентов:

«Горим желанием после окончания института работать на строительстве Куйбышевгидростроя, чтобы приложить все наши усилия и знания для оказания максимально возможной помощи родине в деле построения коммунизма».

Сколько молодого, горячего патриотизма в этих простых, скромных словах! Сколько веры в прекрасное будущее человечества! Какая непоколебимая убежденность, что идея мира во всем мире и идея коммунизма неотделимы друг от друга! Но ни мир, ни коммунизм не придут сами собой. Мир и коммунизм нужно завоевать. И они, эти молодые советские люди, которые «опоздали» на первые стройки коммунизма – на Днепрострой, на Магнитку, на Комсомольск, горят страстной жадой как можно скорее, не теряя ни одной минуты, встать и идти на великую стройку коммунизма, ибо они знают, что только коммунизм принесет вечный мир освобожденному человечеству и утвердит на земле вечное царство света, правды и справедливости.

А вот на большом листе рисовальной бумаги большими красными прописными буквами, старательно выведенными тушью, пишут учащиеся, комсомольцы строительного ремесленного училища, – два юных альфрейщика, два лепщика и три столяра:

«По окончании учебы просим зачислить нас в коллектив строителей величайшей в мире Куйбышевской гидроэлектростанции».

Это еще совсем молодые советские граждане. Почти мальчики. Годы первых пятилеток для них «древняя история». Когда строились ДнепрогЭС, Магнитка, Комсомольск, их еще и на свете не было. Они только еще вступают в жизнь. Но в их жилах течет горячая, беспокойная кровь их отцов. Они дети труда, того высокого, благородного труда, который в нашей стране является делом чести, делом доблести. И понятно, почему они с таким уважением, с такой

гордостью, с таким достоинством просят включить их в коллектив строителей Куйбышевской гидроэлектростанции.

...Приходят письма от строителей Венгрии, Румынии, Чехословакии, Болгарии, Польши. Они приветствуют своих братьев – строителей великого Советского Союза – и просят поделиться с ними строительным опытом.

Поистине великие стройки коммунизма – всенародное дело.

...Мороз ниже двадцати градусов. Над Волгой висит пелена седого тумана. Солнце блестит сквозь туман маленьким розовым кружком. Несколько дней подряд здесь свирепствовали бураны. Нынче тихо. Все занесено глубоким снегом. Дорога пробита в снегу. Пересекаем Волгу.

Сначала идут протоки, острова, потом сама Волга. Острова густо поросли тальником, на треть занесенным снегом. Тонкие прутья ярко, воздушно сквозят на солнце, кажутся совсем коралловыми. То и дело встречаются снегоочистительные машины – бульдозеры, которые, пыхтя и оставляя на снегу синие отпечатки добела вытертых гусениц, разваливают сугробы своим косым длинным плугом. Свежо и крепко пахнет взрытым снегом. В глубокой колее лежит густая синяя тень. Нескончаемой вереницей идут попутные и встречные машины – легковые «победы» и «эмки», тракторы, вездеходы, пятитонки. Тракторы тащат на прицепе передвижные электростанции, дизельные установки, иногда целые небольшие домики. На грузовиках штабеля свежего, лимонно-золотистого теса, оконных рам, горы почтовых посылок, кровати, канцелярская мебель, матрасы, станки, электрооборудование, запасные части экскаваторов, стальные тросы. Над кабинами большинства машин красные таблички с надписью: «Стотысячник». Это значит, что водитель машины взял на себя обязательство пройти со своей машиной сто тысяч километров без капитального ремонта. Движение стотысячников широко охватило коллектив строителей Куйбышевской гидроэлектростанции. Теперь стотысячники, кроме того, торжественно берут свои машины на социалистическую сохранность.

Круто ныряя с горки на горку в зарослях тальника, машина наконец делает последний поворот и выезжает на ровную, прямую, твердую дорогу. Мы – на льду Волги. Дорога расчищена до блеска.

Она вся в золотисто-слюдяных наледях. По сторонам высокие снежные валы с воткнутыми в них вешками. Иногда это шести с привязанным наверху пучком сена. Иногда – заиндевшая ветка сосны. Впереди – величественная мутно-голубая панорама Жигулей.

Горы приближаются, растут, ощутительно заслоняют горизонт. Уже видны подробности: промоины, занесенные снегом, крутые склоны, поросшие мелколесьем, отдельные деревья, нефтяная вышка на вершине, живописные развалины старинной сторожевой башни, как бы повисшей над головокружительной пропастью. У подошвы плоско раскинулось старинное волжское село; высокие столбы розового и голубого дыма над темными тесовыми крышами изб и над светлыми рубероидными крышами великого множества новых сооружений – барачков, коттеджей, бань, почтовых отделений, строительных контор, складов, грелок. Дряхлая ветряная мельница – и рядом могучая стрела деррика. Сочетание отмирающего прошлого и со сказочной быстротой возникающего нового.

Но прежде чем подняться на берег, наш вездеход проезжает как бы по улице странного города, раскинувшегося прямо на льду Волги, на том месте, где будет электростанция. Этот город состоит из буровых вышек геологической разведки. Маленькие теплые домики, обитые снаружи черным толем, над которым возвышаются бревенчатые вышки, издали похожие на букву А. Составленные в строгом порядке, каждый на своем особом квадрате, эти домики образуют улицы, переулки, тупики. Над ними выются дымки времянок. Слышатся пыхтенье моторов и шум механизмов.

Геологи первыми приходят на строительную площадку и первыми ее покидают. Сейчас они заканчивают бурение дна Волги в том месте, где будет котлован. Надо исследовать грунт на глубине до ста метров ниже дна, совершенно точно установить физические и механические свойства пласта, на котором поместится колоссальное железобетонное тело самой большой в мире гидроэлектрической станции.

Входим в одну из будок буровой вышки. Шумит мотор. Плавно вращается труба. Сменный буровой мастер осторожно орудует рычагом. Глиняный раствор течет ручейком какао в маленькое деревянное корытце лотка. В полутьме тепляка, как во фронтовом

блиндаже, горит печурка. Возле нее на скамеечке сидит девушка в ватнике, ушанке и валенках и записывает в тетрадь данные хода бурения. Другая девушка осторожно извлекает из вынутой трубы пробы грунта – так называемые керны. Это небольшие цилиндры почвы – монолиты, каждый величиной примерно с двухкилограммовую банку. Девушка бережно завертывает керн в марлю, потом окунает его в расплавленный парафин, который греется на печурке в особой ванночке. Затем она наклеивает на керны этикетки с указанием глубины, с которой взята проба. В углу в плоских ящиках лежит уже множество таких цилиндриков, закутанных в стружки. Скоро их бережно уложат, как величайшую драгоценность, в сани или на грузовик, и они поедут на левый берег, в лаборатории, где другие девушки – лаборантки, серьезные, сосредоточенные, в аккуратных халатах, похожие на медицинских сестер, разберут керны, как говорится, «по косточкам» – разложат влажные колбаски глины в белоснежные фаянсовые чашечки, станут их взвешивать на точнейших аптекарских весах, пробовать «на сжатие», «на сдвиг», «на разбухание», определят их удельный вес, химический состав, механические свойства.

На берегу, заваленные сугробами, зимуют катера, баркасы, моторные лодки – целая флотилия мелких судов, которые, когда вскрыется Волга и пройдет лед, свяжут правый и левый берега.

Налево, под горой, скопление могучих механизмов – электрических экскаваторов. На фоне заснеженного леса рисуются силуэты их повисших ковшей, решетчатые стрелы с красными колесиками на конце, круглые крыши будок. Это экскаваторный парк, так сказать батарея орудий главного калибра в развертывающейся битве строителей Куйбышевской гидроэлектростанции с природой. Спешно заканчивается их монтаж.

В момент, когда пишутся и печатаются эти строки, в забой котлована стал первый мощный электроэкскаватор, и его ковш уже вынул первые кубометры грунта, погрузив их в мощные дизельные самосвалы минского завода.

Величайшая в мире стройка началась!

В нескольких километрах от котлована возвышается гора Могутная. Не зря она называется Могутной. Это неисчерпаемый источник строительного материала для многочисленных сооружений гидроузла. Миллионы тонн известняков и доломитов Пермской системы. Здесь немало поработали геологи. Гора Могутная покрыта девственным лесом – соснами, дубами, липами. Но этот лес сохранился лишь на верхушке. Склоны вскрыты. Сейчас здесь грандиозный каменный карьер, у подошвы которого пыhtят и тяжело ворочают своими длинными стрелами экскаваторы, вгрызаясь в камень стальными челюстями ковшей. По сравнению с горой Могутной экскаваторы и грузовики, которые копошатся возле них, кажутся совсем небольшими. Нагромождения битого камня, остроскулых скал, доломитовых глыб, расколотых взрывами. И только на головокружительной высоте, на чистом, сияющем фоне морозного неба, четко рисуются свежие силуэты темных сосен.

В стене карьера на разной высоте видны как бы небольшие темные пещеры. Это ходы в штольни. Там орудуют минеры, подготавливая новый взрыв небывалой силы. Будет взорвано около восьмидесяти тонн аммонита. Время от времени из хода в штольню, как из жерла старинной пушки, вылетает круглое облако дыма, и воздух вздрагивает от выстрела – это заканчивается проходка штольни, где в боковых галереях будут заложены заряды взрывчатки.

Один за другим ныряют грузовики-самосвалы по снежной дороге от карьера к берегу Волги. Туманное, малиновое солнце скрылось за высокой горой. Мороз крепчает. Ледяной ветер дует с Волги. Быстро темнеет. Над Волгой зажигаются электрические фонари. Они отражаются во льду. Похоже на каток. При ярком блеске прожектора двигаются длинные тени людей и автомашин. Здесь круглые сутки – ночью и днем – происходит засыпка банкета. Банкет – это, в общих чертах, каменный барьер, который должен оградить от волжского течения дно, где будет вырыт котлован для постройки железобетонного тела электростанции или, вернее, той ее части, которая вдается в Волгу. Банкет будет тянуться более чем на триста метров в плубь реки, поперек течения, строго по оси будущей плотины. Работы ведутся со льда. Камень засыпается прямо с грузовиков в так называемые майны – длинные проруби, вырубленные в метровом льду Волги.

Подходим к одной из майн. Темная вода плещется в проруби. Толстый, торосистый лед, сверху пронизанный лучами электрических фонарей, горит, как сапфир. Быстро подъезжает машина с камнем, разворачивается, дает задний ход и вплотную придвигается к краю майны. Водитель делает легкое, почти незаметное, движение рычагом. Кузов плавно приподнимается и становится наклонно. Камни, обгоня друг друга, с шорохом и стуком сыплются в майну. Выбрасывается столб воды. Ледяные брызги летят во все стороны. Волга кипит, сердится, долго не может успокоиться. То и дело со дна поднимаются громадные пузыри воздуха, лопаются, недовольно фыркают. Кажется, что потревоженная в своей зимней спячке река хочет извергнуть обратно брошенные на ее дно обломки доломита. Хочет, но не может. Человек сильнее. И Волга вновь начинает сердиться – пускать пузыри. Но не успевает она утихомириться, как подъезжает новый самосвал и новые тонны камней шумно сыплются в майну, под лед.

В некоторых местах, поближе к берегу, каменный банкет уже почти достиг уровня реки. И здесь можно наблюдать забавный феномен. Волжская вода уже повернула вспять. В масштабе майны Волга уже течет не от Горького к Астрахани, а наоборот. В этом легко убедиться, бросив в прорубь спичку поближе к нижнему, так сказать «астраханскому», берегу майны. Рассудку вопреки, наперекор стихиям, спичка начинает быстро плыть снизу вверх по Волге, от Астрахани к Горькому. Стало быть, банкет помаленьку начинает работать.

Ночь. Мороз еще крепче. Снег уже не скрипит, а отчаянно визжит. Трудно дышать. Безмолвие, тишина.

Но эта тишина обманчива. По широким просекам, вырубленным в девственных жигулевских лесах, нескончаемым потоком, одна за другой, бегут машины с тесом, станками, электромоторами, людьми, взрывчаткой, посылками, бурильными трубами, запасными частями, бензином, продовольствием. Среди леса мигают в новых, только что построенных, домах огоньки. Ни на минуту не останавливаясь, стучат на льду бурильные станки. С грохотом сыплется в майны камень. Воздух вздрагивает от подземных взрывов.

И как бы ни злилась Волга, как бы круто ни заворачивали морозы, как бы ни свирепствовали бураны и метели, весна не за

горами, первая весна строительства Куйбышевской гидроэлектростанции. Весна, которая принесет строителям первые победы.

1951

Москва моя!

Шел тысяча девятьсот двадцать второй год, пятый год революции. Только что окончилась гражданская война. На всем еще лежал суровый ее отпечаток. Трамвайные столбы, пробитые пулями уличных боев. Кое-где витрины, заколоченные досками. Обгоревшие развалины большого дома на том месте, где сейчас стоит памятник Тимирязеву. Разросшиеся, запущенные сады по всему кольцу Садовых. Толкучка вокруг Сухаревой башни. Запах дезинфекции на вокзалах. И вместе с тем во всем ощущение победы.

Это был исторический год провозглашения Союза Советских Социалистических Республик. 26 декабря X Всероссийский съезд Советов принял историческое решение об объединении советских республик, а через несколько дней, 30 декабря, на I съезде Советов Союза Социалистических Республик, были оглашены два исторических документа, принятых накануне конференцией полномочных делегаций РСФСР, Украинской ССР, Закавказской ФСР и Белорусской ССР: Декларация об образовании Союза Советских Социалистических Республик и Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.

В то время Москва еще не была радиофицирована. Но едва в зале съезда прозвучали слова исторической Декларации, как весть о провозглашении Советского Союза с быстротой молнии облетела столицу. На площадях, на бульварах, на перекрестках собирались толпы москвичей, окружая делегатов съезда. В цехах и на заводских дворах возникали летучие митинги. С песнями и красными флагами шли по улицам демонстранты. Гремели оркестры. У всех на устах были новые, гордые слова:

– Советский Союз!

Граждане только что провозглашенного Советского Союза поднимали красные кумачовые полотнища с четырьмя буквами:

«СССР». Эти четыре буквы гордо плыли над толпой.

Москва моя!.

Как хороша была она в этот день триумфа ленинской национальной политики. В этот день древняя столица России превратилась в столицу свободного Союза свободных Социалистических Республик.

В прозрачном дыму метели плыл древний Московский Кремль, и с древней Спасской башни победной музыкой звенели хрустальные колокола курантов, по всему миру разнося весть о рождении первого на земном шаре Союзного Социалистического государства.

В эти дни Москва еще была по внешнему своему облику городом старинным, со множеством церквей и часовен, с шатровыми колоколенками, головками мелких золотых куполов, со «стаей галок на крестах». С приземистыми купеческими лабазами, с облупленными особнячками Плющихи, с путаницей кривых арбатских переулков, с уездной жутью Марьиной Роши, с Солодовниковским пассажем, с извозчиками, трактирами, ломовиками, разносчиками.

Еще на кремлевских башнях блестели золотые царские орлы, пробитые октябрьскими пулями. Еще Старую площадь окружала Китайгородская стена с круглыми воротами, крытыми ящерично-зеленой черепицей.

Но уже умерла старая, дворянская, купеческая душа Москвы. Родилась новая душа – свободная, социалистическая. И ей было тесно. И уже в дыму метели угадывались величественные очертания новой, социалистической Москвы.

Москва моя!.

На наших глазах она изменялась, росла, хорошела.

Медленно, в течение восьми веков, складывался ее облик. За тридцать пять лет Советская власть изменила его до неузнаваемости. Идешь по Москве и уже с трудом припоминаешь, где что было.

Человек очень скоро привыкает к новому. Мы очень быстро привыкли к новой Москве. Привыкли к улице Горького, к мостам, к метро, к стадиону «Динамо», к гранитным набережным, к электрическим поездам, к асфальту, к газосветным вывескам.

И уже привыкли к высотным зданиям.

Иногда кажется, что все это так всегда и было.

Вместе со всем Советским Союзом Москва все выше и выше поднимается по ступеням народных пятилеток.

Стремительный рост Москвы отражает не только бурное, неслыханное в истории развитие всех производительных сил освобожденных народов Советского Союза. Он отражает рост духовных сил всего трудящегося человечества, с любовью и надеждой взирающего на рубиновые звезды Московского Кремля.

Москва – это не только столица Советского государства. Москва – это столица мира. Москва не только город. Москва – это идея всемирного братства трудящихся.

Москва – это родина всех, кого мировой капитализм лишил родины и превратил в рабов.

Как же нам не любить Москву, не гордиться ею?

Москва моя!.

В светлые дни радости и в черные дни горя ты для нас, советских людей, одинаково дорога и прекрасна.

Москва стала символом для всех простых людей земного шара, символом объединения всего прогрессивного человечества под знаменем мира, демократии и социализма.

Вот почему Москва вызывает к себе такую яростную ненависть со стороны всех черных сил мировой реакции.

Вот почему фашистские полчища Гитлера иступленно рвались к Москве осенью 1941 года. Им уже казалось, что они видят в бинокль башни Кремля. Они были уверены, что не сегодня-завтра Москва падет, а вместе с Москвой будет навеки покончено с коммунизмом.

Но они жестоко просчитались.

В тот день, когда гитлеровцы уже готовы были торжествовать победу, на Красной площади состоялся парад войск, идущих через Москву на фронт.

Москва моя!.

Ты видела тысячи знамен разбитых и уничтоженных немецко-фашистских армий и дивизий, которые принесла Советская Армия на великий парад Победы. Ты видела, как эти презренные знамена были брошены к ногам победившего советского народа, к подножию Ленинского Мавзолея.

Можно ли забыть тебя, Москва моя, в эти дни, можно ли забыть твое небо, озаренное вспышками торжественных залпов, сверкающие

разноцветные букеты салюта, дымно-стеклянные столбы прожекторов, улицы, полные ликующего народа!

Как же можем мы не любить Москву!

С каждым днем растет и хорошеет Москва. Теперь на ее улицах и площадях можно увидеть представителей нового, освобожденного Китая, стран народной демократии. Советский Союз уже не одинок. У него сотни миллионов друзей и союзников, сбросивших навсегда цепи капитализма и начавших новую жизнь по светлым законам Ленина.

Мы сильны, как никогда. Но мы не кичимся своей силой. Мы и все наши друзья и сторонники, все наши братья по классу хотим мира.

Знамя мира развевается над седыми башнями Кремля.

Жить можно только по законам коммунизма, по законам высшей справедливости, по тем законам, которые тридцать лет назад были провозглашены в день образования Советского Союза – первого свободного Союза свободных государств свободных народов.

Будь же и впредь путеводным маяком на пути к объединению трудящихся всего мира, наша любимая, родная Москва!

1952

Преступный заговор против прогрессивных сил Германии

Двадцать третьего ноября 1954 года в западногерманском городе Карлсруэ начался судебный процесс над Коммунистической партией Германии. По заданию федерального правительства суд должен был изыскать предлог для запрещения Коммунистической партии. Задача оказалась не из легких. Процесс растянулся на много месяцев. Первое судебное разбирательство не дало доказательств антиконституционности Компартии. Тогда боннские власти пошли напролом.

Тринадцатого июля 1956 года по приговору судей в Карлсруэ были брошены за решетки выдающиеся деятели КПГ Фриц Рише, Иозеф Ледвон и другие. Их справедливую борьбу за мир и демократию суд, плумясь над здравым смыслом, представил как «государственную измену».

После судебной расправы с руководителями КПП западногерманские власти принялись торопливо разыгрывать последний акт судебного фарса – готовить приговор о запрещении Компартии как «антиконституционной» организации. Западногерманское правительство оказывает на суд неприкрытый нажим, добиваясь вынесения приговора до конца августа.

В борьбу против мрачного замысла боннских реакционеров включаются все более широкие круги западногерманской общественности. Среди них и беспартийные, и рабочие, голосовавшие за христианских демократов, и социал-демократы.

«Запрещение КПП было бы направлено против прокладывающего себе путь ослабления международной напряженности», – заявил президент сената Бремена, социал-демократ Кайзен.

Факельные шествия состоялись в Фюрте, промышленном центре Баварии, и в Гамбурге. Под звуки боевых песен демонстранты пронесли плакаты, на которых были начертаны слова протеста против готовящегося запрещения КПП.

Трудящиеся Германии отлично помнят, что преследование Гитлером КПП в 1933 году было началом трагических для германского народа и всей Европы событий. Они не хотят повторения пройденного.

Готовится новое преступление против мира и человечества.

Правители Федеративной Республики Германии во что бы то ни стало намерены в самое ближайшее время добиться запрещения Коммунистической партии Германии.

Западногерманский федеральный конституционный суд в Карлсруэ назначил на 17 августа вынесение приговора по процессу Коммунистической партии Германии. Если КПП запретят, то, значит, в течение ближайших дней мир будет поставлен перед новым чудовищным фактом грубейшего нарушения священных прав человека и гражданина иметь свои собственные политические и философские убеждения и отстаивать их как устно, так и в печати.

Но по-видимому, боннским властям в высокой степени безразличны все демократические принципы. У них есть только один принцип: заслужить благосклонность своих американских патронов, которые в первую очередь требуют как можно скорее разделаться с Компартией.

Впрочем, здесь цели Бонна и разжигателей «холодной войны» за океаном полностью совпадают.

Компартия стоит у них поперек горла. Почему? По самой простой причине: Коммунистическая партия прежде всего борется за мир. Набатным словом призывает она немецкий народ выступить против создания нового вермахта, положить конец американским военным приготовлениям на немецкой земле. Во-вторых, Коммунистическая партия одной из главных своих задач считает всеми силами добиваться мирного воссоединения Германии и взаимопонимания между всеми немцами, независимо от того, в какой части Германии они находятся, – а именно этого боннское правительство и его опекуны боятся больше всего. И наконец, Коммунистическая партия честно, открыто, горячо и неумолимо выступает перед лицом всего человечества за мирное сосуществование стран с различными общественными системами, – а именно это и приводит в ярость боннскую и заокеанскую реакцию, так как ей во что бы то ни стало необходимо разделять народы и, разделяя, властвовать над ними.

Для достижения своих грубо корыстных целей западногерманские милитаристы-реваншисты готовы идти на любое нарушение самой элементарной справедливости.

Впрочем, это не ново. Принципиально нынешний Карлсруэ ничем не отличается от гитлеровского Лейпцига. Лейпцигский процесс 1933 года показал путь боннским реакционерам. Они оказались способными учениками. Но эта «академия» была не единственной. Свой повторный курс боннские деятели прошли, по-видимому, у лучших «профессоров» американского Федерального бюро расследований и у таких столпов «охоты за ведьмами», как Маккарти, Дженнер и Истленд. Во всяком случае, процесс в Карлсруэ свидетельствует, что Бонн старается применить гитлеровскую тактику уничтожения своих политических противников, модернизованную по последнему слову американской техники.

Но суть дела, однако, старая: сначала уничтожить Компартию, потом с божьей помощью отрубить голову социал-демократии, расправиться с профсоюзами, разогнать массовые организации...

Смысл зловещей игры Бонна становится все более ясным для многих в Западной Германии. В этом можно убедиться, перелистав

немецкие газеты за последние недели. Западногерманские политические деятели, деятели науки и культуры понимают, что Бонн не остановится на запрещении Коммунистической партии. Многие из них согласятся со словами писательницы Имгарт Кейн, заявившей недавно: «После 1933 года я, как человек и художник, считала, что должна ненавидеть тоталитарный режим и бороться с ним. И сегодня, как и тогда, я с ненавистью отношусь к тоталитарным мерам. Запрещение КПГ я стала бы рассматривать как „коварство под маской демократии“. Там, где над правом так издеваются, ни один гражданин не может быть уверен в своих правах. То, что угрожает сегодня коммунистам, завтра, возможно, будет угрожать противникам коммунистов – священникам и неверующим, а также политически нейтральным людям».

Тревогой полны в эти дни выступления многих газет ФРГ. Вот один из многих примеров. Католическая газета «Бадише фольксцейтунг» поместила на своих страницах заявление бургомистра местечка Нидерроден социал-демократа Вейланда. Он сказал по поводу намерения запретить КПГ: «Я считаю это недостойным и антидемократическим делом... Что угрожает сегодня КПГ, завтра может произойти с остальными политическими партиями».

Завтра...

Не слишком трудно угадать, что может быть завтра или, вернее, чего хочется инициаторам судебного фарса в Карлсруэ. Однако времена теперь другие. В 1956 году нельзя безнаказанно совершать преступления против человечества...

1956

Счастье нашей молодежи

В двадцать лет молодость кажется естественным состоянием человека. Думается – она никогда не кончится. Ее истинную цену, ее счастливую кратковременность, начинаешь постигать, когда тебе уже за пятьдесят или даже, увы, за шестьдесят. И мне хочется поговорить сегодня о нашей молодежи как человеку, перешагнувшему этот роковой рубеж, как человеку, много писавшему для юношества и о

юношестве, наконец, как руководителю журнала, само заглавие которого «Юность» объясняет смысл и содержание нашей в нем деятельности.

...Молодежь! Наша молодежь! Мы повторяли эти слова и в 20-х годах, и в 30-х, и в 40-х, и в 50-х, но не всегда задумывались над тем, а в чем же состоят коренные принципиальные черты нашей советской молодежи, как она изменяется во времени, как развивается, чем обогащается.

Значение VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов, думается мне, не только в той радости новых впечатлений, интересов, увлечений, которые он принесет нашему юношеству, и даже не только в важнейшем деле установления дружеских связей, личных знакомств с представителями разных стран и народов. Значение фестиваля и в том, что он заставит всех нас особенно глубоко задуматься о нашей молодежи, о ее судьбах, о ее сегодняшнем дне, ее будущем.

Мне кажется, главное, что отличает нашу советскую молодежь, — это спокойная, мудрая и вместе с тем веселая уверенность в высоком назначении человека, уверенность, которая двигала рукой Зои Космодемьянской, записавшей в своем дневнике известные чеховские строки: «В человеке должно быть все прекрасно...»

Это оптимизм исторический, он завоеван отцами и дедами сегодняшних юношей в октябре семнадцатого года, он был защищен в сорок первом году на заснеженных равнинах Подмосковья их старшими братьями. Это оптимизм молодого, восходящего общества, он рожден уверенностью в завтрашнем дне, твердым знанием, что сбудутся все предначертания и планы партии, что будет построено, выполнено, сделано все, что задумано народом. Нет страха перед завтрашним днем, нет боязни случайности — плохого настроения хозяйчика: не так посмотришь — и вышибут на улицу.

На стороне твоих прав, молодежь, стоит весь наш справедливый социалистический строй. И каждый новый день — во всех отношениях лучше предыдущего. Отсюда уверенность, бодрость, оптимизм.

Не стоит делать скидок на молодость, но нужно быть бережливым по отношению к ней. Если сегодняшние молодые люди и проигрывают в чем-то по сравнению с поколением, чья юность пришлась на первую четверть нашего века, то именно в отсутствии

собственного революционного опыта. Наш долг, долг писателей старшего поколения, – воспитывать нашу молодежь в духе высоких революционных традиций, в духе идейной чистоты и принципиальности.

По сравнению с людьми старшего поколения у нашей молодежи есть и другой невольный «недостаток». Она не видела своими глазами всех тех мерзостей старой жизни, того прошлого, знание которого, как писал Горький, необходимо. И когда какая-нибудь девушка начинает брюзжать, что не смогла купить юбки понравившейся ей расцветки или что каблук туфель имеет форму молотка, в то время как ей больше нравится форма гвоздя, то она далеко не всегда отчетливо представляет себе – могла ли мечтать о нарядах ее мать или бабушка в старой России.

Когда-то одному из героев моих книг, маленькому одесскому гимназисту Пете Бачей, достаточно было сходить на Ближние Мельницы, чтобы увидеть нищету заводского люда и понять очень много в окружавшей его жизни. Наша действительность тоже имеет «недостаток»: в ней нет «Ближних Мельниц» как социального явления, нет ужасающей нищеты, разорения и бесправия трудящихся масс. И очень хорошо, что советские юноши и девушки, встретившись с гостями фестиваля, собственными ушами услышат о жизни рабочих кварталов капиталистических городов, узнают, что такое колониальное рабство. В этом тоже весьма и весьма большое значение фестиваля.

Мы быстро привыкаем к хорошему, оно становится для нас привычным. Для нас нет уже ничего необыкновенного в том массовом порыве молодежного энтузиазма, который привел к подвигу на целине, который двадцать пять лет назад помог воздвигнуть Комсомольск и в дни войны бросал людей на амбразуры дотов. А ведь все это величайшие подвиги человеческого духа, темы, достойные величайших художественных произведений.

Да, в нашем обществе, живущем по законам материализма, немало идеалистов в лучшем смысле этого слова – людей, жертвующих очень многим и дорогим во имя высокой идеи. И это для меня лично, быть может, самая привлекательная, драгоценная черта нашей молодежи.

Нам приходится, особенно в последнее время, читать горькие статьи буржуазных журналистов, признающих, что технический прогресс в некоторых западных странах происходит одновременно с полным моральным одичанием: и душевным запустением. Капитализм восхваляет убогие мещанские «идеалы». Энергия человека должна быть затрачена на то, чтобы скопить средства и купить холодильник, телевизор, автомашину, которых не было у его родителей. Более высоких целей и идеалов у него нет. Жить становится невыносимо скучно и пусто. Не случайно ведь в капиталистических странах самого высокого жизненного уровня одновременно и самый высокий процент самоубийств, проституции, алкоголизма. Беда современного буржуазного общества не только в том, что оно не может обеспечить прожиточный минимум для большинства своих членов, – оно не может дать идей, с которыми человек мог бы не существовать, а жить в полном смысле этого слова.

Наша страна осуществляет грандиозную программу подъема материального благосостояния народа. На этом пути нас ведет могучая сила марксистско-ленинских идей, и мне хочется сегодня, в преддверии фестиваля, великого праздника всего мира, призвать наших юношей и девушек быть всегда достойными этих идей, высоко нести звание советского человека и помнить, что молодость не так уже бесконечна – ей отпускается много сил, но от нее требуется и большая работа.

1957

Парк заложен

Три фигуры: на плакате представители белой, желтой и черной рас шагают друг за другом, и каждый несет с собой что-нибудь подходящее к случаю – лейку, лопату, молоденькое деревцо. Эти человечки мелькают на всех заборах в районе Ленинградского шоссе. Нетрудно догадаться, куда они спешат. Разумеется, в Химки. Их ведут туда веселые флаги фестиваля, на торжественное открытие Парка дружбы.

Я побывал здесь накануне.

Это еще, конечно, не вполне парк. Но уже и не чертеж, не план парка. Все уже намечено, расставлено, иллюминировано, но еще не прописано.

Совсем недавно здесь был громадный пустырь. Как раз против речного вокзала. Парк речного вокзала, так сказать, старший брат новорожденного Парка дружбы. Парк речного вокзала огражден нарядной решеткой, за которой кружатся купы сильно разросшихся деревьев. Тенистые аллеи, статуи, цветы. Но ведь мы, москвичи, хорошо помним то совсем недавнее время, когда не было здесь ни парка, ни вокзала, ни водного простора, а был такой же пустырь да избы какой-то деревеньки. Не успеешь оглянуться – не узнаешь и Парка дружбы. Он вырастет, расширится, станет одним из красивейших парков столицы. Сейчас его площадь – семнадцать гектаров. В будущем комсомольцы расширят его до семидесяти гектаров.

Подготовлено три тысячи ям. Возле каждой ямы в корзинке – саженец. Молоденькая березка, дубок, лиственница, липка или же куст сирени. Они ждут момента, когда придут люди, посадят их, польют – одним словом, дадут жизнь новому парку.

И вот этот момент настал.

В центре парка яркий, изумрудный газон, на котором выложена из цветов эмблема фестиваля. Посередине семидесятилетний дуб, окруженный пятью нарядными, цветущими липами, символизирующими пять континентов.

Поют серебряными голосами горны пионеров. Короткий, пятиминутный митинг. Празднество началось.

Гости рассыпались по всей территории будущего парка, где тут и там виднеются разноцветные шляпки зонтиков-грибков.

Всюду зеленые саженцы в корзинах. Красные галстуки пионеров. Разноцветные черенки лопат. Лейки. Шланги. Каждому участнику посадки дается номер. Весь парк раз-Сит на семьдесят пять участков. В каждом участке сорок деревьев. У каждой ямы тоже свой номер.

Таким образом, каждое дерево имеет своего хозяина. Сажать деревья помогают пионеры.

Нынче 1 августа. Не знаю, случайно или нет, именно в этот день состоялось открытие Парка дружбы.

Ведь 1 августа – начало первой мировой войны.

Тем больший смысл приобретает международный праздник открытия Парка дружбы. Мы видим в этом страстное стремление народов к миру и дружбе. Пока еще на земном шаре совсем немного таких общих, интернациональных парков. Но человечество – лучшая его часть – твердо уверено, что со временем весь мир превратится в один чудесный, сияющий красками Парк дружбы.

Деревья посажены.

На каждом деревце прикреплено по табличке в форме прозрачного березового листка. В кармашек каждого листка вложена записка с именем и адресом человека, посадившего дерево.

Но вот еще более торжественный и волнующий момент. На центральном газоне, среди пяти кудрявых лип, приготовлены пять ямок для новой посадки. Сюда представители пяти континентов бережно сажают пять молодых дубков.

И навсегда запомнятся короткие, как вспышки магния, впечатления: норвежцы в красных колпачках закапывают в землю молодую московскую елочку; негр из Ганы в цветном, живописном одеянии рукой черной, как ночь, сажает в землю тоненькую березку; вот швед наклоняется и завязывает в платок горсточку советской земли, ставшей для него отныне священной.

Над парком грозное, аспидное небо. На фоне грозовой тучи ярко сияют, как переводные картинки, желтые, розовые, синие шарики, улетающие высоко вдаль.

И всюду оживленные, трудолюбивые люди. Всюду лопаты, лейки, деревца. А потом пошел дождь, обильно поливая молодые деревца, чтобы росли они, набирались сил на радость людям.

1957

Голос человека

Был тот смутный час летнего рассвета, когда ночь еще не уступила утру, но звезды уже одна за другой уходят с побелевшего неба и на нем остаются только самые крупные, дрожащие, как слезы.

Я выскочил из землянки, разбуженный тревожными гудками полевого телефона и звуками колокола, доносившимися со стороны пехотных окопов.

Это был сигнал газовой тревоги.

Я стал натягивать на голову противогаз.

Через минуту вся батарея уже была в противогазовых масках, и мои товарищи, солдаты, стали похожи на каких-то странных бескрылых насекомых с хоботами, как личинки под микроскопом.

Потом со стороны пехоты послышалась истерическая, бессистемная винтовочная и пулеметная трескотня, и я увидел в предрассветных сумерках волну белого тумана, которая ползла на батарею. Эта белая волна, низкая и тяжелая, была волной страшного удушливого газа – фосгена. Потом я почувствовал, что дышать трудно, почти невозможно. Противогаз отказал. Я сорвал его с головы и упал без сознания. А потом, когда взошло солнце, мимо батареи долго тянулись подводы, нагруженные мертвыми солдатами, как дровами. В это утро наша дивизия потеряла четыре тысячи отравленных газами.

Я чудом уцелел в тот раз.

Не говорю уже о Великой Отечественной войне Советского Союза против фашистских захватчиков: в битве под Орлом я тоже уцелел чудом.

Эта беспримерная в мировой истории война принесла нашему народу неисчислимые бедствия и страдания. Но великий советский народ, сильный своей правдой, под непобедимым знаменем Ленина не только стойко выдержал все невзгоды немецко-фашистского нашествия, но, со своей стороны, нанес фашистам сокрушительный удар, в результате которого рухнул навсегда ненавистный гитлеровский строй и Европа была освобождена от фашистского ига.

Советский Союз спас европейскую цивилизацию. Он совершил великий воинский подвиг, а по окончании войны другой подвиг – быть может, не менее великий: в легендарно короткий срок советский народ полностью восстановил свое хозяйство, разрушенное за годы войны.

Однако почивать на лаврах нам не приходится.

Сейчас империалисты вновь грозят нам, и уже не только химической, но и атомной войной.

Потому-то и вспомнилось мне сегодня то смутное, страшное утро 1916 года.

«Что же, – подумал я, – неужели и теперь угрозы станут смертоносными бомбами? Это чудовищно! Тогда – газы, теперь –

атомки?»

...Я мысленно перечислил все, чем богато человечество.

Европа, Америка, Азия...

Величественные памятники Афин и прекрасный город Париж... Цветущая земля Украины и мудрые древности Рима... Незыблемые стены Кремля и священные камни Ленинграда... Америка, родина Линкольна и Эдисона. Великий Китай и по-особому изящная культура Японии...

Годы, столетия и тысячелетия упрямого труда и вдохновенного гения.

Города и деревни, машины и природа, народы и поколения... И творчество, творчество – высшая форма человеческой деятельности. Всё – картины и поезда, книги и театры, цехи и житницы – всё по прихоти новоявленных каннибалов должно взлететь на воздух, раствориться в нескончаемом пространстве вселенной.

Но прежде всего империалисты хотят уничтожить юность.

Юность – это первые всходы на весенних полях и молодой поэт, с волнением ожидающий суда над первым своим стихотворением. Юность – это гордо поднятая голова Юлиуса Фучика. Юность – это молодая страна Ленина и созвездие стран, твердо решивших идти по ее пути. Юность – это Коммунистическая партия, единственная подлинно народная, подлинно демократическая, подлинно революционная и подлинно бесстрашная партия в мире.

Юность – это орденосный комсомол, в ясных глазах которого не гаснет нежнейшая любовь к другу и суровейшая ненависть, ненависть к врагу.

И все это хотят истребить, уничтожить, смешать с грязью, с землей, с самими недрами земными.

Хотят. Грозят. Пытаются.

Безумцы!

Двадцатый век – век электричества и атома. Но прежде всего это век Человека с большой буквы, в горьковском понимании этого слова.

А Человек, и прежде других молодой человек коммунистического склада, встает сегодня во весь рост, и голос его звучит, как гром:

– Нас не опутать обманом! Долой поджигателей, провокаторов и клеветников! Да здравствует маяк мира – великий Советский Союз!

1957

**Литературные портреты, заметки,
воспоминания**

Я встретился с Короленко в июне 1919 года в Полтаве. Это было как раз в самый разгар гражданской войны. Деникинская армия только что перешла в серьезное наступление и на всем фронте теснила наши части от станции Лозовой по трем направлениям: на Харьков, на Екатеринослав и на Полтаву. В силу создавшейся военной обстановки, Полтаве суждено было стать важнейшей тыловой базой, сосредоточившей в себе все продовольственное, административное и военное управление Левобережной Украины. Несмотря на героическую и самоотверженную работу ответственных товарищей, наше положение было ужасным. Ежедневно в тылу вспыхивали кулацкие восстания. Дезертиры – сотнями и тысячами, обнажая фронт, уходили в леса и глухие села. Рос бандитизм. Контрреволюционное подполье развило бешеную работу, и собрания деникинской контрразведки происходили чуть ли не в центре города (в монастыре). В эту жестокую, суровую и бурную пору судьба и забросила меня, больного и контуженого, в Полтаву.

Несмотря на множество событий громадной государственной важности, несмотря на голод, разруху и войну, несмотря на все тяжести жизни, имя Владимира Галактионовича Короленко было на устах у всех жителей Полтавы. О Короленко говорили всюду. На улицах и в садах, в театрах и кинематографах, на митингах и собраниях.

Короленко был полным выразителем идеологии той интеллигенции, которая хоть и отстала значительно от социалистической революции, но зато и не дошла до такого безнадежного, реакционного упадка, выразителем которого являлся

другой большой писатель – Иван Бунин, застрявший в Одессе по дороге из Москвы в Париж.

Через несколько дней после приезда в Полтаву я пошел к Короленко. Он жил в собственном домике на тихой, тенистой, провинциальной улице, поросшей травой и кустиками. Три ступеньки. Звонок. Высокая дверь тихо отворяется. На пороге – седая, темная, прямая женщина. В руках у нее коробка табаку. Она крутит сухими, пергаментными пальцами папиросу. Жена Короленко.

– Владимира Галактионовича можно видеть?

– А вы по какому делу? Просить за кого-нибудь? Владимир Галактионович только что вернулся из трибунала. Простите. Он очень устал.

– Я не по делу. Проездом через Полтаву хотел бы повидать Владимира Галактионовича. Но если ему трудно...

Жена Короленко внимательно всматривается в меня.

– Простите, как ваша фамилия?

Я называю. Она говорит «подождите» и уходит. Через минуту она возвращается.

– Пожалуйста, войдите. Владимир Галактионович просит вас.

Я вхожу в стеклянную, провинциальную галерею. Книжные полки. Много переплетенных книг. На корешках «В. К.». Журналы, газеты. На полу – детские игрушки: повозочка, лошадка и мяч; вероятно, внучат Владимира Галактионовича.

Сейчас должен выйти Владимир Галактионович. Я стараюсь себе представить, каким он должен быть. На фотографии у него черные пышные волосы, небольшие блестящие глаза, круглая борода и опрятный пиджак. Типичный русский интеллигент-писатель.

В глубине комнат слышатся частые, старческие шаги, и на пороге террасы появляется седоватый старичок, в вышитой рубахе, похожий на Толстого. Он протягивает мне руку и смотрит прямо в глаза своими живыми, блестящими, как черная смородина, глазами.

– Простите, – говорит он. – Я думал, что опять проситель. Очень вам благодарен, что зашли. Заходите, заходите.

Я приготовил целое приветственное слово, но, конечно, спутался и смутился. Владимир Галактионович заметил это и взял меня за руку, подталкивая в комнаты.

– Ну, что пишете? – спросил он, серьезно поглядывая на меня.

Этим вопросом я был совершенно озадачен. Я никак не полагал, чтобы Владимир Галактионович знал что-нибудь обо мне, а тем более читал что-нибудь из напечатанного мною. Свое изумление откровенно высказал Короленко. Тогда он, с непередаваемой неясностью и задушевностью, перечислил три-четыре моих рассказа, причем очень точно указал название изданий, где они были напечатаны, и даже год.

Через три минуты мы сидели с Владимиром Галактионовичем за чайным столом и оживленно беседовали обо всем, что в данный момент волновало его, и меня, и всю республику. Наша беседа продолжалась не более часа, но за этот небольшой промежуток времени я мог составить самое подробное представление о теперешней жизни и интересах Короленко.

Я узнал, что Владимиру Галактионовичу приходится почти каждый день выступать в Ревтрибунале, защищая самых разнообразных людей. Дело в том, что когда узнали, каким авторитетом пользуется имя Короленко в «административных сферах», его стали осаждать просьбами выступить в качестве защитника по тому или другому серьезному делу в трибунале. И Короленко не имел силы никому из просителей отказать.

– Ну, посудите сами, – говорил мне Владимир Галактионович, касаясь моего плеча морщинистой, слабой рукой. – Ну, посудите, могу ли я отказаться от защиты, если от этого, может быть, зависит жизнь человека? Не могу, не могу.

И тут я почувствовал, что независимо от политических воззрений человека, которого он спасал, независимо от того, хорош он или плох, Короленко был прежде и больше всего величайший гуманист, для которого каждая человеческая жизнь такая величайшая ценность, равной которой нет на земле. И в этом же явный перевес Короленко-беллетриста над Короленко-публицистом.

Я узнал, что Короленко помогает из своих последних средств больным и раненым красноармейцам. Во время нашего разговора два раза Владимира Галактионовича вызывала жена в соседнюю комнату,

чтобы сказать, что пришел какой-то голодный, оборванный красноармеец. Короленко сейчас же заволновался, стал рыться в кошельке и послал этому красноармейцу все деньги, бывшие при нем, и еще пару своего белья.

Словом, всегда и во всем Короленко был прежде всего мягким, добрым человеком и беллетристом, а потом уже политическим деятелем.

Потом мне пришлось быть у Короленко несколько раз. И особенно запомнилась мне наша последняя с ним встреча. Это было накануне моего отъезда из Полтавы в Одессу. Я зашел попрощаться и взять письма. В этот день Короленко был очень слаб и плохо себя чувствовал. В разговоре мы не касались современности, и Владимир Галактионович с особенным удовольствием и жаром говорил о прошлом. Разговор зашел о Чехове. Тут Короленко разволновался совсем. Он вставал из-за стола, ходил по комнате и все говорил о том, что никак не может понять и оправдать того, что Чехов работал у Суворина.

– Удивляюсь, как мог такой человек, как Чехов, писать у Суворина? Такой деликатный, мягкий, передовой человек? Для меня это тайна.

Короленко потом вспоминал, весело поблескивая глазами, как Чехов сманивал его уехать на Волгу и написать вместе четырехактную комедию; как в молодые, счастливые годы, с юношеским задором, Чехов восклицал, вертя в руках пепельницу: «Что, нету тем? А хотите, Короленко, я вам сейчас напишу рассказ про эту пепельницу!»

И мне было странно видеть этого большого писателя, который среди суровой, жестокой и великой действительности живет весь прошлыми интересами и волнениями.

В это время в Одессе печатался очередной, не помню который, том «Записок моего современника». Я поинтересовался, работает ли Владимир Галактионович сейчас над этим трудом.

– О да, – ответил Короленко, – ведь только сейчас я понял, что, в сущности, я совсем не беллетрист. Я публицист. Самый настоящий. А раньше я все никак этого не мог понять. Оттого, – прибавил Владимир Галактионович грустно, – у меня и беллетристика и публицистика выходили как-то неладно. Но теперь-то я уже знаю почему.

Прощаясь со мной, Короленко сказал:

– Знаете, в чем сила писателя? Вот видите ли, я как-то был в киргизских степях на каких-то землемерных работах. Ну, вот – юрты, навоз, снег тает, солнце, всюду грязь – ужасно противно. А посмотрите на это в зеркало камеры-обскуры: красота! Тот же навоз, та же грязь, но – красота. Так и писатель. Писатель прежде всего должен отражать. Но отражать так, чтобы выходило прекрасно.

Я улыбнулся.

– Вот вы улыбаетесь. А впрочем, может быть, я говорю и не то, что надо. Вы кого любите из современных писателей?

– Белого, Бунина.

– Бунина? – спросил задумчиво Владимир Галактионович. – Да, «Господин из Сан-Франциско» – прекрасный рассказ. Учитесь у Бунина, он хороший писатель.

Это была моя последняя встреча с Короленко.

Неповторимые, героические дни*

Время неудержимо движется вперед. Все отдаленнее события минувшего. Но, отдаляясь во времени, они не становятся меньше, мельче. Нет, очистившись от случайного, несущественного, искажающего пропорции, они встают перед твоим душевным взором – величественные, поражающие яркостью и чистотой своих красок, четкостью линий...

Так мне видятся теперь уже далекие, но все же необычайно близкие 30-е годы. Для меня их начало – это участие во «Всесоюзном дне ударника», подписание договора о шефстве, которое над нами, группой московских писателей, взяли рабочие станкостроительного завода «Красный пролетарий». В том же году, вместе с Демьяном Бедным, мы отправились на Днепрострой. Потом Ростсельмаш. Потом наши корреспондентские рейды на Сталинградский тракторный, в молодые колхозы, в МТС. И памятная поездка в Магнитогорск, на легендарную стройку.

Эпоха котлованов и строительных лесов, разбуженного захолустья и поднимаемой целины, эпоха чернорабочей прозы – она достойна самой высокой и светлой поэзии. О ней еще нужно писать, ее подвиги еще ждут своего великого художника. И все мы – ее современники и ее создатели, кто видел, как наша страна превращалась из аграрной в индустриальную, как стройки рождали тысячи новых героев-ударников, как громадным плодоносным пластом переворачивался на глазах целый мир, – все мы в большом долгу перед эпохой 30-х годов.

Оттого сегодня еще раз хочется повторить свои слова, без которых, как мне показалось тогда, четверть века назад, невозможно было закончить «Время, вперед!», – повторить потому, что для меня они и сейчас звучат как наказ самому себе, как строки из личного творческого устава:

«Пусть ни одна мелочь, ни одна даже самая крошечная подробность наших неповторимых, героических дней первой пятилетки не будет забыта».

Эпоха социалистического наступления, предпринятого партией на всех фронтах, открыла для меня новые горизонты, указала мне мое писательское место, мою конкретную задачу.

Вместе с тем появилось сознание ответственности перед партией и классом.

Почти полтора года с редким увлечением работал я над хроникой «Время, вперед!». Эта работа явилась для меня во многом переломной.

До сих пор я писал, так сказать, вслепую, более полагаясь на чувство разума, чем на разум. Чувство для писателя, разумеется, вещь абсолютно необходимая. Но если оно не освещено разумом, не подчинено идее, то в полном смысле слова художественного произведения не получится. Подлинная красота в искусстве есть синтез чувства и разума.

Я хотел создать вещь, которая бы не только отражала один из участков строительства, – в данном случае Магнитогорска, – но как бы погружала читателя с головой в его ритм, в его горячий воздух, во все его неповторимые, героические подробности, пронизанные насквозь одной идеей темпа, решающего все.

Я хотел, чтобы «Время, вперед!» несло в себе печать эпохи. Я хотел, чтобы моя хроника сохранила интерес и для читателя будущего, являясь для него хроникой уже как бы «исторической».

Лето, которое я провел на площадке строительства Магнитогорска, было незабываемым.

Чувствуя свою теоретическую неподкованность, я взялся за классиков марксизма: поглотил «Диалектику природы», несколько томов Ленина.

«...Задержать темпы – это значит отстать. А отсталых бьют. Но мы по хотим оказаться битыми. Нет, не хотим! История старой России заключалась в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы. Били турецкие беки. Били шведские феодалы. Били польско-литовские паны. Били англо-французские капиталисты. Били японские бароны.

Били все за отсталость. За отсталость военную, за отсталость культурную, за отсталость государственную, за отсталость промышленную, за отсталость сельскохозяйственную. Били, потому что это было доходно и сходило безнаказанно...

Вот почему нельзя нам больше отставать...»

Эта темпераментная цитата, органически введенная мною в ткань хроники, и явилась тем ритмическим импульсом, который определил всю ее смысловую зарядку и синтаксическую структуру.

Летом этого года я некоторое время (в общей сложности свыше двух месяцев) жил в политотделе Раздорской МТС и собрал значительное количество материала, который послужит мне в качестве ценного сырья для будущего.

Принимал участие в работе над коллективной книгой группы писателей о Беломорском канале, что дало мне много творческой радости, обогатило писательский опыт.

Пора выйти из круга традиционных тем.

Формируется новое искусство. Устанавливаются между людьми новые отношения. Задачи писателя грандиозно вырастают. Перед писателем во весь рост встает целый ряд тем, требующих самого широкого охвата.

Любовь, семья, творчество, собственность, счастье, горе, радость, молодость, рождение, старость, смерть...

Все это надо по-новому осветить, по-новому истолковать и утвердить.

Новое общество не может существовать на старых морально-этических основах.

Свою ближайшую писательскую задачу я вижу в освоении всех этих процессов.

Задача громадная, требующая большого спокойствия, выдержки и напряжения сил. Но миновать ее невозможно.

Для романа «Время, вперед!» я использовал не только впечатления Магнитогорска, но и поездки на Днепрострой, на тракторный завод, Сельмаш, в колхозы и др.

Но все это были наблюдения «из окна вагона» – экскурсии, «литературные вылазки», а прямая оперативная работа началась уж в Магнитогорске.

Я приехал на Магнитную гору с готовой идеей скорости темпа и сразу попал на рекорды.

Я включился в группу журналистов; мы занимались перенесением опыта лучших бетономешалок на другие объекты,

давали информацию в прессу – словом, вели обычную газетную, пропагандистскую работу. Материал стройки воспринимался не чисто эстетически, а практически, и это был самый правильный метод освоения новых тематических пластов.

На строительстве я пробыл два месяца. И мне кажется, этого достаточно. Нужно знать строительство и людей, но для этого вовсе не обязательно выбирать наиболее удаленный объект и сидеть на нем годами. Основная тема – переделка человека; материал для нее можно искать хотя бы в Москве – на Метрострое.

Писатели должны ездить как можно больше, но не для примитивного собирания деталей и выпуска книжечки о данном строительстве. Видеть собственными глазами, как наша страна превращается из аграрной в индустриальную, это значит перестраивать свое писательское мировоззрение.

Поездки могут сказаться на творчестве через большой промежуток времени и на совершенно другом материале – хотя бы, как это ни парадоксально, на материале коммунальной квартиры. А почему бы нет?

Поездки по стране наполняли меня чувством невероятной гордости. После работы над романом я попал в Бельгию – и мне было просто смешно смотреть на крошечные (по сравнению с нашими) домны, на провинциальные корпуса фабрик. Поездки дают правильный, бодрый взгляд на современность, дают возможность сравнивать, делать выводы.

Максимальный охват действительности, широкий кругозор необходимы для творчества писателя. Мне лично – поездки дали много ценного.

Полтора года назад я совершил две поездки в Магнитогорск. Собрал массу интереснейшего материала. Был свидетелем знаменитых магнитогорских бетонных рекордов. В результате появилась моя хроника «Время, вперед!».

Предполагаемый в качестве октябрьской постановки в театре б. Корш спектакль «Время, вперед!» является сценической обработкой вышеупомянутой хроники.

Не весь материал, конечно, удалось вместить в небольшую трехактную пьесу, но все же сохранился ряд интересных сцен, характеров, подробностей.

«Время, вперед!», строго говоря, не является «пьесой». Во всяком случае, в ней нет традиционной «театральной» завязки и развязки.

Скорее всего – это опыт почти хроникального перенесения жизни на сцену.

Почти все взято с натуры: персонажи, положения, характеры, столкновения, противоречия.

Я взял один небольшой участок гигантского строительства и проследил его жизнь в течение двадцати четырех часов.

Таким образом, у меня в пьесе соблюдены три единства – места, времени и действия.

Исполняя один из советов Станиславского: «Ищите, как идет день, как протекает время», – я попытался найти и перенести на сцену течение одних суток на шестом строительном участке Магнитостроя во всех его мельчайших подробностях.

В посвящении к своей хронике «Время, вперед!» я писал:

«...разве футболка ударника, платочек и тапочки комсомолки, переходящее знамя ударной бригады, детский плакат с черепахой или паровозом и рваные брезентовые штаны не дороже для нас в тысячи и тысячи раз коричневого фрака Дантона, опрокинутого стула Демулена, фригийского колпака, ордера на арест, подписанного голубой рукой Робеспьера, предсмертного письма королевы и полинявшей трехцветной кокарды, ветхой и легкой, как сухой цветок?»

То же чувство руководило мною, когда я брался за перо, чтобы написать эту пьесу.

В капле дождя я хотел показать сад.

1932–1957

О простоте формы*

Работать регулярно – моя мечта. В этом отношении всегда завидую Алексею Толстому. Мне когда-то Бунин сказал: «Самое важное – это преодолеть отвращение к листу чистой бумаги...» Особенно завидую Горькому. Он работает, как часы: пишет очередную вещь, в то же время пишет статьи, письма. Он человек – общественно наполненный. А мы?. Большое преступление со стороны Бабеля, такого талантливое писателя, большое преступление – и перед читателем, и перед литературой – за все время написать всего десяток печатных листов! Мы пишем позорно мало. Рекордно мало. Больше! Мы часто считаем это признаком хорошего литературного тона. Мы почти не пишем писем. А между тем возьмите Льва Толстого...

Медлительность писательских темпов – в значительной мере зависит от неясности мировоззрения и еще... (что скрывать!.) от некультурности. Художник должен работать быстрее.

В течение последнего года я занят мыслью, как бы создать такое произведение, которое было бы универсальным в смысле воздействия и на квалифицированного и на неподготовленного читателя. Хочется быть абсолютно доступным всем и работать не для нескольких тысяч читателей. Хочется для этого довести произведение до той совершенной простоты, которая отличает произведения классиков. Как это ни странно, до сих пор очень часто репутацию писателя создают небольшие группки, в которых немало эстетов. До сих пор живут гурманы, дегустаторы, благоденствуют собиратели дорогих изданий, «барышни – любительницы изящной словесности», существуют пережитки литературных салонов. Это «волнует». Этого не должно быть. Репутацию писателю должны создавать миллионы – они уже достаточно выросли для этого.

Формализм – это, говоря более или менее точно, прямое следствие вреднейшей теории, до сих пор себя не изжившей, теории «искусства для искусства», искусства, оторванного от народа.

Писатель, который работает для так называемых «понимающих», работает оторванно от масс, неизбежно должен скатиться к формализму. От этого его не удержит никакое мастерство. Все уродливое, связанное с формализмом, расцветает на почве изолированности писателя. Псевдокультурность, «изысканность», псевдоноваторство, симуляция глубокомыслия, все это – отдельные нити, связывающие писателя с формализмом. Язык есть средство наиболее точно выразить мысль, могущественное средство общения людей, а не самоцель. Словесные и композиционные выверты всегда лишь замазывают идейную пустоту и незрелость мысли.

Но еще более ужасен формализм эпигонства, подражательности. Бездарный писатель берет проверенную форму, найденную гением, и автоматически повторяет ее, наполняя своими анемичными, плоскими мыслишками. Получается нечто вроде чучела благородной птицы, набитое трухой.

Подобный формализм опасен. Зачастую неискушенному читателю, введенному в заблуждение «классичностью» формы, может показаться, что он имеет дело и впрямь с классиком, а на самом деле это самый вульгарный халтурщик-строчкогон, заgrimированный под Льва Толстого.

Любители формализма часто ссылаются на Маяковского. Дескать, Маяковский – формалист. Они забывают, что Маяковский всегда, даже в самые ранние времена своего творчества, был понятен. Даже во времена протеста против буржуазных канонов, не носившего еще политического характера, в дни расцвета футуризма – на фоне окружавших его футуристов-заумников он был самым понятным. Формалисты забывают, что Маяковский всегда стремился иметь самую широкую аудиторию. Годы творческого расцвета Маяковского совпадают с предельной понятностью и находчивостью его стиха.

Мне представляется, что форма некоторых наших писателей – форма упадка, – рассчитана на определенный вкус, на определенного потребителя, на «ценителя», на эстета. Их литература – литература «странностей», имитация глубокомыслия. Ведь когда мы говорим о хорошей литературе, о литературе, которая нам нужна, – мы говорим

о характерах и положениях, тщательно, социально рассмотренных, взятых в разрезе исторической большевистской беспощадности.

Главное у писателя – это чувство моральной ответственности, чувство, которое, к слову сказать, я начал понимать только недавно. И это вот чувство говорит мне, что мы, научившиеся за пятнадцать лет писать, можем теперь позволить себе роскошь стать на ступень выше. С этой точки зрения я считаю Всеволода Иванова хорошим и надежным мастером. Он идет все дальше и глубже. К простоте. К ясности. Правда, иногда путями чрезвычайной сложности (возьмите его роман «У»), что проистекает скорее от недостаточной четкости его отношения к миру, нежели от «злого умысла». Три рассказа Всеволода Иванова, напечатанные в свое время в «Красной нови», уже содержат те элементы простоты, из которых сложатся значительные вещи его будущего. Во всяком случае, Иванов – замечательное явление в нашей литературе.

И еще несколько слов о простоте. Эти свои мысли я высказал недавно на собрании литкружка при журнале «Работница». Я боялся, что меня поймут не так, как надо, поймут так, будто я, говоря о простоте, тяну к примитиву. Опасения были напрасны. Уходя с собрания, я еще больше укрепился в мысли, что простота – наивысшая сложность, что теперь нужно еще более широко поставить вопрос об овладении литературным наследством. У кого брать? Что брать? Как брать?

Мне, например, сейчас трудно, как никогда. Я не пишу иногда целыми днями, работаю не с полной нагрузкой. И не потому, что на моем письменном столе лежат рядом и перебивают друг друга начатый роман и начатая пьеса. И не потому также, что новый роман, по существу, задуман как первый настоящий роман, а новая пьеса – как первая серьезная комедийная пьеса. Осознание творческих задач до пределов усложнило самый процесс моего труда. Я бы сказал, что у меня сейчас переходный период, период преодоления старой формы, старых творческих навыков. И этот период, естественно, породил «производственные трудности».

Я «меняю инструмент». И для повести и для пьесы я ищу простой язык, простую фразу, полную простоту ситуаций, предельную

обнаженность мысли. Переменить перо – сложная операция. Нужно выбрать перо по почерку. Чтоб не летели брызги и не садились кляксы. Я еще не знаю, какой у меня будет «почерк», какое «перо»... И получится ли то, о чем я мечтаю...

Стремясь наполнить свои произведения идеей, мыслью, я всячески ограничиваю словарь. Я довожу его до возможной краткости. Я добиваюсь в то же время наибольшей нагрузки слова. Я хочу, чтобы слово с максимальной точностью соответствовало мысли, которая в нем заложена. Я хочу изгнать из романа метафору, этот капустный кочан, эту словесную луковину, в которой «триста одежек, и все без застежек», и в которой вместо сердцевины – пустота...

А может быть, я заблуждаюсь и метафоричность – это единственное, что есть ценного в литературе?

Нужен ли нам редактор? Я думаю, что глупо ошибаются все те, кто по наивности думает, что писателю редактор не нужен. У лучших наших писателей были редакторы. Редактировались Толстой, Гоголь, Пушкин, Чехов... Словом – все. Вопрос в том: какой нужен редактор? На это имеется исчерпывающий ответ: редактор нужен хороший. А хороший редактор – это значит человек тонкий, образованный, любящий литературу и литераторов, человек большого литературного вкуса, а главное – такта. У хорошего редактора должен быть дифференцированный подход к писателю. Хороший редактор должен уметь войти в сферу интересов своего писателя, должен ощутить, полюбить и познать всю – если так позволено будет выразиться – творческую его аппаратуру. Должен перевоплотиться. И только тогда, пользуясь преимуществом свежего глаза и «боковой» точки зрения, приложить руку к чужому слову, ставшему вдруг родным...

Это громадные требования. Но у нас уже есть несколько редакторов, удовлетворяющих этим требованиям, и надо добиться, чтобы все редакторы были таковы. Ибо нет ничего страшнее, чем редактор равнодушный. Это дело не шуточное.

Альбер Марке*

Весь октябрь стояла ангельская погода: солнечная, сонная, мягкая. Лайковые перчатки листьев валялись под каштанами на бульварах. Мелкий дождик начался неожиданно в девятом часу утра. Он окутал Париж теплым, пепельным облаком. Париж стал еще прекрасней.

В одиннадцать часов мы отыскивали новую квартиру Марке. Знаменитый пейзажист остался верен себе. Как и следовало ожидать, это был район Нового моста.

Над Сеной, за грубыми баржами, в синеватом, как бы мыльном, воздухе, слабо виднелись два куба Нотр-Дам.

Он вышел к нам, маленький, очень аккуратный, в сером элегантном костюме, с серой жемчужиной в скромном галстуке, и сдержанным движением короткой ручки пригласил войти в комнаты.

С макинтошами и шляпами в руках мы последовали за Марке в гостиную.

– Вот все, что я могу предложить вашему вниманию, – сказал он, показывая на свои работы, расставленные всюду, где только можно было их поставить, – на подоконниках, стульях, диванах, сервантах.

Вся новая квартира представляла собой наскоро сымпровизированную выставку замечательных пейзажей. Количество их свидетельствовало о громадной работоспособности мастера; качество – о гениальности.

В московском музее новой западной живописи есть несколько отличных работ Марко. Я давно восхищался его тончайшим мастерством, в котором совершенное чувство природы непостижимым образом соединялось с грубоватым лаконизмом настоящего реалиста большого стиля.

Друг Матисса, современник Пикассо и Дерена, звезда первой величины в блестящей плеяде французских живописцев конца XIX и начала XX века, Альбер Марке сохранил, как никто, свою творческую индивидуальность. Время и мода не повлияли на развитие его громадного таланта. Между ним и миром не было других посредников, кроме его исключительного глаза и нежного сердца

несколько старомодного лирического поэта. Но это было сердце настоящего поэта, который видит и любит мир по-своему.

Я рассматривал его работы, удивляясь и восхищаясь точности его кисти и скупости красок.

Ведь это он научил художников передавать воду белилами. Ведь это он с необычайной смелостью ввел употребление натурального черного цвета в то время, когда Париж, а за ним и весь мир сходил с ума от изощренной техники импрессионистов, разлагавших основной цвет на тысячи составных частей. Ведь это он наглядно показал, что цвет – это эпитет, который может с предельной, лапидарной, почти научной точностью определить качество предмета – будь то чугунная ограда Сены, буксирный пароход или куст боярышника на сельской меже.

Дождь начался в девятом часу утра, а уже в одиннадцать на бархатном стуле в гостиной Марке стоял почти законченный этюд маслом – вид из окна на Новый мост в дожде: жемчужный воздух Парижа, клеенчатый блеск зонтиков, макинтошей, «лимузинов» и столбы блестящих отражений в накатанном асфальте моста.

И на полу – скромная палитра.

У Марке нет мастерской. Он работает в гостиной. Кресло – его мольберт. Париж – его модель. Он работает не покладая рук.

Его папки, его путевые альбомы – это неиссякаемые сокровищницы экзотических новелл.

Марокко, Египет, Судан...

Он показал нам свою квартиру. Она еще не отделана. В ванной проводят водопровод. Стены ванной выложены плитками замечательной керамики. Это копии почти всех путевых рисунков Марке в красках. Художник сам их сделал. Потом отдал плитки на завод обжечь. Теперь его ванная – это своеобразная картинная галерея.

Усатый водопроводчик в каскетке, копавшийся в углу над обмазанными суриком трубами, поднял на нас улыбающееся лицо и сказал с оттенком гордости:

– Хе! Вы видите? – Он показал на стены. – Теперь я могу не ходить на колониальную выставку. Я уже все видел. Мосье Марке нарисовал все.

Марке очень интересовался советской живописью. Особенно работами наших театральных художников. Он расспрашивал о новых постановках: из какого материала делаются у нас декорации и т. п.

– А вы, господин Марке, – сказал я, – не пробовали свои силы в театре?

– Нет.

– Но почему же?

Он скромно вздохнул, несколько смущенно потирая свои маленькие ручки.

– Но ведь меня никогда не приглашал Дягилев.

Увы, в Париже только один человек мог дать работу Марке в театре... Дягилев!

Я улыбнулся.

(Мейерхольд! Станиславский! Таиров! Вахтанговцы!)

– Вам надо приехать к нам, в Москву, мосье Марке.

– Я приеду.

Я посчитал это обычной, ни к чему не обязывающей любезностью.

Мы простились.

Из своего окна вижу Москва-реку, нежные флаги яхт-клубов, Бабьегородскую плотину, гребцов, купальщиков, мост, жемчужно-синие контуры Парка культуры и отдыха с башней, парашютами и дирижаблем. Летит гидроплан. Белилами блестит вода. Бежит черный речной трамвай. И вдалеке туманная сетка Шаболовской радиостанции, похожая на Эйфелеву башню...

Весь этот живописный мир я вижу глазами любимого пейзажиста. Он приехал, Альбер Марке.

Привет!

1934

Топор в похлебке*

Может быть, кто-нибудь забыл сказку о том, как солдат топор варил?

Напомним.

Пришел голодный солдат в избу к скупой бабе.

– Дай, хозяйюшка, чего-нибудь поесть.

– Ничего, солдатик, нету.

– Ну что ж! На нет и суда нет. Придется топор варить.

Вот солдат стал варить топор. Варит час, варит два.

А баба прямо-таки с ума сходит от любопытства: как это солдат будет топор есть?

– Ну что, солдатик, сварился уже топор?

– Нет еще. Твердый. Вот если бы в него мало-мало пшена подсыпать, да картошечки штук восемь покрупнее положить, да маслица ложечку, да говядинки фунтика два, тогда живо поспеет.

Принесла баба солдату продуктов. Солдат их и сварил.

– Ну, хозяйюшка, готово. Сварился. Смотри, сейчас буду есть топор.

Взял солдат ложку и стал за обе щеки уплетать.

Смолотил всю похлебку, облизал ложку, поклонился хозяйке в пояс.

– Спасибо, хозяйюшка, накормила солдатика, теперь я пойду домой.

– А топор? – воскликнула баба, похолодев.

– А топор еще не доварился. Твердый. Я его как-нибудь на этих днях приду доваривать.

Такая же история произошла недавно с одним донбасским литератором – Александром Фарбером, но только совершенно наоборот.

Взялся Александр Фарбер сварить повесть о замечательных людях Донбасса. Причем щедрая хозяйка – жизнь – не поскупилась на материал. Изотов, Стаханов, Дюканов, Концедалов – бери кого хочешь, ребята один в одного, для хорошей повести ничего не жалко! Лишь бы вкусно и сытно получилось.

Вот и стал Александр Фарбер варить свою похлебку под заглавием «Победители» («Литературный Донбасс», 1933, № 10).

– Ну что, – спрашивает хозяйка, – готово?

– Нет еще. Не готово. Пресновато. Вот если бы топор положить, тогда быстро доспеет.

– Топ-ор?

– Ну да. А как же! Метафорический топор. Без метафорического топора невкусно будет.

– Где же я тебе его возьму? Мы люди скромные, простые, без фокусов. Наши дела сами за себя говорят.

– Никак нет. Без топора не выйдет. Не «художественно» получится. Да ты не беспокойся. Я сам все сделаю.

И пошел валить Александр Фарбер в свой горшок всяческие «красоты» и «метафоры». Каждая этак по два пуда весу.

Вместо «розы»:

«багровые, как запекшаяся кровь, розы».

Вместо «деревянный крест»:

«деревянный знак смерти».

Если борщ, так непременно:

«Золотым костром пылал в тарелках борщ».

Если снится комсомольцу Концедалову сон, то уж будьте уверены:

«Глубокие падали уступы. Поднимались вколоченные стойки и начинали странный пляс. Отбойные молотки солидно сидели по сторонам. Но вот в хоровод ворвались лампочки, и желтоглазые карлики запрыгали по уступам. Но подошел Митя, и они окружили его тесным и дружественным кольцом. Они все сильнее обнимали его, и он уже не мог вырваться из странного круга».

Если звезды, то:

«Золотыми шкивами кружились звезды над рудником».

И пошло и поехало.

«Есть такой остров Сингапур. Ему показал его на карте стрелочник Агей. Он обязательно поедет на этот остров. Там синий гудит вдоль берега океан, фиолетовые кричат попугаи».

(Спасибо еще, что «лиловый негр не подает манто»!).

«Телеграф простучал ее (новость) по проводам в столицу области, и она легла на стол секретаря обкома партии голубой птицей

победы».

«Черное одиночество пласта разрушалось...»

«Уверенно ставя шаги».

И так далее и так далее.

И обязательно у Александра Фарбера то-то похоже на то-то. Как будто бы нельзя хоть разочек обойтись без сравнения, тем более что сравнения у него все равно в подавляющем большинстве неудобоваримы, как топор.

Только одно место радуется во всей вещи:

«А ведь Митя говорит серьезно. Алексей Стаханов рубит уголь, как... как... – И, не найдя подходящего сравнения, Концедалов умолкает».

Вот видите. Даже Концедалов умолкает. Нет подходящего – валяй неподходящее. Лишь бы щегольнуть, извините за выражение, «стилем». Лишь бы, не дай бог, не подумали, что он не читал Уайльда.

И лежит большой, неуклюжий топор неосвоенной метафоры в жидкой похлебке «Победителей», куда зря убухано столько замечательного материала, – выражаясь в стиле Фарбера.

И совершенно напрасно.

Александр Фарбер человек даровитый и делает полезное дело.

Пожелаем ему как можно скорее вынуть чужой топор из своей похлебки.

Топора от этого не убудет, а похлебка явно выиграет.

Ровесники кино*

Писатели моего возраста – ровесники кино. Наше детство совпало с его детством. Мы ходили в кино часто, чуть ли не два раза в неделю. Я успел пересмотреть в юности почти всю «Золотую серию».

К романам и стихам, которые мы читали, к картинам и музыке прибавилось новое искусство, включился новый фактор, повлиявший на формирование нашего мастерства.

Кино перевернуло привычные понятия о времени, привитые другими видами искусства. Мы узнали время кино, отличное от времени романов Тургенева, пьес Островского. Кино дало новое представление о ритме искусства, показало совершенно новую логику развития образного строя произведения.

Позже я познакомился с работами Гриффита, с изобретенными им кинематографическими приемами – крупным планом и так называемым американским монтажом.

Элементы кинематографического монтажа, самое понятие «монтаж» стало для многих писателей моего поколения вполне органическим понятием в нашей работе. Я до сих пор говорю – «монтировать рассказ».

Некоторые мои ранние произведения – «Остров Эрендорф» и ряд рассказов – написаны под явным влиянием кинематографа. Заметно влияние кино в повести «Растратчики», где много чисто кинематографических реминисценций. Я широко применил там прием крупного плана, чисто кинематографическое обыгрывание вещей в их кинематографической сущности.

Кино научило меня как писателя более свободному обращению со временем. «Время, вперед!» – произведение, построенное буквально по принципу кино.

Как и всякое молодое искусство, кино развивается в чрезвычайно неожиданных направлениях. Внесение слова и звука в кинематограф изменило ритм и монтаж. Потеряв в своей стремительности, кино от внесения звука приобрело совершенно новое качество.

Некоторые из виденных звуковых фильмов – «На Западном фронте без перемен» Майльстоуна и «Огни большого города» Чарли

Чаплина – произвели на меня потрясающее впечатление новизной приемов и богатством новых, еще неиспользованных возможностей. Диалог, звучащий где-то за кадром в «На Западном фронте без перемен», произвел громадное впечатление, как намек на большую область неиспользованных возможностей и неоткрытых еще приемов.

Кино дает писателю много. Теперь вопрос о том, что писатель дает кино.

Я считаю, что писатели дают кино еще немного. Об этом можно судить по целому ряду инсценировок литературных произведений на Западе и у нас. Уэллс в «Невидимке» очень много потерял в своем литературном качестве. Очень много потерял от своего обаяния и Ремарк в превосходно поставленном фильме «На Западном фронте без перемен».

По-настоящему писателя в кино еще не было. Все те художественные подробности, которые делают произведение искусства произведением искусства, в фильме зависят всецело от режиссера и оператора. Все, что написано писателем, можно снять под совершенно другим углом зрения. Не было случая, чтобы режиссер не обращался с писательским материалом с полной свободой. Писатель и режиссер говорят на разных языках.

На том уровне, на котором находится сейчас кино, писатель, очевидно, может давать для фильма сюжет и диалоги, которые отнюдь не должен писать ассистент режиссера.

Особо стоит сказать о художнике в кино.

Работа художника в наших фильмах далеко отстает от работы художника в театре. Художественное оформление наших фильмов порою вызывает просто досаду и недоумение. Кинематограф не имеет еще своего Рындина, своего Рабиновича, своего Тышлера. Вопрос этот очень серьезен.

Николай Павлович Хмелев*

Передают, что Станиславский на репетиции сказал одному актеру:

– Можете играть хорошо; можете играть плохо; это меня не касается. Мне важно, чтобы вы играли верно.

В этом простодушном замечании – бездна ума и опыта. В самом деле. Попробуйте-ка сыграть верно, не имея техники! Возможно, что актеру без техники удастся верно почувствовать. Но верно сыграть – вряд ли. Так как мало почувствовать правду, ее еще надо выразить с наибольшей наглядностью и убедительностью, пользуясь всей актерской аппаратурой.

Без «верно» – нельзя создать типичного. «Верно» – это высшая похвала художнику.

К Хмелеву можно относиться как угодно. Это дело вкуса. Но то, что Хмелев всегда играет верно, не вызывает ни малейшего сомнения.

Хмелев принадлежит к числу мастеров острого рисунка. Его излюбленный прием – метонимия. Часть вместо целого.

Вспоминая образы, созданные Хмелевым, прежде всего видишь положение рук артиста. Полковник Алексей Турбин в пьесе «Дни Турбиных» Булгакова. Этот образ принес Хмелеву славу. Социальная обреченность. Трагедия одиночества. Опустошенность.

Я вижу твердые, несколько поднятые плечи с погонами, одна рука твердо заложена в карман тужурки – нащупывает револьвер!.

И рядом совсем другое.

Очаровательный, хитрый и вместе с тем норовистый купеческий дворник Силан из «Горячего сердца».

Обе руки упрямо засунуты под белый нагрудник фартука. Типичный, верный, непреложный жест. Уморительная сцена с городничим (Тархановым):

– Молчи!

– Молчу.

Курносый нос задран и неподвижен. Глаза по-старчески нахально прищурены. Но руки под фартуком упрямо шевелятся.

Публика с первого же явления начинает любить старого дворника.

Просто? Да, очень просто. Но – верно. И в этом все дело.

А дядюшка в «Дядюшкином сне»!

Сколько ему лет, этому дядюшке? Сто или двадцать два? Страшная маска искусственной молодости на развалине. Именно «развалине». Она сейчас рассыплется. Эта чудовищная, неправдоподобно раскрашенная заводная игрушка распадается на суставы.

Гальваническими движениями выбрасываются вперед ноги. Кажется, они трещат. Вот-вот выскочат коленные чашечки и покатятся, подпрыгивая, по полу сцены. Выпадут шарниры, заведутся стеклянные глаза куклы.

А руки между тем живут особой жизнью, совершенно несогласованной с жизнью остальных частей тела. Они движутся, судорожно хватая не то, что приказывает мозг.

Но вот я вижу прокурора из горьковских «Врагов».

Руки грубо и прямо засунуты в карманы узких и длинных, черных «прокурорских» брюк. Плечи высоко подняты. Прокурор поигрывает в карманах пальцами и покачивается с носков на каблуки и обратно.

Четко, типично, верно, убедительно. Очень похоже на словесную живопись Горького – всегда острую, гравюрную, сильно запоминающуюся.

Наконец, царь Федор...

Сыграть эту роль после Орленева и Москвина...

Это более чем смело. Но Хмелев уверен в себе. Он лепит образ слабохарактерного царя по-своему, по-хмелевски.

И опять же – руки.

Теперь они длинные, вялые, с длинными пальцами, белыми до голубизны. Почти лазурные, прозрачные пальцы душевнобольного, и в них, в этих нервных пальцах, безжизненно повис легкий шелковый платок.

Хмелев играет платком. Вот он приложил его к темени с жидкими, приглаженными, плоскими волосами. Он струящимися движениями – сверху вниз – вытирает пот со вдавненных висков.

Плечи согнуты. Тонкие пепельные губы радостно и обреченно улыбаются сквозь редкие, как у покойника, усы.

Это князь Мышкин в парчовом одеянии русского царя... Царь Федор падает на колени и ломает над головой руки. Синие тени лежат под прекрасными глазами суздальского письма.

Трагедия окончена. У зрителей на глазах слезы. Хмелева вызывают бесчисленное число раз. Он выходит и кланяется, приложив дощечкой узкую руку к плоской груди царя Федора.

Трудно носить бармы и шапку Мономаха в очередь с Москвиным!

Сейчас Хмелев «ищет» Каренина.

Что такое Каренин? Что в нем главное: религия, тщеславие, страдания уязвленного самолюбия или страдания разбитого сердца? Кто он? Эгоист и бюрократ или бессердечно обманутый муж?

Победоносцев или Сперанский?

Но уже сейчас, с увлечением говоря о Каренине, Хмелев похрустывает пальцами и щелкает их суставами...

И мне вспоминается забавный случай из жизни Хмелева. На заре своей артистической жизни Хмелев «делал» Снегирева из «Братьев Карамазовых». С ним работал Леонидов. Хмелев был захвачен работой: он не находил себе места и по нескольку раз в день приставал к Леонидову с вопросом:

– Леонид Миронович, скажите: у меня, по крайней мере, хоть получается тип?

– Сами вы, молодой человек, – тип! – наконец буркнул Леонидов, вперя в молодого актера свой знаменитый пулевидный глаз.

Хмелев рассказывает об этом с удовольствием. Теперь у самого Хмелева много учеников, и когда они слишком усердно пристают к своему «мэтру» с трепетным вопросом:

– Николай Павлович, у меня получается тип? – Хмелев иногда отвечает, делая леонидовский глаз:

– Сами вы, молодой человек, – тип!.

Николай Островский*

В конце романа «Как закалялась сталь» есть место, которое трудно читать без слез:

«В такие минуты вспоминался загородный парк, и у меня еще и еще раз вставал вопрос:

– Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?

И отвечал:

– Да, кажется, все!»

В этих немногих, скупых и сдержанных словах, лишенных малейшей тени позы или сентимента, – весь Николай Островский, писатель и гражданин, вся его мужественная простота, все его высокое человеческое достоинство, подлинно большевистская ясность, прямота, честность.

Значение Николая Островского для нашей литературы огромно. В сказочно короткий срок стал он любимейшим, популярнейшим автором миллионов советских читателей всех возрастов и вкусов.

Только могучая Коммунистическая партия могла вырастить в своих рядах человека такой несокрушимой воли, такого чистого и сильного таланта, воистину народного, воистину массового, воистину революционного.

В этом человеке, физически уже обреченном, было столько презрения к смерти, столько любви к жизни, столько огненного творческого беспокойства, что поневоле, когда думаешь о нем, становится подчас стыдно за свои мелкие писательские сомнения, колебания, лень.

...Крутой, упрямый лоб. Высокая шевелюра. Молодые усы. Белая рука сжата. Рядом с ней на потертых походных штанах лежит кобура револьвера. И прямые глаза, слегка исподлобья, как бы сурово обращенные в самую душу:

– Все ли сделал ты, чтобы вырваться из железного кольца, чтобы вернуться в строй, сделать свою жизнь полезной?

Ты не вырвался из железного кольца, дорогой товарищ Николай Островский! Ты ушел от нас, но твоя чудесная, пламенная жизнь

продолжается, цветет, кипит в миллионах твоих читателей!

1936

Памяти друга*

1

Умер Ильф – один из двух, составлявших замечательное содружество: Ильф – Петров. Друг добрый и вместе с тем требовательный. Взыскательный художник, человек тонкого и оригинального критического ума, высокого литературного вкуса. Милый, дорогой спутник молодости!

Он вошел в литературу в самый разгар гражданской войны и сразу же занял одно из первых мест в ряду революционной политической молодежи, объединившейся вокруг «Окон сатиры» одесского РОСТА.

«Окна сатиры»... Путь многих славных: Маяковского, Багрицкого.

Потом – Москва. «Гудок».

В «Гудке» Ильф нашел тот особый, острый, неповторимый стиль обработки рабкоровских заметок, который создал славу знаменитой в свое время гудковской четвертой полосе. Три-четыре изумительно отточенных строчки и заголовок, бьющий наповал.

Это была проза, сделанная мастерской рукой поэта-публициста.

Встреча с гудковцем же Петровым. Сближение. Опыт совместной работы над сатирическим романом «Двенадцать стульев». Блестящий успех этого романа, создавшего авторам известность. «Золотой теленок»...

Работа в «Правде» дала Ильфу – Петрову миллионную аудиторию, а вместе с тем внутреннюю содержательность и глубину.

И наконец, роковая поездка в Америку. Роковая потому, что Ильф, уже будучи тяжело болен, совершил по Америке утомительнейшее путешествие на автомобиле. Свыше шестнадцати тысяч километров. В результате – новая книга: «Одноэтажная Америка».

Но какой ценой была куплена эта книга! В этом – весь Ильф, не пожелавший прервать путешествия, несмотря на обострение болезни.

Он стремился наиболее полно и добросовестно изучить материал. В этом – настоящая писательская честность.

Теперь Ильфа нет.

На высокой подушке тяжело лежит белая голова с крупными, резко очерченными губами.

2

Год назад умер Илья Ильф.

Он умер в цветущем возрасте. Ему было сорок лет. Он принадлежал к поколению писателей, воспитанных Советской властью.

Ильф не был членом Коммунистической партии, но по своим политическим убеждениям, по идейной направленности своей работы, по моральному облику он представлял собою тот тип активного советского человека, которого мы с гордостью и уважением называем – непартийный большевик.

Жизненный путь Ильфа – мастера, человека – в равной мере и сложен и прост.

Ильф вышел из низовой интеллигентской среды. Его отец был бухгалтер. Ильф учился в Одесском техническом училище. Позже работал на авиационном заводе.

Его юность совпала с мировой империалистической войной; начало зрелости – с первыми годами Советской власти.

Ильф с детства тяготел к литературе: много читал, выработал превосходный вкус, писал стихи в своеобразной и острой манере.

Первые три года революции протекли на Юге необычайно бурно, за это время в Одессе совершилось четырнадцать «смен властей».

Какое богатство для острого, аналитического глаза сатирика!

Ильф был сатириком преимущественно.

В 1925 году И. Ильф переехал в Москву и начал работать в газете «Гудок». Первые же рабкоровские заметки, «обработанные» Ильфом, произвели в полном смысле слова переворот в этой области. В нескольких чеканных, отточенных, как кинжал, строчках Ильф давал убийственную прозаическую эпиграмму.

Это была тяжелая газетная работа. Но Ильф относился к ней, как к самому высокому литературному жанру. Он вкладывал в нее все свое мастерство, свой острый, парадоксальный ум, свою наблюдательность, всю свою ненависть к штампу.

Работа в «Гудке» дала Ильфу громадный опыт, без которого немислимо подлинное искусство.

Затем состоялась встреча с Евгением Петровым. Возник замечательный коллектив «Ильф – Петров», подаривший нашей литературе не одну прекрасную книгу, начиная от «Двенадцати стульев» и кончая «Одноэтажной Америкой», и не один десяток боевых фельетонов.

Ильф всегда был связан с газетой. Его связь с «Правдой» продолжалась до самой его смерти.

С каждой новой вещью мастерство Ильфа и Петрова совершенствовалось, становилось все более реалистичным.

А последняя книга – «Одноэтажная Америка» – достигла великолепной прозрачности, точности и ясности, свойственных только настоящим художникам слова.

Ильф был реалист. И статья реалистом помогла ему революция.

В писательской среде сейчас особенно много идет споров о социалистическом реализме, о простоте, ясности, четкости, о чистоте языка и народности искусства.

И как жаль, как бесконечно обидно и горько, что в это время с нами нет замечательного писателя и критика, тонкого человека, настоящего, неподкупного непартийного большевика – Ильи Ильфа.

Личность Ильфа не отделима от понятия «Ильф и Петров». И тем не менее как Ильф, так и Петров, конечно, существовали каждый в отдельности не только в жизни, но и в литературе.

Ильф возник раньше.

Мы помним появление молодого Ильфа. Эпоха военного коммунизма. Одесса. Так называемый «Коллектив поэтов» – пестрое и очень шумное содружество литературной молодежи. В большом

запущенном зале покинутой барской квартиры происходит ожесточенное чтение стихов и прозы. Царит Эдуард Багрицкий.

Рыча и задыхаясь, молодой Багрицкий читает нам последнюю новинку революционной Москвы – поэму Маяковского «150000000».

В «Коллективе поэтов» мы собирались по вечерам, после работы в ЮгРОСТА, где делали то же самое дело, что в это время делал в Москве Маяковский: рисовали плакаты и писали стихи для «Окон сатиры».

Ильф не выступал со своими произведениями. Мы даже не знали, прозаик он или поэт. Но со времени его появления мы почувствовали, что среди нас находится какой-то в высшей степени загадочный, молчаливый слушатель. Он тревожил нас своим испытующе-внимательным взглядом судьи.

Коричневая ворсистая кепка спортивного покроя и толстые стекла пенсне без ободков интриговали нас не меньше, чем его таинственное молчание.

Иногда он делал короткие замечания, чаще всего иронические и убийственные своей меткостью. Это был ясный и сильный критический ум, трезвый голос большого литературного вкуса. Это был поистине судья, приговор которого был всегда справедлив, хотя и не всегда приятен.

Прежде чем стать тем Ильфом, который впоследствии прославился в громком имени «Ильф и Петров», он прошел большой путь рядового газетного работника. Но и в этом ежедневном труде редакционного правщика он щедро, полностью проявил свой огромный литературный талант. Он показал классические образцы редакционной правки. Он превращал длинные, трудно написанные и зачастую просто неграмотные письма читателя в сверкающие остроумием, точные, краткие заметки, из которых каждая была маленьким шедевром.

Его перо было действительно острейшим оружием, отданным на службу народу в борьбе с пошлостью, мещанством, прогулами, пьянством, взятками, бюрократизмом – всеми пережитками старого мира, которые мешали победоносному росту Советского государства. Это все было безупречно по форме, глубоко по содержанию, доступно пониманию широких народных масс. Это была настоящая,

полноценная литература без всяких скидок на «жанр». В короткое время Ильф создал целую школу литературной правки газетного материала. Маяковский высоко ценил газетную работу Ильфа, всегда хвалил ее и о самом Ильфе неизменно говорил с нежностью и любовью.

В редакции «Гудка», во Дворце труда, на Солянке, встретились два литературных правщика. Один был Ильф, другой – Петров. Они подружились и задумали написать веселый роман. И написали его. И роман стал знаменитым. Кто не знает «Двенадцать стульев»!

Оказалось, что работа в «малой газетной форме» не только не помешала газетчикам Ильфу и Петрову прийти к большой форме романа, но, наоборот, помогла освежить эту большую форму, сделать ее более острой, доходчивой и близкой к жизни.

Ильф был очень человечен, деликатен, честен. Родина, дружба, любовь, верность, честь не были для него только словами. Он считал, что борьба за чистоту этих понятий, их утверждение в жизни есть священный долг советского писателя. Это и привело «Ильфа – Петрова» к работе в «Правде», где они во всеоружии своего уже вполне созревшего таланта выступили как писатели-патриоты с острыми, партийными фельетонами, высоко поднимавшими тему достоинства и моральной чистоты советского человека.

Ильф любил называть себя зевакой.

И действительно, он мог показаться зевакой.

Вот он идет не спеша по Сретенке, в хороших толстых башмаках, респектабельном пальто, шерстяном кашне, в перчатках, с лейкой на узеньком ремешке через плечо. Что ему нужно на Сретенке? Как он сюда попал? Неизвестно. Он просто гуляет по Москве. Все привлекает его внимание. Вот на водосточной трубе наклеены самодельные объявления. Он медленно подходит вплотную к трубе, поправляет пенсне и, выпятив крупные губы, прочитывает все, что там написано. Вот он подходит к магазину точной механики. Что ему, в сущности говоря, до точной механики? Но все же он тщательно рассматривает разные приборы, как бы желая их запомнить навсегда. Вот он возле кинематографа «Уран» разговаривает с двумя маленькими мальчишками. Вот он спрашивает о чем-то старушку с сумкой. Вот он становится в очередь на трамвай, в котором он, может быть, и не

поедет. Вот он любуется скатом крыши над тесным московским двориком...

Да, он мог бы показаться зевакой. Но он не был зевакой. Он был тонким и пристальным наблюдателем жизни во всех ее проявлениях, даже самых ничтожных, мелких. Он был великим мастером собирания и обобщения мелочей, превращения деталей в факты философского значения.

О, как он хорошо знал жизнь, как любил ее, как становился гневен, когда видел ее уродство, и как умел восхищаться ее красотой!

1937–1938-1947

Заметки о Всеволоде Иванове*

1

После неудачи «Факира» почему-то укоренилось мнение, что Всеволод Иванов находится в тупике.

У нас в литературе ужасно любят числить хорошего писателя «в тупике».

Всеволод Иванов не торопился оправдаться. За последнее время его имя редко появлялось под новыми произведениями.

Но в прошлом году он порадовал нас двумя превосходными прозаическими вещами – «М. Горький в Италии» и «Красная площадь».

Первая из них – шесть журнальных страничек воспоминаний о Горьком; вторая – объемистый оригинальный исторический очерк о Красной площади, от седой древности до наших дней.

Хотя обе вещи написаны в разной манере и содержат в себе разный материал, но читаются одинаково хорошо, говорят о большом, свежем таланте писателя и показывают, что Всеволод Иванов не только не пребывает «в тупике», но, наоборот, полон творческих сил, находится в блестящей форме и продолжает литературные поиски, чем занимается с самого начала своей писательской деятельности с достойным удивления и похвалы упорством подлинного мастера.

Нет ничего печальнее, чем когда молодой писатель после первой удачи бросает паруса и отдается на волю благоприятного ветра!

Настоящее искусство рождается в поисках нового курса и в борьбе.

Всеволод Иванов всегда находится в состоянии творческой тревоги и напряжения. Его никогда не удовлетворяет достигнутое. Поэтому всегда особенно интересно читать каждую страницу, подписанную его именем.

Две новых вещи Всеволода Иванова – это две новых комбинации красок на его палитре.

«Горький в Италии» – прелестный, очень ясный и немного грустный диалог, в котором Всеволод Иванов, разговаривая с мастерски изображенным Максимом Горьким, как бы разговаривает с самим собой.

Тема этого диалога – сомнения художника.

«– А вы много песен знаете? – спросил он вдруг у меня.

– Не пою и не знаю.

Он даже отшатнулся:

– Это у вас убеждение или случайно?

– Думаю, что случайно. Семья наша была непевчая, приятели тоже мало пели, разве что по пьяному делу...

Он перебил меня:

– Да, конечно, это случайно! Писатель не может не петь, не знать песен. Писать – это значит петь. А стихи вы писали?

Я сказал, что писал, – и очень отвратительные стихи.

Он улыбнулся и не то шутя, не то серьезно сказал:

– А я каждый день стихи пишу».

Или:

«– Художник этот работоспособности и чувствительности удивительной, сударь мой. На него, знаете, старые итальянские мастера крыло, положили, и по нему можно судить, какое у предков наших было трудолюбие...

– И талант.

Он косо взглянул на меня, ухмыльнулся:

– Талант, знаете, очень нежная штука, его можно и пропустить или смять грубостью. За талантом надо долго и пристально смотреть...

И тут же он стал рассказывать о людях, которые исковеркали, сломали и испортили свою жизнь только потому, что никто не заметил их таланта...»

Или:

«– Вы о чем собираетесь писать-то?

Я сказал, что мне трудно писать, когда слышу вокруг разговоры на чужом языке, когда вокруг чужой город и слишком яркое солнце.

– А вы попробуйте пьесу написать. Может быть, этот речевой разнобой вам поможет...»

После чтения Горьким «Достигаева»:

– Ну, давайте браниться.

Ему не понравилось почтительное наше восхищение. Я объяснил, что очень трудно разобраться в пьесе при таком отличном чтении. Он дмыхнул носом и сказал:

– Все придумываете. Что, бесформенности много?

На мои слова, что слишком ясная форма заставляет иногда писателя объяснять положения в романе или драме, только в крайнем случае углубляя их показом, а не объяснением, и что проселочные дороги бывают часто самые живописные и мягкие, он сказал:

– Мягкие потому, что грязи много.

И через несколько дней:

– Все эти споры о форме кажутся мне вздорными. Какая форма, если нет таланта?..

Форма отрывка «М. Горький в Италии» оригинальна, ясна и местами безупречна. Много чудных находок.

«Эти усы и этот неиссякаемый дым очень уснащали его лицо, делая его как бы парусным, ходким, романтическим».

«Помолчал, а затем особым, очень объемным и мечтательным голосом сказал...»

«Какая-то тощая американка в больших ботинках...»

А про Горького:

«...черноплечий, в голубой рубашке».

«...умелыми и хитрыми шагами подходит к столу...»

Хорошие эпитеты: точные и резкие, как вырубленные из твердой породы.

Исторический очерк «Красная площадь» говорит о том, что полемика Всеволода Иванова с самим собой привела к усовершенствованию формы.

С проселка «Факира» мастер подходит к благоустроенному шоссе исторического романа.

«По земляным валам крепости ходила стража, одетая в шкуры, с длинными мечами, как у норманнов, с длинными деревянными щитами; на этой площади, которая позже получила название „Красной“, что значит красивая, собиралось вече, чтобы выбрать своих правителей».

Великий торг продавал самострелы и мед, подошвы и иконы, фонари и овощи, кафтаны и короба-корзины, шелка, железо, жемчуга

и седла, масло и деревянные избы, мечи и детские игрушки. Отсюда шла дорога на Орду. Дымились костры, и возле шалашей распевали скоморохи, в деревянных церквушках стонали колокола, возле ларей с рубцами и другой дешевой пищей беседовали воины и миряне, пьянствовали, распутничали, дрались, а на холме, там, где ныне Спасские ворота, продавали рабов, воняли квасные кади, „стригуны“ лязгали ножницами, приглашали желающих постричься, в канавах плакали подкидыши, а на папертях нищие пели длинные песни о покосах, о странствиях, об удалых людях. Так появилась Москва».

Начало, достойное Вальтера Скотта, – как сказал Пушкин о «Тарасе Бульбе»...

2

Всеволод Вячеславович Иванов – подлинный самородок. Его открыл Горький. Еще в 1917 году Алексей Максимович напечатал рассказы начинающего автора во втором «Сборнике пролетарских писателей». Но по-настоящему в литературу Всеволод Иванов вошел в самом начале 20-х годов, когда в первом советском толстом журнале – «Красная новь» – появились его повести «Партизаны» и «Бронепоезд 14–69». «Бронепоезд» стал нашей классикой.

Будучи участником гражданской войны в Сибири, писатель своим свежим и оригинальным пером создал ряд незабываемых народных характеров и образов партизан, вступивших в борьбу с Колчаком и американскими захватчиками. Впоследствии инсценировка «Бронепоезда» с громадным успехом прошла во МХАТе и явилась новой вехой в развитии советской театральной культуры.

Всеволод Иванов известен читателю как автор множества превосходных рассказов, очерков и патриотических статей, из которых следует отметить «Мое отечество» и «На Бородинском поле», написанные в дни Великой Отечественной войны.

Большой исторический роман «Пархоменко» занимает особое место в творчестве писателя и является наиболее зрелым, реалистическим его произведением.

Тонкое чувство языка, острая метафоричность, сильное зрение и безупречный слух – все то, что Горький называл «живописью

словом», в высшей степени свойственно литературному стилю Всеволода Иванова. Именно эти качества и сделали его одним из самых оригинальных и выдающихся мастеров советской прозы.

1938–1955

«Ревизор» в Малом*

Трудность «Ревизора» заключается в том, что Хлестаков написан в гораздо более интенсивных красках, чем другие персонажи комедии. Хлестаков – фантастичен. Хлестаков – фигура «другого жанра». С гениальной смелостью Гоголь построил пьесу в острейшей, контрастнейшей гамме. Уметь сбалансировать Хлестакова с «прочими» – это и значит найти единственное мыслимое решение «Ревизора» на сцене.

Малый театр «Ревизора» не решил. Хлестаков у Мейера не вышел. Не того класса актер... А раз не вышел Хлестаков, то нет и «Ревизора». Мне почему-то кажется, что Дюр сто лет тому назад играл Хлестакова именно так, как Мейер вчера. И потому все время вспоминались грустные слова Гоголя:

«Итак, неужели в моем Хлестакове не видно ничего этого? Неужели он просто бледное лицо, а я, в порыве минутно-горделивого расположения, думал, что когда-нибудь актер обширного таланта возблагодарит меня за совокупление в одном лице толиких разнородных движений, дающих ему возможность вдруг показать все разнообразные стороны своего таланта? И вот Хлестаков вышел детская, ничтожная роль! Это тяжело и ядовито-досадно».

Не получился в спектакле Малого театра и городничий. Видно, что Яковлев потратил много сил на создание этого образа, но не удалось преодолеть штампов. А там, где штамп, – там, разумеется, до настоящего гоголевского образа очень далеко. Да и, признаться, надоело в тысячу первый раз видеть одного и того же городничего: густой «горчичный» голос с хрипотцой, сжатые кулаки, «вва-вва-вва...».

Пашенная в роли Анны Андреевны много смешила, но, к сожалению, не всегда оправданно, а зачастую не брезгуя и «фортелями». Но при всем том ее громадный, обаятельный талант во многом искупил несерьезное и неглубокое отношение к роли.

К удачам спектакля надо отнести Климова – Землянику, Бобчинского и Добчинского – Светловидова и Оленева, великолепную Пошлепкину – Рыжову и очень приятного Растаковского – Горича.

Плохи почтмейстер – Ковров, судья – Ржанов, Марья Антоновна – Фадеева.

Поставлен спектакль, что называется, «чистенько», с пейзажем за окном, солнышком, стильной мебелью, половиками, топочущими «держимордами» и немой сценой, точно воспроизведенной по известному рисунку художника Иванова.

Но разумеется, для Малого театра это далеко не достаточно. Публика, расходясь, говорила:

– Хороший текст!

Но вот вместо слабого Мейера в роли Хлестакова появился Игорь Ильинский.

Среднего, даже просто технически хорошего исполнения роль Хлестакова не выдерживает. Для нее это недостаточно. Роль Хлестакова требует исполнения отличного. Только тогда будет хорошо. Ниже, чем отлично, – уже плохо.

Игорь Ильинский играет Хлестакова отлично.

Для того чтобы отлично передать образ человека «без царя в голове», молодого дворянского оболтуса, неудачливого чиновника, в силу всеобщего страха принятого за ревизора, – для этого актер прежде всего сам должен в полной мере обладать «царем в голове».

Ильинский показал себя актером в высокой степени умным, тонким и тактичным.

Он распределил себя на канве Хлестакова очень экономно, целесообразно и полно, не упустив ни одной, даже самой ничтожной возможности для наиболее полного раскрытия образа. Каждая его интонация, каждое движение, каждый мимический нюанс строго соответствуют ситуации и вместе с тем обогащают гениальный гоголевский текст чудеснейшими актерскими находками и изобретениями.

Но главное в игре Ильинского – это неиссякаемое чувство настоящего, глубокого и сильного юмора.

С присутствием Ильинского «Ревизор» Малого театра сразу же зазвучал по-настоящему комедийно, без чего, конечно, совершенно немислима на театре комедия, особенно гоголевская.

«Ревизор» с Ильинским идет под сплошной смех зрительного зала. Причем надо особенно подчеркнуть: реакции смеха артист

добивается отнюдь не фортелями, не «штучками», а глубочайшим проникновением в самую суть гоголевского образа.

От сценического общения с Ильинским и другие исполнители получают новое, гораздо более сильное комедийное звучание.

Отказавшись на сцене Малого театра от многих своих слишком острых приемов игры, Ильинский – надо в этом признаться – только выиграл, показав себя замечательным мастером реалистического искусства.

Таким образом, и Малый театр, и Ильинский остались не внакладе от совместной работы.

Особенно хороши у Ильинского – Хлестакова куски простодушной глупости, наивности, доходящей до восхитительной непосредственности абсолютного дурака. Здесь Ильинский поистине гениален. Все русские классические дураки – начиная от Митрофанушки и кончая персонажами Зощенко – как бы сконцентрировались в образе Хлестакова работы Ильинского.

Ритмический рисунок роли безукоризнен. Поэтому-то Хлестаков Ильинского так доходчив.

К недостаткам Ильинского нужно отнести не всегда плавный переход одного «куска» в другой. Видны еще кое-где швы. Но мне думается, после пяти-шести спектаклей эти швы зарастут совершенно и не будут мешать.

Можно искренне поздравить и Малый театр, и Игоря Ильинского с большой победой.

Очень хорошо, что наконец Игорь Ильинский – этот большой русский актер – прочно обосновался в почтенном театре. Это даст ему возможность серьезной, глубокой работы и избавит от необходимости сниматься в низкопробных, дилетантских фильмах типа «Однажды летом», «Волга-Волга» и т. д., что ему никак не к лицу.

Слово надо любить*

Писатель не зря зовется художником слова.

Тем же, чем цвет (краска) для живописца, звук для композитора, тем же, чем объем и пространство являются для скульптора и архитектора, – тем же самым является для писателя слово.

Но слово богаче.

Слово содержит в себе не только элементы цвета, ритма, звука, пространства и времени, слово не только является образом (ибо бывает слово – образ), но слово прежде всего есть мысль. И это – главное.

Вот почему любовь к слову – необходимое качество, без которого писатель становится ремесленником.

Слово стоит в своем смысловом ряду. Вынутое из этого смыслового ряда и механически пересаженное в другой смысловой ряд, оно тускнеет, засыхает, превращается в мертвый штамп, в равнодушную отписку. Бриллиант превращается в бульжник. Зеленый росток засыхает.

Например, для того чтобы изобразить широту, простор и могущество нашей родины, Пушкин писал:

Иль мало нас? или от Перми до Тавриды
От финских хладных скал до пламенной
Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижимого Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

Это было прекрасно, ново и точно. Здесь каждое слово, каждый эпитет несли громадную смысловую нагрузку. Здесь противопоставление хладных финских скал и пламенной Колхиды и потрясенного Кремля и стен недвижимого Китая вызывало не только восхищение стихотворной формой, было не только игрой гениального

пера, но ставило также наглядную географическую перспективу, вызывало исторические, политические ассоциации, будило мысль.

К тому же приему географического противопоставления часто прибегают современные поэты, желающие наглядно показать широту нашей родины. Любят писать: «от полюса до тропиков, от Ленинграда до Владивостока, от Белого моря до Черного» и т. д. Получается сухо, формально, неинтересно, а главное – пусто. Система образов, пересаженных механически на другую почву, становится отпиской, ремесленной копией. Это происходит потому, что литературная форма заимствована. Литературную форму нельзя заимствовать. Ее надо рождать.

Много ремесленного, штампованного проникает в нашу литературу, потому что не всегда писатель любит слово и работает над формой.

Каждое слово у писателя несет громадную смысловую нагрузку. Слово не может быть поставлено так себе, для заполнения ритмической пустоты, для «количества». Слово не может вколачиваться в художественную ткань «на затычку». Как будто бы это общеизвестно и не требует обсуждения. Однако на днях я прочел высказывание Г. Шенгели в «Послесловии переводчика» к первому тому поэм Байрона (Государственное издательство «Художественная литература», Москва, 1940).

«Как поэт, я хорошо знаю, что в любом отрывке есть иерархия (курсив наш. – Г. Ш.) образов, что одни – абсолютно необходимы, другие – существенны, третьи – довольно случайны, четвертые – поставлены „на затычку“...»

Оказывается, среди наших писателей еще широко распространено пренебрежительное отношение к вопросам стиля, оказывается, пропагандируются всяческие смехотворные «теории затычки» и – что еще более вредно – теории иерархии образов. И это нетерпимо. Нельзя пищевой, анемичной, эпигонской кистью изображать людей и характеры нашей эпохи.

Слово надо любить. Над стилем надо работать.

Леонид Сойфертис*

Сойфертис принадлежит ко второму поколению советских графиков. К первому поколению принадлежат такие выдающиеся мастера в этой области, как Михаил Черемных, Ив. Малютин, Д. Моор, Л. Бродаты, Ю. Ганф, Б. Ефимов, К. Елисеев и многие, многие другие. Наряду с Кукрыниксами, В. Горяевым, Б. Пророковым, А. Каневским – Л. Сойфертис занимает одно из первых мест в ряду младшего поколения советских графиков.

Может быть, во мне говорит советский патриотизм, но я уверен, что советская графика – лучшая графика в мире.

Нигде не встречается столько остроты, изобретательности, тонкости, как в нашей, советской графике.

Народ знает и любит Сойфертиса. Прежде всего, он очень оригинален. Его индивидуальность неповторима. Сойфертиса всегда можно узнать среди десятков других мастеров. Тонкая, гармоничная линия. Скупость, лаконичность и много воздуха. Простая, как бы эскизная и вместе с тем очень законченная композиция. Острый карандаш. Перо. Легкая акварель. Излюбленная форма художника – жанровые зарисовки.

Сойфертис никогда не расстается с блокнотом. Он рисует всегда и везде. Так было и в мирное время. Так было и во время войны. С первых же дней войны Сойфертис на фронте.

Сначала осажденная Одесса. Линия фронта на Дальнике. Сойфертис ездил на фронт на трамвае.

Он рисовал для морской пехоты. Его военные работы появлялись в газете «Красный черноморец». Он рисовал героев-краснофлотцев, героических одесских женщин, молодежь. Он создавал графический, многогранный портрет города-героя. Он не искал прямых батальных сюжетов. Он работал так называемым «боковым зрением».

Например, в то время воду в осажденной Одессе выдавали по талонам. По городу разъезжали бочки. Давали два литра на человека. К бочке тянется длинная очередь людей с ведрами, кастрюлями, бутылками, котелками. Вдруг – воздушная тревога. Очередь бросается в ближайшее укрытие. Остается лошадка с бочкой, и к бочке тянется

длинная змейка брошенной посуды. Это и набрасывает в свой походный альбом Сойфертис.

А вот жанровая сценка в осажденном Севастополе на передовой позиции.

На фронт приехал фотограф снимать вступающих в партию воинов – для партийных документов. На ровном месте фотографировать опасно. Фотограф втащил моряка в воронку от тысячекилограммовой авиабомбы, расставил свою треногу и спокойно снимает присевшего морячка.

Сколько в этом жизни, остроумия, юмора!

Вообще все работы Сойфертиса проникнуты юмором, бодростью, настоящим, жизнеутверждающим весельем.

От первого до последнего дня войны Сойфертис пробыл на фронте. День Победы он встретил в Берлине.

Результат военных лет Сойфертиса: серия рисунков «Оборона Севастополя», приобретенная Третьяковской галереей; серия «Оборона Кавказа», множество чудесных рисунков в красноармейской печати и в тыловых журналах.

Сейчас Сойфертис работает над рисунками о Германии: жанры, зарисовки, эскизы.

Хочется пожелать всяческих успехов этому замечательному советскому графику, подлинному снайперу пера и карандаша.

Автор и актеры*

В течение многих лет Александр Корнейчук последовательно утверждает на сцене и в литературе особый вид драматических произведений, наиболее приближающихся к понятию «комедия». Они представляют довольно умелое соединение элементов: драматических, мелодраматических, комедийных, водевильных, сатирических, даже фарсовых. Такое жанровое многообразие в соединении с традиционным «украинским юмором» делает пьесы Корнейчука весьма доходчивыми.

Его новая комедия – «Калиновая роща» – в этом смысле является типичной. В сущности, это несколько пьес, связанных единством времени и главным образом места – колхозом «Калиновая роща». Борьба передовых людей колхоза против отсталых настроений «среднячества», выразителем которых является председатель колхоза Иван Романюк, – такова одна ситуация. При детальной разработке ее вполне хватило бы на весь спектакль, на самостоятельную пьесу.

Но есть и другая ситуация. В «Калиновую рощу» приезжает писатель Сергей Батура. Он знакомится с молодой учительницей Надеждой, которая читала его книгу и давно влюбилась в образ ее героя – матроса Горового. Надежда не подозревала, что прототип этого литературного героя живет и работает рядом с ней, в том же колхозе. Это бригадир бригады рыбаков, демобилизованный матрос Ветровой. Ветровой любит Надежду, но не решается признаться ей в любви. Надежда относится к Ветровому дружески. Может быть, даже более, чем дружески. Но образ литературного героя Горового заслонил от нее образ Ветрового. Писатель Батура считает, что его фронтовой друг Ветровой погиб. Познакомившись с Надеждой, Батура почувствовал к ней влечение, и она к нему, по-видимому, тоже. В ее глазах он был очень похож на литературного Горового. Но вот происходит встреча старых фронтовых друзей. Писатель узнает о любви Ветрового к Надежде. Обстановка запутывается. Жертвывая собственным счастьем ради счастья своего фронтового друга, писатель Батура открывает Надежде, что Горовой – это и есть Ветровой, ее подлинный герой, и сам уезжает в Киев под предлогом

болезни. Надежда и Ветровой наконец находят друг друга. Такова вторая ситуация. Ее тоже с избытком хватило бы на весь спектакль и на отдельную пьесу.

Есть и третья, водевильная ситуация. Вместе с писателем Батурой в колхоз приезжает художник Верба, чтобы работать над портретами передовиков сельского хозяйства. Он влюбляется в звеньевую Василину, и она тоже влюбляется в него. Он решает навсегда остаться в «Калиновой роще» и жениться на Василине. Но происходит ряд смешных случайностей и недоразумений, вследствие чего брак чуть было не расстроился. Однако случайности устраняются, и все налаживается.

Есть в пьесе также – и это свойственно драматургическому стилю Корнейчука – некоторые, так сказать, вставные номера. К их числу относится проезд в «Калиновую рощу» сестры художника Вербы, жены инженера, Аги Александровны Щуки – бездельницы с претензиями на моду и красоту, мастерски написанной автором в манере острого гротеска, почти фарса. К такого же рода вставным номерам относится сама по себе живая, но не имеющая прямого отношения к сквозному действию сценка на острове у рыбаков. Гротесково, а местами и просто фарсово написана забавная фигура одного из них – бывшего одесского контрабандиста Василия Крыма, достойного буффонного партнера мадам Щуки. Таковы основные элементы комедии. Наиболее уязвимая ее часть – это, конечно, надуманная история писателя Батуры, матроса Ветрового и учительницы Надежды. От нее веет удручающей литературщиной. В сопоставлении с другими, более жизненно правдивыми конфликтами эта часть пьесы не выдерживает критики. Эти три образа менее всего удалась автору. Особенно не удался писатель, который ходит по сцене с записной книжкой и время от времени произносит резонерские реплики.

Было бы несправедливо сказать, что в этом образе полностью отсутствует жизненная правда. Она, конечно, есть. Но ее слишком мало для того, чтобы заполнить сценическую пустоту образа. Это происходит потому, что писатель Батура не действует, а созерцает, пусть даже и с хорошими намерениями. Мы знаем советских писателей, которые, выезжая по заданиям редакции на места, вмешивались в жизнь, включались в борьбу и таким образом

становились прямыми участниками общественной жизни колхоза, завода или новостройки. Но это не произошло с Батурой. Он больше похож на дачника.

Надуманная ситуация сделала вымученными образы матроса Ветрового и Надежды. Такого рода зияющая пустота в пьесе могла бы привести к провалу всего произведения в целом, если бы не история председателя колхоза Романюка, отставшего от жизни и под влиянием коллектива осознавшего наконец свои ошибки. В этом, собственно, и заключено основное зерно пьесы. История Романюка, рассказанная ярким сценическим языком, а также сопутствующий ей образ председателя сельсовета Натальи Ковшик, до некоторой степени покрывают все недостатки этой банальной комедии.

Спектакль «Калиновая роща» показан Киевским государственным ордена Ленина академическим украинским драматическим театром имени Ивана Франко на гастролях в Москве. Театр имени Ивана Франко является, несомненно, одним из лучших советских театров. Это поистине народный театр. И он создал увлекательный, веселый, а главное, умный спектакль на очень важную современную тему о необходимости все время двигаться вперед и не останавливаться на достигнутом.

Спектакль поставлен народным артистом СССР Гнатом Юрой, который еще раз показал свое мастерство в работе с актерами. Каждый характер ювелирно отделан. Каждая сцена насколько возможно проникнута духом правды и жизненной простоты. Весь спектакль в целом музыкален. И не только потому, что в нем звучат превосходные украинские народные песни, а потому, что музыкальны весь его внутренний строй, его ритм, его язык. Музыкальна вопреки автору сама душа спектакля. Поэтому-то он смотрится так легко.

Зритель верит, что пройдет еще несколько лет, и это уже будет не деревня, а агрогород.

Трудная роль Надежды досталась артистке Е. Осмяловской. Образ надуманный, чересчур литературный. Но даже и в нем артистка сумела найти душевную прямоту, чистоту, цельность характера – такого женственного и вместе с тем такого принципиального, твердого. Жаль, что автор не показал свою героиню в ее общественной деятельности. В начале пьесы для этого были серьезные предпосылки, и это наиболее удачные места, но потом

драматург повел ее роль по банальной любовной линии – нежизненной и условно сентиментальной, что чрезвычайно затруднило задачу талантливой артистки.

В исполнении артистки О. Кусенко традиционный образ Василины, прославленной звеньевой с орденом Ленина на груди, влюбившейся в художника Вербу, как бы освещает весь спектакль ясным молодым светом своей первой любви. Горячая, гордая, самолюбивая, она сохраняет свою душевную чистоту, как бы одержимость и в сценах любовных, и в сценах, связанных с ее деятельностью звеньевой. Вдохновенный труд и вдохновенная любовь как бы дополняют друг друга и делают ее образ еще более правдивым, как бы жизненно достоверным. В ней много нежности, много обаяния. К сожалению, в начале пьесы в игре артистки, не сумевшей преодолеть авторский текст, заметны следы сценического штампа. Она еще кое-где играет «инженю», что никак не вяжется с дальнейшим развитием ее характера.

В пьесе есть совсем маленькая, при чтении почти незаметная роль парторга Екатерины Крылатой. Всего несколько реплик. В спектакле ее играет артистка Н. Копержинская. Но зато как играет! Собственно, слово «играет» здесь не подходит. Не играет, а живет. Ни одной фальшивой ноты. Ни одного рассчитанного, театрального движения. Это свидетельствует о двух вещах – во-первых, об общей сценической культуре театра, а во-вторых, подтверждает истину, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. В данном случае роль маленькая, а исполнительница – большая. Об исполнении роли писателя Батуры говорить тяжело. Тут и роль большая, и артист большой – П. Сергиенко, а впечатление досадно маленькое. Но здесь, несомненно, во многом виноват автор.

Примерно в таком же положении и по той же не зависящей от него причине находится и В. Добровольский в роли матроса Ветрового. Играет артист хорошо, но преодолеть искусственность образа ему трудно. Несколько лучше обстоят дела у артиста Е. Пономаренко (художник Верба). У него больше прямого действия, и его любовная история более ясна. Мягко и с юмором исполняет он свою роль влюбленного художника, человека чистого, хорошего, преданного своему искусству и поставившего его на служение народу. Артистка П. Няtko совершенно блестяще, гротесково, под общий хохот

сыграла свою небольшую вставную роль. Артист Н. Яковченко – матрос Крыма – мне, признаться, не понравился: слишком нажимал и явно играл «на публику». Кстати, его роль тоже выпадит «вставным» номером. Артист И. Маркевич лепит своего отрицательного Вакуленко в доброй старой комедийной манере, он не нашел в этом образе ничего нового, свежего. А можно было бы поискать.

Подлинным триумфом советского театрального искусства явилось исполнение ролей Натальи Никитичны Ковшик и Ивана Петровича Романюка. Об игре народной артистки СССР Натальи Ужвий следовало бы написать монографию, столько в ней мастерства, глубины, страсти, внутреннего огня, знания жизни. Вот уж воистину народная артистка. Сколько душевной красоты, благородства, достоинства и вместе с тем лукавства и веселья! Какое богатство голоса, как тонко она им владеет! Как вдумчиво она умеет смотреть в глаза людей! Как внимательно умеет слушать, как проникновенно убеждать! Как деликатно она подходит к людям и вместе с тем как бывает она беспощадна, если люди недобросовестно относятся к своему делу! Наталья Ужвий создала незабываемый образ простой советской женщины, украинской крестьянки – председателя сельсовета. Это уже человек новой формации – умный, сильный, настойчивый. Можно смело сказать, что Ужвий – одна из самых выдающихся наших артисток.

Превосходно играет роль Романюка народный артист СССР Ю. Шуйский. Это прирожденный комический талант – очень мягкий, не назойливый и всегда верный жизни. Его Романюк – живой человек. Он, правда, немного отстал от жизни. Но когда жизнь начинает его толкать вперед, в нем хватает ума пересмотреть свои позиции. Нелегко ему это сделать. Но ведь он тоже крепкий, советский человек, с чистой душой и сильным характером. Убедившись, что он не прав, Романюк с большой простотой делает для себя надлежащий вывод и идет учиться в другой передовой колхоз в качестве простого рядового, «даже не сержанта, а рядового». На такой поступок может решиться только подлинно большой человек, и Шуйский превосходно это передает. Впрочем, в жизни так бывает не часто. Образ Романюка является подлинным украшением спектакля в смысле эстетическом, не говоря уже о большом воспитательном значении такого образа для советского зрителя.

В целом спектакль во всех его частях с народными песнями и веселыми, солнечными декорациями народного художника СССР А. Петрицкого – несомненная творческая победа театра.

«Калиновая роща» имела в Москве большой успех. Это убеждает нас в том, что Корнейчук в основном стоит на верном творческом пути. Ему надо только смелее двигаться вперед, преодолевая недостатки и штампы, оказавшиеся в этой пьесе. Надо смелее окунуться в жизнь и не искать в ней того, чего нет и что ей несвойственно, а брать из жизни только правду. Ее хватит не на десяток и даже не на сотню, а на тысячу превосходных пьес, в том числе и комедий, которые так любит наш жизнерадостный народ.

1950

Новогодний тост*

– Итак, продолжаю:

...Посредственность, серость, вялость и скука в книге очень часто происходят от бессилия писателя творчески переработать, строго отобрать и обобщить все то богатство красок, характеров, ситуаций, конфликтов, которое дает жизнь. Но увидеть, почувствовать и отобрать все эти краски – еще далеко не все. Палитра – еще не картина. Если смешать все цвета спектра, получится чистый белый цвет, то есть ничто.

Гете говорил однажды о том, что самое для него трудное – это тысячеглазая гидра эмпиризма, возникающая перед ним всякий раз, когда он садится за письменный стол. Описать очень похоже мопса, говорил Гете, не означает ничего, кроме того, что к тысячам уже существующих мопсов прибавится еще один.

Изображение предмета должно быть окрашено индивидуальностью художника, как бы освещено изнутри единой, всепроникающей мыслью. Явление должно быть раскрыто во всем богатстве своих противоречий. Раскрытие противоречий, их художественный анализ есть необходимое условие творчества.

Часто не хватает смелости и мастерства для того, чтобы справиться с «тысячеглазой гидрой эмпиризма», и тогда эта гидра беспощадно пожирает художника.

К искусству нельзя применять метод арифметический. «Дважды два четыре» – открытие только для дошкольника. А мы обязаны быть даже не десятиклассниками или студентами, а профессорами, учеными, мыслящими самостоятельно и ново. Между тем «арифметический метод» в литературе приводит к тому, что многие наши даже очень известные, талантливые писатели и поэты, стремясь «объять необъятное», впадают в многословие. Романы пишутся в 40, 60, 80, 100 и более листов. Поэмы измеряются километрами. Стихи выдаются оптом – циклами. Иные писатели начинают свою литературную деятельность прямо с эпопей и на меньшее не согласны.

Эта гигантомания – явление весьма распространенное. Происходит оно потому, что мы разучились обобщать, строго отбирать. Мы часто утрачиваем чувство архитектоники и относимся к слову слишком легко. Между тем слово, – то есть материал, из которого мы строим свои произведения, – вещь необыкновенно могучая, радиоактивная. Словами надо пользоваться крайне осмотрительно, скупно, а не наваливать их неорганизованными грудями.

Это именно и есть редкий случай, когда количество не переходит в качество, а, наоборот, ведет к падению всякого качества.

Бытие определяет сознание. Это общеизвестно. Но сознание художника не должно быть зеркальным: что отразилось, то и отразилось. Сознание художника должно не только отражать, но и творчески преобразовать мир. Писатель, лишенный воображения и фантазии, перестает быть подлинным художником. Он превращается в обстоятельного протоколиста. Обстоятельность – смерть искусства. Сказать про поэта, что он написал обстоятельную поэму, все равно что сказать: он не поэт.

Дотошно обстоятельный роман – это совсем не то же самое, что роман глубокий, широкий, идейно насыщенный. Слишком много у нас развелось таких обстоятельных, «добротных» литературных произведений!

И еще одно: не следует забывать о богатейших музыкальных возможностях русского языка. Слово – это мысль. Верно. Но слово – также и звук. Мы пишем не для глухонемых. Каждая синтаксическая форма есть вместе с тем и музыкальная фраза.

Мы в одно и то же время пишем, мыслим и слышим.

Литературное произведение создается на музыкальной канве. Интонация – это мелодия. Мелодия не есть привилегия только поэзии. Мелодия – основа прозы. Недаром Толстой назвал Чехова Пушкиным в прозе.

Каждому прозаику должна быть свойственна своя, особая, неповторимая музыкальная интонация. Если писатель не слышит того, что он пишет, то его не услышит и читатель. Читатель услышит лишь монотонный, беглый стук пишущей машинки.

Мопассан считал, что для писателя в первую очередь необходимо зрение. Я считаю, что для писателя в первую очередь необходим слух.

Подчеркиваю – в первую очередь. Это не значит, что зрения не надо. Зрение – тело. Но слух – душа. Отсутствие музыкального чутья превращает даже самое «добротное» литературное произведение в более или менее талантливый протокол. Отсюда проистекают и скука, и серость, и посредственность.

Подымаю свой новогодний стакан за искусство.

Больше творческой фантазии, товарищи, больше смелых обобщений, больше острых характеров и столкновений, больше подлинной жизни, больше музыки.

1953

Былина на экране*

Очень хорошо, что наша кинематография, желая расширить свою тематику, обратилась к былине. Русские былины – выдающееся явление в истории мирового устного народного творчества. Это неисчерпаемый источник вечной красоты. Какое богатство могучих человеческих характеров, выражающих душу великого русского народа! Какое разнообразие красок, какая музыка слова! Среди русских былин одно из первых мест занимает былина о Садко. Недаром Римский-Корсаков взял ее темой для своей изумительной оперы.

Новый фильм «Садко», поставленный на киностудии «Мосфильм» Александром Птушко по сценарию К. Исаева, является самостоятельным кинопроизведением, отличным от оперы. Правда, фильм идет в сопровождении музыки Римского-Корсакова (редакция и дополнения композитора В. Шебалина). Но поет один лишь Садко, да и то изредка. Знаменитые арии и хоры, которые, собственно, и составляют одну из главных красот оперы, не использованы. Таким образом, музыка Римского-Корсакова в фильме оказалась почти полностью лишенной вокального элемента, утратила свой драматизм и явилась лишь иллюстрацией к тексту сценария.

Сюжет картины, построенный «по мотивам онежских былин», в коротких словах сводится к следующему. Гуслиар Садко после долгих странствий возвращается в свой родной Новгород. Он видит, что народ живет худо, в бедности. «Счастья нет». Тогда он предлагает народу снарядить корабли и плыть в дальние земли искать «птицу-счастье». Для этого Садко идет на пир к богатым купцам и уговаривает их взять свои товары и повезти в дальние земли, чтобы добыть славу Новгороду. Но купцы изгоняют Садко.

Ильмень-царевна, влюбившись в Садко, помогает ему осуществить свою мечту, построить корабли и отправиться за «птицей-счастьем». Дальше начинаются приключения Садко в чужих странах – в Египте, Индии, в стране варягов, что, собственно, и является главным содержанием картины. Наконец, так и не найдя «птицы-счастья», Садко возвращается в родной Новгород и на вопрос

народа, нашел ли он счастье, отвечает: «Нашел!» – «Где же оно?» – «Вот оно! Тридевять земель обошел, на дне морском побывал, а ничего нет краше земли родной».

Но в фильме не дано представление о Новгороде того времени как об одном из крупнейших международных торговых и культурных центров. Куда девались заморские гости, без которых трудно представить облик древнего Новгорода? Они только промелькнули в нескольких кадрах фильма.

Образ самого Садко модернизирован. Новгородского богатого «гостя» – купца – в фильме превратили в какого-то народного вожака.

Ни сценаристу, ни постановщику не удалось передать самый дух былинного творчества, строгий, монументальный стиль, художественную соразмерность частей и внутреннее единство былин. Несмотря на сказочность своего содержания, даже элементы фантастики, былины в основе своей всегда глубоко реалистичны, по-народному мудры и ясны, отличаются простотой. В фильме же бросается в глаза разностильность. Творческий почерк постановщика А. Птушко то и дело резко меняется. У него нет настоящего проникновения в материал: отсутствует строгий отбор изобразительных средств.

В картине незаконно уживаются взаимно исключающие друг друга стили. Монументальный стиль «Александра Невского» в соседстве с мишурной экзотикой «Индийской гробницы», фотографически достоверная березовая роща и бутафорская фантастика подводного царства. Словом, эклектическая смесь несовместимых красот и приемов. Раз уж берешься за тему былинную, то и стиль должен быть от начала до конца единый: строгий, эпический. Когда на берегу моря мечутся в рогатых шлемах небрежно загримированные «варяги», это вызывает только улыбку. Вообще надо заметить, что битва новгородцев с варягами производит, вопреки воле постановщика, комическое впечатление. Она скорее напоминает потасовку из «Трех мушкетеров», чем былинное сражение.

Артисту С. Столярову, по существу, нечего играть. Ему остается только позировать. Характер Садко, в отличие от былины и оперы, в фильме почти не развивается. Нечего также делать двум молодым

актрисам, исполняющим роли возлюбленной Садко Любовы и Ильмень-царевны.

Артисты играют в разных стилях: кто в бытовой манере, кто в героической, кое-кто даже «в духе Метерлинка». Юмористическое впечатление производит птица Феникс с красивой женской головой и длинными цыплячьими ногами, когда ее несут завернутую в какую-то бумагу, словно курицу с базара. Здесь уже явный недостаток вкуса. Тот же упрек можно отнести и к сценам с участием морского царя, маскарадно костюмированного и весьма напоминающего балаганного комика. Постановщик, видимо, спутал два образа: шутника-водяного и грозного морского царя. А это не одно и то же.

Сценарист не нашел хорошего народного языка для своих героев. Правда, они разговаривают «по-былинному», но это явная стилизация. Нет-нет да и прорвется какое-нибудь комнатное словечко: «Чего ж теперь ты хочешь?» – «Воздуха вольного хочу». Так и подмывает прибавить: «Воздуха вольного хочу, кислородушка».

Но при всех недостатках картина все же смотрится. Она смотрится не как единое художественное целое, а как ряд более или менее красивых картин, а иногда и аттракционов. Из этих картин лучшее, конечно, вся первая часть. Тут действительно верно найден былинный стиль. Много сочного, яркого. Выделяется сцена, в которой Садко выбирает дружину для путешествия. Удачно показана борьба богатыря Вышаты с медведем.

Сравнительно сильная сторона фильма – хорошее качество съемок, в особенности комбинированных. Удачна работа художников. И конечно, восхищает музыка Римского-Корсакова, хоть и урезанная, но все же даже и в таком виде прекрасная. Несмотря на все очевидные недостатки картины, выпуск «Садко» на экран надо считать явлением небесполезным. Кино располагает большими средствами для того, чтобы экранизировать русские былины и сказки. Только делать это нужно не так легковесно, а с большим вкусом и тактом. Но – лиха беда начало!

Заметки о Маяковском*

1) Маяковский в «Огоньке»

Маяковский любил печататься в массовых многотиражных изданиях. В одном только «Огоньке» при жизни Маяковского было помещено больше двадцати стихотворений. Два стихотворения появились вскоре после его смерти: «Нота Китаю» и «Стихи о советском паспорте».

Я хорошо помню тот день – тридцать лет назад, – когда в редакции «Огонька» впервые появился Маяковский. Это было весной 1923 года, незадолго до выхода в свет первого номера журнала. Страна переживала тягостные, тревожные дни болезни Ильича. Положение Ленина было настолько серьезно, что правительство выпустило специальный бюллетень о состоянии его здоровья. Возле белых листов, расклеенных на стенах домов, толпились люди. Тень горя и тревоги упала на омраченный город. Она представляла разительный контраст с ярким весенним солнцем, блеском стекол и голубым небом над сиреневыми луковками Страстного монастыря.

Маяковский пришел в редакцию «Огонька» в легком весеннем макинтоше, в кепи, с палкой, повешенной на руку, с толстым окурком папиросы в углу своего характерно очерченного, энергичного рта. Опершись спиной о косяк двери, поэт прочел нам новое, только что написанное стихотворение:

Тенью истемня весенний день,
выклеен правительственный
бюллетень...

Как сейчас, слышу раскаты низкого голоса Владимира Владимировича, как сейчас, вижу над его переносицей глубокую короткую вертикальную черту, разделявшую его густые, крылатые брови.

Нет!
Не надо!
Разве молнии велишь
не литься?
Нет!
Не оковать язык грозы!
Вечно будет
тысячестраницый
грохотать
набатный
ленинский язык.

Это было гениально просто, с небывалой силой выраженное общее чувство всего советского народа. Это были те единственные слова, которые так отвечали нашему душевному состоянию.

Стихотворение «Мы не верим!» было напечатано в первом номере журнала. Так Маяковский начал сотрудничать в «Огоньке», так появились в печати строки, ставшие классикой: «Не ослабеет ленинская воля в миллионносильной воле РКП», «Вечно будет ленинское сердце kloкотать у революции в груди...»

Маяковский не забывал «Огонек». Обычно он приходил днем, вынимал из бокового кармана сложенный вчетверо лист линованной бумаги, на котором помещалось ровно тридцать пять стихотворных строк знаменитой маяковской «лестнички», и читал свою новую вещь сотрудникам журнала. Так мы впервые услышали многие его лучшие стихотворения: «Киев», «Мексика», «Мы – Эдисоны невиданных взлетов...», «Марш ударных бригад» и многие другие. Поэт помещал в «Огоньке» и свои знаменитые стихотворные рекламы. Своей работе в этой области Маяковский придавал большое принципиальное значение и очень сердился, когда с ним не соглашались. Была у Маяковского, между прочим, реклама, посвященная «Огоньку».

Беги со всех ног
покупать
«Огонек», –

призывали светящиеся буквы.

В 1923 году Маяковский принес шуточное стихотворение «Схема смеха», с собственными иллюстрациями: шесть картинок, сделанных пером, тушью, в острой манере «Окон сатиры» РОСТА. Комизм стихотворения заключался в неожиданных рифмах и в еще более неожиданных логических выводах. Речь шла о том, как по железнодорожному полотну шла баба с молоком и чуть не попала под курьерский поезд.

Была бы баба ранена,
зря выло сто свистков ревмя –
но шел мужик с бараниной
и дал понять ей вовремя.

И вдруг совершенно неожиданный и смешной именно этой своей неожиданностью вывод:

Хоть из народной гущи,
а спас средь бела дня.
Да здравствует торгующий
бараниной средняк!

Эта стихотворная шутка была напечатана в пятом номере новорожденного журнала.

В конце жизни Маяковский обратился к драматургии. Он написал «Клопа», потом «Баню». Постановка этих пьес была связана со множеством затруднений, которые очень раздражали поэта. Приходилось бороться с косностью, непониманием, прямыми «зажимами». Многие театральные деятели не хотели признавать Маяковского как драматурга, не видели в его пьесах искусства. Маяковский неустанно, где только мог, разъяснял смысл «Клопа» и «Бани», ездил на заводы и читал свои пьесы рабочим.

В это время Маяковский опубликовал в «Огоньке» две заметки об этих пьесах. Заметки содержат очень важные мысли Маяковского о драматургии, в частности, о комедии.

Вот что, между прочим, написал Маяковский в № 2 «Огонька» за 1929 год о своей пьесе «Клоп»:

«Мне самому трудно одного себя считать автором комедии. Обработанный и вошедший в комедию материал – это громада обывательских фактов, шедших в мои руки и голову со всех сторон во все время газетной и публицистической работы, особенно по „Комсомольской правде“.

Газетная работа отстоялась в то, что моя комедия – публицистическая, проблемная, тенденциозная.

Проблема – разоблачение сегодняшнего мещанства.

Я старался всячески отличить комедию от обычного типа отображающих задним числом писанных вещей.

Пьеса – это оружие нашей борьбы. Его нужно часто настраивать и прочищать большими коллективами».

А вот что писал Маяковский в заметке «Что такое „Баня“? Кого она моет?»

«„Баня“ моет (просто стирает) бюрократов... Сделать агитацию, пропаганду, тенденцию – живой, – в этом трудность и смысл сегодняшнего театра».

Очень важные мысли великого поэта о театре!

Знаменитейшее стихотворение Маяковского «Стихи о советском паспорте» было впервые напечатано тоже в «Огоньке» уже после смерти поэта. Но я хорошо помню, как он, живой Маяковский, их читал; помню, с какой особенной силой и гордостью он произносил «серпастый» и «молоткастый», как он затем вытянулся во весь рост, поднял высоко над головой записную книжку и рывкнул:

Читайте,
завидуйте,
я – гражданин
Советского Союза!

Таким он мне и запомнился на всю жизнь.

1953

2) Воображаемый разговор с Маяковским

Вы любили, Владимир Владимирович, путешествовать. «Мне необходимо ездить, – писали Вы в своей книге „Мое открытие Америки“. – Обращение с живыми вещами почти заменяет мне чтение книг». Немало Вы ездили по земному шару. Но больше всего Вы путешествовали по родной стране. Вы страстно любили свою социалистическую родину. Вы восхищались сказочно быстрым ростом ее городов, зорко всматривались в черты нового. Вашей поэзии было в высшей степени присуще чувство нового. Вы, как никто другой, понимали всю неповторимую красоту нашей жизни.

На сотни эстрад бросает меня,
на тысячу глаз молодежи.
Как разны земли моей племена
и разен язык
и одежды!

Из длительных путешествий по «своей земле» Вы возвращались в «свою Москву» полный новых мыслей, чувств, впечатлений. Вы приезжали веселый, помолодевший. В Вас чувствовался могучий прилив творческих сил, как в Антее, прикоснувшемся к матери-земле.

Посреди Вашей комнаты на полу лежал открытый чемодан с дорожными вещами и множеством записок, полученных Вами от слушателей во время выступлений. Такими же записками были набиты карманы. Вы извлекали их из жилета, из брюк, из пиджака. Вы разглаживали их своей большой широкой ладонью и сортировали по городам, числам и содержанию, раскладывая пачками на письменном столе. Вы очень любили собирать эти записки. Вы гордились ими. За всю Вашу жизнь их накопилось у Вас тысячи. Это было вещественное выражение общения с читателями. Каждая записка напоминала Вам какой-нибудь советский город. Вы редко делились своими впечатлениями. Но каждый раз Ваши друзья знали, что скоро Вы расскажете в стихах о том, что видели во время путешествия.

Вот что Вы, например, написали о Свердловске:

У этого
города
нету традиций,
бульвара,
дворца,
фонтана и неги.
У нас
на глазах
городище родится
из воли,
Урала,
труда
и энергии!

Вы написали это, Владимир Владимирович, четверть века назад – в 1928 году. Тогда бывший захолустный Екатеринбург только еще начинал по-настоящему превращаться в тот Свердловск, который мы знаем сегодня, в 1953 году. Вы, Владимир Владимирович, не видели еще на улицах Свердловска даже трамвая. Вы приезжали в Свердловск на поезде. Сегодня Вы, несомненно, прилетели бы сюда: давно уже действует авиалиния Москва – Свердловск. В Свердловске за двадцать лет построены сотни тысяч квадратных метров жилой площади.

Радостно сообщить Вам, Владимир Владимирович, что Вы совершенно безошибочно угадали могучие индустриальные очертания будущего Свердловска. Здесь выстроены десятки мощных заводов: среди них такие гиганты, как Уралэлектроаппарат, Уралмаш, Уралхиммаш, автогенный завод, инструментальный...

Вы не очень любили статистику. Но я уверен, что цифры, которые я упоминаю, Вам очень понравились бы.

Только в техникумах и институтах обучается тридцать тысяч студентов. В городе находится филиал Академии наук СССР. Более ста пятидесяти библиотек располагают книжным фондом до пяти миллионов томов. Драматический театр. Музыкальная комедия. Театр юного зрителя. Филармония. Киностудия. Девять кинотеатров. Около сорока Дворцов культуры и клубов. Уральская консерватория имени Мусоргского, один из крупных центров музыкальной жизни на

Урале... Таким стал этот «городище», который только рождался на Ваших глазах. Побывав в Кузнецке, Вы сказали:

Через четыре
года
здесь
будет
город-сад!

Так и случилось!
Вы совершенно точно предсказали:

Мы
в сотню солнц
мартенами
воспламеним
Сибирь.

Сегодняшняя Сибирь воспламенена сотнями и тысячами электрических солнц, а Ваша изумительная строфа о городе-саде стала классической, ее знает каждый грамотный советский человек:

Я знаю –
город
будет,
я знаю –
саду цвести,
когда
такие люди
в стране
в советской
есть!

Возвратившись из поездки в Баку, Вы писали:

«Я помню дореволюционный Баку. Узкая дворцовая прибрежная полоса, за ней грязь Черного и Белого города, за ней – тройная грязь промыслов, с архаической фонтанной и желоночной добычей нефти. Где жили эти добыватели – аллах ведает, а если и жили где, то не долго.

...После годовщины десятилетия я опять объехал Баку.

...Это уже не сколок с московской культуры. Разница не количественная, а качественная. Это столичная культура – экономического, политического и культурного центра Азербайджана».

Так писали Вы в 1927 году в статье «Рождение столицы». Своим зорким глазом поэта-провидца Вы разглядели очертания растущей столицы Советского Азербайджана. Вы восхищались этим сказочно быстрым ростом. Но что бы сказали Вы, Владимир Владимирович, если бы познакомились с сегодняшним Баку! Это поистине нечто изумительное! И прежде всего изумились бы Вы, что бакинцы добывают нефть со дна моря...

Двести пятьдесят пять с половиной миллионов рублей было вложено за два последних года в жилищное строительство города. Открыт республиканский стадион. Используя рельеф местности, архитекторы-строители разместили трибуны на сорок тысяч человек величественным полукругом, открывая широкую перспективу на Бакинскую бухту, на весь город.

На улицах, в парках, вдоль автомагистралей Баку и его нефтяных районов высажено около семисот тысяч деревьев и декоративных кустарников. Сооружается двенадцатиэтажный дом.

Путешествуя по родной земле, Вы зорко вглядывались в черты нового и коротко, но метко фиксировали свои поэтические наблюдения:

По-новому
улицы Новочеркаска
черны сегодня –
от вузовцев.

Ныне вузовцев в Новочеркасске несравненно больше. В городе пять институтов и девять техникумов. Можно считать, что каждый

прохожий, которого Вы встретили бы на улице, – студент.
Представляя себе будущий Волго-Дон, Вы писали:

Один на Кубани сияет лампас –
лампас голубой
Волго-Дона.

Вы видели этот голубой лампас в отдаленном будущем. Для Вас это еще была лишь поэтическая метафора. Для нас же, Ваших современников, она стала уже реальной действительностью.

Вы любили, Владимир Владимирович, Крым:

И глупо звать его
«Красная Ницца»,
и скучно
звать
«Всесоюзная здравница».
Нашему
Крыму
с чем сравниться?
Не с чем
нашему
Крыму сравниваться!

Помните, Вы восхищались Ливадийским дворцом, в котором отдыхают крестьяне. Теперь таких дворцов, построенных Советской властью, десятки.

Вы писали о будущем Днепрогэса:

*Где горилкой,
удалью
и кровью
Запорожская
бурлила Сечь,
проводов уздой
смирив Днепровье,*

*Днепр
заставят
на турбины течь.*

И Вы оказались правы: Днепр заставили течь на турбины! Но Вы не знаете, что была кровавейшая война с фашизмом. Вы не знаете, что Днепрогэс был захвачен врагами, взорван, снова возвращен родине и вторично отстроен!

О, если бы Вы видели величественный подвиг советского народа, отстаившего дело коммунизма от всех темных сил капиталистического мира! Если бы Вы были тогда с нами! Какими изумительными стихами воспели бы Вы, Владимир Владимирович, нашу победу!

В стихах «Владикавказ – Тифлис» Вы обмолвились следующими словами:

Я жду,
чтоб гудки
взревели зурной,
где шли
лишь кинто
да ослик.

И снова Вы предвосхитили будущее. Давно уже прошло время, когда Грузия воспринималась лишь как идиллическая страна виноградников и горных пейзажей. Давно прошло время, когда можно было писать:

Пену сладких вин
На узорные шальвары
Сонный льет грузин.

Грузия стала индустриальной страной. Грузия льет сталь. Здесь вырос большой промышленный город Рустави. Ему недавно лишь минуло пять лет, а как он чудесно выглядит! Там, где была древняя

Руставская крепость, теперь задымили заводские трубы, глухая степь озарена электрическими огнями. Бывшие крестьяне стали металлургами.

В своих путевых стихах Вы роняли меткие характеристики, маленькие жемчужины истинно светлой, веселой поэзии.

О Евпатории Вы написали:

Очень жаль мне
тех,
которые
не бывали
в Евпатории.

О Киеве:

Вот стою
на горке
на Владимирской,
Ширь всю –
не вымчат и перу!

Посмотрите же, Владимир Владимирович, как сейчас выглядят воспетые Вами места родной земли. Евпатория в летние месяцы отдается в полное владение детям. А Киев? Киев становится еще прекрасней, хотя и в нем хозяйничали враги. И если бы Вы могли сегодня подняться на Владимирскую горку, какая перед Вами открылась бы ныне ширь!

Из всех городов мира Вы больше всего любили Москву.

Не надо быть пророком-провидцем,
всевидящим оком святейшей
троицы,
чтоб видеть,
как новое в людях роится,
вторая Москва

вскипает и строится.

Вот она, Владимир Владимирович, «вторая Москва». Поедем по ее новым улицам. Не узнаете? Еще бы! Ну, скажите, например, какая это площадь? Триумфальная? Нет, не угадали. Это площадь Маяковского, Ваша площадь, Владимир Владимирович. Здесь будет стоять Ваш памятник. Его еще нет, но он будет. Вот место, где его поставят. Видите цветы? Памятника еще нет, а цветы уже носят. Вас, отдавшего «всю свою звонкую силу поэта» великому делу революции, любит советский народ. То, что Вы, поэт-провидец, предсказывали из далекого вчера, этот народ, ведомый Коммунистической партией, совершил. И он повторяет Ваши слова о том, что:

Партия –
это
миллионов плечи,
друг к другу
прижатые туго.
Партией
стройки
в небо взмечем,
держа
и вздымая друг друга.
Партия –
спинной хребет
рабочего класса.
Партия –
бессмертие нашего дела.

Сила правды*

Герой всего творчества Льва Толстого – правда, та высшая человеческая правда, которая не может примириться с существованием в мире зла.

В исторически неизбежном столкновении труда с капиталом Лев Толстой всегда твердо и последовательно стоял на стороне труда. Но он не сделал революционных выводов. Эти выводы сделали другие. Но всю свою жизнь Толстой боролся со всеми государственными и общественными институтами, созданными угнетателями для подавления рабочего класса и крестьянства. Суд, полиция, жандармерия, официальная церковь, буржуазная пресса, искусство, брак, международные монополии, банки, картели, тресты, чудовищная гонка вооружений, колониальная политика – все это вызывало в Толстом чувство глубочайшего протеста, омерзения и гнева.

Ни один художник в мире не сумел с такой силой, сарказмом и логикой разоблачить паразитические классы общества. Нет нужды перечислять произведения Толстого, в которых он срывает все и всяческие маски с носителей общественного зла, порожденного законами «священной частной собственности», ненавидимой им всей душой.

Царское правительство – одно из самых аморальных правительств старого мира – боялось Толстого. Князя официальной церкви отлучили его и предали анафеме.

Я помню день смерти Льва Николаевича Толстого. Мне было тринадцать лет, и я только что впервые прочел «Войну и мир», потрясшую меня своей волшебной силой.

Мне хотелось бежать из дома, как-нибудь пробраться в Ясную Поляну, увидеть Толстого, поцеловать его старую, сморщенную руку. Душа моя была в смятении от только что открывшегося для меня нового мира толстовской поэзии.

И вот человек, создавший этот мир, – вдруг умер.

Я торопился в гимназию. Лил дождь. Утро еле брезжило. Чернели зонтики чиновников. И по мокрой, оловянно блестящей улице бежали газетчики, крича:

– Смерть Льва Толстого! Смерть Льва Толстого!

Люди стояли в подворотнях, разворачивая мокрые газетные листы в черных рамках. Ужас охватил мою душу. Мне показалось, что в мире произошла какая-то непоправимая катастрофа.

Никогда не забуду этот темный изнурительный день, зияющий траурной пустотой: не забуду отца в сюртуке, без пенсне, сидящего в качалке, опустив голову, с красными от слез глазами; не забуду лихорадочного движения города, усиленные наряды городских на перекрестках, высыпавших на улицы студентов, курсисток в черных шляпках, мастеровых, которые собирались толпами, порывались куда-то идти и пели «Вечная память», и уже где-то над толпой из-за угла мелькнул красный лоскут, и уже послышалось «Вы жертвою пали...», и кто-то крикнул крамольное слово «товарищи», и сотни голосов затянули: «Вихри враждебные веют над нами...», и послышалось на мокрой мостовой скользящее, срывающееся по булыжнику цоканье казачьих разъездов...

Во всем этом было нечто от Пятого года, от революции, которую я также на всю жизнь запомнил. Стало поразительно ясно: Лев Толстой есть одно из явлений Революции.

Я читаю Толстого постоянно. Его книги всегда у меня на столе или на полке над головой. Каждый раз для меня Толстой звучит по-новому. Я всегда нахожу в нем какие-то черты, ускользавшие от меня до сих пор. Думаю, что я буду его читать до самой своей смерти, иногда с ним споря и не соглашаясь, но всегда восхищаясь несравненной мощью его искусства, его мысли.

Неизмеримо громадно эстетическое наслаждение, испытываемое от чтения Толстого.

Хотя изобразительные средства Толстого всегда якобы удивительно просты, впечатление у читателя получается неизгладимое. Это происходит потому, что у Толстого каждое слово несет предельную смысловую нагрузку. У него нет слов-красавцев, слов-пустоцветов, слов-украшений. У него все поставлено на службу мысли: ритм, расположение слов во фразе, пунктуация, звукопись.

В творчестве Толстого все подчинено единственному закону – закону правды жизни. И часто Толстой подчинялся этому закону – осмеливаюсь сказать – бессознательно. Высшая правда, которая руководила всем гигантским творческим аппаратом Толстого,

зачастую и даже почти всегда выше Толстого-философа и часто выше его даже как художника. Вот почему Толстого, который, как известно, был и безусловным противником революции, и создателем «толстовства», то есть одного из самых реакционных учений, Ленин назвал зеркалом русской революции. Толстой-художник вступил в противоречие с Толстым-человеком, победил его – и это сделало Льва Толстого одним из самых деятельных борцов против мирового капитализма, против государства, обреченного при коммунизме на отмирание.

Преклоняясь перед Толстым-художником, мы все должны учиться у него со всей силой отпущенного нам судьбой таланта писать правду, одну только правду, потому что правда – это и есть плавная сила всякого истинного писателя.

1953

Александр Куприн – один из самых талантливых русских писателей последнего двадцатилетия перед Октябрьской революцией. Трудно было писать и быть знаменитым в то время, когда в литературе сверкали одновременно три таких гиганта, как Лев Толстой, Чехов и Горький. Однако русский читатель не только заметил Куприна, но и крепко его полюбил. Природа одарила Куприна всеми качествами художника-реалиста: беспокойным умом, острым глазом, способностью в частном открывать общее, наконец, умением создавать человеческие характеры. В большинстве случаев Куприн брал острые темы, ставил большие проблемы, хотя справедливость требует отметить, что не всегда ему удавалось эти проблемы верно решить: художник всегда перевешивал в Куприне мыслителя. Начиная со знаменитого «Поединка», так высоко оцененного Горьким, и кончая спорной во всех отношениях «Ямой», каждое новое произведение Куприна непременно являлось большим литературным событием и возбуждало в русском обществе жаркие споры. Незадолго до первой мировой войны в большом тираже вышло полное собрание сочинений Куприна, и он на короткое время стал, что называется, «властителем дум». Куприным зачитывались. В особенности молодежь.

Не говоря уже о «Поединке», я помню, какое громадное впечатление произвел его «Молох» – небольшая по размеру повесть, где писатель с потрясающей силой нарисовал звериный лик капитализма, обобщив все его черты в образе дельца Квашнина. Это поистине страшная и омерзительная фигура хищника, «пожирающего» людей и превращающего пот и кровь рабочих в золото. Действие повести происходит на гигантском металлургическом заводе, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что впервые в нашей литературе появилось такое яркое и новое для России того времени изображение индустриального пейзажа, написанного могучей и мрачной кистью художника-разоблачителя.

К сожалению, в ряде позднейших своих произведений, Куприн не удержался на такой идейной высоте, хотя большинство из них демократичны и прогрессивны.

Будучи настоящим, большим художником, Куприн, конечно, стоял в оппозиции к царскому правительству. Он разоблачал либеральную буржуазию. Он боролся со взяточниками, казнокрадами, доносчиками; боролся с пережитками крепостничества, с бюрократизмом. В некоторых рассказах, как, например, «Попрыгунья-стрекоза» и «Черная молния», он беспощадно разоблачал мелкобуржуазную сущность либеральной интеллигенции и предсказывал грядущую революцию. В этом смысле он был писателем во всех отношениях передовым. Однако он не был революционером. Вся позитивная часть его произведений нигде не поднимается выше общепринятой в то время христианской морали. Куприн хотя и продолжает до известной степени линию Толстого и Чехова, но не доходит до уровня Горького, который строил свои произведения на совершенно другой идейной основе. Одним словом, Куприн более принадлежал прошлому, чем будущему. И все же благодаря своему громадному таланту Куприн создал целый ряд поистине классических произведений. Такие вещи, как, например, «Листригоны», «Гамбринус», «Ночная смена», «Гранатовый браслет», «Олеся», были и навсегда останутся подлинными жемчужинами русской художественной литературы.

Куприн не понял Октябрьской революции и провел в эмиграции около двадцати лет. Если не считать прелестных отрывков из романа «Юнкера», годы эмиграции прошли для его творчества бесплодно, как, впрочем, и для всех русских писателей, оторвавшихся от родины. И в этом величайшая трагедия Куприна. Сколько бы он мог написать замечательных произведений, если бы остался на родине!

Куприн был слишком русским и слишком патриотом для того, чтобы примириться с положением эмигранта. В 1937 году он, уже старый и больной, все-таки нашел мужество сознаться в своей роковой ошибке и вернулся в Советский Союз.

Раньше я не был знаком с Куприным. Я пришел к нему в гостиницу «Метрополь» вскоре после его возвращения на родину и принес ему букетик мокрых левкоев. Я увидел маленького старичка в очках с увеличительными стеклами, в котором не без труда узнал Куприна, известного по фотографиям и портретам. Он уже плохо видел и с трудом нашел своей рукой мою руку. Трудно забыть выражение его лица, немного смущенного, озаренного слабой,

трогательной улыбкой. Из-за толстых стекол очков смотрели очень внимательные глаза больного человека, силившегося проникнуть в суть окружающего. Это же выражение напряженного, доброжелательного удивления не покидало лицо Куприна все время, пока мы сидели на открытой веранде «Метрополя», а потом гуляли по центральным улицам Москвы, – советской Москвы! – такой нарядной, веселой и деловитой в этот яркий осенний день, полной солнца и цветов.

С жадным любопытством всматривался Куприн в черты нового мира, окружавшего его. Медленно переступая ногами и держась за мой рукав, Александр Иванович то и дело останавливался, осматривался и шел дальше с мягкой, я бы даже сказал, «потусторонней» улыбкой на лице, как бы одновременно и встречаясь и навеки прощаясь со своей утраченной и вновь обретенной родиной.

Через год он умер...

На моем столе всегда лежат три томика сочинений Куприна, говорящих о том, что старый писатель окончательно и навсегда вернулся на родину, к своему народу, который он так любил и который отвечал ему полной взаимностью.

1954

Творческое самочувствие*

Ни одного вопроса искусства – и, конечно, в том числе литературы – нельзя не только правильно разрешить, но даже и поставить, если не отдавать себе полный отчет в том, каково же должно быть творческое самочувствие художника, то есть та основа основ, которая обуславливает ценность любого вида сознательной человеческой деятельности, в особенности художественной. Именно оно – творческое самочувствие художника – в конечном счете и решает дело.

На днях я нашел у Тургенева интереснейшее место, где писатель устами одного из своих героев выразил следующую мысль:

«Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает, и это точно большое несчастье. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто действительно без нее обходится!»

Не следует забывать, что вся наша культура родилась не на пустом месте. Ее корни уходят в славное прошлое русского народа и, разумеется, всех братских народов Советского Союза.

Истинно великие общественные деятели и писатели прошлого, составляющие лучшую славу наших народов, были прежде всего патриотами. Ломоносов и Державин, декабристы и Пушкин, Гоголь и Белинский, Давид Гурамишвили и Некрасов, Шевченко и Герцен, Чернышевский, Лермонтов, затем Лев Толстой, Чехов и, наконец, Максим Горький – последний классик дореволюционной России и вместе с тем первый советский писатель, вдохновитель, идеолог и организатор многонациональной социалистической литературы.

Все эти художники нашего славного прошлого именно тем и были значительны, что в их сердцах всегда горел неугасимый огонь беззаветной любви к своему народу, своему отечеству. Именно это сделало их произведения столь любимыми и неувядаемыми.

Мы являемся наследниками их патриотической традиции и продолжателями дела, завещанного всем историческим ходом революционного развития нашего общества.

Чувство патриотизма лежит в самой основе морального облика советского человека. В Советском государстве все небывало, все ново. Прежде всего нова и небывала сама организация власти – самой народной, самой справедливой, самой гуманной.

Нова и небывала форма общественной собственности на землю – величайшее достижение трудящегося человечества – колхозный строй. Нова и небывала организация планового производства, распределения и труда советского рабочего. Нова и небывала по своему размаху система народного образования, дающая возможность каждому советскому гражданину получить всю полноту знаний. Ново чувство интернационального долга, объединяющего советских людей с трудящимися людьми всего мира.

Все это общеизвестно, но никогда не следует об этом забывать.

У нас много говорится, пишется и еще более думается об отставании советской литературы. Отчасти это, может быть, и так: не всегда сознание художника поспевает за жизнью. Но это верно только отчасти. Нельзя не признать, что появилось много новых, славных имен. Во всех жанрах создано немало превосходнейших произведений, которых, кстати сказать, гораздо больше, чем можно себе представить, если судить по некоторым критическим статьям, обзорам и заметкам, где вольно или невольно замалчивается много выдающихся произведений.

Причем надо заметить, что советские писатели одерживали большие творческие победы всякий раз, когда их вдохновляло высокое чувство советского патриотизма. Конечно, настоящего патриотизма, а не липового.

Сила советских писателей заключается в том, что они не только художники, «живописцы словом», но прежде всего настоящие советские патриоты. Их творческое самочувствие всегда определяется прежде всего их горячей любовью к родине, желанием ей нелицеприятно служить.

Поэтому, думается мне, ставя большие и малые вопросы теории, практики и организации, связанные с дальнейшим развитием нашей литературы, не следует забывать, что главное все-таки заключается в творческом самочувствии писателя, в правильном понимании им своего места в жизни всего советского общества, в самой тесной связи

с партией, с народом, в непоколебимой готовности говорить им правду, только правду!

Партия учит нас гордиться нашей родиной. Это гордость законная, потому что она вытекает из самой сущности нашего общественного бытия. Нужно быть советским патриотом. Для писателя-патриота гораздо легче преодолеть все трудности, неизбежно стоящие на пути подлинного художника, и решить все большие и малые вопросы литературы, выдвинутые жизнью. Можно с уверенностью сказать, что любая, самая острая тема под пером писателя-патриота зазвучит правдиво и принципиально и всегда найдет путь к сердцу массового читателя.

Нужно только дать себе ясный и точный ответ на вопрос: что такое истинный патриотизм?

На крутом подъеме, как известно, требуется особенно упорное напряжение всех сил. Поэтому еще теснее сплотимся вокруг партии и не пожалеем всей своей творческой энергии, вдохновения и упорного труда для того, чтобы поднять нашу жизнь, а вместе с ней и нашу литературу на новую высоту и сделать их еще более прекрасными.

О Горьком*

Максим Горький был человек необыкновенно многогранный, интересный. Как у каждого большого человека, настоящего самородка, гениального художника, у Горького был очень сложный, даже подчас противоречивый характер. В нем удивительно сочетались самые разнообразные элементы: ясное, почти детское простодушие и упрямая несговорчивость, безграничная доброта и непримиримость, пронизательность и доверчивость, веселье и грусть. Он умел быть то по-стариковски вдумчивым и мудрым, то совсем по-юношески порывистым и дерзновенным.

Однажды мы провели с Горьким в Сорренто великолепнейший вечер, даже ночь, которая пролетела, как сон. Мы разговаривали до зари, смотрели на звезды, пели хором, гуляли, плясали. И Горький плясал больше всех. Прощаясь на рассвете, я спросил у него:

– Алексей Максимович, сколько же вам лет?

– Семнадцать! – ответил Горький, озорно сверкнув глазами, хотя ему в ту пору было едва ли не все шестьдесят. Он как раз в это время писал свою самую мудрую и самую зрелую вещь – «Жизнь Клима Самгина».

Вот какой человек был Алексей Максимович.

Но при всем том в характере Максима Горького была одна наиболее ощутимая черта, которая явно выделялась среди всех других и благодаря которой Алексей Максимович Пешков и стал великим Максимом Горьким. Эта черта была партийность. Горький до мозга костей был человек партийный, хотя формально к партии и не принадлежал. Для художника – партийность есть не только формальная принадлежность к партии. Чувство партийности нужно неуклонно и постоянно воспитывать. Воспитывая нас, своих младших братьев, советских писателей, Горький всегда старался привить нам любовь и преданность к Коммунистической партии. Горький знал, что партийность не есть какое-нибудь прирожденное качество человека. Не приходится сомневаться, что Горького-партийца, Горького-большевика воспитал Ленин. Это исторический факт громадного общественно-политического значения. Все мы знаем и никогда не

должны забывать о той дружбе, которая в течение многих лет связывала Ленина с Горьким. Дружеские чувства не мешали Ленину со всей прямотой и чисто ленинской, беспощадной принципиальностью руководить Горьким, подчас указывать Горькому на его ошибки и дружеской, но твердой рукой направлять творчество великого писателя. Переписка Ленина и Горького является для нас убедительным примером высокой, требовательной, принципиальной дружбы партии с литературой.

В период столыпинской реакции, ведя самоотверженную и поистине титаническую работу по выковыванию пролетарской партии нового типа, среди множества забот, в самый разгар борьбы за очищение рядов российской социал-демократии от всяческой меньшевистской скверны, от ликвидаторов и отзовистов, от махистов и богостроителей, Ленин ни на минуту не забывал о Горьком и постоянно держал его в курсе всего хода борьбы. Он всегда спешил обрадовать Алексея Максимовича каждой новой победой и не уставал разъяснять Горькому смысл развивающихся событий. Со своей стороны, Горький делился с Лениным многими своими самыми сокровенными мыслями, связанными с той великой исторической битвой, которая с особенной силой разгорелась перед первой мировой войной. Именно в это время выковывалось мировоззрение Горького.

В первые годы Советской власти Горький с головой окунулся в дело организации нового, социалистического общества. Вот как об этом времени вспоминает сам Горький в письме Павловичу:

«Я слишком часто обременял его (Ленина. – В. К.) в те трудные годы различными „делами“ – Гидроторф, дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д. – великолепнейший Ильич неукоснительно называл все мои проекты „беллетристикой и романтикой“. Прищурит милый, острый и хитренький глаз и посмеивается, выспрашивает: „Гм-гм, опять беллетристика?“

Но иногда, высмеивая, он уже знал, что это не „беллетристика“. Изумительна была его способность конкретизировать, способность его „духовного зрения“ видеть идеи воплощенными в жизнь».

И дальше, со свойственной ему откровенностью, Горький пишет:

«Я написал о Владимире Ильиче плохо. Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень. Да».

Вот каковы были отношения Горького к Ленину.

Свою любовь к Ленину, к Коммунистической партии Горький всегда старался привить и нам, молодым писателям. Он приложил много усилий, чтобы сделать советскую литературу партийной. В этом его колоссальная заслуга не только перед советским народом, но и перед народами всего мира, потому что наша советская литература должна служить всему трудящемуся человечеству.

Своей внутренней, если можно так выразиться, духовной партийностью я во многом обязан общению с Горьким. Но не только с Горьким. Долгие годы дружбы с Маяковским и Демьяном Бедным укрепили во мне глубочайшее убеждение, что, для того чтобы написать что-либо порядочное, полезное для народа, нужно твердо стоять на позициях коммунизма.

Теперь же, дожив до седых волос, я могу сказать с полным сознанием, что только подлинная, глубокая, продуманная и прочувствованная партийность может сделать наш художественный труд нужным людям и помочь создать действительные ценности. В этом все дело.

Это так просто и ясно!

Об этом свидетельствует пример дружбы между Лениным и Горьким. Теперь уже нет с нами Ленина и нет с нами Горького, но есть ленинская партия, и есть Союз советских писателей. И большая, серьезная, творческая дружба между ними продолжается.

Будем же любить нашу партию так, как любил Горький Ленина! Пусть эта любовь с каждым годом растет и крепнет, и тогда нам не страшны никакие трудности художественные и политические!

Шесть хороших и разных*

Крылатая фраза Маяковского о хороших и разных стала столь популярна, что рискует превратиться в общее место. Ею клянутся, кому не лень. В особенности те, которые до сих пор не покладая рук выкорчевывали все хоть сколько-нибудь талантливое, оригинальное и новое во многих областях искусства, главным образом изобразительного.

Сейчас положение значительно изменилось к лучшему. На выставках начинают появляться действительно «хорошие» и действительно «разные». Пока еще более разные, чем «хорошие».

Вот почему «Выставка шести», которая недавно состоялась в Москве, представляется мне явлением интересным.

Кто же эти шесть?

Во-первых, А. Гончаров.

У него два лица, две ипостаси. Живопись и гравюра на дереве. Есть, правда, еще акварели, автолитография, театральные эскизы. Но это уже производное. Живопись Гончарова сразу бросается в глаза. Вы еще не успели переступить порог зала, как она овладевает вашим вниманием. С каждого холста, как из распахнутого окна, бьют свет и тени нарядного южного дня. Поэтому даже в дождливую московскую погоду на выставке шести было солнечно и радостно: ее все время как бы согревали яркие холсты Гончарова.

Портрет, пейзаж, натюрморт. Вот жанры, в которых особенно широко и свободно раскрывается дарование Гончарова-живописца.

Я слышал мнение, что Гончаров находится под сильным влиянием французских импрессионистов, главным образом Матисса. Отчасти это правда. Громадный талант гениального французского художника, несомненно, наложил свой отпечаток на творчество Гончарова. Лаконизм рисунка, геометрическая простота композиции и редкая свежесть красок – все это, конечно, от Матисса, что, кстати сказать, делает честь вкусу Гончарова, потому что, – «скажи мне, кто на тебя влияет, и я скажу, кто ты».

Но представлять дело так, что Гончаров не больше чем эпигон Матисса, было бы неверно. Гончаров идет своим путем.

Если же говорить о влияниях, то здесь скорей влияние В. Серова последнего периода, который в своих портретах пользовался цветом не столько для внешней, сколько для внутренней характеристики человека. Мне кажется, что в этом отношении Гончаров развивает Серова.

Во всяком случае, портрет художника К. С. Елисеева, написанный Гончаровым в зеленовато-серой гамме, является удивительным образцом чисто цветовой характеристики. Это же относится к портрету Ю. Храпака и в особенности к чудеснейшему, нарядному и острому портрету О. А. Шагановой-Образцовой. Соединение в нем желтого и черного с резким и очень точным рисунком достигает большой впечатляющей силы и делает этот портрет едва ли не лучшим из того, что выставил Гончаров.

Так же интересны, свежи пейзажи и натюрморты, написанные хотя и не без влияния того же Матисса и Марке, но утверждающие в уверенности, что Гончаров идет своим путем.

Гравюры на дереве Гончарова на первый взгляд не так броски. Они скромно прячутся в задних комнатах выставки. Но стоит возле них остановиться и присмотреться, как перед нами открывается совершенно новый, особый мир Гончарова – резчика по дереву, ничуть не похожий на мир Гончарова-живописца, но, быть может, еще более своеобразный, в котором талант художника развивается наиболее полно. Здесь, при единстве строго графического стиля, художник добивается большого разнообразия, обязательного при иллюстрации к таким разным писателям, как, например, Софокл и Гоголь, Шекспир и Пушкин.

Рука Гончарова поистине с артистической легкостью запечатлела и украсила изящными заставками, фронтисписями и концовками произведения тридцати или сорока самых различных авторов, и для каждого нашлось точное по мысли и по стилю, своеобразное графическое решение.

Любители книг хорошо знают и ценят Гончарова-оформителя. Каждый томик, к которому он приложил свою руку, приобретает дополнительную прелесть и ценность. А теперь широкая публика получила возможность впервые познакомиться и с другой интересной стороной его творчества – живописью.

Талантливый мастер В. Горяев, было время, не раз терпел нападки критики, и это лишь потому, что он видел мир гораздо более реалистично, чем его критики.

Горяев – художник широкого диапазона: он карикатурист, иллюстратор, журнальный рисовальщик, автолитографист – все, что угодно, но только не станковист, хотя большой раздел своих работ и назвал в каталоге «станковой графикой». Впрочем, от этого его графика не сделалась «станковой» и не потеряла своей оригинальной прелести.

Тушь, перо, акварель – вот сфера, в которой он чувствует себя как рыба в воде. Маслом он не пишет.

Его работы проигрывают на выставке. Они созданы для типографского станка. Зато в журнале, в книге и альбоме, в отдельных листах они удивительно хороши. Горяев – художник жизнерадостный, наблюдательный, точный, ироничный. Изображая окружающую жизнь, он никогда не отстает от нее. Его графические наблюдения всегда злободневны. Будущий историк найдет в его листах много полезного для понимания нашей эпохи.

Горяев – неутомимый путешественник. Последние годы он много поездил по зарубежным странам, по Советскому Союзу. Из каждого путешествия художник привозит кипы восхитительных рисунков.

Берег Черного моря. Ока. Волга. Каховка. Кавказ. Крым...

Художник щедро отдает зрителю все свои впечатления.

К. Дорохов до сих пор был более известен как мастер небольших пейзажей, но на выставке шести он выступает также как жанрист и портретист. К сожалению, на выставку не попали его крупные жанрово-композиционные вещи 30-х годов и эпохи Великой Отечественной войны.

Тематика Дорохова современна и разнообразна. О ней говорят простые выписки из каталога – «Вузовка», «Ненецкая девушка с книгой», «Зоя», «Девушка из отряда морской пехоты», «После работы», «Ремонтная бригада», «Выпускницы»... Дорохов по своей природе – станковист, чем резко отличается от Горяева.

Но его современной тематике не вполне соответствует его живописная техника. Она несколько устарела. При своей усложненности, немного напоминающей манеру импрессионистов, она не сливается в единое зрительное впечатление и оставляет

досадное ощущение дробности. Впрочем, это до известной степени спасает произведения Дорохова от элементарного натурализма, придает им некоторую хотя бы внешнюю обобщенность. Однако его этюды лишены этого недостатка и производят гораздо более сильное впечатление, чем законченные полотна.

Вероятно, со временем Дорохов придет к обобщенной форме, и тогда его искусство станет гораздо более цельным и впечатляющим.

Серию интереснейших рисунков для тканей в темпере и уже готовых шелковых тканей выставила С. Заславская. Эти, по сути дела, вполне прикладные работы воспринимаются как произведения высокого искусства. Художница неисчерпаема в поисках и открытиях все новых и новых орнаментальных мотивов, причем ей никогда не изменяет какое-то изумительное – если будет позволено так выразиться – снайперское чувство гармонии, цвета, декоративности и, наконец, ощущение особенностей самого материала, текстиля, для украшения которого все это делается.

Большую зрительную радость доставляют все ее «Пионы», «Левкой», «Листики», удивительный поэтический «Ветер», состоящий из тревожно-трепещущих узких ивовых листков, создающих полное ощущение ветра. Невольно проникаешься чувством глубокого уважения и благодарности к художнице, которая с такой любовью отдает свой незаурядный талант созданию красивых тканей на платья советским женщинам.

Затем идет скульптор С. Лебедева. Я говорю «затем», но это лишь в порядке алфавита. На самом деле она здесь первая. Ее скульптура царит надо всем. С. Лебедева, несомненно, – крупнейшее явление в советском искусстве. Да и не только в советском. Здесь собраны ее работы начиная с 1918 года – свыше семидесяти произведений, то есть, по существу, самостоятельная выставка. Выставка на выставке.

О Лебедевой нельзя говорить вскользь. Ее надо изучать. О ней надо писать монографии: так разнообразен ее могучий – я не боюсь этого слова – талант, примененный, главным образом, к жанру портрета. Человеческая голова, лицо – вот сфера творчества Лебедевой.

С. Лебедева в одно и то же время умеет быть и архитектурно масштабной, и вместе с тем удивительно нежной, даже интимной. Это сочетание двух столь противоположных качеств создает тот особый,

неповторимый стиль скульптурного портрета, который по справедливости можно назвать стилем Сарры Лебедевой. Но главное, что восхищает нас в портретах работы Лебедевой, – это умение открыть в человеке самые лучшие и красивые душевные черты. Для нее каждый человек – с большой буквы.

Как смело и тонко она раскрыла, например, в портрете Твардовского именно поэта! Она как бы высветила изнутри все его лицо возвышенной поэтической мыслью, причем это не отразилось на бытовом сходстве: Твардовский остался Твардовским. Вообще С. Лебедева почти всегда добивается в своих портретах поразительного, почти фотографического сходства, хотя и решает их в очень острой, подчас даже подчеркнуто обобщенной манере.

Конечно, после Лебедевой трудно приходится скульптору И. Слониму. Он также по преимуществу мастер-портретист. И портретист очень неплохой. Слоним, несомненно, вносит ценный вклад в золотой, как говорится, фонд советского искусства. Одной из лучших работ Слонима является выразительный портрет виолончелиста М. Ростроповича, с большим блеском выполненный в бронзе, и скульптура – голова Э. Гилельса, хотя и не слишком похожая, но хорошо передающая сосредоточенное, сдержанно-страстное выражение лица пианиста.

А в общем, надо сказать, что «Выставка шести» – явление радостное. Она показывает, что советское искусство не топчется на месте, а все время выдвигает действительно много «хороших и разных».

О себе*

Подводя некоторые итоги, я вспоминаю случаи, сыгравшие довольно большую роль в моей судьбе, в понимании роли писателя.

Я столкнулся с жизнью народа и по-настоящему понял, какую силу содержит печатное слово, попав на фронт первой империалистической войны. Я мысленно зачеркнул тогда почти все написанное мной раньше и решил, что отныне буду писать только то, что может принести пользу рабочим, крестьянам, солдатам, всем трудящимся людям.

В 1919 году, будучи в рядах Красной Армии, идя бок о бок с революционерами-красноармейцами против деникинских банд, я дал себе слово посвятить свое перо делу революции.

Я считаю возможным говорить об этом потому, что многие наши писатели участвовали в гражданской и Отечественной войнах, словом и делом воодушевляя бойцов. Военным корреспондентом был Александр Серафимович. С дальневосточными партизанами делил хлеб и воду Александр Фадеев. Дмитрий Фурманов был комиссаром Чапаевской дивизии. Николай Островский сражался с интервентами на Украине. Михаил Шолохов воевал с белыми бандами. Эдуард Багрицкий отправился на фронт с агитпоездом. На полях Великой Отечественной войны пали смертью храбрых свыше 200 советских писателей, чьи имена вырезаны на мраморной доске в Доме литераторов.

Мое детство совпало с революцией 1905 года. Мне было восемь лет. Но я хорошо помню, как встретили восставший броненосец «Потемкин», как он прошел под красным флагом мимо берегов Одессы. Я был свидетелем баррикадных боев, видел опрокинутые конки, упавшие провода, браунинги, ружья, человеческие трупы.

Через много лет после этого я написал «Белеет парус одинокий». Это произведение было навеяно свежим дыханием жизни, рожденной первой революцией.

«Я – сын трудового народа...» – это воспоминания о фронте первой мировой войны, где мне пришлось воевать.

Когда началось строительство Днепростроя, я поехал туда вместе с Демьяном Бедным. Оттуда мы отправились в донские и волжские колхозы, потом – на Урал.

Помню, остановился наш поезд у горы Магнитной. Меня так поразило все вокруг, что я решил немедленно сойти с поезда и остаться в Магнитогорске.

– До свидания, Ефим Алексеевич! – сказал я Демьяну Бедному, спрыгнув с вагонной подножки.

– Будьте здоровы, желаю вам успеха! – ответил он. – Очень жаль, что я не так молод, как вы, и придется вернуться в Москву. А то бы я с удовольствием остался здесь.

Я был восхищен грандиозностью всего увиденного на Магнитке, величайшим энтузиазмом народа, который строил для себя. Это тоже была революция. Тогда появилась моя книга «Время, вперед!».

Потом война. Я был корреспондентом на фронте и многое увидел. Но почему-то больше всего запомнил мальчиков – обездоленных, нищих, угрюмо шагавших по дорогам войны. Я увидел русских солдат. Измученные, грязные, голодные, они подбирали несчастных детей. В этом была великая гуманность советского человека. Они дрались с фашизмом, и, значит, они тоже были светочами революции. Вот почему я написал «Сын полка».

Я считаю, что прожил интереснейшую жизнь. Я вижу наконец то, к чему стремились в 1917 году, вижу, для чего мы совершили технический переворот, строили Магнитку, ради чего умирали мои друзья на фронте...

Меня всегда волновал вопрос: «Что значит быть советским писателем?» Ответ на него я получил так...

Это было давно. Придя однажды домой, я нашел в почтовом ящике длинный конверт с иностранными марками. Вскрыв его, я прочитал приглашение от известного буржуазного литературного объединения Пен-клуб участвовать в очередной конференции этого клуба в Вене. Я был тогда молодым писателем, приглашение это мне очень польстило, и я стал рассказывать всем встречным и поперечным, какой мне оказан неслыханный почет. В одной из редакций я встретил Маяковского и, конечно, показал ему это заграничное письмо. Владимир Владимирович, в свою очередь,

спокойно достал из кармана пиджака точно такой же элегантный конверт.

– Вот. И меня тоже пригласили, – сказал он. – Но я не хвастаю. Потому что пригласили меня, конечно, не как Маяковского, а как представителя советской литературы! И вас – тоже. Понятно? Подумайте, Катаич (так он называл меня в добрые минуты), что значит быть писателем Советской страны!

Слова Маяковского запомнились мне на всю жизнь. Я понял, что своими творческими удачами обязан воспитавшему меня советскому народу. Я понял, что быть советским писателем – это значит идти в ногу с народом, равняясь на партию, быть всегда на гребне революционной волны.

Есть у меня рассказ «Флаг», написанный, как говорится, на фактическом материале. Содержание его таково. Фашисты окружили наших воинов и предложили им сдаться. Но вместо белого флага наши вывесили алый стяг, сшитый из кусков красной материи разных оттенков.

Наша советская литература тоже составлена из многих произведений разных оттенков, которые в целом горят, как огненно-красное знамя революции.

Однажды, гуляя по Шанхаю, я случайно зашел на рынок, где находится так называемый «Храм мэра города». Там продают для верующих свечи. За столиком стоит старая китайка, она достает из двух ваз странные палочки. Вы платите десять юаней, женщина разрешает вытащить одну палочку с иероглифами. Потом справляется в книге, спрашивая, какая у вас на палочке помечена страница. И вот эту страницу она вырывает и отдает вам. На моем листике было написано: «Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания. Трудно изменить волю императрицы, но имя ваше останется в веках».

Императрицы у нас нет. Эта часть предсказания отпадает. Весьма сомнительно, что мое имя останется в веках. Тоже отпадает.

Остается только одно – «Феникс поет перед солнцем». С этим я согласен. Солнце – это моя родина...

О новаторстве*

Дух новаторства должен пронизывать все поры нашего общества.

Революционное новаторство – вот главная черта всей деятельности Ленина, в боях и борьбе создавшего первую в мире истинно рабочую партию коммунистов. Дух новаторства руководил Лениным, когда он открыл совершенно новые формы первого в мире Советского государства.

Так же глубоко был разработан в ленинские времена и знаменитый план ГОЭЛРО, который Ленин назвал второй Программой партии.

Ленин никогда не отрицал права на мечту. Он прямо написал:

«Надо мечтать!»

Заметьте: не можно, а надо. Надо мечтать!

«Разлад между мечтой и действительностью, – цитирует Владимир Ильич Писарева, явно разделяя его мнение, – не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту, внимательно вглядываясь в жизнь, сравнивает свои наблюдения с своими воздушными замками и вообще добросовестно работает над осуществлением своей фантазии. Когда есть какое-нибудь соприкосновение между мечтой и жизнью, тогда все обстоит благополучно».

Стало быть, нет никакого противоречия между нашей мечтой и действительностью. Но есть противоречие иного рода. Планы наши – насквозь новаторские. А между тем иные люди, призванные осуществлять эти планы, проводить их в жизнь, нередко в своей практике, да и по духу своему довольно-таки консервативны. То, что в дореволюционное время называлось «просвещенные консерваторы». Наши советские «просвещенные консерваторы» очень любят трактовать себя как больших новаторов.

Если же присмотреться к их ежедневной деятельности, к их практике, к их безоговорочному открытому преклонению перед всем старым, проверенным и спокойным, к их панической боязни всего сколько-нибудь нового, то можно с уверенностью сказать, что в силу целого ряда исторических обстоятельств образовался некий

устойчивый тип работника-консерватора, тайного зажимщика всякой смелой мысли, всякой непривычной идеи, идущей вразрез с усвоенными в течение многих лет представлениями и навыками, – будь то животновод, застрявший в своих представлениях на практике средневекового животноводства; будь то отсталый председатель колхоза; будь то чиновный литератор, воинственный охранитель устаревших, изживших себя литературных форм, в которые уже явно не вмещается новое содержание; или же критик, пытающийся представить дело так, будто допотопный реализм какого-нибудь Шеллера-Михайлова – это именно и есть социалистический реализм.

Новое рождается в борьбе со старым, отжившим, косным. Такова диалектика. Духу новаторства всегда противостоит консерватизм самых различных, подчас очень тонких оттенков. Это закономерно. Мы знаем, что жизнь развивается, не может не развиваться в борьбе противоречий. Старое всегда сражается с новым.

Борьба нового со старым, передового с косным идет в науке, в эстетике, в искусстве. Это борьба плодотворная, показывающая бурный рост нашей страны во всех областях. Но она все же борьба, и в этой борьбе наша новаторская Коммунистическая партия, ее ленинский Центральный Комитет призваны историей помогать всему новому.

Нельзя забывать, что все большие и малые деяния, которые совершил наш народ, наша партия, начиная с Октябрьской революции, были актами новаторства.

Новаторством были коллективизация сельского хозяйства, строительство индустриальных гигантов, освоение целинных земель, завоевание космоса.

Если можно сказать, что наш народ в короткий исторический срок пересел с телеги на трактор, а вся наша страна совершила прыжок от лучины к радио, от капитализма к социализму, то теперь новая Программа партии дает нам еще более грандиозный маршрут, когда, образно выражаясь, нашему народу предстоит пересест с самолета на космический корабль.

Этот подвиг может совершить только народ-новатор.

Движение наше вперед совершается с такой быстротой, что сознание человека зачастую не поспевает за развитием техники.

Сознание отстает. Это явление хотя и досадное, но оно показывает не столько слабость нашего сознания, сколько быстроту, которую набирает наше общество в своем движении вперед, к новым коммунистическим формам своего бытия.

Задача в том, чтобы убрать с дороги все инертное и предоставить «зеленую улицу» духу новаторства.

Программа партии открывает практически неисчерпаемые перспективы во всех областях нашей жизни, в особенности в области человеческого труда.

Как человек, причастный к искусству, я, конечно, в первую очередь мечтаю о наступлении эры большого новаторского искусства, ибо только оно одно может во всей полноте отразить нашу эпоху новаторской техники и новаторской политики.

Был такой момент, когда малейшее проявление в искусстве чего-нибудь истинно нового вызывало раздраженные отклики, что, конечно, совершенно не могло содействовать процветанию в нашей стране духовной свободы и независимости.

В этой связи хочется вспомнить один случай с Владимиром Ильичем Лениным. Это было в 1921 или в 1922 году, а может быть, годом раньше. Я приехал в Москву в 1922 году, и об этом случае говорили все литераторы и люди левого фронта, с которыми я встречался и дружил. Говорили о посещении В. И. Лениным общежития Вхутемаса.

Среди огромных государственных дел Владимир Ильич нашел время, чтобы приехать в общежитие Вхутемаса, посмотреть, как живут студенты. А время было очень трудное, голодное. Ленин приехал вместе с Надеждой Константиновной Крупской и поднялся по темной лестнице в общежитие, где жили тогда голодные, но полные энтузиазма художники, горячие сторонники Советской власти и страстные враги всего «академического». Были у них, разумеется, «левые» крайности, свойственные и молодости, и первым годам революции, но, в общем, были они замечательные парни, хотя в большинстве своем занимались ужасающими вещами – например, супрематизмом. Это было и трогательно и трагично. Молодые вхутемасовцы искренне считали, что они служат Революции и Советской власти. Они варили пшеничную кашу на «буржуйках» и занимались искусством, то есть писали свои странные, трогательно

детские полотна, с разноцветными кружками и треугольниками – зачастую, надо признаться, довольно приятными на взгляд.

И вот Владимир Ильич Ленин попал в эту компанию. Ему сказали, что это художники, представители самой что ни на есть ультралевой революционной интеллигенции.

Владимир Ильич посмотрел их работы. Его окружили, заговорили о литературе – о Пушкине, Маяковском и начали спрашивать мнение Владимира Ильича о «левом» искусстве. Владимир Ильич сказал: «Я совершенно этого не понимаю. Мне лично нравится Пушкин».

Тут вышел бородатый дядька и горестно сказал:

– Пушкин?

– А вам, видно, Маяковский нравится больше, чем Пушкин?

– Больше.

– Почему же-с?

– Потому, что Маяковский стоит за Революцию, за Рабоче-Крестьянскую Красную Армию.

– Вот как! – воскликнул Ленин. – Стоит за Революцию, за Красную Армию? Гм, гм... Это меняет дело.

И он, посмеиваясь, уехал.

В этом эпизоде весь Ленин – прямой, принципиальный, в высшей степени тактичный и прежде всего революционер.

Эти треугольнички супрематизма никому негодились, но из среды вхутемасовцев тех легендарных лет с течением времени вышли многие подлинные новаторы, революционеры по духу, по форме. Теперь их знают все. В их числе Кукрыниксы, Черемных, С. Образцов... И много других. Значит, какое-то здоровое начало было в их ранних новаторских стремлениях. Они искали новых форм для выражения нового содержания. Я вспоминаю об этом, конечно, не для того, чтобы найти какое-либо оправдание или подобие оправдания для ремесленного, бескрылого формализма со всеми и всяческими выдуманскими «измами». Но ведь бывают и хорошие «измы». Хотя бы реализм, романтизм... Я хочу напомнить, что молодое и революционное искусство всегда связано с новаторством. Поощрять его – святая обязанность также и нашей писательской организации. Ибо без непрерывного обновления ничто не может жить, а тем более искусство. Конечно, процесс этот сложный, и среди молодежи

неизбежны люди увлекающиеся, падкие на новизну ради новизны. Но в руководстве искусством ведь так важно терпение. Нужно уметь и нам быть терпимыми и терпеливыми.

Но по отношению к поискам подлинно революционным, новаторским – таким, которые в русле социалистического реализма ищут новых струй и течений, – мы должны быть внимательны, терпеливы, дружелюбны. Ибо не идти вперед, стоять на месте – значит катиться назад.

А это было бы не по-большевистски.

1957–1961

Слово о Гоголе*

Гоголь – одно из самых дивных явлений русского художественного гения. Только великий народ мог дать миру такого великого писателя.

Гоголь – художник совершенно самобытный, небывало оригинальный.

Пушкин как-то записал в своем дневнике: «Вчера Гоголь читал мне сказку, как Иван Иванович поссорился с Иваном Тимофеевичем – очень оригинально и очень смешно».

Как видите, у Пушкина здесь описка: Иван Никифорович назван Иваном Тимофеевичем. Но есть еще и другая обмолвка: повесть Гоголя названа сказкой.

Лично я уверен, что это не обмолвка и не описка. Думаю, что Пушкин вполне сознательно назвал повесть Гоголя о двух миргородских обывателях – сказкой.

При всей ее бытовой достоверности, жанровости, она по духу своему, по кисти, в значительно большей степени – сказка, чем повесть. В ней житейская пошлость и сами характеры героев доведены до чисто сказочных фантастических масштабов.

Гоголь-художник, в значительной мере, вышел из стихии народной сказки и народной песни.

И Пушкин это безошибочно почувствовал. Он гениально проник в самое существо Гоголя и с волшебной точностью определил его излюбленную литературную форму: не повесть, а именно сказка. Почти все написанное Гоголем более всего похоже на сказку, начиная с «Вечеров на хуторе близ Диканьки», «Миргорода» и кончая «Мертвыми душами». Они все населены характерами поистине сказочными.

Не будем говорить о Вие, Панночке, Красной Свитке, Басаврюке, черте, укравшем месяц, ведьме с отрубленной рукой, мертвецах, грызущих друг друга на дне пропасти... Они являются, в прямом смысле, персонажами сказочными, заимствованными из чистейших родников народного творчества.

Но возьмем даже персонажи «Мертвых душ» или «Ревизора». Ведь это тоже характеры сказочные, хотя и взятые не из народной старины, а из окружающей Гоголя действительности, что не помешало их фантастичности.

Реализм несколько не противоречит фантастике. Больше того. Мне думается, что народная сказка – в самой своей основе – реалистична, верна жизни.

«Народ не выдумывал; он рассказывал только о том, чему верил...» – пишет Афанасьев в предисловии к собранию русских народных сказок. Конечно, верования народа были фантастичны. Но народ «не отважился дать своей фантазии произвол, легко переходящий должные границы и увлекающий в область странных, чудовищных представлений».

В этом – различие между фантастикой истинно народной и фантастикой кабинетной, «высосанной из пальца», декадентской, действительно дошедшей до «странных, чудовищных представлений».

Фантастика Гоголя реальна, хотя характеры, созданные им, сказочны, точнее, сказочно преувеличены.

Уж если Хлестаков врет, так врет сказочно! Коли Ноздрев наглец, то сказочный наглец! Если Плюшкин скуп, то он скуп, как царь Кашей, который «над золотом чахнет»... У Гоголя все реально и вместе с тем – все – сказка! Если арбуз, то семьсот рублей арбуз! Если курьеры, то 35 000 курьеров! Если взятка, то взятка сказочная: не чем-нибудь, а борзыми щенками. Если лошадь, то розовой или голубой шерсти.

Господи боже мой! А дура Коробочка? А Яичница? А Держиморда? А дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях? Даже на секунду появившийся в первой главе «Мертвых душ» молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкой с бронзовым пистолетом! А сбитенщик с лицом, как самовар из красной меди, но с черною, как смола, бородою!

Но и героические фигуры Гоголя также сказочны, легендарны, былинные. Чего стоит один Тарас Бульба – величайшее создание гоголевского гения, равного которому еще не видел мир.

Все это так. Но это не самое главное. Самое важное заключается в том, что в народных сказках всегда присутствует высокое нравственное начало. Понятие о добре и зле. О правде и кривде. Именно это высокое нравственное чувство, которым как бы пропитаны все творения Гоголя, и ставит его на огромную высоту, как художника воистину народного и национального – великого писателя России.

Гоголь обладал совершенной «писательской аппаратурой». У него было острейшее зрение, тончайший слух, изумительное осязание – словом, все пять внешних чувств, обостренных и доведенных до совершенства. Но кроме этого, он еще обладал, быть может, самым драгоценным для всякого подлинного художника слова – шестым чувством: чувством внутренней музыкальности, ритма.

Гоголь был музыкален до кончиков ногтей. И этим он, несомненно, был обязан стихии дивной народной украинской песни, под звуки которой засыпал, еще лежа в своей младенческой колыбели, и которая потом всю жизнь звучала в его удивительно израненной душе.

Приемом народной сказки, положенной на музыку народной песни Гоголь изображал окружающий его мир, современное ему общество.

Язык Гоголя по-народному груб и местами сыроват. Но художник творил из него истинные чудеса. Нет равного Гоголю в мировой литературе по умению изобразить предмет, построить метафору.

Я помню, как однажды ко мне прибежал взволнованный Есенин:
– Слушай, ты давно читал «Мертвые души»? Там есть одно совершенно гениальное, изумительное, неслыханное место. Понимаешь, там у Гоголя – дороги расползались во все стороны, как пойманные раки, когда их высыпят из мешка! Вот это, брат, настоящий имажинизм! Не нам чета!

Есенин тогда увлекался имажинизмом и, вероятно, был крайне поражен, что у Гоголя сто лет назад метафоры были куда лучше.

Впрочем, кто из нас, открыв в сотый раз Гоголя, не удивлялся вдруг невероятной силе его образов, дьявольской магии его изображения? Метафоры Гоголя всегда поражают, их воспринимаешь, как прочитанные впервые.

«Шум от перьев был большой и походил на то, как будто бы несколько телег с хворостом проезжали лес, заваленный на четверть аршина иссохшими листьями».

«Чичиков увидел в руках его графинчик, который был весь в пыли, как в фуфайке».

Поразительная пластика!

Влияние Гоголя испытали на себе целые поколения русских писателей, в том числе и лучшие советские мастера. Например, Маяковский, который много раз прибегал в своих стихах к чисто гоголевским преувеличениям:

Я знаю силу слов,
я знаю слов набат.
Они не те,
которым
рукоплещут ложи.
От слов таких срываются
гроба
Шагать четверкою
своих дубовых
ножек.

Эти срывающиеся гроба – конечно, могучая реминисценция из гоголевского «Вия».

Изобразительная сила Гоголя равнялась силе его обличительного таланта. Поэтому его художественные произведения так беспощадно разили пороки современной ему николаевской России – страшный мир Хлестаковых, Городничих, Ляпкиных-Тяпкиных, Чичиковых, Ноздревых, Собакевичей и великого множества им подобных монстров: взяточников, ябедников, доносчиков, плутов, тунеядцев, крепостников, «небокоптителей», имеющих лишь весьма условное человеческое подобие.

«...Давно уже не было в мире писателя, – писал Чернышевский, – который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

Но и в наши дни, когда свободные народы Советского Союза вплотную приступили к построению коммунизма, творчество Гоголя,

величайшего русского писателя, не устарело. Оно продолжает жить, помогая бороться с пережитками прошлого в сознании наших людей.

И не только это.

Творения Гоголя доставляют нам неиссякаемое эстетическое наслаждение и наполняют наши сердца гордостью за великий русский народ, давший миру такого гениального художника слова, поэта и сказочника, как наш бессмертный Гоголь.

Вечная ему слава!

1959

Двадцать пять лет тому назад, в Таганроге, в чеховские дни Мария Павловна, сестра Чехова, рассказывала мне о том, как работал Антон Павлович.

Этот рассказ навсегда врезался мне в память.

– Антоша!

Не слышит.

– Антошенька! Посмотри на часы. Уже полчаса восьмого.

– Погоди, Маша.

– Опоздаем в театр.

Молчит.

А сам все пишет. Быстро-быстро. И не смотрит на бумагу. Шея вытянута. Глаза неподвижно устремлены куда-то вдаль, широко открыты и светятся, как плошки.

Мария Павловна именно так и сказала: как плошки.

Удивительно живо представилась вся картина: пишущий Чехов с глазами как плошки. В это время он ничего не видел и не слышал вокруг себя. Все происходило в нем. Это была таинственная, сокровенная минута перевоплощения – самое драгоценное свойство подлинного художника.

Без этого дара перевоплощения, когда художник является в одно и то же время и творцом, и собственным творением, – писатель, как бы талантлив он ни был, никогда не станет великим.

Антон Чехов был писатель великий. У него был врожденный дар перевоплощения.

Он вышел из низов. Из самой гущи народной. Его дед был крепостной.

«Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости, – писал Чехов Суворину, обобщая судьбу целого поколения русской разночинной интеллигенции, вышедшей из народа. – Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, певчий, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям, благодаривший за каждый кусок хлеба,

много раз сеченный, ходивший по урокам без калош, дравшийся, мучавший животных, любивший обедать у богатых родственников, лицемеривший и богу и людям без всякой надобности, только из сознания своего ничтожества, – напишите, как этот молодой человек выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая».

Вот чего страстно желал, вот что неутомимо проповедовал Чехов, во имя чего жил: чтобы в жилах людей текла не рабская кровь, а настоящая человеческая!

Это была основная тема его творчества.

Подобно другому русскому человеку из гущи народной – Ломоносову, Чехов не только «выбился в люди», как принято было раньше высокомерно говорить о таких талантах из низов, но стал гордостью русского народа, нашей лучшей славой, наряду с Пушкиным, Гоголем, Толстым, Достоевским.

На любви к Чехову сходятся люди самых различных, а подчас даже и прямо противоположных вкусов. Он признан всеми. Мне еще никогда не встречался человек, который сказал бы, что ему не нравится Чехов.

При мне спросили Маяковского, кого он любит больше всего из русских писателей, и он, не задумываясь, сказал: Чехова!

В этой связи я вспомнил другое высказывание Маяковского о Чехове, еще до революции, когда совсем юный Маяковский считал себя футуристом и по молодости лет ниспровергал «с Парохода Современности» Толстого, Достоевского, Пушкина и других классиков.

Вот что, между прочим, говорилось в статье Маяковского «Два Чехова», где он достойно приветствовал Чехова как одного из династии «Королей Слова»:

«Понятие о красоте остановилось в росте, оторвалось от жизни и объявило себя вечным и бессмертным...

...А за оградой маленькая лавочка выросла в пестрый и крикливый базар. В спокойную жизнь усадеб ворвалась разноголосая чеховская толпа адвокатов, акцизных, приказчиков, дам с собачками...

...Под стук топоров по вишневым садам распродали с аукциона вместе с гобеленами, с красной мебелью в стиле полуторы дюжины

людовиков и гардероб изношенных слов».

Здесь Маяковский явно имел в виду знаменитый «многоуважаемый шкаф».

«Из-за привычной обывателю фигуры ничем не довольного нытика, – пишет далее Маяковский, – ходатая перед обществом за „смешных“ людей, Чехова – „певца сумерек“, выступают линии другого Чехова – сильного, веселого художника слова».

Как видите, молодой Маяковский со свойственным ему своеобразием выступил на защиту памяти Чехова от тех критиков, которые всю жизнь мучили Чехова, называя его «нытиком», «певцом сумерек», «хмурым человеком» и прочими вздорными определениями.

Самое замечательное заключается в том, что мнение Маяковского о Чехове оказалось весьма близким по духу к пониманию Чеховым самого себя.

«Мое святое святых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь. Вот программа, которой я держался бы, если бы был большим художником...» – говорит Чехов в письме к поэту Плещееву.

Чехов в этом еще сомневался!

Он был не просто большим художником. Он был художником громадным. Гением. И если разобраться, он действительно всегда твердо держался своей благородной программы, которая жива в мире и поныне.

Интересно мнение о Чехове и Анри Барбюса. Однажды он спросил меня, кого из французских писателей я ставлю выше всего. Я назвал несколько прославленных имен, в том числе Мопассана.

– Мопассан! – воскликнул Барбюс в сильнейшем волнении. – Нет, вы шутите! Как! Вы, русский, можете назвать великим писателем Мопассана, в то время как у вас есть, такой действительно великий, действительно гениальный, ни с чем не сравнимый писатель, как Антон Чехов!

А ведь еще на моей памяти считалось большим комплиментом Чехову, когда говорили, что он русский Мопассан.

Русский читатель признал и полюбил Чехова прежде, чем современная критика поняла его истинные масштабы. Даже после смерти писателя в энциклопедии «Просвещение», в статье

Скабичевского, который прославился своим полным непониманием значения Чехова, Антон Павлович квалифицирован всего лишь, как «известный беллетрист».

Невероятно, но это так!

Будучи писателем всемирным, Чехов прежде всего – писатель русский. В нем соединились все лучшие качества русского национального характера: ум – широкий, свободный, независимый, гордый; правдолюбие, неугасимое стремление к истине, горячая любовь к своей родине и к своему народу, бескорыстное, подвижническое служение этому народу.

И конечно, – поразительный талант.

Все эти качества позволили Чехову не только очень глубоко, до самого дна проникать в самую суть всех явлений жизни, но и осветить их беспощадно ярким светом своего разума, без чего художник не в состоянии создать сколько-нибудь достоверные характеры, а тем более картину общества.

Говоря о писательском таланте, как теперь принято говорить – мастерстве, Чехова, я имею в виду ту высшую простоту, скромность художественных средств, которые в руках подлинного художника стоят гораздо дороже самых изысканных словесных построений и метафор, многозначительных архаизмов и кустарных подделок под якобы народную речь в духе чеховского Епиходова, – словом, без всего того ложнохудожественного, что многие критики и до сих пор еще продолжают самоуверенно называть «сочно», «красочно» и чего, по свидетельству Ивана Бунина, Чехов терпеть не мог.

«„Красочно“ – ведь они же не знают, что у художников это бранное слово!» – говорил Чехов.

В смысле простоты изобразительных средств, и в первую очередь языка со всей его возможной точностью, краткостью и ясностью, – Чехов является продолжателем лучших образцов классической русской прозы, которые нам подарили Пушкин и в особенности Лермонтов в «Герое нашего времени».

Недаром же Чехов так восхищался «Таманью», считая ее лучшим русским рассказом.

Кроме Льва Толстого, никто из современных Чехову писателей не мог сравниться с ним по силе языка и вместе с тем по его

удивительной прозрачности, почти неощутимости, в чем, как мне кажется, Чехов зачастую превосходил даже самого Толстого.

Чехов был новатором в области литературной формы. Подобно тому как Пушкин преобразовал русский стих, приблизив его к живой разговорной речи, так же и Чехов преобразовал русскую прозу, сделав ее язык более сжатым, емким, почти стереоскопически объемным и также еще более разговорным, демократическим, народным.

Его новаторство, между прочим, заключалось также и в том, что он не усложнял тех элементов русской прозы, которые были выработаны до него целыми поколениями писателей, и не привносил в художественную ткань различные изобразительные красоты и излишества, а, напротив, строжайше очищал язык от всего лишнего, в течение многих лет выросшего на нем, как ракушки на киле корабля. Как бы это лишнее ни казалось красивым, заманчиво художественным, Чехов его беспощадно устранял, оставляя только то, что было абсолютно необходимым.

Этим и объясняется та волшебная легкость, с которой каждая созданная Чеховым фраза, каждая мысль доходят до сознания и мгновенно усваиваются, не требуя от читателя никакого дополнительного умственного напряжения. В его рассказах нет ничего лишнего. Оттого-то Чехов, как принято говорить, так «легко читается». Чем проще, тем легче.

Эта высшая простота – плод неутомимого писательского труда, громадного творческого усилия. Она дается лишь истинному таланту.

Известно, как нежно любил Чехова Лев Толстой. По его мнению, никто не двинул русскую прозу так далеко вперед, как Чехов. Толстой назвал Чехова Пушкиным русской прозы. До настоящего времени еще никому из русских писателей не удалось в области формы пойти дальше Чехова.

Он достиг величайшего совершенства в умении слить два элемента художественной прозы – изобразительный и повествовательный – в единое целое. До Чехова повествование и изображение, обычно даже у самых тонких мастеров, например Тургенева, за исключением разве Толстого и Достоевского, почти всегда чередовались, не сливаясь друг с другом. Описание шло своим чередом, повествование – своим: одно после другого.

У чеховского Тригорина, наблюдательного беллетриста, облако похоже на рояль. Недурно. Пахнет гелиотропом: приторный запах, вдовый цвет. Вдовый цвет – совсем хорошо. Даже отлично. Наконец, известное тригоринское описание лунной ночи: на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса. Вот вам и лунная ночь. Ничего не скажешь. Похоже. Ну и что же? Перефразируя знаменитое изречение Гете по поводу похожего нарисованного мопса, можно сказать: одной лунной ночью больше, только и всего.

Но Чехов не Тригорин. Хотя, по сути дела, Тригорин цитирует рассказ самого Чехова «Волк». У Чехова изображение лунной ночи настолько тесно слито с повествованием о движении человеческой души, с течением жизни, что уже представляет собой не просто неподвижную картину, пейзаж, а нечто неизмеримо большее и качественно совсем другое.

Например, чеховская лунная ночь из повести «Три года».

Здесь нет ни щегольской подробности разбитой бутылки, отражающей луну, ни приторного запаха гелиотропа.

Просто: «Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили, в общем, впечатление какой-то крепости, и недоставало только часового с ружьем. Цвела черемуха... Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были окна у приказчиков».

Все удивительно скромно, буднично. Но дело в том, что все это пропущено через душу героя повести Лаптева, слилось с его мыслями, чувствами, со всей его личностью, даже черная собака среди залитого лунным светом двора, которая, как сказано у Чехова, «валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему (Лаптеву. – В. К.), и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...».

В этом поразительном слиянии изобразительного с повествовательным – одно из открытий Чехова.

У Чехова почти никогда не бывает безлюдных пейзажей. У него пейзаж слит с человеком. Пейзаж и человек дополняют друг друга. Вот в чем принципиальная разница между пейзажем Чехова и пейзажем Левитана, хотя почему-то принято их считать очень родственными. А по-моему, ничего похожего.

Чехов достиг величайшего совершенства в умении коротко, сжато, как бы вскользь, между прочим и почти незаметно для читателя, дать законченный портрет человека. Причем это вовсе не эскиз, не беглая подмалевка. Нет. Это нечто вполне законченное, даже документальное.

Дар перевоплощения помогает Чехову найти для каждого персонажа свой стиль, неповторимую интонацию. Чехов поразительно музыкален.

Свои повести и рассказы он строит, как стихотворения, подчиняя их строгой, сжатой ритмической форме. Это позволяет ему в маленькую повесть вместить такое количество материала, которого для другого писателя с излишком хватило бы на целый роман. Такая маленькая повесть-роман тоже одно из открытий Чехова. До него так емко не писали, да и после него, откровенно говоря, так писать еще не научились.

Развитие этого чеховского открытия – впереди.

Это одно делает Чехова совершенно новым, оригинальным явлением не только русской, но и мировой литературы.

Я не говорю уже о поразительном многообразии Чехова-писателя: и миниатюры, и повести, и драмы, и водевили, и записные книжки, которые, кстати сказать, после Чехова стали особым литературным жанром.

Чехов создал громадную галерею типов и характеров всех классов современного ему общества.

С поразительной достоверностью он изображал мужиков и помещиков, министров и белошвеек, офицеров, жандармов, купцов, рабочих, капиталистов, священников, лакеев, хористок, кондукторов, матросов и великое множество прочих жителей Российской империи.

При этом каждый человек, как бы мало ему ни было отведено автором места, – не условная фигурка, не иероглиф, а подлинный, живой, многогранный человеческий характер с неповторимыми

чертами, целое общественное явление со всеми своими большими или малыми противоречиями.

Понятно, что этого достигнуть простым «изучением действительности» нельзя. Нужно горячо любить свою родину, свой народ. Будучи человеком из народа, Чехов всегда жил народными интересами, жил для народа.

«Но ведь я не пейзажист только, – говорит чеховский Тригорин, – я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека...»

Можно не сомневаться, что это были и мысли самого Чехова, написавшего в записной книжке:

«Желание служить общему благу должно непременно быть потребностью души, условием личного счастья...»

Чехов умел и любил изображать хороших, мыслящих людей, мечтающих о прекрасном будущем, любил писать о чистых сердцах, простых женщинах, о детях, о животных, о птицах. И все, к чему ни прикасалась его добрая большая рука, начинало светиться радостной, теплой улыбкой. Но в основном он, конечно, был художник-разоблачитель. На первый взгляд он кажется мягким, даже лиричным. Но вчитайтесь в Чехова. И даже в самых мягких его вещах вы вдруг почувствуете беспощадного сатирика, силой своей, на мой взгляд, ничуть не уступающего Щедрина или Гоголю, а кое-где и превосходящего их жизненным правдоподобием, художественной достоверностью.

Его сатира зачастую облечена в скромные бытовые одежды. Но тем неожиданнее и сильнее она действует.

При внешне спокойной, даже как бы холодноватой манере, Чехов с такой глубиной и внутренней страстностью вскрывает пороки отдельных людей и всего общества, что иначе как великим сатириком его не назовешь.

Он рубит под самый корень ненавистный ему мир русского мещанства и обывательщины, с неслыханной силой он бичует, беспощадно высмеивает человеческую жадность, жестокость, самодовольство, глупость, чванство, бездарность, стяжательство. Он, например, за уши вытаскивает на свет божий и показывает всему миру опасного тупицу, дьявольски живучую разновидность

«научнообразных» в лице профессора Серебрякова, который, как об этом в отчаянии восклицает несчастный дядя Ваня, «ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно: значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее». Чехов показывает также страшную и на вид такую безобидную миленькую мещаночку Наташу из «Трех сестер», а на самом деле беспощадную хищницу, исчадие ада, воплощенное мещанство – злобное, воинствующее и омерзительное. Чехов выставляет на всеобщее обозрение мракобеса, человеконенавистника, настоящего современного расиста Рашевича из рассказа «В усадьбе» с его: «В харю! В харю! В харю!» – и холодного эгоиста, петербургского чиновника, консерватора Георгия Орлова из «Рассказа неизвестного человека».

Чехов, конечно, не был революционером. Но дело, которое он делал, – беспощадная критика современного общества и государственного строя, – сыграло, мало сказать, прогрессивную роль, оно оказало определенно революционизирующее влияние на сознание сотен тысяч и даже, быть может, миллионов его прижизненных читателей.

Молодой Ленин, прочитав в журнале рассказ «Палата № 6», так выразил свое впечатление:

«Когда я дочитал вчера вечером этот рассказ, мне стало прямо-таки жутко, я не мог оставаться в своей комнате, я встал и вышел. У меня было такое ощущение, точно и я заперт в палате № 6».

Это, быть может, самое драгоценное для нас свидетельство силы чеховского гения.

Художественное сознание Чехова не отставало от жизни, что постоянно случается с писателями среднего таланта. Наоборот. Сознание Чехова почти всегда опережало время. А быть впереди своего времени – это и есть главный признак подлинного художника.

Опережая свое время, Чехов был предвестником новой, светлой жизни, которую угадывал в будущем.

Он говорил о гармоническом человеке, в котором «должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Но в том страшном мире капитализма, в котором жил Чехов, это было неосуществимо.

Нужна была революция.

«...здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка», – говоря словами чеховского Тузенбаха из «Трех сестер».

Эта буря, эта громада была Великая Октябрьская социалистическая революция, с ее бессмертными коммунистическими идеями. Только она одна могла превратить раба в свободного, гордого, гармонического человека, о котором всю жизнь так страстно мечтал Чехов.

Страстная, беспокойная, горячая любовь Чехова к своей родине и к своему народу была не пассивна и не сентиментальна. Это была любовь деятельная, требующая вмешательства художника в жизнь, освещающая все пороки общества для того, чтобы народ мог их познать, а познавши – уничтожить.

Чехов не был созерцателем. Он был борцом.

Он говорил: «Все мы народ, и все то лучшее, что мы делаем, есть дело народное».

Популярность Чехова не только в нашей стране, но и во всем мире – огромна.

За сто лет со дня его рождения в истории человечества произошли такие грандиозные события, как Великая Октябрьская социалистическая революция, две мировые войны, появление могущественного социалистического лагеря, начало распада колониальной системы, расщепление атома, завоевание космоса и множество другого, что можно назвать началом эры коммунизма на земном шаре.

Однако Чехов выдержал испытание временем. Он не только пережил это потрясающее столетие, но слава его небывало выросла и, что самое замечательное, продолжает расти.

Чехов из писателя национального стал писателем всемирным.

Нечего и говорить, как много мы все, вся советская литература, обязаны своим развитием гению Чехова.

Влияние чеховской школы явственно ощущается во всем мире. Нет возможности перечислить всех крупных писателей пяти континентов нашей планеты, в той или другой степени испытавших на себе влияние Чехова. Достаточно назвать таких поистине

громадных художников нашего времени, как Томас Манн, Голсуорси, Мартен дю Гар, Лу Синь и многие, многие другие.

Чехов по-прежнему продолжает учить свой народ и все другие народы мира ненавидеть мещанство. Он и сегодня бичует стяжательство, грубость, лицемерие, ложь, расизм, человеконенавистничество, преклонение перед золотом – все пороки, доставшиеся в наследие от старого мира, время которого не всюду на земном шаре еще истекло.

Богатейшая галерея носителей этих пороков – человеческих типов, – созданная Чеховым в его книгах и в его неповторимом новаторском театре, о котором следует говорить отдельно, ежедневно помогает нам распознавать как бы с помощью беспощадного чеховского рентгена ткани мирового общества, местами пораженные, как раком.

Весь мир празднует сейчас радостный день рождения Антона Чехова, великого русского и всемирного писателя-новатора, гуманиста, учителя.

Есть нечто глубоко знаменательное в том, что столетие со дня рождения Чехова отмечают во всем мире сотни миллионов людей, которые хотят, чтобы наша земля была не атомным полигоном, а прекрасным садом и небо было в алмазах, как об этом часто мечтали и чеховские герои, и он сам.

1960

Несколько слов о Пикассо*

В области живописи я человек несведущий. Я ее просто люблю. Иногда мне кажется, что живопись – моя вторая душа. Этого, конечно, слишком мало для того, чтобы давать глубокие оценки творчества любого художника, в особенности такого противоречивого, как Пикассо, но вполне достаточно, чтобы выразить свои эмоции, тем более что, по-моему, живопись – родная сестра литературы.

Я хочу засвидетельствовать свое почтение и выразить изумление громадным талантом знаменитого французского художника по случаю его 80-летия.

Позволю себе сказать всего лишь несколько слов.

Пабло Пикассо принадлежит к числу тех живописцев, вокруг которых всегда идет горячий спор. Я даже не побоюсь слова «скандал». Так было раньше, когда молодой Пикассо выставил первые свои полотна, так обстоит дело и по сей день.

Совсем недавно очередной скандал разгорелся на французской выставке перед одной из последних картин Пикассо.

Существует мнение, что на Западе давно примирились с Пикассо, безоговорочно его признали и лишь в таком «отсталом» городе, как Москва, возможны дебаты по поводу Пикассо.

Но это совсем неверно. Недавно в Париже, в туалетной комнате выставки молодых художников, я видел на стене размашистую, запальчивую надпись карандашом: «Вив Матисс! А ба Пикассо!»

Стало быть, в «передовом» Париже до сих пор ниспровергают Пикассо.

Впрочем, Франция – страна весьма традиционная, а Париж – город, где слава держится очень прочно, в течение десятилетий, если не столетий. Тридцать лет назад, я помню, о Пикассо в Париже говорили то же самое, что и сегодня, и он был в такой же моде.

Еще до первой мировой войны Пикассо был признан гением, и – я уверен – эта репутация будет держаться прочно.

Пикассо уже не личность, а явление. Он стал неким коэффициентом, который, говоря о любых проблемах живописи, ставят перед квадратными скобками. Если говорят, например, об Эль

Греко, то непременно заметят: Эль Греко – это тогдашний Пикассо. Если где-нибудь в пещере находят рисунок, сделанный рукой первобытного человека, то восклицают:

– Посмотрите, как чудесно нарисован мамонт, прямо-таки Пикассо.

Мне кажется, что гений Пикассо в том, что у него мировая душа. Мировая как в пространстве, так и во времени.

Многие из современных взрослых, образованных, искушенных в жизни людей не понимают Пикассо. Однако я заметил, что дети его отлично чувствуют. У меня есть внучка Тинка, ей нет еще и трех лет. Мы рассматривали с ней репродукции современной живописи. Я показал ей «Ню дан зюн ороре» Пикассо, работы 1908 года, и спросил: «Кто это?» – «Тетя», – сразу ответила Тинка. Затем я показал ей «Портрет d'Ambroise Vollard», работу 1910 года – нечто невероятно кубистское, и моя Тинка на вопрос: «Кто это?» – в одну секунду разгадала ребус и безошибочно сказала: «Дядя». Действительно, это был дядя, хотя и составленный из кубиков и треугольников.

У Пикассо детская душа, чистая, первобытная, ясная. Его искусство отнюдь не «инфантильно», как, например, живопись Анри Руссо, а именно говорит о душевной ясности и чистоте, без малейшего жеманства.

Пикассо пришел в живопись, как аналитик. Перед ним стоял прекрасный гармоничный мир: люди, деревья, облака, дома, солнце. Но он не захотел копировать этот мир, как делали до него. Он захотел его сначала исследовать, разъять, разложить на части, разрезать на кубики, посмотреть, что в середине, внутри этой «божественной гармонической красоты». Он стал кубистом. И запутался среди своих кубиков. Разложить-то он мир разложил, но собрать не сумел. Или, вернее, сумел, но не сразу. Много лет потребовалось Пикассо, чтобы путем невероятных усилий создать из своих кубиков новый мир. Этот новый мир еще и сейчас не вполне совершенен, так как некоторые кубики попали не на свое место или стали вверх ногами. Одним словом, Пикассо захотел, как пушкинский Сальери, проверить гармонию алгеброй. Но тем не менее Пикассо не Сальери. Если бы он был просто Сальери, ему не суждено было бы стать Пикассо. Он Сальери с душой Моцарта или Моцарт с душой Сальери – как вам будет угодно. Ибо только Моцарт мог бы создать свой голубой и

розовый период, только Моцарт мог нарисовать голубя мира, или сделать легкие, строгие, классически прекрасные иллюстрации к Бальзаку, или, наконец, создать чудесный воздушно-легкий рисунок – портрет Юрия Гагарина, получеловека, полуптицу в крылатом шлеме, с детской улыбкой и голубем мира в руке, – портрет, репродукцию которого можно было вздеть во всех эстампных магазинах Парижа гагаринской весной этого года.

Соединение Моцарта и Сальери, органическое слияние старческой мудрости с детской непосредственностью, наконец, традиционного с новаторским и есть то явление, которое мы называем Пабло Пикассо.

Смысл этого явления в том, что мир слишком велик, вселепная слишком разнообразна и человек слишком сложен для того, чтобы можно было изображать его внутренний мир, его сущность, применяя один какой-нибудь способ. Таких способов должно быть, по крайней мере, два. И Пикассо это доказал: способ анализа и способ синтеза. А настоящий гений, быть может, и должен иметь два лица и две души: душу Сальери и душу Моцарта. Таков Пабло Пикассо.

Мысли о творчестве*

Как создается книга? Я считаю, что раньше всего появляется тема. Появляется и начинает мучить писателя. По мере того как она укрепляется в сознании, возникают и созревают образы людей, вещей, элементы будущего пейзажа. Сначала все это отрывочно, не связано, потом становится компактней, складывается в сумму впечатлений, которые давят на художника, требуют воплощения. И он уже не может ни о чем другом думать, ничем другим заниматься. Такое творческое самочувствие – самое главное для художника.

Что такое замысел? Как он возникает у писателя? Этого никто не знает. Все совершается почти неощутимо. Масса жизненных фактов проходит мимо вас. Вы что-то прочли, увидели, услышали – все скользит мимо. Но вдруг что-то останавливает ваше внимание, происходит нечто вроде электрической вспышки. Какое-то «внутреннее зажигание» от внезапного соприкосновения вашего сознания с внешним явлением, в котором есть для вас что-то важное. Вы чувствуете – вот то, что мне надо! И «оно» входит в ваше сознание, словно патрон в обойму, и должно выстрелить. Проходит некоторое время, «оно» созревает и выстреливает – появляется книга. Но может и не выстрелить, может «залежаться» в обойме – тогда никакой книги не будет. Во мне вечно, и раньше и сейчас, бродит масса сюжетов, которые еще не отстоялись; может быть, они не отстоятся никогда. Я охотно отдаю их другим, как в свое время отдал Ильфу и Петрову сюжет «Двенадцати стульев». Я вижу – тема хорошая, но не моя. А я беру тему только тогда, когда чувствую, что могу писать, движимый чем-то изнутри, без малейшего напряжения.

Был ли у меня с самого начала замысел всего цикла «Волны Черного моря»? Нет, конечно. Прежде всего, я не предполагал, что будет четыре книги, – ведь когда писалась первая книга, не было еще Великой Отечественной войны и я не знал, что она будет и что будут катакомбы, куда попадут мои герои. Был ли у меня замысел хотя бы первой книги – «Белеет парус одинокий»? Тоже нет. Первоначально был задуман один роман – «Хуторок в степи». Но когда я приступил к работе над ним, я стал думать: что предшествовало в общественной

жизни событиям, которые должны были совершиться в книге? Начал копаться в биографиях своих героев, докопался до их детства и написал «Белеет парус одинокий». Могу ли я поэтому сказать – когда, в какой момент, от какой электрической вспышки возник замысел этой книги? Со мной случилось примерно то же – извините меня за нескромную аналогию, – что случилось с Толстым. Он начал писать роман о декабристах, сделал экспозицию, а когда стал думать о своих героях – кем они были до декабрьского восстания, то дошел до 1812 года и начал писать «Войну и мир». Конечно же, это в известной мере роман и о декабристах, потому что Пьер Безухов, несомненно, был декабристом, Андрей Болконский стал бы им, если бы не был убит, и Николенька, сын Андрея, тоже был бы декабристом, если бы успел к тому времени стать взрослым.

«Белеет парус одинокий» я написал быстро, месяца в четыре, без малейшего напряжения, с тем ощущением внутренней свободы, которое сопутствует работе над своей темой. Может быть, отсюда и возникла уверенность, что книга написана правильно, уверенность, которая была настолько сильна, что я ни разу не возвращался к работе над повестью. Только теперь, после многочисленных русских изданий и семидесяти зарубежных, я впервые как следует, внимательно, от начала до конца перечитал роман и кое-что чуть-чуть в нем подправил.

Книга была закончена. Но судьбы героев и их место в событиях внешнего мира не были еще окончательно определены. Хотелось писать дальше. Это желание подогревалось читательскими письмами, которые шли ко мне в громадном количестве. Читатели требовали рассказа о том, что было дальше, что стало с Петей и Гавриком. И я решил писать «Хуторок в степи», то есть вернуться к теме первой задуманной мною книги.

Но в это время произошли мировые события, помешавшие моим планам. Началось обострение советско-германских отношений, и хотя еще не было известно, как и чем оно кончится, но в воздухе уже ясно ощущалось дыхание надвигающейся войны.

В те дни я много думал о том, что необходимо написать произведение, которое подняло и разожгло бы в сердцах и умах советских людей патриотические чувства, готовность идти на подвиг в защиту отечества. Но я думал об этом отвлеченно, не имея какого-

либо определенного сюжета, еще не видя перед собой своих персонажей. Я искал. И вот однажды в «Правде» мне дали пачку хранившихся в сейфе материалов об интервенции на Украине и попросили срочно, отложив всякую другую работу, написать об этом. То были приказы генерала Гофмана, командовавшего в 1918 году оккупационной германской армией на юге России, донесения партизанских отрядов того времени, выписки из немецкой прессы. Познакомившись с этими материалами, я вдруг ощутил в себе «магическую вспышку», и так же стремительно, как «Парус», написал «Я сын трудового народа...».

Через полтора года началась война. На первых порах я ничего не мог писать, кроме военных корреспонденций. Позднее написал повести «Жена», «Сын полка». Таким образом, мои прежние планы были отодвинуты временно в сторону, уступив место вещам более созвучным событиям, духу времени, интересам народа.

В конце войны я попал в Одессу и узнал о героической борьбе моих земляков – партизан, укрывавшихся в катакомбах. Полный впечатлений от услышанного, от того, что я увидел в городе и в самих катакомбах, я вдруг понял, что в подвигах одесских партизан должны были участвовать, конечно, и мои старые герои. По горячим следам этих впечатлений я написал роман «За власть Советов!». С моей стороны, разумеется, было рискованно после первой повести сразу написать заключительную, не имея даже черновых набросков середины. Но что поделаешь! Сама жизнь вмешивалась все время в мой замысел, над выполнением которого я, в общей сложности, проработал двадцать пять лет.

Только после войны мне удалось вернуться к намеченному, но все еще не осуществленному плану – написать «Хуторок в степи», а вслед за ним «Зимний ветер», – соединившие начала и концы судеб Пети и Гаврика, разорванные событиями эпохи.

Интересно, что у меня всегда, еще с юношеских лет, было ощущение, что я живу в историческое время. Меня не покидало чувство, что в мире происходят большие события, то и дело нарушающие «нормальное» течение жизни. Я остро ощущал историзм эпохи, в которую живу, хотя вначале это чувство было приглушенным, неосознанным. Оно обострилось, когда мне стало семнадцать лет. Я

даже писал тогда какой-то «эпохальный» роман с многозначительным и безвкусным названием «Звенья».

Полагаю, что не я один так воспринимал тогда окружающее. Мои сверстники тоже ощущали повседневные события как историю, свои записки и юношеские дневники – как летопись, а друзей и товарищей – не иначе как «современников». На меньшее мы не шли. И действительность в самом деле заслуживала того. Я помню, хоть и смутно, русско-японскую войну, революцию 1905 года. Помню солдат, возвращавшихся с фронтов первой империалистической войны, участником которой я был. Ясно помню Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию, которую видел глазами уже двадцатилетнего юноши, с первых же дней всем сердцем принявшего ее идеи.

То, что происходило вокруг меня в детские и юношеские годы, мне казалось важным, я старался как можно больше вобрать в себя, запомнить, будто знал, что придет время, когда все это станет мне нужно как писателю.

Значит ли это, что цикл «Волны Черного моря» или отдельные входящие в него произведения – автобиографичны? Честно говоря, лишь в очень небольшой степени. Был, например, мальчик Гаврик, был его дедушка, была шаланда, в которой они выходили в море. Гаврика я хорошо знал, дружил с ним, его звали Миша Галий, у меня даже есть его фотография. Мы вместе играли. Все это автобиографично. Но так, пожалуй, можно утверждать, что и Роже Мартен дю Гар в «Семье Тибо» писал о самом себе. В какой-то мере, конечно, и о себе. Но это отнюдь не биография. Даже Бунин очень определенно заявлял, что «Жизнь Арсеньева» и в особенности «Лица» не автобиографичны, хотя эти события повести необыкновенно похожи на жизнь самого писателя. И позволю себе сказать, что чем больше они похожи на правду, тем больше они выдуманы. Недавно, будучи во Франции, я посетил могилу Ромена Роллана, был в его доме в Бургундии, был в Кламси, где жила его бабушка, к которой он ходил мальчиком в гости. Это факты его биографии, и они рассказаны в «Жане-Кристофе». Но сколько же к этим фактам добавлено! Так что же, Ромен Роллан – это Жан-Кристоф? Конечно, в нем есть душа Жана, как есть в нем и душа Оливье. В каждом персонаже есть часть души художника, создавшего его. Героя нельзя просто выдумать,

писатель должен «войти в него», ему он обязан отдать часть своей души и сердца: тогда писать легко. Автор никогда не должен говорить себе: «Я буду писать про Саньку или Митю». Нет, он должен стать Санькой или Митей, войти в их биографию, как в свою, перевоплотиться в воображаемый образ. Это очень трудно. Тут литератор приближается к искусству актера, только актеру много легче – у него есть кем-то написанная роль, и у каждого актера – своя роль. А писатель, создавая образы своих персонажей, сам поочередно перевоплощается в каждого из них.

Художнику с хорошо развитой фантазией, с подлинным знанием жизни и людей это дается легче. Но как бы ни была чувствительна его творческая организация, ему все равно приходится непрерывно «упражняться» – ежедневно, ежесекундно наблюдать, присматриваться к окружающему. Горький рассказывал, что его любимым занятием было определять, глядя на людей, их профессию, угадывать, что они делали раньше, что будут делать в дальнейшем... Без знания, без постоянного внимательного наблюдения и изучения действительности невозможно создать в литературе подлинное разнообразие образов и характеров.

Чем глубже писатель сумеет войти в жизнь своего героя, перевоплотиться в него, тем правдивей и жизненней будет созданный им образ. Писатель на время должен как бы сделаться героем своего произведения. Если же я просто умозрительно представляю себе человека и заставляю его делать то, что я бы хотел, чтоб он делал, человек этот получится не объемной фигурой, а плоскостной. Я должен проникнуть в его психологию, как бы зажечь его жизнью. Для этого мне нужно поверить в него, поверить в его необходимость, в необходимость его поступков в предлагаемых обстоятельствах. Всецело поняв своего героя, как бы став им, я не смогу ошибиться, сделать его фальшивым. А уж тогда и читатель должен поверить в него.

Я чувствовал себя и Гавриком, мне приходилось на время воображать себя и мадам Стороженко и торговать раками.

Работая над романом «Хуторок в степи», я вдруг зашел в тупик. Влюбляются мальчик и девочка. И у них дело доходит до объяснения в любви, даже до ревности. Создаются такие обстоятельства, в которых они должны как-то выяснить свои отношения. А я не знаю, как же они

будут вести себя дальше?! У взрослых все понятно, а мои герои еще дети, подростки. И вдруг я понял, что они подерутся. Для этого мне пришлось долго, мучительно перевоплощаться в этих ребят.

Что же это означает – перевоплощаться в героя, ощущать себя им? Конечно, для этого прежде всего нужно превосходно знать жизнь, любить ее, отчетливо представлять себе те обстоятельства, в которых действуют герои вашей книги. Для того чтобы создать убедительный, живой образ, образ, в который верит прежде всего сам писатель, надо знать и понимать общественную и бытовую основу этого образа. Надо отчетливо видеть человека во всем многообразии и сложности его жизненных связей, надо глубоко и всесторонне знать то общество, эпоху, которые собираешься изобразить, с их главным содержанием, движением времени и идей.

Без досконального, конкретного знания жизни невозможно и воплощение ее в правдивых образах литературы.

Никакая «магия» перевоплощения не поможет писателю, который не любит жизнь, не понимает ее закономерностей, логики истории.

Как собирается образ? Путем наблюдений. Входит в комнату человек. Вы его увидели и запомнили. Он ушел и оставил какой-то след в памяти. Потом вы забыли о нем. Проходят месяцы, а иногда и годы, вы встречаете человека уже другого, и вдруг ощущаете словно легкий внутренний толчок, – вы уже когда-то видели человека, похожего чем-то на этого. И тогда возникает первое впечатление типичности. Второй, третий, четвертый – и создается обобщение, тип. Тогда вы начинаете верить в его типичность.

Вы увидели, скажем, вздорную бабу. Ага, я уже ее помню! Я много раз видел таких. Я знаю, как и чем живут подобные люди. И когда вы начинаете ее писать, вы стараетесь проникнуть в ее жизнь и зажить этой жизнью. Здесь главное – всегда думать: «Как бы я поступил, если бы это случилось со мной?»

Павка Корчагин – это во многом сам Н. Островский. Алексей Толстой в «Хождении по мукам» ощущал себя и Дашей и Телегиным. Флобер писал: «Мадам Бовари – это я!. И сердце, которое я изучал, было мое собственное сердце».

Мне рассказывала сестра Чехова, как работал Антон Павлович. Вот он стал уже известным писателем. Он любил ходить в Малый

театр. Он говорил: «Маша, мы идем сегодня в театр, у нас такие-то места в партере или в бельэтаже». «И пока я, – рассказывала Мария Павловна, – причесывалась и одевалась, Антон садился писать. Я уже готова, время идет, а я вижу, что он уже вне времени, – это уже не он, – внутри него что-то происходит. Он в это время – Дымов, или Попрыгунья, или Раневская».

Происходит постоянная огромная растрата душ писателей и, конечно, обогащение их.

Как рождается деталь?

Деталь – самое первоначальное впечатление. Это – первое живое наблюдение. Вот вы входите в комнату. Самое первое, свежее и непосредственное впечатление от этой комнаты и будет деталью, характеризующей ее. Опять вспоминается Чехов, сказавший, что его поразило в одном ученическом сочинении определение моря: «Море было большое». И правда, вот вы увидели море: первое, что вам приходит в голову, – это то, что оно большое, огромное. Нужно все время воспитывать в себе свежее восприятие жизни. Смотреть на вещи, как будто вы увидели их в первый раз. При этом важно не только зрительное ощущение, но и внутреннее. Важно обязательно докопаться и до главного. Вот меня раздражает человек – это первое ощущение, но пока я не открою чем – я не успокоюсь.

Деталь собирается так же, как тип, как образ человека. Холодный осенний вечер. Ноябрь. Арбузная корка на дороге. Она покрыта росой. Я увидел ее первый раз. А потом еще и еще. Приметы осени. Поздней. Роса, – значит, холодно. И так от одной подробности – к обобщению. Необходима непрерывная тренировка, надо все время воспитывать в себе наблюдательность, свежее, непосредственное восприятие увиденного.

Как герой воспитывает читателя? Я должен верить в героя. Я должен проникнуть в его психологию, должен поверить в него, как в реально существующего человека. Я не смогу зажить его жизнью, если я в него не верю. Так же и читатель. Тот герой воспитывает, которому веришь.

Вот написан так называемый «положительный» герой, в нем все правильно, а читатель ему не верит. Он не будет следовать его примеру, его жизни, если в нем есть фальшь.

Читатель говорит: «Я бы так не сделал, не подумал на его месте. Это – неправда». И мы говорим: герой – схема.

В Павку Корчагина поверил Островский, он знал его внутренний мир, жил его жизнью. И Павке Корчагину веришь. Этим и объясняется желание людей следовать примеру Павки. И в этом воспитательная сила лучших, правдивых образов нашей литературы.

Понятно, я не могу дать, да и никто никогда не давал «рецептов» создания литературных образов и художественных деталей. У каждого писателя есть своя, индивидуальная творческая манера, свое восприятие и видение действительности.

Я хотел просто поделиться своими соображениями, возникшими у меня в процессе моей писательской работы.

Когда я писал «Белеет парус одинокий», я видел перед собой живого Гаврика. Но что он делал и как он жил в часы, когда мы не были вместе, я не знал: я фантазировал. Никаких патронов подпольщикам мы, например, не носили. Их носили другие мальчики – наши товарищи. Значит, это могли бы быть и мы. Поэтому я мог это придумать, как придумывал многое. Я фантазировал, и все, что я вспоминал, – трансформировалось моим сознанием. Сохранялись лишь какие-то основные факты: место жительства, ближайшие родственные связи, дед Гаврика, его мечта купить парус, моя семья, профессия отца. Почти все остальное рождалось заново, и рождалось не из фактов, а из впечатлений детства. Я не тащил из действительности в книгу мелкие жизненные эпизоды, я брал краски с палитры живых детских воспоминаний, ощущений тех лет и ими расцвечивал все, что есть хорошего в моей повести, да и во всей моей жизни.

Так что «Белеет парус одинокий» не столь уж биографичен, как кажется. Много в нем выдуманно. Я не могу не выдумывать не только когда пишу, – это естественно для писателя, – но, даже рассказывая дома о каком-нибудь только что происшедшем со мной случае, тут же невольно что-то «добавляю». Есть поговорка: «Врет, как очевидец». Эту поговорку произносят обычно иронически, но в ней, собственно говоря, заключен зародыш «писательства».

Художник не может не выдумывать, не фантазировать – это его профессиональная особенность. Он комбинирует сотни фактов в один

сюжетный эпизод, тысячи впечатлений облекает в один художественный образ. Вероятно, поэтому читатели часто узнают себя в персонажах, для которых автор на самом-то деле пользовался совсем другой «натурой». Известно, что трогательная, многолетняя дружба Чехова и Левитана едва не прервалась из-за одного недоразумения. Дело чуть не дошло до дуэли. Когда Чехов написал «Попрыгунью», Левитан посчитал, что это пасквиль на его знакомую даму и на него, резко упрекал в этом своего друга, а тот уверял, что у него и в мыслях не было ничего подобного и что образ Ольги Ивановны сложился из множества наблюдений за разными людьми, из сочетания впечатлений от различных встреч.

Недавно я получил письмо от неких «сестер А.», возмущенных тем, что я-де опозорил их семью, которую, по их мнению, описал в «Зимнем ветре». А я единственно, что взял от их семьи, – это имена четырех сестер, сохранившиеся в моих юношеских воспоминаниях. Все остальное, вплоть до фамилии, изменено. Ошибка «сестер А.» заключается в том, что они, узнав в моих девушках какие-то свои черты, потребовали от меня полной исторической достоверности. Но «Зимний ветер», как и весь цикл «Волны Черного моря», – не исторический роман, а чисто лирический, на девять десятых «выдуманный». Я бы хотел, чтоб именно так его воспринимали читатели.

Историческую окраску придают роману документы, которые в силу ряда обстоятельств мне приходилось вводить в повествование. Это было требование времени и, не скрою, некоторых редакторов, более настойчивых, чем автор. Мне говорили: «Вы показали одесских партизан в подполье. А как они вели себя „наверху“»? И я вписал большую часть – порт – который, как я сейчас понял, вписывать не следовало. У меня, как о свершившемся факте, было сказано, что Одесса взята немцами. Меня спрашивали: «А как это произошло? При каких обстоятельствах?» И я добавлял массу лишних подробностей. Роман «За власть Советов!» был особенно перегружен ненужными деталями, необязательными персонажами. Все это я теперь выбросил. Сокращения составили шестнадцать печатных листов. Было трудно. Сокращать всегда трудно. Но я понимал, что это на пользу роману: отпадет кое-что лишнее, четче обнаружатся и «заиграют» основные линии, многие сюжетные мотивировки станут более естественными,

хотя бы уже потому, что шире могут быть использованы давние связи между героями, о которых шла речь в предшествующих книгах. Роман будет легче читаться, станет компактнее, лаконичнее, элегантнее, зазвучит в едином лирическом ключе. Если «Белеет парус одинокий» и «Хуторок в степи» представлялись мне чем-то «лермонтовоподобным», то «За власть Советов!» был скорее «гюгоподобен». Мне захотелось свести этот неуклюжий, тяжеловесный роман к более изящной маленькой вещи, приблизить его по тональности к трем предыдущим. Необходимо было избавиться от разностильности, возникшей как следствие того, что заключительный том писался, когда двух предшествующих еще не было и в помине. Важно было проследить, чтобы во всем цикле сохранилась та стилевая манера, в которой написан «Белеет парус одинокий».

Трудно судить объективно о том, как ты пишешь, но я придаю большое значение этому роману: он стал для меня как бы актом очищения языка. Начиная с «Паруса» я пересмотрел прежнюю свою манеру письма, решительно отбросил всякий декаданс, стал писать яснее, проще. Здесь, в этом романе, мне нужна была определенность, ясность интонаций, прозрачность, внутренняя музыка фразы, которые завещали нам Лермонтов, Чехов, Бунин.

Я часто думал: как добиться этого? И мне казалось, что фраза возникает, как стихотворение, из общей интонации произведения. Музыка, которая ее наполняет, звучит не только в тексте, но и в подтексте. Она пронизывает все произведение. Я стал стремиться к этому, ибо чувствовал, что усложненность образов мешает донести до читателя идею и «воздух», которым мне хотелось наполнить роман. Надо писать просто, без всяких литературных излишеств: в излишних описаниях всегда есть какое-то жеманство. Молодые авторы этого часто не понимают, они любят говорить вместо «стало темно» — «темнота навалилась», и им кажется, что если выбросить из произведения все эти усложненные описания, метафоры, сравнения, то в рукописи ничего не останется. Это не верно: если ничего не останется, значит, ничего и не было.

Я думаю, что в душе автор всегда отлично знает сам, как он написал, сам знает, что у него хорошо, что у него плохо... Напишешь пьесу, она идет в театре... Как только внутренне почувствуешь, что на

сцене что-то не то, становится «неловко», и под разными предлогами уходишь в фойе, а потом по времени видишь, что дошло до хорошей сцены, и торопишься вернуться в ложу. Так же и в книге: всегда прекрасно знаешь, какие страницы в ней хороши.

У молодых писателей есть ошибки, часто происходящие от дурного вкуса, но дурной вкус – это вещь преходящая. Когда вкус разовьется, станут нестерпимыми литературные штампы.

Во время нашей молодости были штампы, над которыми мы смеялись. Нельзя было писать, например, «дождь барабанил по стеклу» или «косые лучи заходящего солнца». А сколько, к сожалению, штампов появилось сейчас?! Они – самое ужасное!

Для того чтобы пришла настоящая внутренняя сложность, надо стараться писать очень просто. Именно простота позволяет выразить свою мысль наиболее точно, коротко и сильно. Это и есть литература.

Не помышляя ни о каких сравнениях в масштабе дарования, я позволю себе напомнить, что примерно такой же процесс пережил Маяковский. От сложных словарных и синтаксических форм он в более позднем своем творчестве пришел к простоте и в рифме и в лексике. «Язык мой гол...» – говорил он. Он даже стал писать почти пушкинским ямбом: «Как в наши дни вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима».

Видимо, и для меня настало время, когда я понял, что перегруженность сложными приемами, художественными образами, метафорами – вредна. Вспомните экономность стиля Чехова. А ведь он был мастер создавать удивительные метафорические описания! Уже зрелым литератором он описал в одном своем рассказе, как на транспорте, идущем с Дальнего Востока, умирает солдат Гусев: его тело зашивают в парусину и бросают в море. И там есть такой пейзаж:

«А наверху в это время, в той стороне, где заходит солнце, скучиваются облака; одно облако похоже на триумфальную арку, другое – на льва, третье – на ножницы... Из-за облаков выходит широкий зеленый луч и протягивается до самой середины неба; немного погодя рядом с этим ложится фиолетовый, рядом с этим – золотой, потом – розовый... Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».

Как великолепно это написано! Но если бы Чехов все время писал таким насыщенным образностью стилем, это был бы уже не Чехов. Слово нужно ценить на вес золота. В ранние годы Горький тоже увлекался метафорой, но потом стал значительно «скромнее», сдержаннее.

Только в самые высокие моменты повествования уместны метафорические описания. Так созданы, например, строки, в которых Толстой описывает бред раненого Андрея Болконского. Так в романе «Война и мир» появляется великолепная, развернутая метафора дуба – там, где писателю надо было передать самые значительные переживания своего героя. В таких описаниях нужно быть необыкновенно точным. Они должны «попадать в точку». Чуть-чуть в сторону – и «выстрел» уже пропал.

Язык, ритм, сюжетные и композиционные приемы – это форма мышления писателя. Художники, у которых мы учимся, для каждого произведения искали особые словарные, ритмические, композиционные формы. Это особенно наглядно у Толстого, – он разный во всех своих произведениях. «Анна Каренина» написана совсем не так, как «Война и мир», а «Детство» и «Отрочество» вовсе не похожи на «Хозяина и работника».

Когда я решил, работая над новым изданием цикла своих романов, свести четыре вполне самостоятельных произведения как бы в один большой роман «Волны Черного моря», я должен был подумать не только о едином стиле, но и о движении сюжетных линий, о последовательности поступков и поведения основных персонажей. Надо было кое-что доработать и в этом направлении. В частности, пришлось провести от конца к началу линию образа Колесничука и его жены Раечки. Колесничук появился только в последнем романе. Теперь он проходит через все четыре книги. Я вписал небольшой кусочек в «Парус», где Колесничук появляется еще маленьким школьником. Собственно говоря, он был там и раньше, только не был назван. Помните, там есть сцена: Петя нашел на пустыре пятак, который мальчики считали волшебным. Они стали его «торговать», и один мальчик предложил Пете даже перочинный ножик, но Петя не взял его, и они поссорились. Этот мальчик и стал теперь Жоркой Колесничуком. В небольших эпизодах он появляется и в романе «Хуторок в степи», развит в «Зимнем ветре», где показано,

как складывается его характер, как он, обыкновенный советский человек, становится героем. Его судьба, как и судьба его жены Раечки, вполне органично вошли в ткань произведений, где их раньше не было, потому что оба они существовали в моей душе, и хотя в романе «За власть Советов!» я писал о них – взрослых людях, я знал о них почти все, и их детство, и юность.

Теперь все основные персонажи проходят через весь цикл. Я привел романы к формальному единству: каждый из них сохранил свое название, за исключением романа «За власть Советов!», который снова называется теперь «Катакомбы». Внутри романов главы идут под номерами и, кроме того, под новыми заголовками. Весь цикл займет два тома, общий объем которых составляет примерно листов шестьдесят. Мне кажется, я полностью исчерпал в них материал и тему, и считаю цикл законченным.

В заключение – еще несколько общих замечаний. Обычно книга бывает разделена на главы. Вероятно, это делается не зря. В каждой главе есть какое-то зерно. Иначе не было бы глав. Вот с точки зрения этого «зерна» – центра тяжести в главе – и нужно подходить ко всей главе в целом.

Есть непревзойденная по мастерству глава в «Войне и мире» – та, где Андрей видит встречу австрийского командующего Мака с Кутузовым. Кутузов узнает о том, что Мак разбит. Толстой показывает отношение Кутузова к этому событию с точки зрения военного, союзника и человека. Для этого кусочка и написана вся глава. И посмотрите, как он к этому кусочку ведет читателя!

В каждой главе должен быть такой главный центр, – один главный центр обязательно! Все, что не работает на него, надо выбросить.

Сейчас я ушел в другую работу, совсем непохожую на ту, что до сих пор делал. Я пытаюсь написать о Ленине. Это не повесть. Это воспоминания современников Ленина, рассуждения, домыслы и цитаты, описания Парижа вчерашнего, сегодняшнего, всегда разного, Парижа, впечатления о котором откладывались в моей памяти в течение тридцати лет. Это также мысли от постоянного чтения Ленина – моего любимого чтения, от изучения его биографии. Я прочел, должно быть, все, что написано о нем в воспоминаниях

современников, часами беседовал с людьми, которые его знали. Мне хочется постичь – каким же он был, этот великий человек?

У меня много воспоминаний о Ленине, в них масса интересных подробностей, но они тонут в толстых кипах бумаги, а я хочу вытащить из них самые яркие, самые теплые, живые штрихи. Мне хотелось бы выбрать лучшее, процитировать и прокомментировать все это своими рассуждениями. Я затрудняюсь определить жанр своей будущей книги. Французы, пожалуй, назвали бы ее «эссе». Но это и не «эссе». Что же? Не знаю.

Я хочу восстановить период жизни Ленина в 1910–1911 годах во Франции. Представить себе и описать его внешность, его жизнь в Париже и самый Париж тех лет. Город тоже нельзя описывать вообще, его нужно описывать с какой-то определенной точки зрения. Я хочу дать Париж, в котором жил Ленин, Париж – тогда самый революционный город мира, – город I Интернационала, город Великой французской революции и революции 1848 года, Парижской коммуны, город Лафарга и Жореса и, наконец, город Барбюса, Кашена, «Юманите». В нем сохранились митральезы Коммуны и камни, по которым ходил Ленин. В 1931 году, когда я впервые попал в Париж, я видел холмы, откуда стреляли коммунары, видел мельницы, ходил в «Консьержери». Тогда же я познакомился с Шарлем Раппопортом, Вайяном-Кутюрье, Марселем Кашеном, Анри Барбюсом. Почти все они знали Ленина. Они мне говорили: «Вот кафе, где он бывал; вот кабаре „Бобино“, в котором он смотрел представление, слушал шансонье».

Три года назад известный французский поэт Пьер Эммануэль спросил меня:

– Каким Вы видите Париж? Я бы дорого дал, чтобы понять, почему он Вам так нравится.

Я не смог тогда ответить ему, но сам задал себе вопрос: что же в самом деле так меня здесь пленяет? Хорошая кухня? Веселые театры? Музеи? Импрессионисты? Витрины «Труа картье»? Изящные парижанки? Моды? Оживленная толпа? Да, все это очень хорошо. Но что главное? И я понял: город, первый совершивший революцию. Город французского пролетариата. Он сегодня как вулкан под пеплом.

В этом году я был дважды во Франции: эти поездки воскресили мои давние чувства и воспоминания. Вернули меня к теме: Ленин и

Париж, которая жила во мне всегда. И мне кажется, она созрела, чтобы стать книгой. Я даже уже кое-что сделал, набросал несколько глав. Это будет небольшая вещь. Я не знаю, получится ли она или нет. Знаю только, что я ничего подобного еще не писал.

Задачи современного писателя-прозаика значительно усложнились. Писать по-старому уже нельзя. Мы слишком еще рабски следуем классическим образцам, слишком часто повторяем уже достигнутое нами.

А ведь сегодняшний день «делается» по-новому. Его делают политики и ученые, он вытачивается на сложнейших заводских станках... Появляется и уже появилось множество новых предметов и понятий в производстве, в общественной жизни, в быту и в личных отношениях. А мы, писатели, подчас даже не умеем их назвать!

Ты, скажем, садишься за стол, берешь в руки перо и пишешь о рабочем. Но ты не знаешь, какая разница между шпунтом и шплинтом и что это вообще такое... Тогда ты, разумеется мнящий себя классиком или почти классиком, говоришь себе: об этом писать не обязательно. И на бумаге появляется: «Дубовая дверь со скрипом отворилась». Вот теперь художественно! Так мы и жуем то, что для нас приготовили сто лет назад...

Мне, наверное, уже поздновато искать новые пути, хотя я еще и не отказываюсь от такого поиска. Но вот всячески поддерживать творческие искания молодых, поощрять их – это определенно в наших силах.

Писателю старшего поколения нельзя быть ретроградом в искусстве, нельзя становиться на пути свежего, нового, молодого только потому, что оно не похоже на то, что делаешь ты сам.

Я верю: рано или поздно придет в нашу прозу Маяковский!

Чарльз Диккенс*

Мы собрались здесь для того, чтобы отметить сто пятьдесят лет со дня рождения великого английского писателя Чарльза Диккенса, одного из самых популярных, самых любимых романистов земного шара.

Будучи художником национальным, с резко выраженными английскими чертами, Диккенс создал целый мир типов и характеров общечеловеческих, сделавшихся достоянием всех наций.

У него была мировая душа, а это и есть главный признак гениальности художника.

Быть в одно и то же время и узко национальным и широко всемирным – удел немногих избранных, и вполне закономерно, что Диккенс похоронен в Вестминстерском аббатстве, в нескольких шагах от надгробного памятника другого великого англичанина с мировой душой – Вильяма Шекспира.

Влияние Диккенса на развитие мирового реалистического романа огромно. В частности – советского. Нельзя не вспомнить «12 стульев» и «Золотого тельца», на лучших страницах которых явственно ощущается любовь к Диккенсу. Но я не имею возможности в своем кратком слове коснуться этой темы хотя бы вскользь.

Мне бы хотелось сказать о тех коренных особенностях Чарльза Диккенса – художника, которые делают его творчество особенно близким нам, советским писателям, или, во всяком случае, лично мне.

Вот эти особенности: реализм и юмор, высокий гуманизм и удивительная пластика – красота формы, к которой я отношу не только мастерство изобразительное, но так же и повествовательное: развертывание фабулы, динамический диалог, мастерское торможение сюжета и т. д.

Но прежде всего, конечно, юмор. Не будь юмора, не было бы и Диккенса, во всяком случае, того Чарльза Диккенса, которого мы все так горячо любим, которым зачитываемся.

Юмор в большой литературе – это вовсе не что-нибудь специфически комическое, свойственное бульварному анекдоту или плоскому салонному каламбуру.

Настоящий высокий юмор, юмор с большой буквы, это редчайшее, драгоценнейшее душевное свойство писателя, которое придает его творениям неповторимую прелесть, делает их особенно прекрасными.

Однажды мой друг Алексей Толстой сказал мне:

«Послушай, ты знаешь, мне кажется, что юмор – это и есть то, что отличает хорошего писателя от плохого. Чудесный, божественный юмор – неперемное качество всех больших русских писателей прошлого и лучших из наших современных».

Алексей Толстой был прав.

В самом деле: Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Чехов, Лесков, Гончаров, – даже Достоевский! – разве каждый из них не блистал особым, неповторимым, божественным юмором?

Вообще надо сказать, что русская литература всегда отличалась юмором. Русский народ очень ценит и любит юмор. Может быть, поэтому ему так пришелся по душе Диккенс, его особый англосакский юмор, его заразительный смех.

«Диккенс, – говорит Ипполит Тэн, – или насмехается, или плачет; он обладает лихорадочною чувствительностью женщины, которая раздражается хохотом или заливается слезами при непредвиденном столкновении даже с самым незначительным происшествием; этот страстный стиль имеет в высшей степени могущественную силу, и ему обязан Диккенс большею долей своей славы».

Думаю, что прославленный Тэн совсем не прав, когда он говорит применительно к автору «Пиквикского клуба» о «лихорадочной чувствительности женщины». Это, конечно, вздор! Но Тэн прав, назвав стиль Диккенса страстным. «Страстный стиль!» – это очень хорошо сказано, точно и верно.

Реализм – одна из самых сильных сторон гения Диккенса, что еще больше приближает его к русскому читателю, воспитанному на целой плеяде великих русских реалистов.

Основным содержанием, самым зерном творчества Диккенса является глубокий гуманизм, защита всех «униженных и оскорбленных», вера в достоинство и моральные силы обыкновенного, среднего человека.

Но Диккенс не был реалистом холодным, бесстрастным отражателем жизни своего общества. Он был реалистом с налетом высокого романтизма. Он неутомимо боролся со злом.

«Как истинный художник, – сказал о нем Белинский, – Диккенс верно изображает злодеев и извергов жертвами дурного общественного устройства, но, как истинный англичанин, он никогда об этом не сознается даже самому себе».

В этом-то, по-моему, и заключается главная причина некоторой двойственности Диккенса, его внутреннее противоречие, которое мешало писателю подняться над своим обществом, над своим классом. Но это было бы слишком высокое требование даже для такого громадного таланта, как Диккенс, который при всей своей гениальности все же оставался лишь сыном своего века, хотя и столь просвещенного.

Довольно и того, что Диккенс так правдиво изобразил страшный мир буржуазных дельцов самых разнообразных характеров и типов – приобретателей, ростовщиков, готовых в борьбе за деньги задавить, растоптать, стереть в порошок всех и каждого.

Чарльз Диккенс никогда не отступал от правды, и когда он побывал в Североамериканских Соединенных Штатах, то плодом его путешествия явилась книга «Американские заметки», в которой он бесстрашно обрисовал все теневые стороны американской жизни: рабство негров, безжалостное заключение арестантов в одиночных тюрьмах, ханжество и лицемерие американцев, их преклонение перед всемогущим долларом и другие черты американского быта.

Поэтому книга его, имевшая успех в Англии, встретила недружелюбный прием в Америке.

Диккенс создал свой особый, диккенсовский колорит, которым и окрасил свою родную Англию, не побоявшись и о ней сказать горькую правду.

...У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Дожди и слезы. Белокурый

И нежный мальчик Домби-сын;
Веселых клерков каламбуры
Не понимает он один.

В конторе сломанные стулья;
На шиллинги и пенсы счет;
Как пчелы, вылетев из улья,
Роятся цифры круглый год.

А грязных адвокатов жало
Работает в табачной мгле –
И вот, – как старая мочала,
Банкрот болтается в петле.

На стороне врагов законы:
Ему ничем нельзя помочь!
И клетчатые панталоны,
Рыдая, обнимает дочь.

Так отразил Диккенса в забытом стихотворении «Дом-Си и сын» поэт Осип Манделъштам. По-моему, удивительно верно!

Поистине поразительна пластика Диккенса, сила его изображения, пронизанная все тем же божественным юмором.

Вот – наудачу, «а ливр увэр», два кусочка из «Давида Копперфильда».

«Доктор Стронг сидел в своей библиотеке совершенно ученым образом... Его черные штиблеты были незастегнуты, и можно было подумать, что башмаки доктора Стронга стоят подле него на ковре и ужасно зевают от усталости и скуки».

А вот описание упряжки, принадлежащей некоей «Докторской общине»:

«Лошади изгибали шеи и поднимали свои ноги с таким удивительным эффектом, как будто им было известно, что они принадлежат к „Докторской общине“».

Вся проза Диккенса пересыпана такими драгоценными бриллиантиками. Вот почему она так сверкает.

Можно написать целое исследование о композиции диккенсовских романов, громоздких и в то же время таких изящных своей законченностью, округленностью. Можно не уставая говорить о неповторимом диккенсовском диалоге, где каждый персонаж говорит своим, ему одному свойственным языком, вызывающим у читателя полнейшее представление о человеке, о его внешности, движениях, повадках – истинное чудо художественного слова, способного по воле волшебника Диккенса создавать в одно и то же время и живописное, и графическое, и скульптурное, объемное, впечатление – что может считаться истинным признаком словесной пластики.

Хотя английские современные снобы и «не признают» Диккенса – Англия может гордиться им, как величайшим сыном своей древней и славной нации, истинным англичанином; а все прогрессивное человечество преклоняется перед Чарльзом Диккенсом, как перед непревзойденным художником, мастером слова, писателем-гуманистом, великим англичанином с мировой душой.

Станиславский*

Он был высокий, элегантный, снисходительно согнувшийся над собеседником, в галстук бабочкой – ни дать ни взять президент. Даже, может быть, Соединенных Штатов. Не хватало за его спиной полосатого звездного флага. Вместо него был знаменитый серо-зеленый занавес с декадентской чайкой, которая вдруг раздваивалась, когда занавес раздвигался.

У него были добрые чеховские глаза, белые волосы, черные брови, бритое интеллигентное лицо и, разумеется, пенсне, но не традиционно чеховское, а более современное, в толстой черной оправе на черной ленте, к которому в экстренных случаях он еще прикладывал маленький театральный бинокль, чтобы лучше видеть мимику актера.

Ну, о нем много было написано, много пишется сейчас и, надеюсь, впоследствии будет написано еще больше и интереснее. Ввиду того что очевидцы, как известно, отчаянно врут, а историки тоже врут, но более правдоподобно, предупреждаю, что, будучи очевидцем, не смогу не врать.

Все дело в том, как соврать!

Станиславский один из первых советских крупных театральных деятелей круто повернул свой театр к современной, советской драматургии. Теперь это кажется естественным, а тогда воспринималось как большая дерзость. Как же, пустить на подмостки Художественного театра каких-то никому не известных молодых людей с сомнительной репутацией! Справедливость требует отметить, что в этом повороте театра к советским авторам громадную роль сыграл Павел Марков – друг всего нового. Он тогда заведовал в театре литературной частью, и заведовал блестяще.

На подмостках МХАТа появлялись подряд пьесы советских писателей. Сначала Булгаков, а потом Иванов, а потом Леонов, а потом Олеша и так далее. Взял Станиславский также и две мои пьесы: инсценировку «Растратчиков» и «Квадратуру круга», сценическая судьба которых тесно с ним связана. Одну пьесу – «Растратчики» – с

божьей помощью и при содействии Станиславского провалили, а «Квадратура круга» с той же божьей помощью и при том же содействии Станиславского превратилась в подлинный сценический шедевр.

Так или иначе начало моей литературной деятельности – угодно это или не угодно – связано со Станиславским. Почти полтора года общались мы с ним на репетициях в театре, у него дома и даже в Кисловодске, куда я специально приезжал к нему поговорить.

Спорщик Станиславский был ужасающий, но и я в этом отношении ему не уступал.

Кричали мы со Станиславским иногда до утра, в полном смысле слова. Помню, однажды начали спор у него в директорском кабинете во время какого-то вечернего спектакля, а кончили в половине четвертого утра на лестнице, куда меня проводил Станиславский, причем оба после такой бурной ночи были свежие как огурчики, только немного охрипли.

– Вы не правы, – мягко улыбаясь, говорил на прощанье Станиславский, глядя на меня сверху вниз чеховскими глазами в нечеховском пенсне.

– Нет, вы не правы, – петушился я.

– Почему же? – спрашивал он и так нежно произносил это «почему же», что оно у него получалось довольно язвительное: «Почему же?»

– Потому, что если бы вы все так хорошо понимали в театре, как хотите мне показать, то во МХАТе никогда не было бы провалов, – резал я правду-матку, – сознайтесь, были во МХАТе провалы или их не было?

– Были! – восторженно говорил Станиславский. – Еще какие! Вообще, должен вам заметить, что у нас семьдесят пять процентов спектаклей обычно проваливалось.

– Так чего же вы торжествуете?

– Вы ничего не понимаете. Спектакли непременно должны проваливаться. У Ленского тоже всегда проваливались спектакли. А знаете почему? Потому что никто, ни один самый гениальный режиссер не может предсказать, провалится пьеса или нет, до тех пор, пока в зрительный зал не посадят публику и не дадут занавес. Вот тогда все становится ясно, и то лишь на другой день.

– Из этого мне ясно, что сами вы ничего не понимаете в театре, а полагаетесь на случай.

– На интуицию! – шепелявил Станиславский.

– Ну и провалимся с вашей интуицией, попомните мое слово.

– Может быть, и даже наверное. Но во всяком случае, я не позволю превращать наш театр в «так называемый МХАТ» или, еще того хуже, в театр Мейерхольда. Они там пускай как угодно ломаются, а я не позволю стилизовать Яншина. Вы представляете себе, что получится, если вдруг наш Миша Яншин начнет двигаться по сцене вот этак... – И Станиславский вдруг преобразился и пошел походкой фараона, как бы только что сошедшего с древнеегипетского барельефа, – боком, в профиль, странно вывернув руки. Мы расхохотались, помирились и разошлись до следующей встречи.

Спор наш заключался в том, что я требовал ультралевой, сверхмейерхольдовской постановки, будучи глубоко убежден, что по старинке ставить современные пьесы нельзя даже такому мировому театру, как МХАТ, а Станиславский, понимая, что я прав, из чувства своего чудовищного упрямства хотел доказать обратное: то есть что любую, самую современную и самую странную пьесу можно поставить в самых скромных, камерных формах: все дело во внутреннем самочувствии актеров, в сверхзадаче и в глубине содержания.

Наверное, он был прав, но, к сожалению, ни внутреннего глубокого самочувствия, ни сверхзадачи, ни содержания не было налицо. Да и зерна тоже не было. Ничего не было. Был лишь молодой неопытный автор, вытащенный из самой гущи жизни, и был великий режиссер, который совершенно не понимал этой гущи жизни и не знал, как взяться за ее изображение. До чего Станиславский был далек от действительности, свидетельствует такой, например, случай, который я хорошо помню.

Репетиция «Растратчиков». Репетирует жена Станиславского Лилина, которую он упрямо называет «Перевошикова». Сцена изображает комнату бухгалтера Прохорова. За сценой раздаются звонки: три длинных и два коротких, как и полагается в коммунальных квартирах. Лилина, кутаясь в серую шаль, идет отворять своему загулявшему мужу. Станиславский останавливает репетицию.

– Подождите, Перевощикова, на место. Что это за звонки?

Режиссер объясняет ему, что так бывает в жизни.

– Не понимаю! – отрывисто произносит Станиславский.

– Видишь ли, Костя, – говорит Лилина проникновенно, – сейчас жилищный кризис. Люди живут в коммунальных квартирах. В каждой квартире несколько семейств. А звонок один общий. Вот они и сговорились, что одним нужно звонить один раз, другим – два раза, третьим – один длинный и два коротких...

– Два коротких? – подозрительно спрашивает Станиславский. – Не верю. Наигрыш.

– Костя, но уверяю тебя!

– Не знаю, – говорит он уныло. – Перевощикова, вы фантазируете.

– Честное слово.

– Гм... Гм... В таком случае надо напечатать на афише, что это пьеса из жизни людей, не имеющих отдельной квартиры.

Станиславский очень доброжелательно относился к нам, новым драматургам Художественного театра, но имел о нас странное представление.

По случайности Булгаков, Олеша и я работали тогда в железнодорожной газете «Гудок», и Станиславский почему-то вообразил, что все мы рабочие-железнодорожники, и при случае любил этим козырнуть. Я сам слышал, как он кому-то говорил:

– Утверждают, что Художественный театр не признает пролетарского искусства, а вот видите, мы уже ставим вторую пьесу рабочего-железнодорожника, некоего Катаева, может быть, слышали?

Однажды Станиславский строго спросил меня:

– Вы любите оперетку?

Мне было стыдно признаться, что я люблю, но все же я заставил себя сказать правду.

– Очень.

– Да? – оживленно воскликнул Станиславский. – Серьезно? Это очень хорошо. Я сам обожаю хорошую оперетку. Только, знаете, не эту... венскую... московскую... А подлинную. Лекока. Вы любите Лекока? Вот это – настоящая оперетка. И конечно, ничего похожего на наших опереточных примадонн с их перьями, кружевами,

непристойными движениями – словом, со всем тем, что называется «каскад».

Он оживился, сбросил чеховским жестом нечеховское пенсне и с увлечением стал посвящать меня во все тайны подлинного опереточного жанра.

– Вы знаете, что такое настоящая опереточная примадонна? О, вы не знаете, что такое настоящая опереточная дива! Мадам Жюдик. Вы слышали когда-нибудь о мадам Жюдик?

– Конечно, – сказал я.

– А откуда вы могли слышать? – с сомнением спросил он, надев пенсне и взглядом экзаменатора уставившись в мое лицо.

– Из Некрасова, – ответил я. – «Мадонны лик...»

– Да-да. Совершенно верно. «Мадонны лик. Взор херувима. Мадам Жюдик непостижима...» Именно так. Некрасов описал ее совершенно точно, как большой художник, – без малейшего наигрыша. Жюдик! Это феноменально. И в чем был ее секрет? Сейчас вам объясню. Вообразите себе – дореволюционная, даже купеческая Москва, сад «Эрмитаж», гастролы оперетки с участием Жюдик. Народу – полно, и все богачи, миллионщики, целыми семьями, с женами, дочерьми, женихами. Сейчас уже этой Москвы Островского и в помине нет. Может быть, осталось один-два человека – и обчелся. И вот перед ними появляется Жюдик. Ничего опереточного: маленькая, скромненькая, гладко причесанная, в фартуке, наколочке, с ангельскими голубыми глазами, молитвенно поднятыми вверх; ручки сложены, как у причастницы. Она становится у рампы, посередине сцены возле суфлерской будки, взмахивает ресницами и вдруг начинает божественным голосом петь такую похабщину, что даже привыкшие к разным видам фарсовые и шантаные завсегдатаи лезут от стыда под кресла. Вот это настоящая опереточная примадонна. А вы говорите – Татьяна Бах.

Не помню, писал ли в своих книгах Станиславский об оперетте, но о водевиле писал много и чрезвычайно интересно. Он оказался большим любителем водевиля, и это нас отчасти сближало, потому что мне до сих пор чрезвычайно нравится водевильная форма. Отсылаю читателей к книге Н. Горчакова^[15] (забыл название). Что же касается оперетки, то помню еще вот что. Как-то на репетиции

«Растратчиков» в перерыве Станиславский снова заговорил со мной об оперетке.

– Оперетку должны играть непременно большие, замечательные артисты, иначе ничего не получится. Жанр оперетки по плечу только настоящему актеру – мастеру своего дела.

– Почему так?

– Потому что иначе не поверят.

– Кто?

– Зрители.

– А зачем нужно, чтобы зрители непременно верили чепухе, которую показывают в оперетке?

– Гм... Гм... – сказал Станиславский. – Если не поверят – не будут ходить в театр, и антреприза прогорит.

– Ну разве что так.

– Вы знаете, кто мог бы великолепно играть оперетку? – спросил он лукаво.

– Кто?

– Наши, Качалов, например. Вы представляете себе, какой бы это был замечательный опереточный простак? А Книппер! Сногшибательная гранд-дама. А Леонидов? Представляете себе, с его данными, какой бы это был злодей! А Москвин? Милостью божьей буфф. Лучшего состава не сыщешь.

– Ну так за чем же дело? У вас в театре даже специальный зал есть, так и называется К. О. – комической оперы. Вот бы вы взяли бы да и поставили какую-нибудь оперетку с Качаловым, Книппер, Леонидовым, Вишневым.

– Какую же оперетку? – озабоченно спросил Станиславский.

– Ну, «Веселую вдову».

Станиславский задумался:

– Гм... гм... не получится.

– Почему же, Константин Сергеевич?

– Они петь не умеют.

Святой человек. Гений.

Думаете – вру? Святой истинный крест!

Прощание с миром*

Книга «Ни дня без строчки» – большое литературное событие. Что же она из себя представляет? Лучше всего об этом говорит сам автор, Юрий Олеша:

«Пусть не думает читатель, что эта книга, поскольку зрительно она состоит из отдельных кусков на разные темы, то она только лишь протяженна; нет, она закруглена; если хотите, это книга даже с сюжетом, и очень интересным. Человек жил и дожил до старости. Вот этот сюжет. Сюжет интересный, даже фантастический. В самом деле, в том, чтобы дожить до старости, есть фантастика. Я вовсе не острою. Ведь я мог и не дожить, не правда ли? Но я дожил, и фантастика в том, что мне как будто меня показывают».

Отдельные мысли о жизни, об искусстве, оценки людей, исторических явлений, сюжеты неосуществленных произведений, портреты знаменитых и незнаменитых современников, театральные рецензии, литературные заметки, отдельные метафоры, сравнения, эпитеты... Все это, взятое вместе, – целый мир, увиденный глазами оригинального художника. Может быть, мастера? Да, конечно, и мастера. Олеша был выдающимся мастером слова. Но прежде всего он был художник. А мастер и художник не всегда одно и то же. Олеша был художник в самом широком понимании этого слова. Артистизм был в самом существе его личности.

Разумеется, эта книга никак не может заменить биографию Олеша, так как в ней пропущено много очень важных общественно-исторических, да и просто биографических данных, без которых представление об Олеше – художнике, гражданине и человеке было бы ущербно.

Биография Олеша еще впереди.

Читая книгу «Ни дня без строчки», испытываешь чувство восхищения и гордости советским народом, который уже родил и продолжает рождать так много хороших и разных художников. Олеша был в высшей степени «хороший и разный», и он был сыном своего народа, сыном Революции.

Если бы не было Революции, заставившей художников переосмысливать мир, не было бы и Олеси-писателя, вся сила которого как художника именно и заключается в постоянном переосмысливании мира.

Сказать, что искусство Олеси реалистично – недостаточно. Оно материалистично. Мир, созданный Олешей, материален. У него материален даже солнечный свет, увиденный им в костеле среди статуи.

«Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке».

Обычно процесс возникновения и построения художественного образа происходит в тайне, в самых глубинах сознания. Читатель получает лишь результат этой сложнейшей, мучительнейшей работы памяти и воображения. Олеша вынес этот процесс из таинственных недр своего сознания, сделал его – на глазах у всех – предметом искусства, самым его содержанием. Кажется, до Олеси этого еще не делал никто. Это его открытие. Олеша как бы воспроизводит словесно самый ход своего художественного мышления. Читатель видит чудо рождения литературного шедевра.

В досадном несоответствии с блистательным текстом всей книги находится вялое вступление В. Шкловского, изобилующее литературными штампами и высокопарными трюизмами, вроде «высокие надежды человечества», «результат большого труда и большая удача», «писатель любил Москву» и тому подобное, и не сумевшее раскрыть всю прелесть неповторимой прозы Олеси, его места в современной литературе – не только советской, но и – смею утверждать – мировой. Не названы даже современники Олеси, люди одного с ним ряда, оставившие нам непревзойденные образцы действительно – с моей точки зрения – новаторской прозы, которой советская литература может гордиться перед всем миром, поэты Мандельштам, Пастернак, Хлебников, Цветаева и, конечно же, в первую очередь Маяковский, не только стихами которого, но так же и прозой всегда так горячо восхищался Олеша.

Книга Олеси читается с наслаждением. Но читается не легко. Над каждой строчкой задумываешься, перечитываешь. Это совсем не то, что облегченная рысь обкатанных беллетристов, еще и по сей день процветающих в толстых журналах со всеми своими: «Том второй,

часть шестая, глава сорок пятая. Когда Маргарита Антоновна, выйдя на перрон Конотопского вокзала, увидела бегущего Дормидонта, который...» – и прочей бодягой.

Мы должны принести глубокую благодарность составителям книги «Ни дня без строчки», а так же издательству «Советская Россия», подарившим нам этот удивительный томик – настоящую энциклопедию стиля и хорошего вкуса, – который безусловно станет настольной книгой для каждого взыскательного литератора.

Название «Ни дня без строчки» хорошо, но, по-моему, мельче замысла книги. В нем есть нечто дидактическое. У Олеси, если поискать, найдутся названия более интересные. Например, «Театр метафор» или, как он мне сам говорил много раз, – «Лавка метафор», даже «Депо метафор». Но лучше всего название, упомянутое на последней странице его книги, быть может, последней странице, написанной его милой рукой: «Надо написать книгу о прощании с миром».

«Прощание с миром»!

По-моему, это было бы прекрасно.

1965

Вознесенский*

Он вошел в сени, как всегда, в короткой курточке и меховой шапке, осыпанной снежинками, которая придавала его несколько удлинённому юному русскому лицу со странно внимательными, настороженными глазами вид еще более русский, может быть даже древнеславянский. Отдаленно он напоминал рынду, но без секиры.

Пока он снимал меховые перчатки, из-за его спины показалась Оза, тоже осыпанная снегом.

Я хотел закрыть за ней дверь, откуда тянуло по ногам холодом, но Вознесенский протянул ко мне беззащитно обнаженные, узкие ладони.

– Не закрывайте, – умоляюще прошептал он, – там есть еще... Извините, я вас не предупредил. Но там – еще...

И в дверную щель, расширив ее до размеров необходимости, скользя по старой клеенке и по войлоку, вплотную один за другим стали проникать тепло одетые подмосковные гости – мужчины и женщины, – в одну минуту переполнив крошечную прихожую и затем застенчиво распространившись дальше по всей квартире.

– Я думал, что их будет три-четыре, – шепотом извинился Вознесенский, – а их, оказывается, пять-шесть.

– Или даже семнадцать – восемнадцать, – уточнил я.

– Я не виноват. Они сами.

Понятно. Они разнюхали, что он идет ко мне читать новые стихи, и примкнули. Таким образом, он появился вместе со всей случайной аудиторией. Это чем-то напоминало едущую по городу в жаркий день бочку с квасом, за которой бодрым шагом поспевают очередь жаждущих с бидонами в руках.

Гора шуб навалена под лестницей.

И вот он стоит в углу возле двери, прямой, неподвижный, на первый взгляд совсем юный, – сама скромность, – но сквозь эту мнимую скромность настойчиво просвечивает пугающая дерзость.

Выросший мальчик с пальчик, пробирочка со светящимся реактивом адской крепости. Артюрь Рембо, написанный Рублевым.

Он читает новую поэму, потом старые стихи, потом вообще все, что помнит, потом все то, что полузабыл. Иногда его хорошо слышно, иногда звук уходит и остается одно лишь изображение, и тогда нужно читать самому по его шевелящимся, побелевшим губам.

Его аудитория не шелохнется. Все замерли, устремив глаза на поэта, и читают по его губам пропавшие в эфире строки. Здесь писатели, поэты, студенты, драматурги, актриса, несколько журналистов, знакомые знакомых и незнакомые незнакомых, неизвестные молодые люди – юноши и девушки в темно-серых пуловерах, два физика, шлифовальщик с автозавода – и даже один критик-антагонист, имеющий репутацию рубахи-парня и правдивого малого, то есть брехун, какого свет не производил.

Который раз я слушаю Вознесенского и всегда испытываю чувство, так хорошо выраженное Пушкиным в стихах к Языкову:

...кто тебе внушил
Твое посланье удалое?
Как ты шалишь и как ты мил,
Какой избыток чувств и сил,
Какое буйство молодое!

Эти стихи Пушкина всегда приводят на память другие, его же:

О чем, прозаик, ты хлопчешь?
Давай мне мысль какую хочешь:
Ее с конца я заострю,
Летучей рифмой оперю,
Взложу на тетиву тугую,
Послушный лук согну в дугу,
А там пошлю наудалую,
И горе нашему врагу!

По аналогии с Пушкиным, который предложил Языкову назвать книгу его стихотворений «Хмель», можно посоветовать Вознесенскому названье «Стрелы».

Настоящая поэзия начинается тогда, когда поэт перестает ощущать сдерживающие его условности формы, метрики, традиции вкусов, то есть когда, сбросив с себя все навязанное ему извне, чужое, заштампованное, – он вдруг в один счастливый миг делается самим собой: вот он – совершенно новый, неповторимый, дерзкий, и вот перед ним его свободно выбранная тема, его свободная мысль – и между ними нет никаких преград, их ничто не разделяет, не тормозит их взаимовлияния и не препятствует полному, самобытному воплощению идеи в слове.

Я вижу основное качество Вознесенского – раскованность, самое ценное, что может быть в поэте.

Вознесенский прошел замечательную школу современной русской, советской поэзии – смею сказать, лучшей в мире, – и воспринял ее не только как талантливый ученик, но и как прямой продолжатель поэзии таких поэтов, как Блок, Хлебников, Маяковский, Пастернак, Асеев, Заболоцкий, Цветаева. Например, если так можно выразиться, он открыл для поэзии ремарки блоковского театра, исходя из которых построил прозаические куски своей поэмы «Оза». Вспомним блоковское:

«Тишина. Ацетилен шипит. Потрескивают бублики».

Или:

«Потолок наклоняется, один конец его протягивается вверх бесконечно. Корабли на обоях, кажется, плывут близко, а все не могут доплыть...»

Из Маяковского на него влияли наименее часто цитируемая поэма «Про это» и ранние, дореволюционные стихи, ценимые, в общем, далеко не всеми из многомиллионной массы читателей Маяковского.

У Вознесенского оказалась завидная способность: начав свой творческий путь учеником великой плеяды современных русских поэтов, полностью сохранить свою самобытность, свое неповторимое творческое лицо. Русский язык его стихия, и, свободно плавая в его необозримом океане, он сделался поэтом, известным всему миру и в то же время оставаясь прежде всего русским, ярко национальным. Это не для красного словца. Он выступал перед аудиториями Москвы, Парижа, Лондона, Нью-Йорка, Варшавы, Флоренции. Его стихи переведены и изданы в Англии, США, Польше, ГДР, Чехословакии,

Японии, Италии, ФРГ, Югославии и многих других демократических и недемократических странах. Темы его стихов интернациональны. Их география весьма внушительна: от Красной площади и Рублевского шоссе в Москве до Калифорнийского парка, где растет легендарная «секвойя Ленина». Диапазон поэтического материала разнообразен. «Живет у нас сосед Букашкин...», «Ночной аэропорт в Нью-Йорке», «Флорентийские факелы», «Прощание с Политехническим», «Баллада об Эрнсте Неизвестном» – и «Я в Шушенском...» «Лонжюмо». Так же разнообразны жанры: любовная лирика, острополитическая сатира, элегия, пейзаж, жанровая баллада. И все это пронизано большой общественно-социальной идеей, революционной мыслью...

Вознесенский прежде всего поэт-мыслитель. Но в не меньшей, если не в большей, степени он живописец и архитектор. «Окончил Московский архитектурный институт, много занимался живописью», – пишет он в своей автобиографической заметке. Отсюда его остроживописное восприятие мира, его снайперский глаз архитектора, привыкшего свободно распоряжаться пространством, располагая в нем строительный материал по принципу высшей целесообразности, а следовательно, и красоты. Я думаю, что никто другой в русской поэзии с такой ясностью, всем своим творчеством не подтвердил предположения Осипа Мандельштама о том, что

Красота не прихоть полубога,
А хищный глазомер простого столяра... –

хотя Вознесенский далеко не простой столяр.

Его строительный материал – метафоры, смонтированные на конструкциях свободного ритма, не связанного никакими правилами канонического стихосложения и подчиненного одной-единственной повелительнице: мысли.

Поразительны метафоры поэта! Он никогда не унижается до упрощенных сравнений, не требующих от читателя творческого усилия. Читать Вознесенского – искусство. Но, по всем признакам, этим искусством вполне овладели массовые читатели. Вечера

Вознесенского собирают большие аудитории, а его книг никогда не бывает на прилавках. Распроданы.

Вот он читает, и белый лес прильнул к черным ночным окнам, изредка роняя бесшумные пласты инея. Ледяной колокольчик вздрагивает в голубом нарзане.

Юрий Олеша говорил, что хочет написать книгу под названием «Депо метафор». Книги Вознесенского всегда депо метафор.

Вместо каменных истуканов
Стынет стакан синевы –
без стакана.

Этот стакан синевы без стакана вызывает целую картину современного аэропорта, написанную буквально несколькими словами, причем здесь художник-архитектор-поэт не только изобразитель, но также и полемист, весьма ядовито противопоставляющий старый архитектурный стиль каменных истуканов новому архитектурному стилю организованной синевы стекла и дюрала.

Метафора Вознесенского не украшение. Она всегда несет громадную идейную нагрузку.

Однажды, став зрелей, из спешной повседневности
Мы входим в Мавзолей, как
в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапки, без прикрас,
и Ленин, как рентген, просвечивает нас.

Могучая мысль заложена в этой метафоре, которая, подобно спектру солнечного света, содержит, кроме видимых цветов, еще два невидимых – ультрафиолетовый и инфракрасный, как бы незримо проникающих в обнаженную душу современника, входящего в темный Мавзолей Ленина.

Что еще надо сказать о Вознесенском? Он в возрасте зрелости и расцвета. Это большой русский поэт в пору приближения к зениту.

Вот он кончил читать и неподвижно стоит в углу, там, где у нас обычно стоит елка, как бы ошеломленный самим собой, тем, что он создал и подарил людям.

Аудитория рассеивается, как дым. В опустевшей комнате холодок сквозняка, запах хвои, две или три снежинки, залетевших сюда из лесу.

Он продолжает стоять неподвижно, напоминая чем-то новогоднюю елку, стройную, смолисто-сухую, такую русскую, всю разубранную инфракрасными шарами и ультрафиолетовыми свечками, недоступными для зрения и все же существующими.

1965

Магнитка*

У подножья горы Атач, в петрографическом музее, среди коллекций минералов и образцов магнитогорских руд, я увидел на подставке большую голову, как бы вытесанную из темной глыбы каким-то первобытным ваятелем. Ее темя было покрыто странной железной растительностью. Это был образец местной магнитной руды с прилипшими к ней шурупчиками, булавками, канцелярскими скрепками, набросанными любознательными посетителями, желавшими убедиться в магнитных свойствах глыбы.

И вот я стою перед ней, как перед волшебным явлением природы, ощущая себя маленьким кусочком железа, притянутым сюда, за Урал, за полторы тысячи километров, магической силой притяжения.

Я не был здесь с тридцать первого года, но никогда не забывал Магнитку. Для людей моего поколения она незабываема, как первая любовь.

Навсегда запомнилось мне ощущение неповторимости, которое я испытал в первый день моего приезда сюда вместе с Демьяном Бедным, после того как мы уже побывали с ним на лесах Днепрогэса, напоминавших мне осаду Трои, на Ростсельмаше, на Сталинградском тракторном, посетили колхозы Волги и Дона. Я уже был подготовлен к восприятию Магнитки, но она буквально потрясла меня. И не потому, что я увидел нечто более величественное, чем видел до сих пор. Ничего величественного еще не было, кроме до дерзости смелого замысла построить здесь, в глуши пугачевских степей, величайший в мире металлургический комбинат.

Незадолго до этого Маяковский прочел мне только что им написанный марш времени:

Вперед,
время,
Время,
вперед!

Я сказал, что это отличное название для индустриального романа на материале первой пятилетки. Он остановился посреди Большой Дмитровки и некоторое время, жуя крупным ртом дымящуюся папиросу, смотрел на меня оценивающим взглядом. Потом сказал:

– Вот вы и напишите этот роман.

Это было завещание Маяковского.

Таким образом, когда я приехал на Магнитку, у меня уже было название будущего романа – «Время, вперед!», его главная тема: темпы, опережающие время.

Матерпала я не искал. Он сам на меня навалился. Это была пора строительных рекордов. На весь мир гремели имена магнитогорских бетонщиков, показывающих чудеса скоростной кладки бетона. Я наяву увидел людей, опережающих время.

Вокруг была голая степь, глухая, дикая. Две домны только намечались, как рисунки углем. У подошвы горы Магнитной был как бы черновой набросок города. Но уже и тогда, в этом черновом наброске, ощущалось некое, довольно, впрочем, условное, деление на будущие районы. Запомнился питомник, где на чахлах грядках выращивались саженцы черного и красного леса, жалкие прутики, редко покрытые вялыми листочками, отягченными толстым слоем азиатской пыли: заготовки тех самых садов, бульваров и парков, которые я увидел через тридцать пять лет.

Тогда, помню, я буквально упивался небывалой, неповторимой, быть может, единственной в истории человечества картиной вдохновенного труда целого народа, превращавшего свою отсталую страну из аграрной в индустриальную.

Я видел, как в ходе строительства рождались тысячи героев-ударников – цвет рабочего класса, – как переворачивался старый и возникал новый, небывалый, еще никем никогда не виданный и не описанный мир социалистического будущего. Хотелось, чтобы ни одна мелочь не была забыта для Истории.

Я видел воинствующую комсомолию на баррикадах первых пятилеток.

Ни города, ни завода еще и в помине не было, – была лишь мечта, – но мы все, тогдашние магнитогорцы, с поистине пророческой ясностью представляли себе уже задутые домны, – восемь колоссальных домен, – коксовые печи, мартены, блюминги, слябинги

и на правой стороне вместо сравнительно небольшого заводского пруда того времени – громадное магнитогорское море, а на его берегу новый многоэтажный город недалекого будущего, его арки, проспекты, сады, бульвары.

И вот теперь, через тридцать пять лет, – уже не молодой человек, а, в общем, старик, но с тем же командировочным удостоверением «Правды» в кармане, – я ехал с аэродрома к центру Магнитогорска в машине, которая как бы с усилием пробивалась сквозь плотные облака сорокаградусного мороза, среди гипсовых уральских снегов, леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца, лишеного лучей. Впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора, состоящая из разноцветных – угольно-черных, ярко-белых, рыже-коричневых, лимонных, аметистовых – дымов, медленно вылезавших, как бараны, из двухсот труб металлургического комбината, который длинно лежал в сумраке у подножья этой дымовой горы скоплением покрытых инеем доменных печей, мартенов, висящих в воздухе газопроводов, извивающихся, как гигантские удавы, эстакад, высоковольтных передач. Машина как бы въезжала в темную пещеру, но по мере продвижения вперед дымные стены ее раздавались на стороны, солнечные лучи проникали сквозь топазовые слои пара и дыма, сверкающий январский день горел вокруг; и на фоне густой ляпис-лазури неба отчетливо выступали над низкими чугунными оградами сады и аллеи, обросшие толстым инеем. Каждое дерево и каждый куст – карагач, сирень, тополь, липа, – которые я помню еще саженцами, теперь представляли чудо зимней красоты: иные из них напоминали волшебное изделие русских кружевниц, иные стояли вдоль палевых и розовых многоэтажных домов, как некие белокаменные скульптуры, иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства, иные – с ветвистыми оленьими рогами, осыпанными мельчайшими кристалликами уральских самоцветов, и город Магнитогорск, потонувший в облаках морозного, солнечного тумана, был сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве – город осуществленной мечты.

Кое-что здесь сохранилось «еще с тех времен». Например, гостиница была та же самая, описанная во «Время, вперед!», даже

сквозняки те же, и когда я отворил дверь в свой номер, – портьеры вылетели в коридор и стоило больших трудов втолкнуть их обратно.

Я исколесил вдоль и поперек весь этот почти полумиллионный город, побывал на комбинате, ощущая вокруг себя чудовищное скопление железа во всех видах: в виде стальных лестниц, эстакад, колоссальных труб, по которым сюда подавался бухарский газ, кауперов, рельсов, паровозов с дымящимися ковшами металла, колошниковых площадок с газовыми факелами, облазил сверху донизу знаменитые домны, которых уже было не восемь, а девять и строительство последней, десятой, заканчивалось. Со стальных мостиков и площадок я любовался солнечным заревом расплавленного чугуна, извилисто текущего по канавкам доменного двора и льющегося в ковши.

Ночью волшеббно сияли зеленым светом сплошные окна кислородного завода. Облака пара клубились над теплым магнитогорским морем, куда, как таинственный град Китеж, ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей станицы Магнитной, упомянутой Пушкиным в «Истории пугачевского бунта».

Чернея на белом снегу берега, стояли, как очарованные, со своими спиннингами местные рыболовы. Я проезжал мимо ярких витрин магазинов, мимо тысячеоконных жилых массивов, мимо катков и спортплощадок со стремительно скользящими силуэтами хоккеистов, мимо скверов, где еще светились всеми своими багровыми лампочками новогодние елки, доживающие последние дни. В мелькании ночных трамваев, визжащих на поворотах, и засахаренных троллейбусов, в лунных плосках автомобильных фар, задушенных морозом, я видел фигуры добротной одетых магнитогорцев: красавиц в высоких разноцветных шапках на модных, вавилонски-высоких прическах, широкоплечих молодых людей в коротких цигейковых куртках и ушанках, бодрых стариков в старомодных зимних пальто с каракулевыми воротниками, хозяек в оренбургских платках, школьников и школьниц, весело кидающихся снежками, целые рабочие семьи, степенно шествующие в гости.

Я побывал в отличных мастерских-мансардах местных художников, в квартирах актеров, в гостях у доменщиков, прокатчиков, сварщиков, журналистов, у старейшего магнитогорского поэта Бориса Ручьева. Это цвет рабочего класса, истинные хозяева жизни,

строители будущего коммунистического общества, новаторы производства, люди начитанные и образованные, подлинная рабочая интеллигенция, люди, не привыкшие почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом.

Подобно своим отцам и дедам, строителям Магнитогорска 30-х годов, они без усталости ежедневно опережают время, и строчка Маяковского «Время, вперед!» для них есть программа жизни. Они без усталости совершенствуют доменный процесс, увеличивают производительность печей, внедряют автоматизацию и механизацию, все время что-нибудь изобретают, продолжая традиции старых магнитогорцев, совершивших множество трудовых подвигов, в том числе незабываемый подвиг, акт смелого новаторства, когда в начале войны, не побоявшись риска, стали катать танковую броню на блюминге и тем самым сделали неоценимый вклад в дело обороны. Каждый второй советский снаряд, выпущенный во время войны, был сделан из магнитогорского металла.

Творческая мысль магнитогорских металлургов не дремлет. Я познакомился с группой молодых энтузиастов, работающих под руководством молодого инженера-новатора Игоря Ивановича Морева. Они заняты проблемой выплавки стали совершенно новым способом, с применением самых последних достижений современной научной мысли: квантовой механики и физики, кибернетики, магнитогидродинамики, электроники. Еще рано говорить в печати об их опытах, но опыты эти уже перешли на полузаводскую стадию, и есть все основания ожидать большой творческой победы, которая, возможно, будет иметь мировое значение.

Так Магнитогорск хранит в своей среде традиции комсомольцев-энтузиастов 30-х годов.

Много сил приходится отдавать магнитогорцам проблеме загазованности воздуха. Двести заводских труб посылают в воздух колоссальное количество не только пыли, но и самых вредных выбросов: сернистого ангидрида и окиси азота. Шестьсот тонн одной только чистой серы ежедневно висит в магнитогорском небе, отравляя людей, губя фруктовые сады, ягодники, городские парки, которыми так гордятся магнитогорцы. Установленные сероулавливатели и прочие приборы почти не дают никакого эффекта. Техническая мысль бьется над решением проклятого вопроса, но надо сказать со всей

прямотой: результатов пока не видно. Да и вряд ли своими местными средствами – как бы велики они ни были – комбинат может успешно бороться с этим страшным бедствием. Сейчас проектируется город-спутник, удаленный от Магнитогорска на двадцать – тридцать километров и расположенный в здоровой живописной местности на берегу озера Банного. Но даже осуществление этого проекта не решит проблемы. Оставшиеся в Магнитогорске люди, прикованные к своим квартирам и хозяйствам, все равно принуждены будут жить, вдыхая зараженный воздух.

Дальше так продолжаться не может. Необходимо срочное вмешательство в общегосударственном масштабе, с тем чтобы разрешить проблему с таким же размахом и широтой, с каким у нас так успешно решается проблема жилищного строительства.

Считаю своим партийным долгом обратиться с этими словами через «Правду» к Советскому правительству и партии. Быть может, этот важнейший и актуальнейший вопрос явится предметом обсуждения на предстоящем XXIII съезде наряду с другими важнейшими вопросами. Ведь дело идет о здоровье и жизни советских людей, наших славных металлургов, лучшей славе рабочего класса. И это не только в Магнитогорске, но и во многих других городах и поселениях, связанных с металлургическим и химическим производством.

Надеюсь, что мои слова будут услышаны.

Перед отъездом я побывал в гостях у Владимира Михайловича Зудина – потомственного пролетария, который начал свою трудовую жизнь верховым доменного цеха, затем горновым, и впоследствии кончил директором комбината, инженером и профессором. Теперь он пенсионер, но продолжает свою профессорскую деятельность в горно-металлургическом институте, воспитывая молодых новаторов производства, инженерно-техническую смену высокообразованных и высококвалифицированных металлургов.

За стаканом чая я спросил его:

– Как вы объясните источники того энтузиазма, который зажегся здесь более тридцати пяти лет назад и не угасает до сих пор в сердцах тружеников Магнитогорска? А главное, в чем – по вашему мнению – заключается сущность этого постоянного творческого горения советских людей?

Он задумался. Потом сказал, как бы оценивая каждое свое слово:

– Видите ли... По-моему, одна часть людей испытывает удовольствие от жизни только в том случае, если удастся все время что-нибудь для себя приобретать, обогащаться, и чем больше эти люди приобретают, тем больше испытывают удовольствия. Поменьше дать, побольше взять, урвать, отхватить. Вот смысл существования таких людей-приобретателей, как мы называем: «прохиндеев», Чичиковых. Их осталось уже в нашей среде не так много, но все еще попадаются этакие севрюги с белыми вываренными глазами стяжателей. Даже втираются в довольно высокие органы власти. Другая часть людей испытывает радость жизни, удовлетворение ею только тогда, когда делает что-то для других людей, в конечном счете для всего человечества. Вот это-то чувство радости от постоянной отдачи своей энергии для общего дела построения коммунизма, то есть такого общественного строя, когда всем хорошо, – это и есть тот душевный огонь, который передается из поколения в поколение, начиная с Октябрьской революции – главная традиция рабочего класса нашей страны и его славных, ленинских комсомольцев.

Обратно в Москву я возвращался на поезде, любуясь несказанной прелестью зимнего Урала, а затем пересекая просторы Заволжья, и когда ночью, перебирая в уме магнитогорские впечатления, я смотрел в черное окно вагона, то время от времени видел проплывающие мимо оранжево-рыжие нефтяные факелы, развевающиеся на лютном ветру тридцатиградусного мороза, и они говорили моему сердцу о тех неисчерпаемых богатствах, которые заложены в душах советских людей и в недрах неизмеримых советских земель.

Механизм человеческой памяти еще недостаточно хорошо изучен для того, чтобы мы могли по собственному желанию распоряжаться им.

Иные имена, быть может даже великие, так и остаются в кедрах нашей памяти мертвым грузом, никогда не поднимаясь на поверхность сознания.

Уэллс не принадлежит к числу этого, быть может, и драгоценного, но мертвого груза человеческой памяти.

Для людей моего поколения, чье мировоззрение формировалось на грани двух веков – XIX и XX, – влияние романов Уэллса было огромно и сохранилось до сих пор.

Например, образ уэллсовского марсианина из «Борьбы миров» – таинственная стальная башня – перешел в нашу современную литературу, и часто мы читаем о столбах высоковольтной передачи, шагающих по просторам нашей социалистической родины, как марсиане.

Будучи писателем типично английским, Уэллс быстро сделался писателем мировым, войдя в сознание читателей всего земного шара как один из самых сильных элементов современного мировоззрения со всеми его социальными противоречиями, с борьбой труда и капитала, с техническим новаторством, великими научными открытиями и смутным предчувствием грядущей мировой революции или, во всяком случае, какой-то радикальной социальной перемены.

Кто из нас не зачитывался и не зачитывается Уэллсом сейчас?

Юрий Олеша, художник тонкий и умный, писатель почти непогрешимого вкуса, включил Уэллса в список великих или, во всяком случае, первоклассных мастеров литературы и искусства, таких, как Пушкин, Маяковский, Данте, Л. Толстой, Чаплин, Марк Твен, Хемингуэй, Стендаль, Станиславский.

В «Зависти», в «Лиомпе», в «Вишневой косточке» и во многих других вещах Олеша ощущает магическое влияние Уэллса.

«Умение изображать фантастические события так, что они кажутся происходящими на самом деле, и составляет главную

особенность таланта Уэллса, – пишет Юрий Олеша, – он превращает фантастику в эпос... Я не знаю, как другие читатели, но когда я читаю „Невидимку“, мне бывает очень трудно отделаться от мысли, что я читаю рассказ об истинных происшествиях... Какими же средствами, – спрашивает Олеша, – добивается Уэллс этой достоверности? – и отвечает так: – Уэллс понимает, что если условна фабула, то лица, разыгрывающие ее, должны быть как можно более реальны. Этим и достигается достоверность того, что на самом деле выдуманно».

Это верно, хотя я думаю, что Уэллс не был первооткрывателем этого приема. У него много предшественников в мировой классике, и среди них, быть может, самый могучий – Эдгар По. Однако Уэллс развил, разработал открытия великого Эдгара и поднял их на новую высоту.

Многие наши писатели – не только так называемые «фантасты» – испытали на себе и постоянно испытывают влияние Уэллса. Алексей Толстой не мог бы написать «Аэлиту», если бы не прочитал Уэллса, а если бы и написал, то она, «Аэлита», была бы более «жюльверноподобна», то есть лишена той грустной поэзии, которой пронизано все творчество Уэллса.

У Маяковского большинство поэм в основе своей фантастичны, что безусловно является следствием влияния романов Уэллса, хотя так же безусловно и то, что Маяковский во много раз превосходит Уэллса по силе своей социальной направленности, новизны формы и великолепной, прямой революционности.

При всей традиционности формы, проза Герберта Уэллса тем не менее воспринимается как новаторская.

Перечтите «Хрустальное яйцо», задумайтесь над ним, и, может быть, вам станет более ясной суть новаторства Уэллса.

В своем дневнике Эдмон Гонкур записал чрезвычайно интересную вещь:

«В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнаёт, как старых знакомых, открыть оригинальную форму стиля – еще не все; нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели могут увидеть существа и вещи через такие стекла, какими еще никто не пользовался; посредством этого бинокля вы показываете

картины под неведомым до сих пор углом зрения, вы создаете новую оптику».

Истинно новаторская литература смотрит на вещи и события через такие стекла, какими еще никто не пользовался.

По-моему, изобретателем такого бинокля этой новой оптики, в частности, был автор «Хрустального яйца».

1966

Как я писал книгу «Маленькая железная дверь в стене»^{*}

Тема Ленина давно привлекала меня. Может быть, с того самого дня, когда однажды, в конце 1917 года, отец сказал:

– Какое счастье, что во главе России стал Ленин-Ульянов. Это великий человек. Он выше Петра.

Мой отец – учитель – был типичным представителем той части русской интеллигенции, для которой Петр Великий являлся вершиной нашей государственности.

– Петр был преобразователь, – продолжал отец, – а Ленин, кроме того, что преобразователь, еще и создатель совершенно нового в истории человечества Советского государства.

Всю свою сознательную жизнь я любил Ленина и всегда мечтал написать о нем книгу. Но Ленин – неисчерпаемая тема, которую один человек осилить не может. Поэтому я решил взять какой-нибудь небольшой период жизни Ленина и попытаться на этом материале построить образ Владимира Ильича, заранее отказавшись создать что-нибудь монументальное, так как это было мне явно не по силам.

Но что это будет – роман, повесть, очерк, я еще тогда не знал.

Я стал изучать сочинения Ленина, его биографию, а главное, читать воспоминания о нем современников.

Громадную роль в этом деле сыграло мое знакомство с Надеждой Константиновной Крупской, под руководством которой я некоторое время работал в самом начале 20-х годов в Главполитпросвете.

В то время я считался главным образом поэтом и писал по заказу Главполитпросвета агитационные стихи, так называемые агитки. Они попадали на стол к Надежде Константиновне, которая их визировала. Иногда она вызывала меня к себе в кабинет, для того чтобы сделать какое-нибудь замечание по поводу моего материала, чаще всего указывая на мелкие неточности или излишества стиля, требуя, чтобы язык агиток был совершенно ясен, прост и доступен пониманию самого массового читателя. Тут же она предлагала новые темы для частушек, стихотворных лозунгов, монологов, басен, народных сценок, настаивая, чтобы они были «ультразлободневны», как она

выражалась, и попадали не в бровь, а в глаз. Одним словом, здесь не могло быть и речи об искусстве для искусства или о чем-нибудь подобном. Все должно подчиняться задачам партийной пропаганды сегодняшнего дня и политического просвещения масс. С понятным волнением смотрел я на эту пожилую женщину с наружностью народной учительницы, в старых башмаках, в суконном платье вроде сарафана, с серебристо-стальными волосами, заплетенными на макушке толстым узлом, в больших круглых очках с увеличительными стеклами, которые она надевала перед тем, как прочесть мою рукопись, с одутловатыми щеками и заметно выпуклыми глазами – следами базедовой болезни, жену и самого близкого друга Ленина, этого величайшего человека нашего времени, перед которым я преклонялся. Казалось невероятным, что после работы прямо отсюда, из этого кабинета, Крупская поедет домой, где ее ждет муж – Ленин, и они будут вместе пить чай и обмениваться впечатлениями прошедшего дня, и, очень возможно, Ленин поинтересуется, как идут дела агитации и пропаганды в Главполитпросвете, и Крупская расскажет ему о сегодняшнем рабочем дне и даже, может быть, упомянет о некоем молодом стихотворце, с которым вела назидательную беседу о роли искусства в воспитании народных масс.

Я был недалек от истины. По-видимому, Крупская и в самом деле советовалась с Лениным о работе Главполитпросвета, потому что однажды, когда я накануне пятилетия Октябрьской революции принес ей большую праздничную агитку, сочиненную в духе «Мистерии-Буфф» Маяковского, Надежда Константиновна сказала:

– Вот вы все пишете агитки на общереволюционные темы, а вчера Владимир Ильич, например, сказал мне, что сейчас одна из наиболее важных задач нашей пропаганды – это рассказать народу в популярной форме о новой жилищной политике Советской власти. «Скажи своим поэтам, – заметил Ленин, – чтобы они поменьше писали агиток, поменьше занимались ненужной трескотней, а лучше пусть кто-нибудь из них перечитает все наши декреты по этому вопросу, засядет и напишет хорошую популярную брошюру о новой жилищной политике Советской власти. Вот за это мы скажем ему большое спасибо». Что вы об этом думаете? – спросила Крупская. – У

вас довольно хороший стиль, бойкий язык, так не засядете ли вы за такую брошюру?

Я воспринял это предложение как прямой приказ Ленина и, отложив в сторону агитки, в течение нескольких дней написал брошюру под названием «Новая жилищная политика», которая тут же и вышла в издательстве Главполитпросвета.

Это время я никогда не забуду; я жил и работал где-то в осязательной близости от Ленина, и часто Крупская рассказывала мне о нем, о его жизни в эмиграции, в Женеве, в Париже, о партийной школе, организованной Лениным в Лонжюмо, об Инессе Арманд и о многом другом.

Все это меня чрезвычайно увлекало и еще более укрепляло в намерении написать о Ленине если не роман и не повесть, то, во всяком случае, его литературный портрет. Как-то я осмелел и попросил Надежду Константиновну познакомить меня с Лениным. Крупская отнеслась к моей просьбе просто и весьма доброжелательно, она поняла страстное желание молодого поэта увидеться с Владимиром Ильичем, поговорить с ним, лично ощутить все его громадное человеческое обаяние. Она сказала мне:

– Я с удовольствием как-нибудь повезу вас к нам вечерком выпить чаю, и тогда вы познакомитесь с товарищем Лениным. Вам будет это очень полезно. Да и Володе не мешает побеседовать с молодым советским поэтом, нашим хотя и слабеньким, но все же пропагандистом. – Крупская добродушно улыбнулась. – И вы расскажете Владимиру Ильичу о современной молодой художественной интеллигенции. Но к сожалению, в данное время он хворает и живет вне Москвы, к нему врачи никого не пускают, да и далековато ехать, так что вам придется маленько подождать. А когда он, даст бог, выздоровеет и переедет обратно в Кремль, то я вас обязательно свезу к нему. Даю слово.

Но Ленин не поправился, и мне уже не было суждено увидеть его живым.

В дни его смерти, которую переживал мучительно тяжело, я написал стихотворение – первое мое произведение о Ленине. Стихи эти были напечатаны в журнале «Красная новь» – те самые стихи, отрывок из которых много лет спустя я повторил в конце своей книги «Маленькая железная дверь в стене».

Жестокою стужу костры сторожили.
Но падала температура
На градус в минуту, сползая по жиле
Стеклянной руки Реомюра...
и т. д.

Как я понимаю теперь, в этих моих стихах было тайное сходство со стихами Бориса Пастернака о Петре Великом:

«Был тучами царь, как делами, завален» и пр.

Так в моем искусстве появилась тема Ленина.

В начале 30-х годов я попал в Париж и сразу без памяти влюбился в этот город Великой французской революции, Парижской коммуны, город Маркса и Энгельса, Робеспьера и Марата, Вольтера, Жан-Жака Руссо, энциклопедистов. Я познакомился в Париже с французскими коммунистами Марселем Кашеном, Вайяном-Кутюрье, с замечательным человеком, Шарлем Раппопортом, даже с несколькими стариками – участниками Парижской коммуны. От них я услышал много интересного и важного о жизни Ленина в парижской эмиграции периода 1908–1912 годов. Именно тогда у меня окончательно сложилось намерение написать книгу о Ленине в Париже. Но прошло больше тридцати лет, прежде чем мне удалось осуществить свое желание.

До этого я писал о Ленине в своем романе «Зимний ветер», где изобразил Владимира Ильича в дни Октябрьской революции в Смольном. В этом же романе одна из моих героинь – Марина – вспоминает, как она ездила с Лениным – «дядей Володей» – на велосипеде смотреть на полеты первых аэропланов под Парижем, что уже явно перекликается с «Маленькой железной дверью в стене». В повести «Хуторок в степи» Петя по заданию Гаврика везет зашитое в шапке письмо по знаменитому адресу: «Париж, улица Мари-Роз, 4».

Для создания книги «Маленькая железная дверь в стене» мне пришлось несколько раз перечитать все без исключения сочинения Ленина, пройти курс в вечернем университете марксизма-ленинизма, наконец, проштудировать громадное количество воспоминаний современников о Владимире Ильиче Ленине, выбирая из них «самое драгоценное», не говоря уже о том, что я изучал «Капитал» Маркса и

гениальные работы Энгельса – «Диалектику природы» и «Анти-Дюринг», открывшие мне глаза на окружающий нас физический и социальный мир. Я несколько раз ездил в Париж, побывал в Италии на Капри, где посетил почти все ленинские места. К этому прибавились мои путевые впечатления, воспоминания детства, лирические размышления о судьбах революции – и в конце концов получилось произведение «Маленькая железная дверь в стене», которое недавно вышло отдельной книжкой. Я не считаю эту свою работу законченной. Вероятно, придется еще несколько раз побывать в Париже, Лондоне, Брюсселе, в маленьком городке Порник на берегу Бискайского залива, где жил Ленин, а также в деревушке Бонбон под Парижем, где он отдыхал вместе с Надеждой Константиновной перед поездкой к Горькому на Капри, и, может быть, лишь тогда я буду считать свою работу законченной.

В заключение должен сказать, что ни над одной из своих книг я не работал с таким увлечением. И еще считаю долгом выразить глубокую благодарность своим многочисленным читателям, которые помогали мне все время добрыми пожеланиями, полезными советами и замечаниями по поводу вкравшихся в журнальный текст неточностей, неизбежных в такой литературной работе, где творческая фантазия автора тесно переплетается с историческими событиями и фактами биографии великого человека.

Мой Бодлер*

Пушкин, который являлся не только гениальным поэтом, но также и великим русским просветителем, неустанно знакомившим русское общество с лучшими образцами западной литературы, был убит на дуэли, когда Бодлеру исполнилось всего шестнадцать лет. Живи Пушкин дольше, можно не сомневаться, что он первый открыл бы для своей страны Бодлера. К несчастью, этого не случилось.

Одним из первых переводчиков Бодлера на русский язык был – как это ни парадоксально! – поэт-революционер Якубович, принадлежащий к крайнему, террористическому крылу партии народников, убивших императора Александра II.

«В 1879 году „Цветы зла“ случайно попали мне в руки, – писал Якубович, – и сразу же захватили меня своим странным и могучим настроением».

Русский революционер нашел в стихах французского декадента нечто созвучное своей мятежной душе.

Впрочем, в России тогда не было даже известно слово «декадент», да и был ли вообще Бодлер декадентом? Во всяком случае, Теофиль Готье отрицает это. Я тоже думаю, что определение «декадент» слишком узко и примитивно для объяснения такого громадного, многогранного поэта, как Бодлер.

Однако знаменательно, что стихи, осужденные за безнравственность во Франции, впервые переводились на русский язык политическим узником Якубовичем в казематах Петропавловской крепости – этой Бастилии русского царизма, – затем на каторге в горах Дкатуя на обрывках грубой махорочной бумаги.

Одно время Бодлер считался в России «французским Некрасовым», что, конечно, было крайним преувеличением революционного содержания поэзии Бодлера, но все же содержало какое-то зерно истины: все-таки Бодлер был сыном своей мятежной страны, ее революционного прошлого и настоящего. Напомню, что в сорок восьмом году Бодлера видели на одной из парижских баррикад с охотничьим ружьем в руках и что в эти же дни он собирался издавать журнал под названием «Общественное благо», явно

напоминавшим Великую французскую революцию, Конвент и его комитеты.

Итак, некоторое время поэзия Бодлера находилась на вооружении у нашего революционного народничества.

Антитезой к этому парадоксальному положению было второе рождение в нашей стране поэзии Бодлера, когда после поражения революции 1905 года она оказалась в лагере символистов и поэты этого направления, во главе с Брюсовым, заново перевели всего Бодлера. На этот раз Бодлер занял ведущее место в ряду Верлена, Верхарна, Малларме, Артюра Рембо и многих других западных поэтов, вдруг ставших в нашей стране невероятно знаменитыми и объявленными величайшими глашатаями нового искусства. Это, конечно, тоже была крайность, но тем не менее влияние главы новой европейской школы Бодлера неоспоримо. В той или иной степени воздействие искусства Бодлера испытали многие русские поэты.

По необходимости быть кратким, ограничусь упоминанием лишь некоторых имен: Блок, Брюсов, Игорь Северянин, Федор Сологуб, Иннокентий Анненский и многие, многие другие.

Впоследствии влиянию Бодлера подвергся молодой Маяковский, вслед за ним Марина Цветаева, Борис Пастернак, Осип Мандельштам.

Бодлер влиял на них не только как философ, но в гораздо большей степени как блестящий мастер поэтической формы, неповторимый метафорист, создатель поразительного по красоте поэтического языка, оставаясь в то же время в рамках старой классической традиции.

Не могу не удержаться, чтобы не рассказать здесь о моем большом друге, ныне покойном Эдуарде Багрицком – выдающемся советском поэте. В ранней юности он открыл мне Бодлера. Помню, он – совсем юный и взволнованный – пришел однажды ко мне и прочел несколько сонетов из «Цветов зла», только что появившихся в маленьком дешевом издании «Всеобщей библиотеки». Я был буквально потрясен силой бодлеровской независимости и «безудержной, сокрушительной откровенности, не останавливающейся ни перед какими признаниями, хотя бы и такими, которые рисуют самого поэта в дурном виде», – как позже сказал мой другой старый друг – поэт Павел Антокольский.

Эдуард же Багрицкий был так захвачен всей личностью Бодлера, что даже его лицо и вся поза вдруг стали напоминать Бодлера: мрачные глаза, горестно и презрительно сжатый рот, скрещенные руки – точная копия гравированного портрета Бодлера, приложенного к книге. Самое удивительное, что «бодлеровское выражение лица» больше уже не покидало Багрицкого до самой смерти.

Вы меня должны простить за это несколько юмористическое, но очень характерное отступление.

Продолжаю.

В ряде случаев влияние Бодлера на русских поэтов перешагнуло все исторические рубежи и дошло до наших дней. Приведу всего один пример: в одной из своих поэм в прозе – «Желание художника» – Бодлер написал: «Я сравнил бы ее с черным солнцем». Так в мировой литературе родилась соблазнительная метафора черного солнца, до сих пор кочующая по творениям многих наших писателей, по-видимому даже не подозревающих, что она – эта метафора – заимствована у прославленного французского модерниста.

Я считаю это вполне закономерным. Величайшее значение истинной поэзии заключается в том, что она как бы «взаимопроникающа».

Обращаясь к Виргилию, Иван Бунин сказал: «Счастлив я, что моя душа, Виргилий, не моя и не твоя».

Это верно. Душа поэта принадлежит всем. Всему человечеству. Она общая.

Сейчас в нашей стране происходит чудо третьего рождения Бодлера. Недавно в серии «Сокровища лирической поэзии» вышла книга стихотворений Шарля Бодлера с прекрасным предисловием нашего маститого поэта Павла Антокольского. Наряду со старыми – «народническими» и «символистскими» – переводами дано большое количество совершенно новых, принадлежащих перу первоклассных переводчиков во главе с Левиком, известным поэтом, знатоком французской поэзии. Сборник этот, напечатанный тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров, был раскуплен буквально в несколько часов, и теперь его невозможно достать ни за какие деньги, так что ожидается второе издание этого удивительного французского поэта, умершего сто лет тому назад.

Каждый великий поэт постоянно умирает и постоянно рождается в поколениях для новой, еще более прекрасной жизни, так не похожей и в то же время так похожей на прежнюю, как звук не похож и вместе с тем до ужаса похож не только на душу музыканта, но также и на всю материальную структуру музыкального инструмента, рождающего эти звуки, будь то дыхательным аппаратом – горлом певца или группой духовых, ударных или смычковых инструментов.

В прелюдиях Скрябина я всегда, кроме души композитора-поэта, явственно ощущаю громоздкое тело инструмента, все материалы, из которых он построен. Фортепьянный концерт как бы модулирует в пространстве и во времени вещественное содержание инструмента, не только его форму, но его вес, его струны, его архитектуру, сорта дерева, бронзовый резонатор, даже стеклянные розетки, на которых покоятся медные колесики его могучих лакированных ног.

Удар по струнам, аккорд, является в одно и то же время и смертью звука, и рождением его для новой уже не материальной, но духовной жизни – быть может, даже вечной, так как она уже навсегда остается в сознании человечества и начинает свою вечную жизнь во времени.

Смерть Бодлера сто лет тому назад превратилась в вечную жизнь его поэзии, в вечную славу его имени, и я счастлив засвидетельствовать здесь то уважение и восхищение, которое питает литература моей страны к творчеству бессмертного французского – и всемирного! – поэта Шарля Бодлера, который при жизни считался «проклятым», а после смерти стал «трижды благословенным».

Голсуорси*

Деление времени на столетия в значительной мере условно: оно облегчает труд историка, дает ему удобную структурную сетку, где в известном, но, в сущности, произвольном порядке формируются кристаллы событий. Но на самом деле время течет по своим, еще не вполне изученным нами законам, и если в его плавном и однообразном течении возникают скачки, то они – эти скачки – почти никогда не совпадают с условными делениями календаря.

Поэтому не стоит рассматривать мировой литературный процесс по столетиям.

В энциклопедическом словаре написано, что Голсуорси является писателем двадцатого века. Половину жизни он прожил в девятнадцатом веке и половину в двадцатом, причем лучшие его вещи написаны в двадцатом. Это справедливо только с точки зрения грубо-хронологической. По-моему, Голсуорси весь целиком еще принадлежит девятнадцатому веку, его могучей литературе, великой плеяде писателей, которых нет нужды здесь перечислять, так как они всем известны, и которые в конечном итоге родили последних могикан девятнадцатого века, таких, как Дюгар, Томас Манн, Пруст, Максим Горький с его «Климом Самгиным», может быть, Франсуа Мориак, запоздалых представителей всей предыдущей литературы, перешагнувших условный рубеж столетия, принесшего в наш двадцатый век весь блеск и весь гений века девятнадцатого, из блистательного плена которого так трудно вырваться писателю, если он не гений.

Лев Толстой и Антон Чехов – учителя Голсуорси – были гениями. Взявши все самое лучшее от искусства девятнадцатого века – а Толстой даже от семнадцатого и восемнадцатого, – они вырвались из плена времени, в котором родились, и сумели стать законодателями литературы двадцатого века, опередив свое поколение почти на сто лет.

Они произвели революцию в литературе, реформировав традиционный роман и создав новые формы прозы. Они были

подлинными новаторами, оказавшими решающее влияние на дальнейшее развитие всей мировой художественной литературы.

Голсуорси не был новатором, но он был гениальным учеником, воспринявшим все самое лучшее, что могли дать ему ранний Толстой и поздний Чехов, не говоря уже о том фундаментальном влиянии, которое, естественно, оказали на него «Человеческая комедия» Бальзака, «Ругон-Маккары» Золя, романы Диккенса и Теккерея, что навсегда оставило на нем неизгладимый отпечаток викторианства.

Голсуорси не воспринял уроков позднего Толстого с его гениальной «Смертью Ивана Ильича», Гоголя с его «Записками сумасшедшего», многих чеховских рассказов; Чехов не научил его быть кратким. Голсуорси не захотел или не сумел разрушить форму классического романа, эпопеи, со всей его обстоятельностью, что, кстати сказать, совсем необязательно для художественной прозы. Но зато Голсуорси, пользуясь старыми, найденными не им, литературными формами, создал поразительные по силе картины современного ему английского общества. Это и было великим писательским подвигом Голсуорси. Произошло чудо. Литературное явление прошлого перешагнуло условные рубежи времени и, оставаясь самим собой, продолжает жить и действовать на умы и чувства людей уже совсем другой исторической генерации.

А может быть, в этом и заключается подлинная гениальность писателя?

Поездка в Визлей*

У меня на письменном столе стоит грубовато, но все же довольно искусно сделанная из белоснежного французского фарфора модель небольшой книги – томика, на корешке которого золотом написано: Ромен Роллан, Кола Брюньон, и маленькая изящная золотая виньетка в виде виноградной кисти с листьями и завитыми усиками, а еще ниже также золотой вензель фабричной марки и название города: «Кламси». На обратной стороне переплета между двух прелестных гирлянд из садовых и полевых цветов воспроизведен автограф Романа Роллана – фрагмент из «Кола Брюньона», который я приведу в вольном переводе Михаила Лозинского:

«Во-первых, я имею себя, – это лучшее из всего, – у меня есмь я, Кола Брюньон, старый воробей бургундских кровей, обширный духом и брюхом, уже не первой молодости, – полвека стукнуло, – но крепкий, зубы здоровые, глаз свежий, как шпинат, и волос сидит плотно, хоть и седоват. Не скажу, чтобы я не предпочел его русым, или если бы мне предложили вернуться этак лет на двадцать или на тридцать назад, чтобы я стал ломаться. Но в конце концов пять десятков – отличная штука! Май 1914 года. Ромен Роллан».

На лицевой же стороне переплета во весь рост нарисован яркой акварелью герой этой замечательной книги, сам, собственной своей персоной Кола Брюньон, знаменитый мастер из Кламси, «обширный брюхом и духом», в зеленом фартуке столяра, в белых чулках, широкой рубахе с открытым воротом, действительно несколько седоватый, с крупным галльским носом и в красной шапочке на голове. Он стоит, подбоченившись, перед своим верстаком, на котором с одной стороны изображен добрый глиняный кувшин, а с другой – рубанок; в руке же у мастера из Кламси увесистый бокал, на три четверти полный красного, светящегося вина, которое так весело оживляет всю эту милую миниатюру, с такой любовью сделанную веселым провинциальным художником-дилетантом.

Эту фарфоровую нарядную безделушку, в которой я храню свои карандаши и автоматические ручки и которая так украшает мой бедный письменный стол, несколько лет тому назад подарила мне

супруга Ромена Роллана, милая Марья Павловна, в память нашей поездки в Бургундию, в городок Визлей, где свои последние годы провел Ромен Роллан и где он умер в доме, из окон которого открывается чудесный вид на холмы, виноградники и остатки древнеримской крепостной стены – классический бургундский пейзаж с туманными долинами и огромными столетними буками и ореховыми деревьями.

С Роменом Ролланом я познакомился у Максима Горького на даче под Москвой. Было множество народа, шумно, все толпились вокруг Ромена Роллана, желая пожать его тонкую руку с длинными, музыкальными пальцами. Ромен Роллан был явно смущен: он неподвижно сидел в кресле в своем седом пастушеском плаще, накинутом на плечи поверх черного сюртука, что делало его похожим на худощавого, старого швейцарского пастора, в круглом, туго накрахмаленном воротничке, с такими же твердыми манжетами и в двубортном жилете. Я видел его узкое лицо с белокуро-поседевшими густыми бровями, высоким холодным лбом и светлыми глазами, сразу же напомнившее мне чье-то другое, хорошо знакомое всем лицо. Чье же? Ах да. Лицо Фритьофа Нансена.

Через несколько дней мы провожали Ромена Роллана на Белорусском вокзале. Он разговаривал с Горьким уже из окна вагона. Они оба – Горький на перроне и Ромен Роллан – грустно и нежно смотрели друг на друга, как бы чувствуя, что расстаются навсегда. Это было в июле 1935 года. За год до смерти Горького.

Из всех произведений Ромена Роллана, писателя-гуманиста, вечного и последовательного борца за мир между народами, тонкого знатока музыки и непревзойденного истолкователя революций, великого гражданина мира, – из всех его произведений больше всего я люблю «Кола Брюньона» – самое народное, самое свежее из всего, что когда-либо выходило из-под его волшебного пера. Вот почему поездка в Бургундию, на родину Ромена Роллана и его знаменитого Кола Брюньона, доставила мне такое громадное наслаждение. Душа Ромена Роллана, разлитая вокруг, как бы прикоснулась к моей душе и наполнила ее тонким ароматом поздней бургундской весны, когда вишни уже поспели, а виноград лишь недавно отцвел, оставив после своего цветения неуловимый аромат, как бы желтое облако, прозрачно покрывшее холмы виноградников.

Помню широкую деревянную кровать, на которой умер Ромен Роллан, ее боковые доски, сплошь вымазанные лиловыми чернилами: умирающий писатель до последнего вздоха продолжал творить. Уже не в силах сидеть за письменным столом, он писал лежа, вытирая перья о края кровати, скоро сделавшейся его смертным ложем, хранящим до сих пор следы его чернил.

Мы посетили могилу Ромена Роллана, возле стены его приходской церкви, под старым кипарисом, и положили на грифельно-темную могильную плиту, вровень с землей окруженную другими могилами, свои скромные цветы. Все было скромно на этом маленьком сельском кладбище с церковью, сложенной из местного дикого камня, и лишь колодец с кованым железным перекрытием, переплетенным вьющимися розами, – нарядный колодец-беседка, как бы сошедший сюда со страниц сказок Перро, – придавал окружающему какое-то грустное и вместе с тем нежное очарование, тихое умиротворение смерти.

Затем мы посетили деревню и дом, где, как говорят, некогда жил со своей семьей бургундский крестьянин, с которого Ромен Роллан написал своего Кола Брюньона – «славного малого, кругленького пузана не первой молодости, пятидесяти лет, но коренастого, со здоровыми зубами, ясным, как у плотвы, взглядом и густыми волосами на коже, как у осла, хотя и поседевшими». Теперь здесь продолжает жить разросшаяся семья потомков знаменитого мастера из Кламси – семья, являющаяся величайшей достопримечательностью этих мест, овеянная легендой, свято чтящая память великого писателя, своего земляка, прославившего их дом, их маленькую усадьбу, их виноградник на весь мир. Нас встретил пожилой крепкий бургундский крестьянин – почти точная копия Кола Брюньона, – по всей вероятности, его внук или правнук. Он с величайшей почтительностью снял свою широкополую шляпу и низко, но с большим достоинством поклонился жене и другу Ромена Роллана – Марье Павловне, которая, в свою очередь, представила нас, своих гостей. И мы, пройдя через двор, где в закутках, как где-нибудь у нас в деревне на Украине, хрюкали свиньи, а на черной грязи вокруг каменной колоды водопоя виднелось множество отпечатков утиных, куриных, гусиных и индюшечьих лап, были введены в закопченную кухню каменного, нештукатуренного деревенского дома: там нас

среди очага и медных кастрюль встретила вся большая семья потомков Кола Брюньона и несколько батраков в таких же шляпах, как и у их патрона. Все мужчины были без пиджаков, в жилетах и белых рубашках, а женщины в шерстяных платках, накинутых на плечи. Среди них я заметил Ласочку – ее прелестное личико и большие глаза, – она спустилась в погреб, принесла оттуда две узкие бутылки домашнего вина и поставила их на старый-престарый, длинный дубовый стол с начисто выскобленной доской. Хозяева, гости и батраки все рядом уселись на скамейке за стол, и хозяин налил всем по стакану своего бургундского. Он поднял стакан и сказал:

– За великого мэтра Ромена Роллана, нашего земляка и соседа, который в жизни своей нередко посещал этот скромный дом, сидел за этим столом, пил это вино, и за нашего предка славного малого Кола Брюньона, прославившего Кламси на весь мир.

Какой бы писатель не позавидовал в эту минуту своему собрату, так горячо и крепко, на вечные времена признанному своим народом?

Уметь воплотить в своем герое народный характер – вот высшая степень писательского мастерства. И вечером, в столовой дома Ромена Роллана, где, казалось, все еще продолжала жить его всемирная душа, перед камином, где, треща и стреляя, пылали два громадных скрещенных бревна, я продолжал думать о счастье писателя быть воистину народным.

20 декабря 1969 г.

Эдуард Тиссе

Каждый раз, когда я думаю об Эдуарде Тиссе, мне приходит в голову одна удивительная подробность из творческой биографии знаменитого французского живописца Эжена Делакруа.

Вот выдержка из книги А. Гастева «Делакруа»:

«Кто бы мог ожидать, что на Эжена Делакруа потрясающее впечатление произведет фотография, что изображение Дагерра приведет его в полный восторг, что он постоянно будет твердить о неслыханных выгодах, которые сулит фотография художнику; мало того: что он будет демонстрировать преимущества фотографии перед произведениями искусства, да еще перед такими шедеврами, как гравюры Маркантонио с Микеланджело и Рафаэля?..»

«После просмотра фотографий, сделанных с обнаженных людей, я положил перед ним гравюры Маркантонио. Мы все испытали неприятное чувство, близкое к отвращению, при виде его небрежности, манерности, несмотря на достоинства стиля – единственное, чем можно было восхищаться, но что не восхитило нас в ту минуту. И действительно, если гениальный человек воспользуется фотографией так, как следует ею пользоваться, он подыметесь до недоступной нам высоты».

И еще:

«Если бы это открытие было сделано тридцать лет тому назад, моя карьера художника была бы, может быть, более завершена.

Возможность проверить себя при помощи дагерротипа – это является для человека, пишущего по памяти, ни с чем не сравнимым преимуществом...»

Появление кинематографа, то есть – как его называли в первые дни после рождения – «живой фотографии», примерно совпало с рождением Эдуарда Тиссе. Однако за это волшебное изобретение братьев Люмьер сразу же ухватились ремесленники, создавшие на потребу мирового обывателя великое множество театров – иллюзион, где демонстрировалась лубочная продукция первых «кинематографистов». Роль операторов в этих балаганных представлениях сводилась к механической съемке незамысловатых

представлений, копирующих театральные водевили или даже «драмы». Роль тогдашнего оператора была чисто механической – не выше роли киномеханика, который крутил ремесленные картины в маленьких тогдашних кинозалах, нередко переделанных из обыкновенных квартир или магазинов.

В то время наиболее интересной в области кинематографа была хроника, но и она в большинстве случаев делалась очень ремесленно, без малейшей примеси выдумки и вдохновения, напоминая плохо написанный газетный репортаж, состряпанный малограмотным ремесленником-«репортером».

Тиссе прошел школу хроники знаменитой на весь мир фирмы «Патэ» и, еще будучи зеленым юношей, вдруг понял, творчески осознал все возможности, которые таятся в работе кинооператора.

Тиссе открыл секрет кинокамеры. Бездушную машинку, послушно регистрирующую любой движущийся объект, он превратил в орудие высокого изобразительного искусства. Гениальный живописец Эжен Делакруа воспользовался фотографией для проверки художественной достоверности рисунка, сделанного рукой человека, а гениальный оператор Тиссе научился проверять достоверность самой жизни, применяя к ее изображению камеру своей «живой фотографии». Жизнь и художественный вымысел слились в волшебных кадрах, снятых Эдуардом Тиссе. У Тиссе был глаз истинного художника, и он, снимая самую, казалось бы, обыденную вещь, умел вдохнуть в нее живую душу, простой зрительный факт превратить в произведение искусства.

В первый период после Октябрьской революции судьбе угодно было свести двух великих художников кинематографа – Эдуарда Тиссе и Сергея Эйзенштейна. Эйзенштейн нашел в Тиссе непревзойденного мастера живой фотографии, сумевшего превратить это ремесло в настоящее искусство, где каждый кадр представлял из себя маленький графический шедевр – вполне законченную картину с великолепной композицией и безупречным распределением светотени. Тиссе нашел в Эйзенштейне изобретательного режиссера, постановщика, человека с большим вкусом и незаурядным талантом рисовальщика, что давало ему возможность решать каждый свой киноспектакль не только глубоко, но также и по-новаторски в полном соответствии со своей оригинальной индивидуальностью. Союз Тиссе

– Эйзенштейн начался триумфально: в течение короткого времени был создан «Броненосец „Потемкин“», который до сих пор считается лучшей лентой мирового кино, и «Октябрь» – фильм, поражающий воображение своей скульптурностью, энергией, исторической достоверностью и ритмом. Ритм картин Тиссе – Эйзенштейна определялся особенностью небывалого до сих пор монтажа. Считается, что знаменитый монтаж «Броненосца „Потемкина“» – это новация Эйзенштейна. Но я думаю, что это только отчасти изобретение Эйзенштейна. Монтаж «Потемкина» – рваный, прыгающий, ежесекундно поражающий воображение зрителя – есть результат необходимости построить картину из кадров Тиссе. Каждый его кадр настолько резок, оригинален по ракурсу, пластичен до стереоскопичности, что монтировать такие кадры можно только одним способом, именно тем, который стал известен как монтаж Эйзенштейна. На самом же деле это монтаж Тиссе – Эйзенштейна, потому что никакой другой монтаж к кадрам работы Эдуарда Тиссе неприменим. При кажущейся своей внутренней законченности и неподвижности, кадр Тиссе заключает в себе бешеное, скрытое движение, вполне подтверждая ту неоспоримую истину диалектического материализма, что неподвижность – это не более чем форма движения. В результате применения к кино этой истины Тиссе – Эйзенштейн добились такого ритма, сила воздействия которого на зрителя до сих пор еще никем не превзойдена в области кинематографии.

В этом-то и заключается сущность Тиссе – художника-оператора-фотографа, человека, преданного своему изумительному искусству.

Я не говорю уже о том, что Тиссе никогда не занимался в кинематографе легкой чепухой. Он брался лишь за большие социальные полотна, и его искусство всегда было партийным в самом высоком смысле этого слова.

Эдуард был интересным собеседником, и я готов был слушать часами его рассказы об Америке, о Мексике, об Италии, Испании и о многих других странах, где он побывал со своей волшебной кинокамерой. Его друзьями были Чарли Чаплин, Мери Пикфорд, Дуэлас Фербенкс – десятки и даже сотни выдающихся звезд мирового кино.

Но интереснее всего Тиссе рассказывал о своей работе в кинохронике первых лет революции и гражданской войны, где он участвовал в качестве бойца-кинематографиста. Тиссе снимал конные атаки, героические подвиги Красной Армии. Снимал он также и Ленина. Он рассказывал мне, как однажды, после утомительной съемки, Владимир Ильич пригласил его к себе домой попить чайку и отдохнуть, и Эдуард провел несколько часов с Владимиром Ильичем и Надеждой Константиновной в Кремле, за чайным столом, в скромной квартирке Ленина.

И мне хочется закончить эти беглые заметки картиной, которая всегда стоит перед моими глазами, когда я думаю о рано ушедшем от нас моем друге Эдуарде Тиссе.

За маленьким чайным столом сидят перед стаканами Владимир Ильич, Надежда Константиновна и молодой человек в спортивном пиджаке и гетрах, смуглый, худощавый, с живыми острыми глазами и с дымящимся блюдечком на трех пальцах, в которое он осторожно дует: это гость Ленина – молодой оператор, энтузиаст и новатор своего дела, страстный поклонник Ленина, коммунист Эдуард Тиссе.

Декабрь 1969 г.

Комментарии

Восьмой том Собрания сочинений В. П. Катаева составляют публицистические и литературно-критические статьи писателя. Многие произведения этого тома заново просмотрены и отредактированы автором.

Записки о гражданской войне*

Впервые опубликованы в журнале «Жизнь», 1924, № 1.

К событиям, о которых рассказано в «Записках о гражданской войне», писатель возвращается позднее в очерке «Пороги» (1930), статье «Непобедимое братство» (1948) и «Поездке на юг» (1951).

Политотдельский дневник*

Полностью под названием «Из политотдельского дневника» опубликовано в журнале «Молодая гвардия», 1935, № 1. Отрывок «Соня Бузулук» напечатан в 1933 году в специальном номере «„Крокодил“ – авиации»; как рассказ вошел в книгу В. Катаева «Вещи», изд-во «Правда», 1936; «Муж и жена. Листки из политотдельского дневника» – в газете «Литературный Ленинград», 6 ноября 1934 года; «Записки политотдельца» – в журнале «30 дней», № № 10–11 за 1934 год.

По западной Белоруссии*

Под названием «Путевые заметки» были напечатаны в газете «Правда» осенью 1939 года: первая плавка – 25 сентября; вторая – 26 сентября; третья – 6 октября; четвертая – 18 октября; пятая – 23 октября 1939 года под заголовком «Голос народа»; шестая – 29 октября под заголовком «Единодушное требование народа»; седьмая – 5 ноября, под названием «Два замка (Из путевых заметок)».

Их было двое*

Впервые опубликовано в журнале «Огонек», 5 октября 1941 года, № 32. Тогда же вошло в книгу «Мимо смерти», Махачкала, 1941.

Поклянемся никогда не забывать этого!*

Газета «Правда», 6 февраля 1942 года.

«Торопиться приносить скоро»*

Газета «Правда», 18 февраля 1942 года. Вошло в книгу «Народ смеется», Нальчик, 1942.

Гвардии капитан Туганов*

Журнал «Огонек», 5 июля 1942 года, № 27.

Концерт перед боем*

Журнал «Огонек», 26 июля 1942 года, № 30.

Партизан*

Газета «Правда», 17 октября 1942 года. Включен в состав сборника «Народные мстители», «Искусство», М. 1943, а так же вместе с рассказами «Лейтенант» и «Фотографическая карточка» в сборник «Военные рассказы», Куйбышев, 1943, и «Маленькие рассказы», Пенза, 1943. Послужил материалом для новых эпизодов второго варианта романа «За власть Советов!».

Лейтенант*

Газета «Правда», 18 октября 1942 года.

Фотографическая карточка*

Газета «Правда», 20 октября 1942 года. Вошел в сборник «Тыл – фронту», М.-Л. 1943. Очерк послужил основой для сюжета пьесы В. Катаева «Синий платочек».

Во ржи*

С подзаголовком «Брянское направление» опубликован в газете «Красная звезда», 13 августа 1943 года.

В наступлении*

Газета «Красная звезда», 15 сентября 1943 года. Писатель во время боев на Орловско-Курской дуге находился на передовой в части,

против которой воевал фашистский 332-й пехотный полк, тот самый, что учинил зверскую расправу над Зоей Космодемьянской. В. Катаевым была написана листовка «Убейте убийц», в которой говорилось:

«Советский народ поклялся над могилой своей верной дочери Зои Космодемьянской никогда не забывать ее светлой памяти и мстить страшной, кровавой мезтью подлым убийцам и мучителям. Где же теперь остатки этой банды, некогда называвшейся 332-м полком? Где убийцы нашей Зои? Они перед вами... Вы видите их? Товарищи бойцы! На вашу долю выпала великая честь – от имени всего советского народа привести в исполнение беспощадный приговор над мерзавцами, которые убили Зою Космодемьянскую.

Бейте палачей. Бейте их смертным боем. Не давайте им никакой пощады. Бейте их, гадов, и добейте окончательно, чтоб духу их не осталось...»

Отец Василий*

Журнал «Красноармеец», октябрь 1943 года, № 19.

Труба зовет*

Газета «Красная звезда», 2 декабря 1943 года.

В Молдавии*

Печаталось в двух номерах газеты «Красная звезда», 21 и 22 апреля 1944 года. Под статьей указано: «Второй Украинский фронт».

Кузнец*

Газета «Правда», 2 мая 1944 года.

Семья Игнатовых*

Журнал «Всесоюзное радио», 15 июня 1944 года.

Одесские катакомбы*

Очерк печатался в четырех номерах газеты «Известия» – 22, 23, 24 и 27 марта 1945 года под названием «Катакомбы». Тогда же вошел в сборник «Героическая Одесса», Одесса, 1945, и затем вместе с пьесой «Отчий дом» и одноименной повестью – в книгу В. Катаева «Сын полка», «Советский писатель», М. 1945.

Публицистика разных лет*

Пороги. – Журнал «30 дней», 1930, № 7.

Ритмы строящегося социализма (Из записной книжки). – Газета «Вечерняя Москва», 30 сентября 1931 года.

Экспресс. – Газета «Правда», 20 июня 1934 года.

В зеркале Мавзолея. – Газета «Вечерняя Москва», 9 ноября 1934 года.

Пролетарский полководец. – Газета «Правда», 30 октября 1935 года.

Заметка. – С подзаголовком «О Марии Демченко» – журнал «Красная новь», 1936, № 1. В расширенном и доработанном виде под названием «Мария Демченко (История ее рекорда)» очерк в 1938 году вышел в Воронежском областном издательстве.

Первый чекист. – Газета «Правда», 20 июля 1936 года. Перепечатан газетой «Правда Востока», 20 декабря 1937 года.

Незабываемый день. – Газета «Правда», 21 января 1938 года.

Страна нашей души. – «Литературная газета», 5 ноября 1947 года.

Непобедимое братство. – «Литературная газета», 24 января 1948 года.

Великие слагаемые. – Газета «Правда», 9 мая 1948 года.

С думами о будущем. – Газета «Комсомольская правда», 13 ноября 1948 года.

Молодость мира. – «Литературная газета», 26 марта 1949 года.

Москва моя! – Газета «Вечерняя Москва», 30 декабря 1952 года.

Жигули. Февраль. – Газета «Комсомольская правда», 1 марта 1951 года. В конце указано: «Строительная площадка Куйбышевской ГЭС».

Преступный заговор против прогрессивных сил Германии. – «Литературная газета», 16 августа 1956 года.

Счастье нашей молодежи. – «Литературная газета», 27 июля 1957 года.

Парк заложен. – Газета «Правда», 2 августа 1957 года.

Голос человека. – «Комсомольская правда», 9 июня 1957 года.

Короленко*

Впервые под названием «Один из последних (Короленко в 19-м году)» опубликовано в газете «Коммунист», 1 января 1922 года, Харьков.

Неповторимые, героические дни*

В этой статье автором объединены его высказывания о поездках на новостройки первых пятилеток, воспоминания о Магнитке и о работе над романом «Время, вперед!».

Первый раздел статьи до слов: «Пусть ни одна мелочь... героических дней первой пятилетки не будет забыта» – был напечатан в «Литературной газете», 5 сентября 1957 года, и являлся ответом на анкету «Вспоминая те дни», организованную к 40-летию Октябрьской революции, когда газета обратилась к видным советским писателям с просьбой поделиться своими воспоминаниями и раздумьями о литературе первых пятилеток; отрывок со слов: «Эпоха социалистического наступления...» – до: «Задача громадная... но миновать ее невозможно» – появился впервые в «Литературной газете», 29 декабря 1932 года; отрывок, начинающийся фразой: «Для романа „Время, вперед!“ я использовал не только впечатления Магнитогорска...» – и до завершающей фразы: «Мне лично поездки дали много ценного» – печатался в журнале «Рост», июнь 1933 года, № № 11–12, и представлял ответ на анкету журнала «Писатели и социалистическое строительство»; и наконец, последний раздел со слов: «Полтора года назад я совершил две поездки в Магнитогорск...» – и до конца статьи был опубликован в газете «Советское искусство», 27 октября 1932 года, под заголовком «Время, вперед!».

О простоте формы*

Основой статьи послужила беседа Вл. Соболева с В. Катаевым о проблемах мастерства, опубликованная в «Литературной газете», 17 мая 1933 года, в разделе «Писатель за рукописью», под заголовком

«Изгнание метафоры». Завершающую часть статьи составляет выступление художника «Какой нам нужен редактор», напечатанное в «Литературной газете», 20 августа 1938 года.

Альбер Марке*

Литературный портрет французского художника опубликован в газете «Правда», 15 августа 1934 года. Имел подзаголовок «К приезду в СССР».

Топор в похлебке*

С подзаголовком «Фельетон. О повести А. Фарбера „Победители“» напечатан в газете «Правда», 31 января 1936 года.

Ровесники кино*

Опубликовано в журнале «Искусство кино», 1936, № 3.

Николай Павлович Хмелев*

Статья появилась впервые в журнале «Советский театр», 1936, № 10. Имела название: «Н. П. Хмелев. Творческий путь артиста МХАТ».

Николай Островский*

Под названием «Он сделал все (Памяти Н. Островского)» напечатано в газете «Вечерняя Москва», 23 декабря 1936 года.

Памяти друга*

Статья объединяет высказывания писателя о советском сатирике И. Ильфе. Первый ее раздел был опубликован в газете «Правда», 14 апреля 1937 года, под названием «Добрый друг»; второй, напечатанный там же 13 апреля 1938 года, имел заголовок «Памяти Ильи Ильфа»; третий раздел под названием «Друг» появился в «Литературной газете», 12 апреля 1947 года.

Заметки о Всеволоде Иванове*

Статья была напечатана в «Литературной газете», 5 января 1938 года, под названием «Заметки о Всеволоде Иванове». Настоящий

вариант ее завершается высказыванием В. Катаева более поздних лет, опубликованном в журнале «Огонек», 6 марта 1955 года, № 10, под заголовком «Мастер советской прозы».

«Ревизор» в Малом*

Первая публикация статьи – в «Литературной газете», 15 февраля 1938 года, под заглавием «О „Ревизоре“ Гоголя в Малом театре». Вторым разделом настоящего варианта после слов «Хороший текст» является тематически примыкающая к нему статья «Успех актера. Игорь Ильинский в Малом театре (Роль Хлестакова в комедии Гоголя „Ревизор“», напечатанная в «Литературной газете», 30 мая 1938 года.

Слово надо любить*

С подзаголовком «О мастерстве писателя» статья впервые появилась в «Литературной газете», 15 сентября 1940 года.

Леонид Сойфертис*

С подзаголовком «Художник-график» опубликовано в журнале «Огонек», 1946, № 24.

Автор и актеры*

В первой публикации статья имела название «„Калиновая роща“ А. Корнейчука в театре имени И. Франко. Заметки читателя и зрителя». Появилась в газете «Культура и жизнь», 21 июля 1950 года.

Новогодний тост*

Статья напечатана в «Литературной газете», 1 января 1953 года. Имела подзаголовок: «Пожелания советским писателям».

Былина на экране*

Напечатано в газете «Правда», 9 января 1953 года, с подзаголовком «О кинофильме „Садко“».

Заметки о Маяковском*

Настоящий вариант воспоминаний о советском поэте состоит из двух разделов: «Маяковский в „Огоньке“», опубликованном в журнале

«Огонек», 26 апреля 1953 года, № 17, и «Воображаемый разговор с Маяковским», напечатанный в «Огоньке», 12 июля 1953 года, № 28, под названием «По городам Союза. Разговор с Владимиром Маяковским о путешествиях (К 60-летию со дня рождения В. Маяковского)».

Сила правды*

С подзаголовком «К 125-летию со дня рождения Л. Толстого» напечатано в «Литературной газете», 8 сентября 1953 года.

Куприн*

Опубликовано в журнале «Огонек», 30 мая 1954 года, № 22.

Творческое самочувствие*

Под названием «О патриотизме советской литературы» напечатано в газете «Правда», 15 декабря 1954 года.

О Горьком*

Статья является частью выступления В. П. Катаева на II Всесоюзном съезде советских писателей. Опубликовано в «Литературной газете», 22 декабря 1954 года. Вошла в стенографический отчет съезда (М. 1956, стр. 163–165).

Шесть хороших и разных*

Журнал «Огонек», 1956, № 34.

О себе*

Написано в 1958 году. Опубликовано впервые в книге литературно-художественных статей В. Катаева «Разное», «Советский писатель», М. 1970.

О новаторстве*

В основу настоящего варианта легли две статьи, переработанные автором, которые ранее публиковались – первая в газете «Правда», 10 ноября 1961 года, под названием «Ленинский дух новаторства», – она открывает статью; вторая – «Слово о новаторстве» – в газете

«Московский литератор», 30 мая 1957 года. Эта последняя начинает раздел со слов: «В этой связи хочется вспомнить один случай...» – и до конца статьи.

Слово о Гоголе*

Напечатано в «Литературной газете», 2 апреля 1959 года, к 150-летию со дня рождения Н. В. Гоголя. Первоначальное название статьи – «Национальный гений».

Чехов*

Статья представляет собой доклад Валентина Катаева на торжественном заседании в Большом театре Союза ССР, посвященном 100-летию со дня рождения А. П. Чехова. Доклад опубликовали все центральные газеты: «Правда», 31 января 1960 года, под названием «Чудесный талант»; «Известия», 29 января 1960 года, – «Он видел небо в алмазах» – и 31 января 1960 года – «Борец за светлое будущее»; «Литературная газета», 30 января 1960 года, – «Доброе, большое сердце»; «Советская культура», 30 января 1960 года, – «Слово о Чехове»; журнал «В защиту мира», 1960, № 1 – «О Чехове».

К этой же теме В. П. Катаев обращался и ранее, в статьях – «Чехов», журнал «Огонек», 11 июля 1954 года, № 28, и «Чехов и дети» (в газете «Пионерская правда», 16 июля 1954 года).

Несколько слов о Пикассо*

Журнал «Юность», 1962, № 8, под названием «Художник мира (О творчестве П. Пикассо)».

Мысли о творчестве*

Под названием «Замысел и время» статья появилась в журнале «Вопросы литературы», 1961, № 9. Текст ее писатель дополнил другими своими высказываниями о творческой работе (см., например, беседу с писателем Дм. Старикова в «Литературной газете» от 18 июля 1959 года. – «У Валентина Катаева» и редакционную статью «Герои неповторимой эпохи. Рассказывает Валентин Катаев» в «Вечерней Москве» от 27 января 1962 года, где писатель дает творческую историю ряда своих произведений). Так, он вспоминает, что вначале им был задуман роман «Хуторок в степи», а написан

первым «Белеет парус одинокий». К осуществлению первоначального замысла писатель обратился лишь в послевоенное время, в конце 50-х годов (см. примечания к пятому тому наст. изд. Собрания сочинений). В середине настоящего варианта статьи автором сделана вставка, начиная со слов: «Чем глубже писатель сумеет войти в жизнь своего героя...» – и до слов: «Я хотел просто поделиться своими соображениями...» Текст этот публиковался в «Литературной газете», 29 декабря 1955 года, под названием «Знать и верить».

Чарльз Диккенс*

Речь В. П. Катаева в Союзе писателей СССР на вечере 7 февраля 1962 года, посвященном 150-летию со дня рождения великого английского реалиста. Печатается впервые.

Станиславский*

Воспоминания о встречах с создателем Художественного театра опубликованы в журнале «Театр», 1962, № 12. Вошли в сборник «Советские драматурги о своем творчестве», «Искусство», М. 1967.

Прощание с миром*

Опубликовано в журнале «Знамя», 1966, № 3.

Вознесенский*

Впервые опубликовано в книге литературно-художественных статей В. П. Катаева «Разное», «Советский писатель», М. 1970.

Магнитка*

Газета «Правда», 21 февраля 1966 года.

Уэллс*

Речь, произнесенная В. П. Катаевым 4 октября 1966 года на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения английского писателя. Вошла в сборник В. Катаева «Разное», «Советский писатель», М. 1970.

Как я писал книгу «Маленькая железная дверь в стене»*

Статья впервые напечатана в журнале «Детская литература», 1966, № 1.

Мой Бодлер*

Впервые опубликовано в сборнике «Разное», «Советский писатель», М. 1970.

Голсуорси*

Речь, произнесенная В. П. Катаевым 29 сентября 1967 года на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося английского писателя. Вышла впервые в сборнике «Разное», «Советский писатель», М. 1970.

Поездка в Визлей*

Впервые опубликованы в журнале «Юность», 1970, № 4.

notes

Примечания

1

По-руски – свясла.

2

Говорите вы по-немецки, товарищ доктор?

3

Да, немного.

4

Скільки у вас членів сім'ї?

5

Со мной трое, жена и ребенок.

6

Я понимаю... Очень хорошо.

7

Говорите ли вы по-немецки?

8

Немного.

9

Хотите папиросу?

10

Большое спасибо.

Курите, пожалуйста. У меня еще много папирос.

Благодарю вас.

13

Выкурите, пожалуйста, еще одну папиросу.

Виндруюэр – рядовая жатка для раздельной уборки сельскохозяйственных культур.

Автор имеет в виду статью Н. Горчакова «Работа К. С. Станиславского, заслуженного деятеля искусств РСФСР, над советской пьесой» в книге «Вопросы режиссуры (Сборник статей режиссеров советских театров)», «Искусство», М. 1954, стр. 98-111.